

|| 3 ||

# Н О В Ы Й М И Р

Н О В Ы Й М И Р

|| 1978 ||

3



1978



# ИЗВЕСТИЯ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 3

Март, 1978 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАРИЭТТЕ СЕРГЕЕВНЕ ШАГИНЯН	3
БОРИС ВАСИЛЬЕВ — Были и небыли, роман	4
ТАТЬЯНА АНДРОНОВА — Весною памятной..., стихи	61
ВЛАДИМИР ГОЛЕВ — Январь, стихи. Перевела с болгарского Лорина Дымова	64
ГАЛИНА ШЕРГОВА — Заколенные дачи, повесть	68
ВАЛЕНТИН СОРОКИН — Мне говорить о Родине — как петь, стихи	97
АЛЕКСАНДР АВДЕЕНКО — В поте лица своего..., роман. Окончание	104
Д. САМОЙЛОВ — Из пярнуских элегий, стихи	183
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Б. СВЕТЛИЧНЫЙ — Город выбирает путь...	185
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
ЛЯРИСА ВАСИЛЬЕВА — Альбион и тайна времени	203
<b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>	
А. МАНФРЕД — Смерть Жан-Жака	228
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
<i>К 110-летию со дня рождения А. М. Горького</i>	
ГОРЬКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ	238
«РАДОСТЬ И ГОРДОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА...». Из переписки М. Горького с А. В. Амфитеатровым. Публикация и подготовка текста Л. А. Евстигнеевой	259
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
М. Чудакова. В свете памяти. — Григорий Левин. Необычайное — в обычном. — В. Турбин. Жил, как писал, и писал, как жил.	266

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	275
Л. Паршин. Пресса, политика, бизнес. — Д. Панков. Немеркнущий подвиг боевого братства. — В. Карпушин, Я. Поварков. Крах антисоветского фарса.	
КОРОТКО О КНИГАХ: Семен Шуртаков. — Виктор Варгин. Журавлинный брод. Рассказы, очерки, лирические зарисовки и миниатюры. ✦ Ю. Смелков. — Ю. Крелин. Переливание сил (Из жизни хирургов). ✦ Лев Озеров. — Лев Шилов. Голоса, зазвучавшие вновь. ✦ А. Княжицкий. — М. Бойко. Лирика Некрасова. ✦ Ю. Игрицкий. — Разведчики разоблачают... Эта книга о шпионской и подрывной деятельности радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа»	283
ПАМЯТИ АРКАДИЯ КУЛЕШОВА	287
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

---

## МАРИЭТТЕ СЕРГЕЕВНЕ ШАГИНЯН

*Дорогая Мариэтта Сергеевна!*

*Редколлегия и коллектив «Нового мира» от имени своих многочисленных читателей сердечно поздравляют Вас, выдающуюся советскую писательницу, с девяностолетием со дня рождения.*

*Семьдесят пять лет назад впервые в печати появилось Ваше имя. Вы одна из самых серьезных и глубоких наших писателей. Вас отличает ясная гражданская позиция, огромный багаж знаний, редкая пылливость ума, высокий художественный дар.*

*Ваше творчество многогранно. Вы и поэт и романист, драматург и переводчик, публицист и очеркист, философ, историк и исследователь литературы.*

*Вы принадлежите к той славной плеяде нашей старой интеллигенции, которая безоговорочно приняла Октябрьскую революцию.*

*В советскую эпоху Вы вступили уже известным поэтом, автором книги «Orientalia». А вступив в новый, социалистический мир, стали активным участником его строительства. С присущей Вам страстью Вы исследуете черты новой жизни и публикуете первые свои советские очерки.*

*Тогда же, в двадцатые годы, Вы создали первую свою советскую повесть «Перемена» — о гражданской войне на Дону. Ее читал Ленин и похвалил—это безмерное счастье для писателя!*

*Вы автор первого советского приключенческого антифашистского романа «Месс-Менд», получившего широкую популярность у нас в стране и за ее рубежами. Вы автор одного из первых в нашей литературе романов о рабочем классе — «Гидроцентральный» и замечательной книги «Путешествие по Советской Армении», удостоенной Государственной премии.*

*В тяжелые для нашей родины дни 1941 года Вы вступили в ряды Коммунистической партии. Будучи специальным корреспондентом «Правды» в годы войны, Вы написали правдивую книгу о нашем героическом тыле — «Урал в обороне». Вы автор многочисленных монографий об ученых, педагогах, писателях, очерковых сборников и исследований.*

*Но вершиной Вашего творчества является четырехчастная Лениниана — произведение, в котором в полной мере проявился Ваш огромный талант художника и исследователя и за которое Вам присуждена Ленинская премия.*

*Сейчас Вы создаете новую большую книгу, книгу воспоминаний — «Человек и время», и мы рады и горды, что эта Ваша работа публикуется на страницах нашего журнала.*

*Ваше беззаветное служение родной литературе, советскому обществу, Ваш неустанный подвижнический труд вызывают восхищение. Вы достойно несете высокое звание Героя Социалистического Труда.*

*Позвольте, дорогая Мариэтта Сергеевна, в этот знаменательный юбилей пожелать Вам здоровья и вдохновенного творчества во славу советской литературы!*

РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР».

---

---

БОРИС ВАСИЛЬЕВ

★

## БЫЛИ И НЕБЫЛИ \*

Роман

КНИГА ВТОРАЯ. 1877-й

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

**И**НОВЫЙ, 1877 год огорошил известием, на время заслонившим все — и предвоенный ажиотаж, и велеречивые заседания, и искренние восторги, и женские слезы: в Киеве лопнул частный коммерческий банк. Газеты взахлеб писали о систематическом воровстве, о фальшивых книгах, что велись еще с 1872 года, о ложных балансах и дутых отчетах. Основными виновными задолго до суда были широковещательно объявлены кассир, бухгалтер да контролер.

— Дурной знак, — торжественно изрекла Софья Гавриловна. — Год крахов. Вот увидите, грядет год крахов.

Пророчество имело под собой некоторые личные основания. Каким бы ни был Иван Гаврилович скверным отцом, а столпом семьи он все же являлся — не сердцем, не осью, а именно столпом, подпиравшим весь семейный бюджет. И стоило этому столпу рухнуть, как Софья Гавриловна с удивлением обнаружила, что Олексины совсем не так богаты, как это представлялось со стороны. Псковское имение оказалось заложенным под чудовищные проценты, рязанское и тверское разорены до крайности. Требовалось что-то предпринимать, что-то немедленно делать, но свободных денег было немного, и Софья Гавриловна начала с того, что быстро продала богатому мануфактурщику московский дом.

— А ты — вон, — сказала она Петру.

Петр заплакал. Ни о чем не просил, только размазывал слезы по толстым щекам. Игнат забеспокоился, заморгал, засуетился:

— Барыня, Софья Гавриловна, пожалей дурака!

— Молчи! — оборвала тетушка. — Ты покой заслужил, а с его шей пахать надобно. Вот пусть и пашет. И письма не дам и не отрекомендую. Вон!

Игнат промолчал. Голова его теперь тряслась безостановочно, да и ноги слушались плохо. После продажи дома перебрался в Высокое, жил тихо, целыми днями пропадая на кладбище возле двух мраморных крестов. Перед рождеством не вышел к ужину, позвать забыли, а утром нашли уже холодного.

---

\* Первая книга романа Бориса Васильева «Были и небыли» опубликована в «Новом мире», 1977, №№ 8, 9.

Продав московский дом и заткнув вырученными деньгами дыры в хозяйстве, Софья Гавриловна уверовала в собственную деловую хватку и заметно повеселела. Очень сдружилась с Варей, безропотно помогавшей во всех ее начинаниях, вечерами заходила в комнату помечтать.

— Ну, проценты мы уплатим. Хорошо бы, конечно, лес продать. Но побережем, побережем! Нам, голубушка, еще три свадьбы поднимать.

— Какие три свадьбы?

— Машину, Таисью и вашу, барышня, вашу!

— Маша с Таей без вас женихов сыщут — курсистки. А я... Ах, оставьте вы меня, тетушка милая, оставьте!

— И не подумаю, — строго говорила Софья Гавриловна. — Видала, сколько красавцев в Смоленск пожаловало? Да все при мундирах, при усах и саблях!

Но Варя только вздыхала. Дни шли, а знакомств не прибавлялось, хотя в Смоленске и вправду появилось много офицеров. И, вздыхая, Варя все же ждала и верила.

Незадолго до крещения ливрейный лакей доставил надушенное письмо: Александра Андреевна Левашева приглашала на благотворительный базар, предлагая Варе взять на себя продажу оранжерейных роз («Уж у вас-то, душенька моя, все непременно за золото скупят, а золото сие на организацию госпитальных отрядов пойдет, на святое общеславянское дело...»). Варя по-детски обрадовалась, до счастливых слез. У лучших мастериц заказали платье по парижским фасонам, подобрали шляпку с лентой из белого шелка, и в назначенный час Варя заняла место в украшенном цветами киоске, проведенная туда лично самой хозяйкой.

— Вы прелестны сегодня, душенька, и шляпка вам очень к лицу, — сказала Левашева, милостиво потрепав Варю по щеке надушенной рукой. — Уверена, что среди покупателей найдутся истинные ценители живой красоты.

Варя поняла намек, покраснела и потупилась. Александра Андреевна ласково улыбнулась ей и вышла, и Варя наконец-то могла прийти в себя, успокоиться и оглядеться.

Весь просторный зал Благородного собрания, где обычно давались парадные балы, которые по традиции открывал сам предводитель дворянства, в этот день был тесно уставлен легкими, изящно убранными киосками. В них уже заняли места барышни, нарядные и взволнованные, готовящиеся продавать ленты и игрушки, брелки и платочки, собственное рукоделие и прочую мелочь, за которую приглашенные должны были расплачиваться, не спрашивая ни цен, ни сдачи. Варя быстро окинула зал, улыбнулась знакомым, с ликованием отметив, что ее киоск и больше и наряднее других и что только она торгует сегодня розами из оранжерей самой Левашевой. Вокруг нее на полу и на прилавке стояли большие вазы с живыми цветами, но голова ее сладко кружилась не только от аромата, что источали свежие, обрызганные водой розы. Пришел ее час, ее выход на сцену, и великое значение этих мгновений Варя ощущала всем существом своим, и сердце ее билось отчаянно и весело. Сегодня, именно сегодня должно было нечто произойти, нечто очень важное, огромное, чему должна была подчиниться ее жизнь отныне и до самой кончины.

Все восемь двустворчатых дверей распахнулись одновременно, оркестр на хорах заиграл марш, и в зал торжественно вступили гости. Впереди шла Левашева под руку с губернатором.

— Хочу представить вам, ваше превосходительство, нашу очаровательную цветочницу, — сказала она, подводя сановного старика

к киоску. — Это Варенька Олексина, дочь, увы, покойного ныне Ивана Гавриловича и моя протеже.

— Весьма рад, весьма. — Губернатор ласково улыбнулся. — Цветы из таких ручек стоят золота, господа, не так ли? — Он положил на тарелку империял, выбрал розу и протянул ее Левашевой. — И помните, господа, что ваша сегодняшняя щедрость завтра обернется спасением сотен и тысяч русских страдальцев.

Сказав это, губернатор предложил руку Александре Андреевне и торжественно прошествовал к другим барышням, не задерживаясь, однако, нигде и ничего более не покупая. Совершив круг и открыв тем самым благотворительный базар, его превосходительство покинул зал, дабы не смущать никого своим присутствием. Левашева вышла вместе с ним, в зале сразу возник шум и веселый говор, а возле киоска Вари образовалась целая очередь желающих истратить золотой. Золотые эти то и дело тяжко падали в тарелку, раздумывавшаяся и похорошевшая Варя еле поспевала сгребать их в ящичек и подавать розы и опомнилась только тогда, когда кончилось это волнующее звяканье золота и перед нею остался один-единственный покупатель, не спешивший ни покупать, ни отходить от ее киоска.

— Добрый день, Варвара Ивановна. Я был представлен вам, если припомните.

Варя едва ли не впервые с начала торговли подняла глаза. Перед нею, привычно улыбаясь ничего не выражающей улыбкой, стоял князь Насекин.

— Здравствуйте, князь. Какую розу вы желаете?

— Прошу извинить, я не любитель оранжерейных цветов.

— А...

Варя смешалась и, чтобы скрыть смущение, принялась с преувеличенным усердием наполнять цветами опустевшие вазы. Она доставала розы из ведер, спрятанных за прилавком, отряхивала и ставила в букеты, ожидая, что князь либо затеет разговор, либо уйдет. Но князь продолжал молча смотреть на нее, с грустью, как ей показалось, следя за каждым ее движением, и это было неприятно.

— Вы надолго в Смоленск? — спросила она, чтобы хоть как-то нарушить это странное молчание.

— Нет. А что же вы одна? Ваша сестра...

— Сестра в Москве, — поспешно и неучтиво перебила Варя. — Она стала курсисткой.

— Жаль, — сказал князь. — А я, представьте, еду в Кишинев и далее, куда двинется армия. Как там у Лермонтова? Кажется, «даст бог, может, сдохну где по дороге».

— Ну зачем же столько горечи, князь.

— Может быть, вследствие того, что я не люблю оранжерейных цветов?

— Право, это странно...

— Прошу прощения! — громко и резко сказал коренастый интендантский капитан, подходя к киоску.

Князь посторонился. Капитан коротко поклонился Варе, высыпал на тарелку несколько зазвеневших полуимпериялов:

— Из ваших рук, мадемуазель.

— Здесь... здесь слишком много, сударь, — растерянно сказала Варя, собирая на прилавку рассыпавшиеся золотые.

Князь неприятно растянул тонкие губы, изображая улыбку:

— Оранжерейные цветы стоят дорого, Варвара Ивановна.

И, поклонившись, неторопливо пошел к выходу. Варя проводила его глазами, вновь глянула на щедрого интенданта.

— Вы заплатили за всю вазу?

— Ровно один цветок. — Капитан улыбнулся, показав крупные белые зубы. — Один, но из ваших рук.

— Благодарю, — сдержанно ответила Варя: ей не понравились развязные нотки. — Какую желаете?

— На ваш вкус.

Варя выбрала розу, протянула. Капитан взял цветок, неожиданно задержал ее руку.

— И тур вальса. У вас не будет отбоя от кавалеров, но тур вальса — за мной.

— Вы слишком... — Варя вырвала руку, — слишком вольны, сударь.

— Тур вальса! — Капитан вновь сверкнул улыбкой. — Думайте об этом туре.

Поклонившись, интендант ушел. Варя злорадно отметила мужицкую тяжеловесность его походки, усиленно занялась цветами, но не думать о танцах уже не могла. Сердилась на себя, на развязного самоуверенного наглеца интенданта, старалась думать о другом и не могла.

Через час белозубый мужиковатый интендант вновь появился подле ее киоска в сопровождении самой Софьи Гавриловны и был тут же ею представлен, правда несколько путано и невразумительно. Сверкнул улыбкой, высыпал несчитанную пригоршню золота, преподнес Софье Гавриловне розу, поклонился и ушел, демонстрируя увесистую походку и тяжелую несокрушимую спину.

— Миллиончик, — с легкой завистью сказала тетушка. — Но не то, не то. Женат. А ты молодцом, Левашева от тебя в очаровании.

— Он потребовал вальс, — пожаловалась Варя.

— Кто потребовал, этот... Хомяков? — Софья Гавриловна с усилием припомнила фамилию только что представленного ею интенданта. — Наглец, а придется. Много пожертвовал.

— Он мне антипатичен, тетя.

— Что же делать, душечка, что делать! Они теперь персоны.

От кавалеров и вправду отбоя не было, и Варя танцевала без отдыха. Однако капитан Хомяков не появлялся, танцы подходили к концу, и Варя невольно начала искать его глазами в группах офицеров. Но интенданта нигде не было, и в душе Вари росла непонятная досада.

Она уехала домой, обласканная Левашевой и отмеченная в благодарственной речи самим губернатором. Тетушка была в восторге, всю дорогу то растроганно всхлипывала, то принималась целовать Варю, то строила грандиозные планы. Но сама Варя была угнетена и молчалива.

— Решительно не понимаю тебя, Варвара, — озабоченно объявила Софья Гавриловна по прибытии домой. — Феерический успех, покорение губернатора — и такое уныние. Отчего же уныние, поясни.

— Ах, оставьте меня, оставьте! — вдруг со слезами сказала Варя. — Я устала, я просто устала.

А у самой было чувство, что пообещали и пренебрегли. Причем и пообещали с расчетом и пренебрегли рассчитанно и демонстративно. И чувство это никак не проходило, заслоня собой весь тот зримый несомненный успех, который выпал ей на этом благотворительном базаре.

На следующий день поутру немолодой степенный солдат привез огромную корзину роз. Записки не оказалось, солдат на все вопросы поспешно отвечал: «Не могу знать», но у Вари сразу улучшилось настроение. Розы в корзине были точно такие же, как та, которую выбрала она вчера для интенданта. «Какой странный, — думала Варя,



расставляя розы по дому. — Вероятно, это от застенчивости. Вчера был развязан, сегодня понял, устыдился и замаливает, а все от застенчивости, и это мило... Господи, что это я?»

На третий день Хомяков явился лично. Варя была наверху, в Машинной комнате, увидела из окна, как ингендант вылезал из саней, запряженных парой серых в яблоках рысаков, но спряталась, как когда-то пряталась от князя Маша. И — ждала, слушая, как замирает сердце.

— Кататься зовет, — с неудовольствием сообщила тетушка, входя. — Вот наглец! Поди откажи.

— Зачем же? — Варя не смогла сдержать улыбку. — Пусть обождет, сейчас оденусь.

— Варенька, это не он. Не он, ты понимаешь?

— Я хочу прокатиться.

— Это компрометантно. Тебе не кажется?

— Так поедем вместе. Тетушка, милая, право, поедем. Такие лошади!

— Да, лошади, — сказала Софья Гавриловна, помолчав. — Заманул. А меня не заманул, и я не поеду.

— Так пошлите с нами кого-нибудь. — Варя отвернулась, чтобы скрыть радость. — Это же ни к чему не обязывает, тетя. Это же так, просто так. Прогулка.

— Именно что просто так, — вздохнула Софья Гавриловна. — Ах, Варвара, Варвара! Не погуби. Только не погуби никого.

— Какие лошади! — с восторгом вздохнула Варя.

Тетушка расценила вздох по-своему и более не сопротивлялась. Показаться на таких рысаках после недавнего триумфа было даже полезно: возрастал не только престиж, но и кредит. Однако из гордости она не поехала с мужланом-миллионщиком, послав в качестве соглядатая шуструю, глазастую и ушастую Ксению Николаевну. Варя и укутанная в шали старушка сели в сани, капитан вскочил на козлы, и тысячные рысаки помчали по Смоленску, яростно кося налитыми глазами.

Через час Хомяков осадил разгоряченных коней у кондитерской Христиады, кинул вожжи невесть откуда выскочившему солдату и пригласил дам на чашечку шоколада.

Шоколад пили в отдельном кабинете, прислуживал сам хозяин. Напиток был густым и ароматным, пирожные таяли во рту, за окном, где солдат держал нетерпеливых лошадей, медленно падал снег, что обещало совсем уж сказочное продолжение поездки, и Варя была на седьмом небе.

— Я человек простой, Варвара Ивановна, — сказал капитан, испривив разрешения курить и усыпив бдительность Ксении Николаевны большой рюмкой шартреза. — Из мужиков, пробился хребтом да нахальством. Манерам не обучен, да, признаться, и не люблю их: жизнь надо брать за рога. Имею собственное дело, собственный капитал и жену, плоскую как икона.

— Извините, сударь, я не желаю слышать о...

— Так ведь я не жалею, Варвара Ивановна, — грубовато перебил Хомяков. — Дело говорю, так уж извольте дослушать сперва, а там и решайте, как оно для вас повыгоднее. А в том дело, что от супруги моей детей я не имею, а иметь бы надобно очень, поскольку капиталы большие и все по рукам разойдется да растащится, коли наследников себе не обеспечу. Да, не дала она мне детей, без соков оказалась, яловая, зато богомольная.

— Сударь! — громко сказала Варя в надежде разбудить задрем-

мавшую в уголке Ксению Николаевну.— Вы о жене, о женщине, как о скотине! Это возмутительно и неприлично, и я прошу вас...

— Да погодите вы,— поморщился Хомяков.— Война— это прибыль бешеная, недаром я в мундир влез. Так мыслю, что утрою капитал, ежели хоть годочек она протянется. А кому миллионы пойдут? То-то же и есть, Варвара Ивановна, то-то же и есть. А вы благородная, красивая, хозяйственная— чего же мне еще-то искать? Так что, считайте, нашел, я-то сам так считаю.

— Я... я не понимаю.— Варя очень растерялась.— Это все странно весьма, согласитесь же, что...

— Виноват, не все сказал еще. Сперва все как на духу скажу, а потом вы решать будете. Завтра я на юг уезжаю— склады мои туда двинулись,— так что либо сразу порешим, либо сутки думать вам да советоваться. До завтрашнего дня, до отъезда моего.

— Что же, что решать? — Варю вдруг кинуло в жар, лицо ее запылало, и капитан откровенно любовался им, она кожей чувствовала это и цвела, хорошела под этим уверенным мужским взглядом.— Позвольте, я не понимаю ничего. Какие-то намеки... Извольте же объясниться.

— Это верно,— Хомяков улыбнулся белоснежной молодой улыбкой,— правда ваша, Варвара Ивановна, намеками да экивоками дела не делаются.— Он вдруг резко подался вперед, перестав улыбаться.— Я про ваше положение все знаю, справки наводил. Именьца-то вот вот с молотка пойдут. А дальше что? Один брат без вести сгинул, второй у графа учителствует, незвелик барыш, третий без царя в голове, как говорится, а детей поднимать надо, учить, в люди выводить. А на какие капиталы, Варвара Ивановна? А?

— Позвольте, сударь, нам самим управляться со своими заботами.

— Сами не управитесь, тут деньга нужна. Большая деньга, Варвара Ивановна, увесистая.— Хомяков расчетливо помолчал, ожидая возражений, но их не последовало.— Ну так вот, я деньгу эту даю. Сам все векселя скуплю, расписки, обязательства, сам и сожгу на ваших глазах... в Кишиневе.

Он опять выждал, и опять Варя ничего не сказала. Не потому что сказать было нечего, а потому что хорошо знала долговые обязательства, скупить которые угрожал — то, что угрожал, не сомневалась — этот уверенный в своей силе мужчина.

— Я человек практический, Варвара Ивановна,— продолжал Хомяков.— Не купчина, не барышник, дело у меня крупное, и решаю я крупно: миллион для меня не убыток. Но языкам не обучен, вот какая история, а в Румынии по-русски не говорят. Ну, письма там, бумаги тоже на языке иностранном. И желаю я иметь при себе особу и по-французски знающую и не за жалованье одно мне обязанную, почему сразу миллион в обеспечение и предлагаю. Хотите — на булавку, хотите — семье отдайте, ваша на то воля полная. А на остальное моя воля, тоже полная, Варвара Ивановна. А там, глядишь, и жена помрет...

— Как... как вы смеете? — Варя вскочила, ногами резко отодвинув стул; он упал, зацепившись за ковер, Ксения Николаевна тут же проснулась, — В содержанки? В содержанки — меня, Олксину?.. Вы... вы негодяй, сударь. Негодяй!..

Хомяков, ничуть не испугавшись ни этого крика, ни сверкающих гневом глаз, с явным удовольствием наблюдал за Варей, удобно откинувшись к спинке стула. Обезоруживающая улыбка вновь появилась на его лице, а всегда настороженные глаза смотрели сейчас почти восторженно.

— Ух хороша! — сказал он весело. — Чудо! Всю войну ждуть тебя буду, так и знай. Так что сама меня ищи, как надумаешь. Мы с тобой куда как добрая пара: полный воз ребят в жизнь вывезем.

— Негодяй, — еле сдерживая слезы, сказала Варя. — Боже, какой негодяй! Идемте же, Ксения Николаевна, идемте отсюда!

На улице Варя дала волю слезам, благо народу почти не было. Бежала, скользя по звонкому снегу, и Ксения Николаевна с трудом поспевала за ней. А рядом с затоптанным тротуаром, не отставая и не обгоняя, рысила серая в яблоках пара, и солдат на козлах не отрывал от Вари глаз, готовый тут же откинуть медвежью полость по первому ее знаку. И эта готовность была сейчас особенно, до боли оскорбительна, будто обещанный миллион уже лежал в ее муфточке.

На подходе к дому сани тактично отстали. Варя сумела успокоиться, взять себя в руки и войти в дом хотя и в смятении, но уже без слез и отчаяния. Она ни словом не обмолвилась о разговоре в кондитерской Софье Гавриловне, а шустрая приспешница сообщить могла немного, поскольку сладко продремала все это время. Тетушка несколько раз приступала к Варе с расспросами, но Варя отмолчалась, и Софья Гавриловна вскоре оставила эти попытки.

Хомяков больше не появился, прислав на следующий день очередной букет и прощальную записку. В записке, весьма вежливо, но запутанно составленной, содержалось указание, где именно следует теперь его искать. Варя прочитала послание, хотела немедленно порвать и сжечь — и не сожгла. Спрятала в шкатулку, где хранились ее личные письма, драгоценности и старые, еще пансионные дневники.

Жизнь потекла по-прежнему, но Варю не оставляло тревожное чувство, что она невольно чего-то ждет. Чувство это беспокоило ее, выбивало из привычной колеи, мешало с прежним прилежанием помогать тетушке во всех хозяйских делах. Варя плохо спала ночами, начинала читать и вновь бросала книгу, бродила в потемках по дому и — думала.

## 2

Маша и Тая вместе с присланной из Смоленска для ведения хозяйства и надзора Дуняшей снимали квартиру на Остоженке, с прежним рвением бега каждое утро на Курсы. Жили скромно, принимая только подруг по ученью да Беневоленского; Федор имел свою комнату в квартире, но пользовался ею редко, предпочитая ночевать вне дома.

— За мной следят! — страшным шепотом сообщал он. — Девятый вал арестов!

Беневоленский, по-прежнему живший по паспорту мещанина Прохорова, скептически улыбался. Аресты действительно случались, а в связи с подготовкой к войне и усилились, но за что было арестовывать Федора Олексина, Аверьян Леонидович решительно не мог себе представить и считал, что Федор упоенно играет и в подрывную деятельность, и в слежку, и в опасности. Кроме того, он вообще не любил его еще со времен знакомства в Высоком.

— У них нет никакой организации, никакой программы или хотя бы цели в действиях, — говорил он за чаем, имея в виду новых друзей Федора. — Витийствуют, кричат, шумят, но даже полиция смотрит на них с насмешкой. И кто знает, может быть, даже и поощряет: самодержавию они не опасны.

Когда он говорил вот так спокойно и рассудительно, барышни безоговорочно верили ему и вместе с ним смеялись и над Федором

и над собственными страхами. Но Беневоленский уходил, а Федор сыпал ужасными подробностями об арестах, тревогах и преследованиях, и Маша с Таей снова начинали пугаться. Федор наслаждался их волнениями, пугал еще пуще, исчезал куда-то и появлялся неожиданно и странно, как всегда.

— Машенька, я так боюсь за него! — вздыхала Тая, когда Федор исчезал. — Он такой безрассудно отважный!

Как-то само собой случилось, что Тая приобрела право совершенно по-особому тревожиться за Федора, гордилась этим правом, дорожила им и поверяла свои тайны только Маше, да и то шепотом, в темноте, в девичьих беседах перед сном. Маша все понимала, догадываясь, впрочем, что это пока еще не любовь. Просто Тае необходимо было о ком-то заботиться, кого-то ждать, и ждала она Федора. А Федор вспоминал о ней только тогда, когда видел ее, а если не видел, так и не вспоминал, увлеченный собственной деятельностью и собственными волнениями. Отношения их казались Маше не очень глубокими. Серьезная любовь, та, что нашла ее, представлялась ей спокойной и уравновешенной, которой не страшны никакие осложнения, разрывы, ссоры и разлуки. Маша сразу же согласилась ждать и не страдала, а, наоборот, очень ценила это ожидание счастья. Для нее все было еще впереди, когда и она и Аверьян Леонидович, закончив учебу, уедут в глухую дальнюю деревню учить и лечить. Вот тогда и начнется то, что Маша считала счастьем, и в ожидании этого счастья жила ровно, радостно и терпеливо. До того вечера, когда Беневоленский пришел без обычной своей улыбки. Хмурился, озабоченно потирал лоб, а когда Дуняша ушла на кухню, сказал приглушенно:

— Большая неприятность, барышни. Убит надзиратель Бутырского тюремного замка. Зверь был надзиратель, студентов бил, издевался над политическими — и вот пожалуиста. Кто-то не выдержал или... Теперь уж сыскное за нас возьмется вкуче с жандармами и полицией... — Он помолчал. — Словом, мне придется уехать. Пока не решено еще куда, но думаю, что проще всего вольноопределяющимся.

— Уехать?.. — еле слышно обронила Маша.

— На войну? — ахнула Тая.

— Ну какая для меня война — я медик. Где-нибудь пристроят в военно-временном госпитале, подальше от любезного отечества. А сейчас, извините, бежать надо. Я ведь и вас могу подвести, слежка не исключена. — Он встал. — Прощайте, Машенька. Ждите меня, умоляю, ждите. Повоюем, постреляем, людей покалечим — и все забудется. Тогда и вернусь и увезу вас.

Маша встала, словно вдруг сделавшись меньше ростом. А глаза точно выросли, занимая теперь пол-лица, жадно лоя взгляды Беневоленского. Она хотела сказать что-то, но губы дрожали, и она так ничего и не сказала. Аверьян Леонидович бережно обнял ее, привлек к себе, поцеловал в лоб.

— Помните, что люблю вас, что жизни своей не мыслю...

— Не уходите.. — Маша запнулась. — Нет, нет, что я! Уходите, немедленно уходите. Бегите от них, дорогой мой, любимый мой. Бегите! Я... я сама найду вас, слышите? Найду, найду!..

Уйти Аверьян Леонидович не успел: вошел Федор. Он был чем-то до крайности взбудоражен, нервно потирал руки и дергал уголком рта.

— Хотя бы темноты дождались, — буркнул он, увидев одетого Беневоленского.

Прошел умыться. Заметив растерянность барышень, Аверьян

Леонидович снял пальто. Все молчали, невольно прислушиваясь, не идет ли Федор. Наконец он вернулся, сел к столу, спросил водки. Выпил рюмку, поданную Таей, глянул на Беневоленского, усмехнулся:

— Не от меня надо бегать.

Аверьян Леонидович смотрел на его дергающийся рот, на пальцы, что не могли остановиться, успокоиться. Спросил вдруг:

— Вам известно, что убит надзиратель...

— Не убит, а казнен, — поправил Федор. — Приговор приведен в исполнение.

— Чей приговор?

— Наш.

Федор словно обрушил это слово — так увесисто оно прозвучало. Аверьян Леонидович чуть сдвинул брови.

— По какому же праву...

— Право завоевывают, господин Беневоленский, а не ждут.

— Но это же убийство! — вскрикнула вдруг Маша. — Это убийство!

— Убийство? — Федор впервые отвел глаза от Аверьяна Леонидовича и посмотрел на сестру. — А держать в казематах людей, вся вина которых заключается в том, что они власти не признают, не убийство? А вешать их под оркестры — не убийство? А ссылать в рудники тоже не убийство? В тебе кричит, сейчас гнилая мораль прошлого, сестра, мы отметаем ее.

— Но с какой же целью, Федор Иванович? — тихо спросил Беневоленский, стремясь снять ту истерическую экзальтацию, в которой пребывал Федор. — С целью борьбы за право вершить суд и расправу? Но при чем тогда этот надзиратель, от которого ровно ничего не зависит? Ради мщения? Мелко, опять не тот объект. Что же он, объект этот, случайно под руку вам подвернулся или все же есть хоть какая-то цель, программа какая-то?

— Вы развращаете народ, господа пропагаторы, да, развращаете! — покраснев, закричал вдруг Федор. — Правительство развращает сверху, а вы снизу, обещая журавля в небе после дождичка в четверг. Вы гасите стихийные порывы толпы, льете масло на бушующее море, и мужик упоает уже не на топор, а на вашу социальную сказку о земном рае. Удивляюсь, за что вас преследуют: на месте правительства я бы пенсии вам жаловал.

— Почему ты повторяешь чужие слова, Федор? — строго спросила Маша. — У тебя нет своей правды?

— Федор Иванович объясняет, — тихо сказала Тая. — Зачем же кричать?

Федор быстро глянул на нее. Тая смущенно улыбнулась и опустила глаза. Маша сердито дернула плечом, перебросив косу на грудь, и стала привычно теревить ее, по-прежнему гневно сверкая глазами.

— Вы не отвечаете на вопрос, — сказала Беневоленский. — Вопрос мой касался цели.

— Я помню. — Федор закурил. — Как ни странно, цель у нас общая: разрушить этот порядок вещей. Цель общая, а средства противоположные. Там, где вы убаюкиваете, мы возмущаем, где обещаете, мы потрясаем, где уговариваете, мы взрываем. Ваша программа основывается на долготерпении русского мужика, наша — на его бунтарском инстинкте. Вы хотите разбудить Россию шепотком, мы — взрывом. Да, взрывом! — Федор с вызовом оглядел всех, вновь чуть задержавшись на рыжей барышне напротив. — Сотни лет Россию гнули к земле страхом — мы хотим обратить этот страх против тех, кто им пользуется с помощью правительства, церкви и

той подленькой рабской морали, что копошится во всех вас, господа радикалы, социалисты, либералы и прочие так называемые носители общественной совести. Вы говорите, что надзиратель не тот объект? Какой рационализм! Дело не в объекте, дело в вызове! Мы хотим посеять страх во всех звеньях государственного аппарата от законодателя до исполнителя, и мы посеем этот страх. Да, посеем! И если для этого понадобится храм взорвать, мы и храм взорвем. И тогда...

— И тогда площади уставят виселицами, а тысячи безвинных пойдут на каторгу, — резко перебил Беневоленский. — Это не программа, это кошмарный план охраны. Вами руководят провокаторы, Олексин, опомнитесь.

— Как вы смеете! — Федор, краснея, медленно вставал, опираясь о стол обеими руками. — Как смеете оскорблять моих друзей, героев, благороднее и честнее которых... Убирайтесь вон отсюда!

— Сидите, Аверьян Леонидович.

Маша тоже встала. Брат и сестра в упор глядели друг на друга, разделенные столом, и молчали.

— Аверьян Леонидович — мой жених. — Маша чеканила каждое слово, а глаза ее приобрели сейчас холодноватый отцовский блеск. — Либо ты сейчас же попросишь извинения, либо... либо уйдешь навсегда.

— Ты сейчас выбираешь, Мария, — тихо сказал Федор.

— Я выбрала.

Федор опустил глаза. Долго смотрел в стол, машинально разглаживая скатерть, потом аккуратно задвинул на место стул и, ни на кого не глядя, пошел в прихожую. Тая растерянно посмотрела на Беневоленского, на Машу и быстро вышла следом.

— Ужасно! Вероятно, мы все не правы, — сказал Аверьян Леонидович.

— Я выбрала, — повторила Маша, по-детски упрямо тряхнув головой. — И это не споряча.

Вошла Тая. Закрывает дверь, обвела всех расширенными глазами.

— Он ушел.

Маша промолчала.

— И мне пора. — Беневоленский встал. — Прощайте, Тая.

Тая молча кивнула. Аверьян Леонидович грустно усмехнулся. Маша вышла проводить его, вскоре вернулась.

— Я уеду, — сказала Тая. — Может быть, завтра-послезавтра, не знаю. На днях.

— Куда?

Тая неопределенно пожала плечами. Она говорила отрывисто, глядя в темное ночное окно.

— Выгнать брата, у которого нет ни угла, ни денег. Ты из страшной породы, Мария. Федор сказал, что ты в отца.

— Отец никогда бы не подал руки тому, кто хотя бы на словах восхваляет террор. Я тоже.

— Федор несчастный человек! — почти выкрикнула Тая. — Загнанный, загнанный в угол!

Судорожно всхлипнув, она выбежала из комнаты. Маша убрала со стола, подумала. Потом подошла к комнате Таи, приоткрыла дверь. Тая лежала на кровати, спрятав лицо в подушки.

— Он вернется, Тая, — тихо сказала Маша. — Я лучше тебя знаю своего брата. Он вернется.

Федор вернулся на третью ночь. Покреб в дверь так тихо, что услышала одна Тая.

— Господи, Федор Иванович, наконец-то!

Федор был весь в снегу, мокрый и озябший, точно пролежал день в сугробе. Глаза лихорадочно блестели. Тая видела, как колеблется в них свет лампы, которую она держала в руках.

— Не приходили? — спросил он. — Никто не приходил? Меня не спрашивали?

— Нет, — удивленно сказала Тая. — Вы озябли, Федор Иванович, я чай поставлю.

— Нет, нет, не надо. Дайте водки. У нас есть водка?

Тая достала графин, налила рюмку. Он выпил, попросил хлеба. Съел целую французскую булку с большим куском колбасы. Ел жадно, глотал не прожевывая. Потом дико посмотрел на Тая.

— Виселица ждет.

— Что? — испугалась Тая.

— Бежать надо, бежать! А куда? В Смоленске найдут, в Высоком найдут, в Туле тоже найдут. Куда же, а?

— В Тифлис, — шепотом сказала Тая. — В Тифлис, Федор Иванович!

Весь день Федор прятался в комнате Таи. Он ничего не рассказывал, и расспрашивать его не стали. Маша дала денег, Тая купила два билета на вечерний поезд и в сумерках с величайшими предосторожностями отвезла Федора на вокзал.

Во втором классе Федор ехать категорически отказался. Тряслись в третьем, забитом узлами и корзинами, в чадном сумраке мажорочного дыма, оплывших свечек, душных испарений, среди ругани, храпа, стонов, слез и жалоб. Федор забрался в угол под низко нависшую полку, дремал на Таином плече, изредка испуганно вздрагивая. Сердце Таи сжималось от жалости к нему, такому потерянному, замученному и слабому. Сидела, боясь пошевелиться, промокала платком испарину на его лбу.

— Муж? — спросила сидевшая напротив пожилая чиновница в старой мужской шинели.

Тая кивнула, чувствуя, как застучало сердце.

— Болен, видать, — вздохнула добрая чиновница. — А у меня болел-болел да и помер. А пенсии не дают. Вот в Москву ездила, хлопотала, а зря, только потратилась. Не подмажешь — не поедешь, так-то мир устроен, а подмазывать нечем. — Она опять вздохнула, поглядела на Федора. — Чайку бы ему, ишь мается. На станции сбегайте, я чайничек дам.

За Харьковом Федор немного успокоился, даже повеселел, то ли поверив в спасение, то ли просто устав бояться. Но говорил по-прежнему мало, односложно отвечая на вопросы и поспешно отклоняясь в тень, под полку, как только в вагон входил посторонний. Но Тая и от этого стало полегче; на станциях в сумерках она выводила его гулять. Федор слушался, как маленький, и Тая думала, что теперь во имя спокойствия этого человека она готова ехать в Крымскую, вытерпеть любой позор, но уберечь, сохранить и спасти его. Не для себя — для него самого, для его счастья.

После долгих мучительных пересадок добрались до Тифлиса. Но когда наконец-таки оказались на узкой крутой улочке, где когда-то Владимир снимал комнату, сердце Таи болезненно заныло. Она вспомнила его торопливый уход навстречу гибели, его последнюю улыбку и не смогла сдержаться слез.

— Почему мы стоим? Почему? — встревожился Федор. — Это не здесь?

— Простите, Федор Иванович. — Тая торопливо отерла слезы. — Не знаю только, пустят ли вдвоем.

Она думала, как ей представить Федора хозяйке. Форма была одна — та, к которой прибегла она в поезде при разговоре с бедной чиновницей. Но утверждать это при Федоре было неудобно.

— Вы обождите здесь, Федор Иванович.

— Нет-нет, я не стану ждать. Мне нельзя ждать, Тая, право, никак нельзя. Идемте вместе. Идемте же.

Пришлось идти вдвоем и мучительно краснеть, говоря толстой хозяйке с жесткими усиками над пухлой верхней губой:

— Я с мужем, если позволите.

Хозяйка отнеслась к этому известию спокойно, Федор и бровью не повел, а Тая продолжала краснеть, глядя, как хозяйка застилает чистым бельем единственную кровать. Чтобы скрыть смущение, завела длинный разговор о работе, о мастерицах и модных портнихах, о ценах, возможных заказчицах и о множестве иных проблем. Хозяйка отвечала с удовольствием, детально обрисовывая каждую даму, которой касалась в разговоре; Тая не прерывала ее, вышла вслед на хозяйскую половину, долго пила там чай, слушала, а сама ощущала каждое мгновение, ибо мгновение это неумолимо приближало ночь. И очень надеялась, что Федор сам что-то придумает, на что-то решится, избавив ее от необходимости принимать решение хотя бы сегодняшним вечером. Пила чай, поддакивала хозяйке, а перед глазами стояло широченное супружеское ложе.

Вернулась в комнату под стук собственного сердца. С отчаянной решимостью распахнула дверь и с облегчением перевела дух: Федор лежал на полу, подстелив студенческую шинель, в которой бегал эту зиму, и накрывшись тужуркой. То ли прикидывался спящим, то ли действительно спал, но не шевелился. Тая тихо погасила лампу, торопливо разделась и юркнула под одеяло.

А сон не шел. Лежала, натянув одеяло до подбородка, пыталась думать, как они будут жить, где зарабатывать деньги, но думала совсем не об этом. С беспокойством ощущала, как холодает в нетопленном доме, как несет сквозняком из-под неплотной двери, слушала, как ворочается на полу Федор, пытается согреться, и уже знала, что пожалеет, что не выдержит и позовет. Позовет согреться, только унять дрожь и кое-как перетерпеть эту ночь. Точно знала, что позовет, не обманывала себя, но боялась этого и тянула, силой сдерживая собственный голос, который уже рвался с губ:

— Федор Иванович...

— Вы меня? — Федор сразу же сел, закутавшись в тужурку. — Я мешаю вам, да? Я ведь не сплю, ворочаюсь.

— Вам холодно? — еле слышно спросила она. — Так...

— Нет, что вы! — поспешно перебил Федор, не дав ей закончить фразу. — Я холода не боюсь, я совсем не потому не сплю. Я привык так спать, вы не беспокойтесь, пожалуйста. Я ведь по Руси бродил со старичком Митяичем. Хороший был старичок, я рассказывал вам, помните?

— Из дверей дует. — Тая говорила очень тихо, но Федор слышал все, что она говорила, и не хотел слышать того, чего она никак не решалась сказать.

— Это пустяки, что дует, это даже приятно. Знаете, свежий воздух.. А не сплю я... не сплю потому... — Он встал, потоптался на шинели босыми ногами. — Вы позволите закурить?

— Да, конечно, конечно.

Он чиркнул спичкой, прикуривая. Отошел к окну — Тая следила, как плыл по комнате огонек папиросы, как возник в окне темный силуэт, — курил, глубоко затягиваясь. Потом решительно сунул окурок в цветочный горшок и шагнул к кровати. Тая уже не видела



его, а лишь чувствовала, что он стоит рядом (протяни руку — и до-  
тронешься), и сердце ее замерло.

— Тая, — хрипло выдохнул Федор и вдруг упал на колени пе-  
ред кроватью. — Я преступник, Тая. Я понял, что я преступник.

— Что?.. — Тая вместе с одеялом ринулась от него, больно уда-  
рившись затылком о стену. — Что вы говорите, Федор Иванович?

— Истину, — почти по складам выговорил он. — Виселица впе-  
реди.

Она молчала, вжавшись в стену. Федор вздохнул.

— Страшно, да? Мне тоже страшно. А когда приговор подпи-  
сывал, страшно не было. Я думал об этом, когда в поезде ехали: по-  
чему же мне тогда-то, когда подписывал, страшно не было? Значит,  
тем, кто смертные законы издает, тоже не страшно? Значит, что же  
получается: люди не совести своей страшатся, а расплаты только,  
наказания, а не преступления? Так, наверно, так, по себе сужу, по  
тому, как я сейчас боюсь, наказания я боюсь, Тая. Значит, червь я,  
как и все, червь, а не человек. Ох, как же это гнусно—собствен-  
ную подлость ощутить!..

— О чем вы, Федор Иванович? — тихо спросила Тая. — О чем?

— Я человека того, из Бутырок, к смерти приговорил. Не один,  
конечно, но сейчас это уж и не важно. Важно, что радовался я это-  
му, гордился, могучим себя чувствовал. А потом, когда провалы на-  
чались, когда взяли многих — я ведь чудом ушел, истинным чу-  
дом! — так и полез из меня страх за шкуру свою, так и полез. И я  
понимаю, все понимаю, всю мерзость свою, а сделать ничего не мо-  
гу. Страх этот пересилить не могу: ведь повесят же меня, коли пой-  
мают. повесят, Тая, повесят!..

Он упал головой на край постели, зарыдал, затрясся так, что Тая  
ощутила дрожь его через доски кровати. И тут же ни секунды не ко-  
лебляясь, отбросила одеяло, которым до сей поры закрывалась как  
щитом. Отбросила, обдала Федора теплом, протянула руки, нашла его  
голову. И сказала строго и властно, как старшая:

— Иди сюда. Иди ко мне, согрейся, успокойся. И ничего не бойся,  
ничего, слышишь? Я спасу тебя. Ну иди же, иди ко мне...

### 3

Весна в этом году выдалась ясной. Днем оглушительно орали во-  
робьи, звонко била капель, но к вечеру все умолкало, затаивалось, и  
мороз за ночь затягивал все проталины. Что-то нетерпеливое и ярост-  
ное носилось в воздухе; вечерами тихий Смоленск оглашался криками  
лихачей, музыкой полковых оркестров, звоном шпор и бешеным рит-  
мом канканов в кафешантанах, разросшихся в городе, как опята в  
дождливую осень. Опереточные дивы, днем отсыпавшиеся в полутем-  
ных номерах, ночью отплясывали на скрипучих досках кое-как ско-  
лоченных эстрад, мелькая черными чулками в неверном и загадочном  
свете свечей.

— Вавилон. — кратко определила Софья Гавриловна нынешнее  
состояние некогда скромного провинциального города Смоленска.

За последнее время тетюшка начала сдавать, теряя присущую  
ей энергическую жизнерадостность, выглядела нездоровой и озабо-  
ченной и все время что-то считала, сердито щелкая костяшками сче-  
тов.

— Варенька, погляди. Душенька, эти записи. Я ничего уже не  
понимаю, что мы продали, а что купили.

— Извините, я спешу к обеду.

— Куда спешить?

— В церковь, тетя, — с ханжеской строгостью пояснила Варя.

— Ну иди уж, иди, — ворчала Софья Гавриловна, — хотя и странно все это, Варвара, весьма странно, потому что рано. Я имею в виду не обедню, а увлечение.

Варя и сама понимала, что вдруг наступившее ее религиозное увлечение странно и необъяснимо. В семье соблюдалась лишь обязательная обрядность, без которой нельзя было обойтись, не вызывая пересудов; никому и в голову не приходило появляться в церкви чаще одного раза в неделю, говеть по собственному желанию или стоять всю службу от начала до конца. Слушали пение, привычно крестились, рассеянно прикладывались к образам да более или менее аккуратно ставили свечки — вот, пожалуй, и все, чем связывали себя Олексины с церковью. И вдруг умница Варя, любившая сомневаться и умевшая спорить, пристрастилась к ладанному чаду, как какая-нибудь полуграмотная купчиха.

— Господи, господи, не допусти, господи! — твердила она, стоя на коленях в маленькой уютной Благовещенской церкви. — Я грешница, господи, удержи меня, господи. Удержи!..

Иван за этот год неожиданно вытянулся и догнал в росте Владимира, как определил Георгий по зарубке на косяке дверей в столовую. Старательно проверил — мальчик был основательный, — потом сказал:

— Ваня, ты с Володей сравнялся. Полвершка, правда, еще не хватает, но полвершка можно за месяц набрать. Я набрал целый вершок в прошлом сентябре: я почему-то осенью лучше расту.

— Мелкота! — Иван любовно щелкнул младшего брата в лоб. — Есть закон убывающей возрастной прогрессии.

Был такой закон или не было — Георгий верил на слово. А Иван после этого разговора раздобыл немецкую книжку «Как я стал настоящим мужчиной», купил гантели и повесил в своей комнате трапецию. Философия была отвергнута, как прежде была отвергнута химия.

В гимназии — преимущественно в старших классах — эта ранняя весна ощущалась по-особому. Лихорадочное ожидание войны, в котором пребывало все русское общество, заметно потрясло и тот традиционный культ муштры, который новая гимназия унаследовала от прежних закрытых учебных заведений. Усатые гимназисты читали газеты, а преподаватели все чаще не только не пресекали этого, но и сами ввязывались в споры: смеялись над турецкой армией, дружно ругали Англию, озабоченно следили за Германией.

— Бисмарк этого не допустит.

— Чего — этого?

— Ничего он не допустит.

— Господа, австрияки утверждают, что турки укрепляют крепости с помощью английских инженеров!

— Какое вероломство!

— Да врут австрияки, господа!

— И все-таки Бисмарк этого не допустит.

— Да чего этого, мямля?

— А ничего. Не допустит, и все. Вот посмотрите.

Так спорили в классах и коридорах. В уборных, правда, говорили о другом:

— А вот брат видел водевильчик «Кавалер двух дам». Очень милая, говорит, вещица, очень! Там мадемуазель Жужу в первом же выходе вот этак подбирает юбочку и — всё выше да выше. А под юбочкой — ничего. Ну решительно ничего до самых коленочек!

— Опять, Дылда, на брата сваливаешь?

— Ну где же мне-то, господа, где же? Там же педелей ползала, ей-богу, ползала. Как увидят, так цап-царап. И прощай аттестат.

— А зачем тебе аттестат?

— Как зачем? Для коммерции.

Иван слушал гимназические пересуды молча: не любил пустомельства, а чего-либо реального предложить не мог. Разговоры о политике и войне впитывал активно и напряженно, не часто ввязываясь в споры, но основательно продумывая все, что слышал. А болтовню глотал, как отраву, морщась и не разжевывая. Но не уходил, пока не кончались рассказы, и по ночам перед его глазами мелькали никогда не виданные им сказочные ножки, живое кружево юбок, недоступно соблазнительные подвязки, чулочки и ленточки, уходящие куда-то выше дозволенного, выше мыслимого, куда-то вверх, почти что в небеса. Он никому не признавался в этом, даже товарищам, потому что все его усачи-товарищи либо выдумывали, либо и в самом деле перешагнули порог, хвастались победами и смаковали подробности, а он, жадно слушая, не мог себе даже представить, что когда-либо осмелится прикоснуться к женщине. Это было выше его сил и даже выше тех тайных желаний, чью изматывающую силу он испытывал каждую ночь.

Дома стало невесело и неуютно. С детьми — Георгием, Колей и Наденькой — Иван как-то утратил близость: они начали его раздражать, сами чувствовали это и не навязывались; Варя все больше и больше уходила в себя; Софья Гавриловна, окончательно запутавшись в счетах и расходах, взяла на время конторщика — невыразительного, тихого и очень старательного. От него всегда пахло дешевым мылом и какими-то мазями от прыщей; Иван его не любил.

— Бонжур, мсье Олексин, — с удовольствием говорил конторщик всякий раз, когда видел Ивана.

— Здравствуйте, Гурий Терентьевич, — сухо отвечал Олексин и проходил не задерживаясь.

Вероятно, он так и прошел бы мимо услужливого конторщика, если б не случайно услышанный им разговор. Дело происходило вечером, в гостиной тетушка клевала носом, а Гурий Терентьевич Сизов тщательно проверял счета, заносил цифры в реестр, щелкал счетами и неторопливо развлекал Софью Гавриловну уютными смоленскими беседами.

— ...а батюшка аккурат на Евдокию и преставился: в пять дней сгорел. И осталась маменька с дочерью да со мной, оболтусом, без всяких средств и возможностей. Гимназию я оставил, в ученики устроился — спасибо, дядя помог, — да не спасло это нас от бедности и позора, уважаемая Софья Гавриловна. Сестра моя единственная Дашенька не вытерпела нищенства нашего, экономии на свечках да на кипяточке да в пятнадцать годков и сбежала с купцом Никифоровым: помните, может быть, года три назад шуму-то было? Ну, купец церковным покаянием отделался, а Дашенька в актерки пошла...

Иван рылся в книжных шкафах, разыскивая памфлеты Гладстона: его очень интересовал славянский вопрос, что завязался сейчас в тугой балканский узел. Копался в старых газетах, когда прислушался невольно к журчащему голосу в гостиной. Прислушался, разобрал, о чем повествует тихий Гурий Терентьевич, и далее уже слушал, машинально переключая газеты.

— Да, вот представьте себе, уважаемая Софья Гавриловна, в актерки. Барышня из приличной семьи, с образованием даже — и пропала, погибла во цвете лет своих. И ни слуху ни духу о ней не было, только раза два или три, что ли, переводы почтовые приходили на скромные суммы маменьке ко дню ангела. И не знали мы, где она

и что с ней, даже когда в городе нашем афишки расклеили, что в водевилях с дивертисментами знаменитая мадемуазель Жужу выступает, я и в понятии не держал, что мадемуазель Жужу эта и есть сестра моя единственная Дашенька...

Всю ночь Иван вертелся с боку на бок. Впервые таинственное существо, дразнящее воображение доступностью, обрело нормальные человеческие черты. У существа оказалось обыкновенное имя, обыкновенная семья и необыкновенная жизнь. Не полуифическая французженка, не дикая цыганка, а обычная русская барышня стала предметом игривым и двусмысленным. Ему некому было поведать об этом открытии. Старших братьев в доме не оказалось, друга — тоже, а рассказывать о глубоко несчастной, оскорбленной и брошенной соблазнителем барышне Сизовой гимназическим болтунам он не мог. Он с омерзением вспоминал теперь их гогот в уборной, их замечания о юбках и ножках, а заодно и собственные фривольные мысли. Нет, не о легкой доступности молодой женщины мечтал теперь Иван Олексин, а о спасении ее. Вытащить ее из ада, увести, спрятать от циничных глаз, защитить от сладострастных рук — эта задача представлялась ему сейчас единственно достойной и благородной. Он старательно все продумал и не откладывая приступил к действию с присущей ему упрямой увлеченностью.

Сблизиться с Гурием Терентьевичем было несложно: услужливый конторщик искал этой дружбы с гибкостью и готовностью. Ивану претила эта услужливая готовность, это извечное стремление Сизова жить пригибаясь, заведомо располагая себя ниже тех, кто оказывался рядом.

— Сесть позвольте ли, мсье Олексин?

Он произносил фамилию на французский лад, что особенно раздражало Ивана.

— Сесть не позвольте ли...

— Ну зачем вы так, право, зачем? — сердился Иван. — Я же моложе вас, в гимназию еще хожу.

— От поклонов спину не ломит, — улыбался осторожно, вежливо Гурий Терентьевич. — Мир так устроен, мсье Олексин, что кто-то кому-то должен почтение оказывать. Особенно когда без средств к жизни и без связей в обществе. Вы не сердитесь на меня, я всей душой к семейству вашему расположен.

— Помилуйте, это же... это же невозможно! Признать законом самоуничижение личности — это неправда. Мир стоит на людях гордых и отважных — они его атланты. Государи и полководцы, мудрецы и пророки, певцы и герои — вот основа мира, господин Сизов. Их трудами, их подвигами мы из темных пещер к свету и разуму восходили и гордились ими, да, да, гордились. А вы утверждаете, что мир на почтении держится.

— Совершенно верно, — спокойно подтвердил Гурий Терентьевич, с ласково-снисходительной улыбкой выслушавший весь горячий монолог Ивана. — Я хоть образования и не имею, но образован в меру сил и любопытства своего. Книжонки читаны, журнальчики — да не просто читаны, а со слезою и верой. Со слезою и верой, мсье Олексин!

Разговор этот случился на Блонье воскресным днем: Сизов приходил брат какие-то старые счета, возвращался домой и — повстречался. Сидели в аллее; здесь прогуливались гимназистки из Мариинской гимназии, поглядывали на Ивана, громко смеялись, но он на них не смотрел.

— Что есть гордость? — с вежливой осторожностью спросил конторщик. — Я к такому пришел утверждению, что гордость есть ме-

рило дороги, которая человеку дадена. Коль родился кто, скажем, на почтовом тракте, тому и путь ясен: версты отмерены, поставки на всех перегонах и колокольчик под дугой аж с колыбельки — чего же ему гордым не быть, такому-то счастливчику, а, мсье Олексин? Только немного таких, а главное количество в пустыне рождается, и все у них как в сказке сказано: направо пойдешь — побитым быть, налево пойдешь — забритым быть, а прямо пойдешь — туза на спину нашьешь. И позвольте спросить вас: откуда же тут гордости взяться? Да и зачем она в пустыне-то человеческой рожденному? Так, звук пустой.

Гурий Терентьевич здесь, вне дома, был иным: держался увереннее и говорил основательнее. Только привычная готовность к осторожной улыбочке да согбенная спина оставались без изменений. Он не спорил да, вероятно, и не умел спорить: он с чувством тайного превосходства излагал умозаключения, которые считал непреложными истинами, почему и не затруднялся доказательствами. Иван чувствовал это торжествующее полужнайство, злился, но не уходил, хотя уйти следовало.

— Тут, в нашем городе Смоленске, жил некогда провидец Иван Яковлевич Корейша, не изволили слышать? А мне маменька рассказывала. Он, провидец этот, скромно жил, тихонечко, в баньке брошенной у Днепра. В рубище ходил, акридами да росой питался, аки святой. А на деле-то, — Гурий Терентьевич вдруг заговорщицки понизил голос до шепота, — на самом-то деле умнейший был человек. Гордость свою как язву из души выжег, в смердящие одежды облачился, юродивым дурачком прикинулся, а всеми помыкал. Всеми! На коленях в ту баньку черную к нему вползали, да не кто-нибудь — дворяне да купчины именитые. Дамы ночную вазу, прощения прошу, из-под него выносили, да еще и дрались за честь эту. Вот как согнул-то гордых сих, а? Вот это согнул!

— Восторгаетесь? — неприязненно спросил Иван. — То-то славно было бы вам до такого счастья дорваться. Столбовых дворянок заставить ретирады мужицкие чистить — вот уж всем победам победа, вот уж исполнение мечтаний, не правда ли, господин Сизов?

— Превратно, превратно понять изволили, — заторопился, заерзал на скамье конторщик. — Превратно, мсье Олексин, совсем, совсем и окончательно не то я в соображении имел. Я просто сказать хотел, что от человека все исходит, от человека единственно. Вот сестра моя Дашенька, что в вертепе, в разврате, господи прости, вынуждена хлеб свой насущный снискивать, гордостью ни на йоту не поступилась. Ни на гран един! Так и пышет гордостью-то, как вулкан Везувий, что город Помпею испепелил.

Сознательно ли Сизов помянул о Дашеньке или случайно, тут же испугавшись, что проговорился, а только Иван вмиг забыл о неприязненном чувстве. Не зная, как коснуться интересующего его предмета, страдал и мучился и сказал неуклюже, покраснев при этом:

— Вы так хорошо о сестре своей говорите, что я, право, заинтригован и хотел бы... Хотел бы восхищение свое ей выразить.

— За честь почтем, за честь! — поспешно подхватил Гурий Терентьевич, и глазки его на мгновение остренько блеснули. — Мы по-простому живем, мсье Олексин, без всяких особых. А Дашенька аккурат у нас остановилась из экономии и к маменьке поближе. По четвергам свободна она, так что ежели изволите, то счастливо принять будем. Ведь обязаны вам, столь семейству вашему обязаны!

Сизов был обязан Олексиным лишь дополнительным приработ-

ком, но говорил об этом часто и бестактно. Иван вновь ощутил неприятный укол самолюбия и промолчал: обещанное свидание в четверг делало его непривычно терпеливым и покладистым.

Дашенька Сизова совсем не походила на ту «мамзель Жужу», имя которой склоняли по всему городу. Лицо ее было бледно и невыразительно, худые щеки поблекли от скверного и неумелого грима, под серыми глазами лежали густые усталые тени. Глаза эти поразили Ивана пустотой.

— Рада, очень рада, — с привычной жеманностью сказала она, свободно протянув руку. — Брат столько говорил о вас.

— Обо мне? — Иван осторожно пожал холодные пальчики. — Помилуйте, что же обо мне можно говорить?

— Мы не бесчувственные какие, — торопливо сказала маменька Сизовых. — Мы чувствуем благодеяния и благородство души.

— Ступайте, маменька, ступайте, — сквозь улыбку процедила Дашенька.

Все это было неприятно и фальшиво; к счастью, маменька тут же вышла, а вслед за ней исчез и Гурий Терентьевич. Иван совсем смешался, но Дашенька спокойно вела разговор, все так же влажно улыбаясь и играя глазами.

— Нет, право же, я особо вам благодарна, господин Олексин. Вы не мамзель Жужу увидеть спешили, а несчастную женщину. О, если бы вы только знали, что значат для меня эти четверги дома! Как надоели мне аплодисменты, цветы, подношения...

Иван украдкой оглядел комнату, но никаких цветов не обнаружил. Обстановка была, как в дешевой гостинице: диван, круглый столик, два венских стула да платяной шкаф. И на самой Дашеньке, которую, правда, он оглядывать не решался, тоже все было скромным — и домашнее платье, и платок, в который она кутала худенькие плечи, и дешевенький перстенок, и такие же дешевые сережки в розовых ушах.

— Я устала от пошлости, — продолжала она. — От всех этих захламленных уборных, пыльной мебели, вульгарных одежд, в которых вынуждена каждый вечер появляться перед сотнями мужских глаз. О, как я все это ненавижу!

Дашенька играла сейчас привычную роль соблазненной и покинутой, но Иван не был знаком с этим женским амплуа. Он верил каждому слову, каждому взмаху ресниц, каждой слезинке, что слишком уж часто посверкивала на этих ресницах. Верил, и сердце его переполнялось горячим и мучительным состраданием к этой несчастной, обманутой и преданной обольстителем юной женщине.

— Это ужасно, ужасно, я понимаю вас! — взволнованно сказал он. — Вам нужно бежать отсюда, бежать, бежать!

— Куда бежать? — обреченно улыбнулась она. — Куда и с кем бежать? Нет, нет, милый Иван Иванович, это моя судьба. Я обречена жить жизнью чуждой мне и оскорбительной.

На том тогда и закончился их разговор, потому что вошел Гурий Терентьевич и попросил к чаю. А после чая говорили уже о другом, уединиться не удалось, и Иван уносил с собой не столько слова Дашеньки, сколько ее грустные взгляды, почему и не мог думать и анализировать, а мог лишь чувствовать да мечтать.

Через неделю он пришел снова. Дашенька встретила его очень сердечно, но была печальна, а Гурий Терентьевич уходить никуда не торопился. Сидел, закинув ногу на ногу, курил дешевые сигары и разглагольствовал о предстоящей войне. Иван с трудом поддерживал разговор, почти с ненавистью глядя, как покачивает Сизов острым носком штиблета.

— Нет, что ни говорите, мсье Олексин, а нам дорого достанутся эти разногласия. Дорого, очень дорого, вот помянете еще мое слово. Я видел карту в книжной лавке: по турецкому берегу Дуная идут сплошные крепости.

— Дашенька, душа моя! — почти пропела из соседней комнаты госпожа Сизова. — Не сможешь ли мне, ангел мой?

— Ах, маменька, оставьте! — громко и очень недовольно сказала Дашенька. — Пусть братец помогает, а у меня голова болит.

— Гурий, дружок! — тем же тоном запела маменька.

— Я всем помощник, — сказал Сизов, вставая. — Займи нашего дорогого гостя, сестрица.

Дашенька ничего не ответила, но впервые за вечер улыбнулась, вновь ослепив Ивана влажной белизной зубов. Он смущенно улыбнулся в ответ и тут же отвел глаза. Некоторое время они молчали, и для Ивана это время было сплошным мучением: он силился начать разговор, физически ощущая, как впустую уходят драгоценные минуты, но в голове не было ни одной связной мысли и приходилось только вздыхать.

— Я так ждала этого дня, — тихо сказала Дашенька. — Мне известно это говорить, потому что вы можете усомниться в моей искренности и посчитать все пустым кокетством. Знаете, вы напоминаете мне зиму. Да, да, яркую, морозную и чистую-чистую зиму, когда сама делаешься чище и лучше... Простите меня за это признание, Иван Иванович, но я так много думала о вас, что, право, выстрадала его.

— Не знаю, чем заслужил ваше доверие, Дарья Терентьевна, но верьте мне, я счастлив, — конфузливо пробормотал Иван, чувствуя, что краснеет, и смущаясь от этого все больше. — Я тоже думал о вас, все время думал — и дома и в гимназии. Я знаю, что мой долг помочь вам, но я никак не могу додуматься, как это сделать. Я даже хотел посоветоваться с Варей — знаете, она очень, очень умна и добра, — но именно сейчас у нее в душе какой-то разлад, и я... Нет, сейчас с нею невозможно, она точно вдруг оглохла, а больше мне посоветоваться не с кем. Только вот с вами разве, Дарья Терентьевна.

— Да, да, разумеется, — задумчиво и как-то холодно пробормотала Дашенька. — Мне так отрадно говорить с вами.

Разговор, начавшийся тепло, стал приобретать оттенок обычной светской беседы. Иван не понимал причин, но чувствовал, как исчезает доверительная интонация, как рушатся те шаткие мостки, что наметились между ними.

— Я думаю о месте, — с отчаянием сказал он. — Ведь вам же нужно какое-то место, не правда ли?

— Место? — Дашенька вздохнула. — Господи, Иван Иванович, о чем вы, право. Кому нужна я, актерка, порченная и порочная для всех этих... Нет, нет, мне нужно уехать из этого города. Уехать туда, где не знают мадемуазель Жужу, где я смогу честно заработать кусок хлеба и честно смотреть в глаза людям.

— Тула. — Иван и сам не знал, как выскочила эта «Тула». — Под Тулой в имени Толстого живет мой брат Василий Иванович. Дарья Терентьевна, Дашенька, это же прекрасно, что пришло мне в голову, это же воистину перст божий! Вы будете жить у Васи: я уверен, что он найдет вам достойное занятие. А как только я закончу в гимназии, я тут же приеду к вам, тут же, слышите?

— Приедете, — понизив голос, как-то очень значительно сказала она, — и я по-царски награжу вас. По-царски, Иван Иванович, милый, запомните мое слово!

Но Иван уже ехал в Ясную Поляну, его уже встречала сияющая, счастливая, преображенная Дашенька, и он уже был в восторге от этой встречи. Дашенька поняла этот странный олексинский восторг перед собственными мечтами, опять заулыбалась молодой, доверчивой, белоснежной улыбкой.

— Это счастье, Иван Иванович, Боже, какое счастье! — В порыве искреннего восторга она схватила его руку, сжала, подняла к груди (Иван обмер, но руку остановили на волосок от туго натянутого ситца). — Но нет, оно недостижимо. Оно недостижимо, Иван Иванович, недостижимо!

Словно в великом затмении чувств она уронила руку Ивана на плотно обтянутые платьем колени, закусила пухлую нижнюю губку, и серые глаза ее тут же до краев наполнились слезами. Иван сидел как истукан, боясь шелохнуться, ужасаясь, что его может превратно понять, а руку гневно и презрительно сбросить с божественных колен; сердце то замирало, то начинало биться с такой силой, что стук его мог быть услышан за дверью, где тихо брякали посудой.

— Недостижимо, — шепотом повторила она. — Увы, увy.

— Мсье Олексин, Дашенька, пожалуйста к чаю! — бодро и так некстати пропел в соседней комнате Гурий Терентьевич.

— О боже! — горестно вздохнула Дашенька. — Нам не дадут сейчас поговорить, нет, не дадут. Приходите завтра к одиннадцати: я как раз вернусь из театра. Наши будут спать, но вы стукните мне в окошко. Вот в это, не перепутайте.

— Мсье Олексин! Дашенька!

— Да идем же, идем, господи! — с заметным раздражением сказала Дашенька, встав и тем самым сбросив руку Ивана с колен.

## 4

Тонуший в мартовской слякоти Кишинев был до отказа забит войсками. Кроме 53-го Волынского и 54-го Минского пехотных полков, кроме штабных офицеров и военных чиновников, кроме свиты и конвоя главнокомандующего — его императорского высочества Николая Николаевича старшего, здесь располагались терцы и кубанцы, донские казачьи сотни, гвардейские саперы, понтонные части, 14-я артбригада и уже развернутые по-походному, но пока пустующие военно-временные госпитали. В городе и окрестных селах не осталось дома, хозяева которого не потеснились бы, отдав лучшие комнаты для постоя офицеров и солдат; не было двора, не забитого лошадьми и повозками, площади, не занятой артиллерией или обозами, колодца, к которому не было бы расписанной заранее очереди. Каждое утро город будили трубные призывы сигналов и хриплые, сорванные голоса унтеров:

— Четвертое капральство, выходи на улицу строиться!

Строились солдаты, раздували большие хозяйские или скромные походные самовары денщики, артельщики выдавали дневную порцию, на задах и огородах разгорались костры, горьковатые дымы сползали в город и уже не выветривались до глубокой ночи.

Офицеры завтракали булкой с чаем на квартирах, но обедали, как правило, в городском клубе, где обед из трех блюд стоил пятьдесят копеек серебром — деньги немалые. Но жили здесь скромно, о кутежах и попойках с шампанским и женщинами и слыхом не слыхивали, изредка позволяя себе лишь купить в складчину местного вина и распить его за тем же столом в городском клубе.

— За победу русского оружия, господа! — кричал восторженный безусый прапорщик.



— Да какая вам победа, прапорщик? — подсмеивался степенный немолодой майор. — Того и гляди с помощью Англии до мира договоримся и распустят нас всех по домам.

— Нет, господа, это невозможно.

— Почему же невозможно? На то и политика.

— Я... я тогда застрелюсь, господа! — со слезами кричал прапорщик.

— Bravo, прапор, — хмуро сказал молчавший доселе коренастый капитан. — А мы в складчину поставим вам памятник: «Единственной жертве несостоявшейся войны за освобождение славян».

— Перестаньте дразнить его, Брянов, — сказал майор. — Он же вот-вот расплатится.

— Лучше пореветь сейчас от обиды, чем потом от горя. Ладно, прапор, считайте, что я неуклюже пошутил. Мне надоело торчать в резе, ве, господа, вот почему у меня портится характер. Чтобы не отравлять вам вечер, прошу разрешения удалиться. — Брянов встал, коротко поклонился. — А рассказ о Сербии побережем для другого раза. Благодарю за приглашение, вино отменное.

Небо над сумрачным Кишиневом было тяжелым и низким, шел мокрый снег, изредка порывами налетал ледяной ветер, поднимая рябь в многочисленных лужах. Стоя на крыльце, Брянов поднял воротник шинели, подобрал полы и затолкал их под ремень. Подхватив саблю, спустился со ступенек, вглядываясь, куда бы поставить ногу. Наметив путь, запрыгал через лужи, скользя заляпанными доверху сапогами по раскисшей глине. Так он выбрался на улицу и остановился, потому что навстречу неспешно двигалась артиллерийская батарея. От гнедых битюгов шел пар, колеса по ступицы зарывались в ухабы, ездовые привычно покачивались в седлах. Впереди ехал офицер в плаще с поднятым воротником и низко надвинутой мокрой фуражке.

— Эй, артиллеристы, нельзя ли полегче? — ворчливо сказал Брянов, отряхивая с шинели брызги глинистой воды, ударившей из-под колеса. — Тут особо сушиться негде, давайте уж беречь платье друг друга.

— Виноват, вашбродь, — отозвался ездовой, одерживая битюга.

— Когда по улице движется основной инструмент грядущей симфонии, рекомендую госпоже пехоте держаться обочины, — с ленцой сказал офицер и придержал коня, намереваясь, как видно, не давать в обиду своего солдата. — Позволю заметить, что моим артиллеристам несколько труднее управляться со своим оружием, чем вам с вашей саблей.

— Это вы, Тюрберт? — Брянов невольно улыбнулся. — Буду весьма удивлен, если ошибся: во всей артиллерии не сыщешь большего ворчуна.

— Стой! — на весь Кишинев заорал гвардеец, спрыгивая с коня прямо в лужу. — Ей-богу, я знаю этого обидчивого господина. Ей-богу, это же... это вы, Брянов, черт вас побери?

Он радостно затопал напрямик через лужу, разбрызгивая жидкую грязь во все стороны. Брянов попятился, но Тюрберт шел прямо на него, вытянув длинные руки то ли для равновесия, то ли для дружеских объятий. Капитан явно не желал этого и демонстративно отстранился.

— Оставьте лобызания, Тюрберт. Вам для начала предстоит кое-что объяснить, а уж там решим, стоит ли нам протягивать друг другу руки.

— Господи, я все время с кем-то объясняюсь, — без особого огор-

чения вздохнул подпоручик.— Странная какая-то судьба, вы не находите? Гусев!

— Я, ваше благородие!

— Веди батарею. Накормишь, уложишь, дождешься, доложишь.

— Слушаюсь!

— Исполняй.

— Батарея, слушай команду! — басом прокричал рослый унтер.— На квартиры шагом...

Фыркание лошадей, грохот ошинованных колес, скрип осей и тяжкое засасывающее чавканье невылазных грязей Кишинева замирали вдали. Оба офицера стояли на обочине, прижавшись спинами к палисаднику.

— Ну и что прикажете объяснять? — спросил Тюрберт.— Почему я топчу грязи Кишинева, а не паркет петербургских гостиных, что делает сейчас вся гвардия? Ответ прост: числюсь в приятелях у одной особы, а ее принесло сюда за крестами.

— Я узнал вашего унтер-офицера, Тюрберт, — перебил Брянов.— Кажется, его фамилия Гусев? Значит, вы вывели своих людей из Сербии?

— Конечно, вывел.— Подпоручик недоуменно пожал плечами.— Странно было бы, если бы не вывел. Я не бросаю боевых товарищей на произвол судьбы.

— А я не вывел, — с горечью сказал капитан.— Мой батальон разбежался, а рота Олексина приказала долго жить.

— Да, я слышал, будто поручик в плену?

— Был, — пояснил Брянов.— Был, а потом куда-то делся. Его не оказалось в числе пленных, я специально наводил справки. А это значит, что он погиб.

— Жаль Олексина, — вздохнул Тюрберт.— Знаете, Брянов, у нас с ним были сложные отношения. И вот он погиб, а я в мае женюсь. Я уже получил все разрешения, в мае возьму двухнедельный отпуск, обвенчаюсь — и назад. Вот как все смешно получилось... — Подпоручик еще раз глубоко вздохнул и сокрушенно покачал головой.— Он победил, и я на весь мир готов признать, что по сравнению с ним я трус. Трус, заявляю об этом официально.

— Оставьте вы мальчишничать, Тюрберт, — поморщился Брянов.— Нужны не признания, а объяснения, почему вы предали моих людей.

— Я? Предал?.. — Тюрберт помолчал, точно осознавая сказанное. Добавил уже иным — официальным, холодным, почти оскорбительным тоном: — За такие слова в гвардии бьют по сопатке, капитан. Из уважения к вашему волонтерскому прошлому без битья прошу к барьеру.

— Сначала потрудитесь объяснить.

— Но не здесь же! Не на улице!

— А где? — Брянов зябко поежился в намокшей шинели.— Я стою в переполненном доме.

— Пошли ко мне, — проворчал Тюрберт, подумав.— Тут, кстати, недалеко.

И, сунув руки в карманы плаща, широко зашагал прямо по лужам. мало заботясь, отстают капитан или поспевают следом.

Подпоручик нанимал комнату в чистенькой мазанке. Расторопный денщик тут же раздул складной походный самовар, поставил на стол заварной чайник английского металла, холщовый мешочек с колотым сахаром, ломти белого рассыпчатого хлеба, масло, колбасу, банку сардин и дульцесы — местные сладости, вываренные в меду и сахарном сиропе. Пока он неслышно двинулся из кухни в комнату

и обратно, изредка тихо переговариваясь с хозяйкой, офицеры молчали. Брянов делал вид, что просматривает старые газеты, а Тюрберт хмурился. Когда все было накрыто и кипящий самовар запел в центре стола, подпоручик молча указал на дверь, и денщик беззвучно исчез.

— Рому хотите?

— Нет.— Капитан сел к столу, не ожидая приглашения.— Вот чаю — с удовольствием.

— Какая-то чепуха,— сказал Тюрберт, наливая капитану чай, а себе ром в одинаковые граненые стаканы.— Вы в чем-то обвиняете меня, не зная, что, как и почему, я грожусь ударить вас по физиономии. Интересно, мы когда-нибудь поумнеем?

— Почему вы не поддержали огнем Олексина, Тюрберт? У него был шанс пробиться, если бы вы прикрыли его отход. Опять пожалели снарядов?

— А откуда мне было знать, куда вы запихали Олексина? — огрызнулся подпоручик.— Ко мне пришел какой-то недотепа и потребовал, чтобы я послал с ним своих артиллеристов. Я послал подальше его самого, утром, когда турки поперли на штурм, открыл пальбу, но от вас заявился очередной недотепа и сказал, что вы отходите и мне не стоит даром тратить порох.

— Какой второй посыльный? — поразился капитан.— Значит, был второй посыльный, говорите?

— А вы не помните?!

— А я не знаю! Меня вызвал к себе Черняев, а батальоном временно командовал штабс-капитан Истомин.

Брянов замолчал, только сейчас поняв, в какое положение тогда попала рота Олексина. Тюрберт тоже молчал, хмуро прихлебывая ром.

— Понятно,— проворчал он.— Дай мне бог встретить Истомина, уж я вытрясу из него объяснение, почему он бросил Олексина. А я своих не бросаю, Брянов, и не выношу, когда меня в этом подозревают. В последний раз спрашиваю, налить вам рому?

— Нет.

— Ну и черт с вами, хлебайте чай. Жаль Олексина, ей-богу, жаль. Вы в каком полку?

— Я в резерве.— Брянов помолчал.— От меня ждут, когда я подам рапорт об отставке. Я вернулся в Россию не только с Таковским крестом, но и с вот таким перечнем грехов: зачем дружил с болгарами, зачем гнал в шею русских пьяниц-патриотов, зачем то, зачем это. Я стал неугоден, но рапорт я все-таки не подам: на моем иждивении сестра и у меня нет иных доходов, кроме офицерского жалованья.

— А что же вы получаете, числясь в резерве?

— Ничего, но есть надежда, и под эту надежду я делаю долги. Может быть, и у вас к утру попрошу что-нибудь займы.

— Я не дам,— отрезал подпоручик.— Долги разрушают дружбу. Лучше я попытаюсь достать вам место, Брянов.

— Я персона нон грата, Тюрберт.

— Нам предстоит один нелегкий визит, — вслух размышлял Тюрберт. — Только уж пожалуйста, Брянов, настройтесь вполне верноподданнически. В ваших же интересах.

— А что за визит?

— Завтра узнаете. Кстати, где ваш Таковский крест?

— В кармане.

— Утром не забудьте нацепить. А сейчас спать. Ложитесь на мою койку и не спорьте: я все равно должен идти в батарею.

На следующий день он разбудил капитана ни свет ни заря, был

озабочен и оделся с особой тщательностью. Когда выходили, сказал, куда направляются. Бряннов опешил:

— К великому князю? К младшему? Тюрберт, вы сошли с ума.

— Он вообще-то сговорчив при хорошем настроении, почему я и тороплюсь попасть к нему раньше всех дневных неприятностей.

В небольшом особняке, который занимал адъютант и сын главнокомандующего великий князь Николай Николаевич младший, им пришлось немного обождать. Лощеный офицер, которому Тюрберт как старому знакомому пожал руку, проводил их в маленькую гостиную и молча удалился.

— Признаюсь, это не по мне, Тюрберт, — вздохнул Бряннов.

— Нарушает ваши демократические принципы? Самый главный принцип на свете — хорошо и вовремя поесть, и во имя него стоит поступиться остальными, — отшутился подпоручик.

Часы пробили семь, и с последним ударом в гостиную вошел молодой человек с длинным лицом, над которым нависал мощный, как несгораемый ящик, лоб. Большие, по-романовски бесцветные глаза его смотрели тяжело и пытливо; взгляд точно сверлил насквозь, и Бряннов почувствовал неприятный холодок. Великий князь молча кивнул в ответ на их уставные приветствия и сел, жестом указав, что они могут последовать его примеру. Однако Тюрберт остался стоять, знаком предупредив Бряннова, что пользоваться великокняжеской любезностью не следует.

— Всю ночь читал Тацита, господа, — сказал великий князь. — Увлекательней романа. Рекомендую перечитать. Чем обязан, Тюрберт? Опять кого-нибудь обидели эти пройдохи интенданты?

— Нет, ваше высочество, долг дружбы, не более. Капитан Бряннов, которого я имею счастье представить вам, не только проявил в Сербии редкую отвагу, о чем свидетельствует крест на его груди, но и лично спас мне жизнь.

Капитан Бряннов от неожиданности кашлянул, но промолчал. — Вот как? — Николай Николаевич еще раз и столь же холодно глянул на Бряннова. — Кстати, Тюрберт, ты был не прав: Варенька Никитина отказала всем женихам и решительно избрала высокое искусство. Представьте, господа, дитя, еще ученица, а уже выступает в сольных партиях на сцене Мариинки. Какая легкость, какое изящество, какая итальянская виртуозность и законченность в ее движениях! Ты не бывал в Петербурге, капитан?

— Нет, ваше высочество, — вздрогнув, сказал Бряннов. — Я провинциальный служака.

— Капитан Бряннов больше привык к театру военных действий, ваше высочество, — сказал Тюрберт, упрямо возвращаясь к цели визита. — И на этом театре он солист не хуже Вареньки Никитиной.

— Остроумно. — Великий князь улыбнулся, обнажив на редкость крупные зубы. — Чем командовал в Сербии?

— Батальоном, ваше высочество.

— Лучшим батальоном в корпусе самого Хорватовича, — вставил Тюрберт.

— У тебя задатки коммивояжера, Тюрберт, — с неудовольствием отметил великий князь. — Предоставь капитану самому докладывать о своих талантах.

— Он застенчив. Кроме того, он впервые видит ваше высочество и побаивается, как и все простые смертные.

— Побавляется? — Великий князь не смог скрыть мальчишеского самодовольства. — А ты говорил о его отваге.

— Так вы же не враг, — ворчливо пояснил Тюрберт.

— Ты обаятельнейший из нахалов. Тюрберт. — Николай Николаевич

вич осуждающе покачал массивной головой.— Догадываюсь, что у тебя неприятности, капитан.

— Я в резерве, ваше высочество. Давно в резерве и, признаться...

Бряннов запнулся, не зная, следует ли говорить о своих финансовых затруднениях человеку, который не понимал, что такое деньги. Но великий князь по-своему истолковал его заминку.

— Надоело? Понимаю тебя, капитан.— Адъютант главнокомандующего для пущей важности помолчал и похмурил густые белесые брови.— Только на батальон не рассчитывай, это тебе не Сербия. А вот роту... — Он опять задумался. — Кажется, в Волынском полку есть вакансия.

— Благодарю, ваше высочество.

— Я решу это сам, но вынужден по долгу службы поставить в известность главнокомандующего. Предупреждаю, капитан, у моего отца феноменальная память и он безусловно запомнит тебя. Не подведи меня в деле.

— Слово дворянина, ваше высочество.

— Прекрасно.— Великий князь встал, показывая тем самым, что аудиенция закончена.— Если у вас больше нет вопросов, господа, можете быть свободны. У меня дела, как, впрочем, и у всех нас. В час пополудни я увижу командира волынцев Родионова и скажу ему о тебе, Бряннов. Разыщи его сегодня же.

— Слушаюсь, ваше высочество. И еще раз благодарю.

— До свидания, господа. — Николай Николаевич пошел к дверям, но остановился. — А ведь мне когда-нибудь надоеет твое нахальство, Тюрберт.

— Надеюсь, что это случится не так уж скоро, ваше высочество, — весело улыбнулся подпоручик.

Великий князь погрозил ему пальцем и вышел из гостиной.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

В Тифлис ежедневно прибывали партии запасных для пополнения 74-го пехотного Ставропольского полка в соответствии с расписанием военного времени. Запасных нижних чинов встречали дежурные офицеры; после переключки и беглого осмотра унтеры вели запасников в баню, а оттуда — опять дежурные офицеры! — доставляли их непосредственно в дворцовый сад. Здесь были накрыты столы, за которыми уроженцев забытсй богом Гродненской губернии угощала чаем сама ее высочество великая княгиня Ольга Феодоровна в присутствии всех своих августейших детей. Вырванные из родных деревень, измученные пешим переходом от Владикавказа до Тифлиса и новизной положения, застенчивые белорусы страдали от этой милости пуще, чем от царской службы.

— Слава русским солдатикам! Слава! Слава! — провозглашала растроганная собственным подвигом Ольга Феодоровна.

Августейшие отпрыски, фрейлины и приглашенные на патриотическое чаепитие дамы из тифлисского общества кричали «слава!», махали кружевными платочками и утирали слезы. А смертельно уставшие, плохо говорившие по-русски гродненские мужики скучно глотали чай, через силу жуя сухое, заготовленное впрок царское печенье.

Строевые офицеры не любили этих дежурств и как могли увиливали от царских чаепитий: запасные нижние чины дружно, угрюмо и привычно молчали, а им приходилось, обаятельно улыбаясь, отвечать на сотни глупых вопросов восторженных дам.

— Не пойду больше!— категорически объявил Ковалевскому горячий поручик Ростом Чекаидзе. — Я человек кавказский, у нас не принято с женщинами долго разговаривать.

— Хорошо, голубчик,— подумав, сказал подполковник. — Из уважения к вашим традициям перевожу вас в команду капитана Гедулянова.

— Везет Ростому, — горевали остальные офицеры. — Вот всегда так: наврет с три короба и непременно вывернется. А мы отдувайся.

К весне передовые эшелоны полка уже покинули Тифлис, направляясь на Эривань и далее на Игдырь, на границу с Турцией. В Тифлисе пока оставались тылы, занимающиеся приемом запасных нижних чинов, а также заготовкой фуража и продовольствия. Последнее обстоятельство весьма усложнило жизнь подполковнику Ковалевскому: считать он не любил, а считать приходилось, ибо будущее мясное довольствие из расчета по три четверти фунта мяса на солдатскую душу закупалось сверх довольствия казенного, как добавок, на натуральные, звонкие полковые деньги, которые подполковник всегда полагал деньгами солдатскими. Поэтому днем он, никому не доверяя, лично осматривал скотину, до хрипоты ругаясь с поставщиками, а вечерами мучительно страдал за проверкой счетов, потая и ужасаясь, что пройдох поставщики все равно его обьегорят. Но семья оставалась в Крымской, спешить теперь было некуда, и Ковалевский засиживался в своем маленьком, жарко натопленном кабинетике допоздна.

— Живой вес — пять пуд, четыре фунта и семнадцать золотников,— бормотал он, перепроверя каждую закупленную мясную единицу. — Разделить его на три четверти фунта да помножить обратно же...

Открылась дверь, и без стука вошел Гедулянов: ему подполковник поручил фураж и больше об этом не думал. Капитан у входа стащил сапоги, в толстых носках прошлепал к столу и сел напротив подполковника, опершись о саблю.

— Сено скупил?— не поднимая головы, спросил подполковник.

— Скупил. Сено доброе. И недорого.

— Хватит ли?

— Терехов остальное доставит.

— Хорошо. Слушай, Петр Игнатьевич, а может, мне буйволов взять? — вдруг оживился Ковалевский. — Буйволов задешево сторговать можно.

— Неуваристы,— кратко сказал капитан. — Жилы да шкура.

— Это верно, — согласился подполковник. — Солдатушек в походе надо кормить крепко.

Он вновь склонился над бумагами, а капитан по-прежнему угрюмо молчал, тяжело опираясь на саблю. Потом вздохнул, точно наконец-таки решившись, и сказал:

— Тая в Тифлисе.

— Что?.. — Подполковник медленно выпрямлялся, сидя на стуле и не отрывая глаз от Гедулянова.

— Говорю, Тая в городе.

— Тая? Наша Тая? Здесь?— Ковалевский судорожно тискал грудь под расстегнутым сюртуком. — Может, ошибся? Не она, может?

— Она. Окликнул, а она от меня бегом. Прямо бегом, не оглядываясь.

— А где же она, где? На что живет, как?

— Где да как — завтра узнаю. Унтера толкового за нею послал, он выследит.

— Господи!— Подполковник вылез из-за стола, затопал по комнате такими же, как у Гедулянова, вязаными носками. — А что я Сидоровне скажу? И как скажу-то, как? Ведь наповал это ее, наповал!

— Погодите Сидоровне писать,— сказал Гедулянов. — Это всегда успеется, сперва сами разберемся.

— Что?— не слушая, спросил Ковалевский. — Что же это она ко мне-то не идет, а? Писала ведь, что в Москве, что учиться пошла, и на тебе — вдруг Тифлис! Почему Тифлис, зачем Тифлис? А на что же живет-то, а? На что?

Гедулянов утрюмо молчал, потому что знал все ответы на эти беспомощные родительские «зачем» да «почему». Еще неделю назад Ростом Чекаидзе сообщил ему, что бывший подпоручик фон Геллер-Ровенбург отпущен из тюрьмы на поруки и проживает теперь в гостинице. Вот в этом странном освобождении Геллера, содержавшегося в Метехском замке за дуэль, и видел капитан Гедулянов причину поспешного возвращения Таи. «А мальчишка погиб ни за грош,— думал он. — Вот и пойми их, кобылиц этих... Нет уж, только не в Тифлисе, только не у отца на глазах...»

Он не сожалел, что сказал Ковалевскому о Тае. Подполковник непременно услышал бы об этом, но услышал бы как сплетню, как пикантную историю, а Гедулянов уже все делал для того, чтобы пресечь это, чтобы принять какие-то меры. Пресечь то, ради чего Тая бросила учебу в Москве и примчалась сюда, в Тифлис: связь с фон Геллером. Вот этого допустить капитан никак не мог: сама мысль об этом была для него мучительна.

— Узнаю — доложу, — кратко сказал он Ковалевскому, вставая. — Думаю, завтра к вечеру ясность будет.

— Завтра Евгений Вильгельмович приезжает, — зачем-то сказал Ковалевский, точно приезд фон Борделиуса мог чем-то помочь в его отношениях с дочерью.

— Вот это хорошо,— с неожиданной радостью сказал Гедулянов. — Это очень вовремя, что приезжает.

На следующий день, еще ничего не успев узнать о Тае, он разыскал фон Геллера в маленькой скромной гостинице. Вошел без стука в номер и остановился в дверях, не снимая ни фуражки, ни перчаток.

— А, это вы, Гедулянов,— без всякого удивления отметил Геллер.

Он лежал на кровати поверх шелкового покрывала в одежде и ботинках. То ли оттого, что одежда эта была гражданской, то ли от пребывания в тюрьме, но выглядел он осунувшимся и похудевшим и стал словно бы меньше ростом. Сел, спустив ноги, провел ладонью по бледному, отекающему лицу.

— Проходите, раз пришли. Что там еще?

Капитан молча прошел в номер и сел на стул, так и не сняв фуражки, точно подчеркивая этим кратковременность и официальность своего визита. Привычно оперся о поставленную между колен саблю и неторопливо, внимательно оглядел комнату. Он искал следы пребывания Таи, но ни предметов, ни вещей, ни каких-либо безделушек, принадлежащих женщине, не обнаружил. Геллер молчал, вяло растирая мятое лицо и тупо уставясь в пол.

— Что же суд?— сухо спросил капитан. — Откупились?

— Уволен из армии,— с ленивым безразличием сказал Геллер.— Подал прошение в казачьи войска. Вот лежу, жду ответа.

Гедулянов внимательно посмотрел на него, спросил напрямик:

— В Москву телеграмму давали?

— В Москву? Зачем в Москву? Кому?

— Не лгите, Геллер.

— Разучился, капитан. — Геллер криво усмехнулся. — Он перед

смертью «мама!» крикнул. До сих пор крик этот слышу. Засну и слышу — и в поту просыпаюсь.

Геллер говорил правду, Гедулянов уже не сомневался. И в то же время он никак не мог расстаться с собственной версией, что Тая приехала сюда ради этого помятого, согнутого, а может быть, уже и сломленного человека. Не умея лукавить, спросил напрямик:

— Таисия Ковалевская в Тифлисе, это вам известно? Виделись с нею?

— Тая?..

Лицо Геллера вдруг подобралось, определилось, мягкие, распущенные губы стянулись в нитку, а в глазах мелькнул ужас. Он вскочил, прошел к столу, возле которого сидел Гедулянов, взял папиросу, чиркнул спичкой; пальцы его дрожали, что было очень заметно по пляшущему огоньку.

— Тая в Тифлисе? Мне сказали как-то, что в Москве она, и я обрадовался. Нет, не обрадовался, лгу: я бояться стал меньше. Думал, хоть ее-то никогда в жизни не встречу... Зачем она здесь?

— У вас спросить хотел.

Геллер молча курил, глядя в стол. Потом поднял на капитана растерянные глаза, сказал, и губы его дрогнули:

— Вот встречи с нею не выдержу. Боюсь, не выдержу, Гедулянов.

Это признание было для капитана уж совсем неожиданным. Он видел искренний страх Геллера, его отчаяние и нехотя отказывался от своих первоначальных предположений. Да, Геллер никак не был более связан с Таей, приходил в ужас от одной мысли о возможной встрече, но тогда оставалось неясно, зачем и почему Тая, оставив Москву, вдруг прикатила в Тифлис.

— Значит, не знаете, — сказал он и встал. — Сожалею, что потревожил.

— Подождите, Гедулянов, — нервно захрустел пальцами, засуетился Геллер. — Не говорите ей, что я на свободе, что в Тифлисе, что я жив, не говорите. Пожалуйста, прошу вас, не говорите! Я не могу сейчас уехать из города, я решения жду, а как получу приказ, так тотчас же уеду, часа не задержусь, поверьте. Только не говорите ей, я же свидания этого не выдержу. Я же знаю, зачем она сюда приехала: меня добить, меня уничтожить. А я в щель забьюсь, я выходить никуда не буду, только ей не говорите...

— Трус, — с презрением сказал Гедулянов. — Нашкодил и в штаны наложил со страху? Жаль, не на меня ты нарвался и не на Ростом: гнил бы в земле сейчас, подлая душа. Мальчика убил, Тае жизнь испортил и опять о себе думаешь, о себе трясешься? Так не дам я тебе покоя, слышишь? У казаков спрятаться хочешь? Не выйдет, меня все казаки на линии знают. Все, вырос я здесь! И всем расскажу, что ты есть и где прячешься, всем — и Тае прежде всего. Пусть она в глаза твои посмотрит. Вот и живи теперь в страхе господнем, крыса!

И вышел из номера, остервенело хлопнув дверью.

## 2

Героя из Федора не вышло; у него хватило мужества осознать это, но к мучительному чувству стыда и острого недовольства собой примешивалось обидное ощущение, что его пожалели поспешно и умилительно. Не найдя в себе сил отвергнуть эту жалость сразу, утром сказал, пряча глаза:

— Я недостойн вас, Тая. Не достоин ни вашей жалости, ни тем паче вашей любви. Вероятно, я тряпка, но я не подлец. То, что произошло между нами, налагает на меня обязательства, и я, поверьте...



— Никаких обязательств, — тихо сказала Тая. — И не надо об этом, пожалуйста, не надо.

Она с трудом сдержалась, чтобы не разрыдаться, не закричать. Федор не только не смог простить ей истории с Геллером, он не смог и понять того, почему она первой сделала шаг навстречу ему. Так она думала, из последних сил стараясь не показывать, какую боль испытывает при этих мыслях.

— Но я... я не могу уйти. — Федор растерянно развел руками. — Некуда мне уходить.

— И не надо, не беспокойтесь, пожалуйста, — торопливо говорила Тая: ей хотелось убежать, исчезнуть, только бы не быть с ним рядом. — Я умею шить, мы прекрасно обойдемся...

И сразу ушла. Ходила весь день по улицам, никого не видя и ничего не слыша. Но вечером принесла купленное в лавке одеяло.

— Все-таки вам будет теплее.

И опять допоздна сидела у хозяйки. Федор проспал ночь на полу, завернувшись в одеяло, и на следующее утро им стало как-то проще. Правда, они еще избегали глядеть друг на друга, да и разговор вязался плохо, но все же вместе напились чаю, и Тая вновь поспешно ушла.

— Так это не может продолжаться, — сказал Федор за ужином. — Нет, нет, Тая, не спорьте, я все время думаю об этом. Вы чудная, благородная, а я... — он помолчал, — в нахлебниках?

— Ну что вы, Федор Иванович. — Тае стало легче, что он заговорил, но тема разговора ей не нравилась. — Деньги пока есть, а скоро я куда-нибудь устроюсь, и вообще пустяки какие.

— Нет, это не пустяки, — вздохнул он. — Я не о деньгах же, я... Я о себе говорю, уж извините, но о себе. Даже если вы наследство завтра получите, я же не могу при вас в приживалках, ведь правда? И жить нам вместе не следует, это мучительно, двусмысленно как-то.

Он опять касался этой темы, опять обижал, напоминая. Тая понимала, что он не стремится обижать, что просто ищет выход, но ей стало больно.

— В Тифлисе служит господин Чекаидзе, он был секундантом на дуэли. — сухо сказала она. — Если угодно, я разыщу его.

— А я расскажу ему всю подноготную? — Федор резко отодвинул стул, отошел к окну и закурил. — Извините, я понимаю, вы хотели как лучше, но... Как лучше не получается, Тая. Не получается, заколдованный круг!

На этом тогда и кончился разговор. Возобновился он через двое суток, когда оба достаточно успокоились, притерпелись к своему странному положению и уже начали оберегать друг друга от воспоминаний.

— Я много думал, Тая, — сказал Федор, впервые открыто посмотрев ей в глаза. — Знаете, ничто так не обостряет мысли, как одиночество: в поисках собеседника начинаешь выворачивать себя и в конце концов докапываешься до первопричины. До того червячка, который гложет изнутри.

Тая выдержала его взгляд, с ужасом чувствуя, что начинает краснеть и — это было самое страшное! — радоваться. А ей нельзя было ни краснеть, ни тем более испытывать радость от его наконец-таки просветленного взгляда; она с отчаянием подумала, как это скверно, и поэтому почти не расслышала, что он говорил.

— Знаете, кажется, я нашла работу, — невпопад сказала она первое, что пришло в голову. — Очень приличная хозяйка, она обещала...

— Это хорошо. — Федор неуверенно улыбнулся, заставляя себя смотреть в темные, очень напряженные глаза так, как смотрел в Мо-

скве. — Дело ведь не в куске хлеба, Тая, дело в том, чтобы человека в себе ощущать, правда? А я потерял в себе человека, потерял, в под- леца оборотился, и в подлеца-то трусливенького. Нет, нет, не переби- вайте меня, мне нужно все вам сказать, все как на духу, наизнанку вывернуться.

— Ох, Федор Иванович, — несогласно вздохнула она.

— Нет, нужно, нужно. — упрямо повторил Федор. — Я сам себя понял и сам себя осудил за... за многое, очень многое, поверьте. Че- ловек должен быть гордым от сознания самого себя, иначе он не чело- век, а полчеловека. Руки, ноги, сила, разум, а все — без руля и без ветрил, все — без цели и смысла. Из такого что угодно сотворить можно: убийцей сделать, насильником, клятвопреступником, подле- цом — что надобно, то он и сделает, потому что себя не ощущает бо- лее, только на то и способен, что чужую волю исполнять. А я не могу таким быть, не могу, не желаю! Я лучше пулю себе в лоб, чем так-то!..

Федор всегда говорил красно, но сейчас в его словах звучала ис- кренность, и Тая сразу поверила ему. Протянула руку через стол, коснулась рукава его тужурки и тотчас же отдернула пальцы словно от горячего.

— Господь с вами, Федор Иванович.

— Господь с теми, кто верует, — сказал Федор, нахмурившись и убрав руки со стола. — Вот и я хочу уверовать. Снова в себя уве- ровать, сильным себя ощутить, сильным и гордым, иначе... — Он по- молчал, закурил, вновь прямо посмотрел в ее глаза. — Я испытать себя должен, Тая. Испытать на деле простым и благородном, вот что я понял. Коли выдержу — снова человеком стану, а уж коли и там сподличаю, смалодушничаю, струшу — тогда все, конец мне тогда. Тогда крест на мне ставьте.

Он замолчал, разглядывая папиросу. А Тая из всех его слов вы- делила последние, прозвучавшие для нее особенно, как обещание, как мостик на будущее, как «ждите меня». И опять со страхом ощутила, как тревожно забилося сердце.

— Такое дело есть: война вот-вот начаться должна, — продол- жал он, снова посмотрев на нее. — За чужую свободу идем воевать, что может быть благороднее?

Он увлеченно говорил о войне, о великой исторической миссии России, о спасении самих себя в борьбе за чужую свободу, но Тая уже не слушала. Она поняла вдруг, что не хочет с ним расставаться, что боится его ухода, потому что он уже никогда более не вернется к ней, и сейчас боролась с этим чувством, глушила его, убеждая себя, что это единственный выход, но выход — для него.

— Я встретила сегодня капитана Гедулянова, — сказала она. — Испугалась почему-то, убежала. Но я найду его.

— Тая, — он улыбнулся ей тепло и благодарно, — вы чудесная, чудесная, только я капризный. Знаете, к кому я мечтаю попасть под начало? К Скобелеву. Уж он-то меня не пощадит, потому что себя щадить не умеет, а с ним рядом и я, глядишь, воскресну. Еще, может, и крест заслужу, чем черт не шутит!

Каждый день Тая бегала в поисках работы, но без рекомендаций ее нигде не брали, а деньги таяли. Она беспокоилась, как прокормит Федора, когда они кончатся, но теперь уж и не думала об этом. Федор уходил, уходил навсегда, а о себе беспокоиться было и непривычно и бессмысленно. Все думы ее были сейчас только о нем: как он убе- режется там от пуль и сабель, от простуд и болезней.

— Прощения просим, барышня.

Тая остановилась, точно очнувшись. Бежала, привычно никого

не замечая, и вдруг услышала почтительное обращение и увидела немолодого уже унтер-офицера с добрым улыбочивым лицом.

— Вы меня? Что вам угодно?

— Прощения просим, — повторил унтер. — Пожалуйста в экипаж.

Рядом оказалась извозчичья пролетка с поднятым верхом. Тая не успела даже испугаться, как унтер ловко посадил ее на подножку. Она хотела рвануться, закричать, но тут из пролетки высунулась рука, втащила ее внутрь, и лошадь сразу взяла с места.

— Простите, что так пришлось, — хмуро сказал Гедулянов, по-прежнему крепко держа ее за руку. — А то все бегаєте от меня как от зачумленного.

— Петр Игнатьич! — Тая задохнулась в слезах. — Боже мой, Петр Игнатьич, боже мой, какое счастье, что это вы. Я ведь со стыда тогда удрала от вас, только со стыда.

— Ну успокойся, успокойся. — Гедулянов совсем как в детстве, в Крымской, обнял ее за плечи. — Такая большая девочка и реветь. Совестно реветь-то, солдатская ведь дочь.

Остановились возле духана. Хозяин проводил за перегородку, принес зелень, сыр, кувшин вина. Ушел жарить цыплят, они остались одни, и Тая, тихо всхлиывая, рассказала почти все. Утаила лишь причины бегства Федора в Тифлис да их отношения.

— Он к Скобелеву мечтает попасть.

— Ешь, — сказал Гедулянов, размышляя. — Может, в Крымскую тебя отправить?

Тая отчаянно затрясла головой.

— Не хочешь, значит, к матери, — спокойно отметил он. — Что ж, понимаю, там сейчас бабы одни остались. Так трепать начнут, что и света не взвидишь. В Москву, может, вернешься?

Тая не успела ответить: духанщик принес цыплят. Пока он ставил их на стол, резал и красочно расхваливал, и Тая и Гедулянов молчали. Капитан пил вино, а Тая, рассеянно отщипывая лаваш, напряженно думала. Черные бровки ее смешно ерзали при этом, и Гедулянов, чуть улыбаясь, любовался ею. Наконец разговорчивый духанщик ушел.

— Ну, надумала?

— Я с вами хочу, — не поднимая глаз, призналась она.

— Как так с нами? — опешил капитан. — С кем это с нами и куда с нами?

— На войну, — сказала Тая; она не могла вернуться в Москву, что-то объяснить Маше и выбирала, как ей казалось, самое простое. — Не удивляйтесь, Петр Игнатьич, я думаю, что говорю. Нам на Курсах про перевязки рассказывали, немного учили, а сейчас сестер милосердия в военно-временные госпитали набирают, я читала об этом. Это благородно, потому что за чужую свободу идем воевать. И потом, мне легче будет; вот посмотрите, что легче.

— Что легче? — недовольно проворчал он не поняв. — Раненым солдатам поганые ведра подавать — это, что ли, легче?

— Потом, — чуть покраснев, с досадой сказала она. — Потом, после войны. Я кто сейчастакая? Ну кто я такая, скажите? Не знаете, как назвать, или стесняетесь? А после войны я опять человеком стану...

Она говорила что-то еще, говорила горячо, долго — капитан не слушал. С острой, всепоглощающей ненавистью он думал сейчас о Геллере, минутный каприз которого привел дорогую ему девочку на край катастрофы. Но поворчав и поспорив — больше для порядка, — он признал возможным и такой исход. Действительно, армия нуждалась в сестрах милосердия, в городах, в том числе и в Тифлисе, открывались курсы, и поток молодых женщин, добровольно изъявивших

желание послужить отечеству, все возрастал: об этом много и неизменно восторженно писали газеты.

— Да, это верно, — в задумчивости говорил он. — Вон и баронесса Вревская, читал я, тоже желание изъявила... Ладно, так решим: сейчас я тебя к батюшке твоему доставлю — ни-ни, и спорить не моги, доставлю! — а сам с этим, как его, с Федором Ивановичем переговорю.

— Нет, Петр Игнатьич, — Тая грустно улыбнулась, — и спорить не буду и по-своему сделаю. Помогите Федору Ивановичу к Скобелеву попасть, уж какими путями, не знаю, но хоть чем-либо помогите. А я провожу его и приду. Обещаю вам это.

В улыбке ее было что-то новое, взрослое, незнакомое капитану. Он с грустью отметил это новое, еще раз помянул про себя недобрим словом фон Геллера, но уговаривать Таю не стал.

На другой день Гедулянов явился к полковнику Бордель фон Борделиусу, испросив разрешения на частную беседу. Напомнил о портупей-юнкере Владимире Олексине, немного поведал о возвращении Таи и попросил рекомендательное письмо к Михаилу Дмитриевичу Скобелеву для Федора Олексина. Евгений Вильгельмович долго хмурился и покашливал, выражая неодобрение, но капитан был настойчив.

— Ради этого письма он приехал в Тифлис, господин полковник. Он мечтает о нем, поскольку это даст ему возможность познакомиться с героем Туркестана.

— Признаться, не уверен, помнит ли еще меня Михаил Дмитриевич, — сказал наконец полковник. — Служил он в нашем полку недолго, и когда же это было! Да и где-то он сейчас.

— Уж мимо Кишинева не проедет, — улыбнулся Гедулянов.

— Это верно, — вздохнул Евгений Вильгельмович. — Что ж, попробую написать.

Вечером Тая вручила Федору рекомендательное письмо к генерал-майору свиты его императорского величества Скобелеву-второму.

— От самого Евгения Вильгельмовича. Они вместе служили.

— Тая, дорогая, я и не знаю, как вас благодарить.

— Говорят, Скобелев очень смелый. Будьте благоразумным, Федор Иванович, прошу вас.

— Ну конечно же, конечно, я же хочу с крестами вернуться.

— Вернуться?

— Все будет прекрасно, Тая, все будет замечательно, вот увидите!

Федор не замечал ни ее грустного вида, ни с трудом сдерживаемых слез, ни вымученной улыбки. Он уже ехал, уже представлялся Скобелеву, уже воевал...

На почтовой станции, от которой отправлялись пароконные линейки на Владикавказ, они стесненно молчали. Тая очень хотела спросить, вернется ли он в Тифлис, но не решалась, страшась услышать правду. А Федор со все возрастающим нетерпением ждал, когда же наконец тронется в путь.

— Я вам газету куплю, — сказала Тая, когда молчание стало совсем уж невыносимым.

Газету продавали за углом. Бойкий парень подмигнул озорным глазом:

— Берите, барышня. Тут про убийство из-за любви.

На ходу Тая развернула еще сырые листы. Мельком глянула, задохнулась, испуганно спрятала газету.

— Еще не продают, — пряча глаза, сказала она, вернувшись.

— Ну и ладно, так доеду, — сказал Федор. — Уж сигнал дали, чтоб садиться. Так что...

Он замолчал, растерянно затоптался. Тая изо всех сил улыбнулась, протянула руку.

— Берегите себя. Обещаете?

Он вдруг резко согнулся, точно сломавшись пополам, припал губами к ее руке.

— Простите, Тая. Знаю, недостойн прощения, но все равно, бога ради, простите меня.

Тая крепко прижала его голову к груди, но он высвободился и не оглядываясь побежал к уже тронувшейся в путь линейке.

Тая стояла, пока экипажи не свернули в горы. Потом вздохнула, отерла слезы и достала газету. В той утренней газете на последней странице было маленькое сообщение:

*«Вчера в два часа пополудни в номере гостиницы господина Гагавы застрелился насмерть бывший подпоручик 74-го пехотного Ставропольского полка Герман Станиславович фон Геллер-Ровенбург».*

### 3

— Господи, вразуми меня! — жарко и истово шептала Варя, и слезы текли по ее лицу. — Господи, я потеряла разум! Господи, избавь меня от мук моих, научи, как мне жить дальше!

Стояла глухая весенняя ночь, в доме горела только одна лампада, освещаая скорбный потускневший лик в серебряном окладе. Розовые огоньки струились и дрожали, отражаясь в старом серебре, и Варя глядела не на божий лик, а на эти играющие, обманчивые и жаркие сполохи слабого лампадного света.

— Господи, вразуми!

Она никогда не была религиозной и не стала ею, но живого и разумного советчика не было сейчас рядом, и Варя, столь часто обращавшаяся к богу, спорила, в сущности, сама с собой. Спорила молча, даже наедине, лицом к лицу с иконой не решаясь произнести вслух то, что мучило ее, что уж много ночей не давало уснуть, а если, устав и исплакавшись, она и засыпала, то это нерешенное приходило во сне, усмехалось, обнажая крепкие молодые зубы, уверенно звало куда-то. Варя просыпалась в томлении и страхе, падала на колени, шептала бесконечные «вразуми, господи!», но опять не решалась ни в чем признаваться. Если бы ей не предложили миллиона, если бы ей просто улыбнулись так, как улыбнулись однажды, она бы уже, наверное, была там, в далеком Кишиневе, бросив все. Сила, которая глянула на нее серыми твердыми глазами, уверенность, что сверкнула ей белозубой улыбкой, были как бы отражением ее собственного бессилия и неуверенности, были тем родником, к которому она не задумываясь готова была припасть, но деньги... Деньги словно перечеркивали эту душевную силу; улыбка манила и притягивала, а деньги — отталкивали, и Варя изнемогала в борьбе между этими взаимно уничтожавшими друг друга силами. «Господи, ну почему же я одна, почему нет мамы? — с горечью думала она. — Мне же не с кем посоветоваться, я же одна теперь, во всем мире одна».

А время шло, нетерпение возрастало, и невозможно было ни на что решиться. Его не было, этого решения, которое одновременно успокоило и примирило бы и ее чувства и ее совесть. Не было, не могло быть; в ужасе от этой мысли Варя и вскакивала по ночам, падая коленями на холодный пол.

Во дворе яростно залаяла, но тут же успокоилась собака, за зашторенными окнами Вариной комнаты послышались осторожные шаги. Варя прислушалась: где-то рядом, вероятно в гостиной, заскребли в окно, словно пытаясь открыть его с той, наружной стороны. Кто-

то тайком пытался проникнуть в спящий дом, но Варя совсем не испугалась. Встала с колен, зажгла свечу и, сунув ноги в мягкие комнатные туфли, неслышно прошла в гостиную. Остановилась в дверях, прикрыв ладонью огонек. И тотчас же скрипнуло отворяемое окно, заколыхалась портьера, и через подоконник ловко перепрыгнула мужская фигура. Варя отважно шагнула вперед и подняла над головой свечу.

— Кто здесь?

— Ну я, — чуть помедлив, сказал Иван. — Спать надо, а ты не спишь.

— Откуда ты? И почему так странно, не как все люди?

— Так все люди дрыхнут, — весело пояснил он. — Обожди, закрою окно. — Он откинул портьеру, шумно и радостно вдохнул полной грудью. — Хорошо-то как, Варенька!.. — Закрыв окно, повернулся к ней. — Давай поговорим, а? Я все равно уж не усну, а поговорить хочется. Очень надо поговорить, потому что я взрослый, понимаешь? Я стал совсем взрослым, Варя, и поступать теперь надо взрослому, по-мужски.

— Идем, — сказала она, вдруг ощутив беспокойство. — Это все странно, Иван.

— Это все чудесно, сестра, — сказал он, подойдя и обнимая ее.

И тихо рассмеялся. А она отшатнулась.

— От тебя вином пахнет!

— Пахнет, но я не пьян, не бойся. Я просто... — Он недоговорил. — Ну идем же, идем. Замерзнешь.

Брат с сестрой прошли в спальню Вари. Она накинула на плечи платок и села в кресло, обернув ноги одеялом. А он зажег лампу, потушил свечу и вольно плюхнулся на стул.

— Я женюсь, — сказал он, тихо и блаженно улыбаясь. — Не сейчас, разумеется, через год или два. Но она будет ждать меня. Она чудная, Варя, она изумительная, прекрасная женщина, и я счастлив. И вы все полюбите ее. И ты, и Маша, и Вася, и даже тетушка.

— Так, — сказала она, пытаясь собрать мысли, разбежавшиеся от этой новости во все стороны. — Подожди, подожди, это все очень странно и... по-моему, неприлично. По-моему, неприлично, — строго повторила она. — Где ты был ночью?

— У нее. — Иван опять улыбнулся счастливой и очень глупой улыбкой. — Я же сказал, что женюсь. Так вот, Варя, я не только хочу этого, но и обязан как честный...

— Мальчишка! — гневно перебила Варя. — Долг перед юбкой, которая легкомысленно уступила тебе до венчанья? Это бесчестье, а не долг, сударь! Бесчестье для всей нашей семьи, понятно это тебе? Говори, сейчас же говори, кто она такая?

— Ты кричишь, а я ведь тебя не боюсь, — спокойно сказал Иван. — Я вообще никого не боюсь, потому что я прав. А оскорблять женщину — низость, Варвара. Я не хочу тебя более слушать, но предупреждаю, что все равно сделаю по-своему. — Он встал и пошел к дверям, но остановился. Сказал уже иным, вымученным и просящим тоном: — Скажи, у нас есть деньги? Я не знаю, как это полагается, но готов как угодно. Под расписку, под вексель в счет наследства...

— Вон! — еле сдерживая слезы, прошептала Варя. — Вон, негодяй, убирайся вон, слышишь?

Гнев ее был велик и искренен, и Иван вдруг растерял весь свой апломб. Съежился, втянул голову в плечи и вышел тихо, на цыпочках, осторожно прикрыв дверь.

Однако у себя в комнате он быстро успокоился. Он не желал ни о чем думать, он верил, что все будет прекрасно, потому что чувст-

вовал каждую клеточку своего тела, тайную мощь которого постиг только сегодня. Его переполюнула дикая, почти звериная радость от этого открытия, а такой гордости и такого довольства собой он не испытывал никогда. Ему не хотелось спать, не хотелось ни о чем думать, а хотелось только вспоминать то, что было совсем недавно и что породило в его душе этот восторг, это упоение самим собой. Он лежал на кровати, закинув руки за голову и счастливо улыбаясь... «Вы уедете в Тулу, к моему брату Василию. А я закончу в...» — «Но нужны деньги». — «Что? Деньги нужны, я знаю. На проезд я достану, а там Вася...» — «Нет, вы не поняли меня. Я должна заплатить неустойку, иначе меня не отпустят. Ведь я же уеду и сорву им все выступления. И труппа прогорит. А так нельзя, надо заплатить долг». «Конечно, конечно», — торопливо согласился он. «Две тысячи рублей. И не позже четверга, никак не позже». Он вспомнил об этих двух тысячах, с досадой отбросил эту мысль, хотел подумать о чем-то другом — и уснул. Крепко и молодо.

На следующее утро Иван объявил себя больным, не пошел в гимназию и даже не вышел к завтраку. Ему и в самом деле было неважно: побаливала голова, во всем теле ощущалась какая-то непривычная вялость. Но не выходил он не по этой причине, а просто не хотел, не мог видеть Варю. Мыкался по своей комнате, чуть ли не скрипя зубами, со стыдом и ужасом вспоминая, как ночью с телячьей радости ляпнул о Дашеньке, о том, что намерен жениться, просил денег. Сейчас и о самой-то Дашеньке, о всей той ночи он вспоминал со странным чувством — не то чтобы со стыдом, но с ощущением непоправимости свершившегося. Нет, он и в мыслях не допускал, что обманет любящую его женщину и не исполнит обещанного, но то, что вчера казалось таким простым, сегодня выглядело почти невозможным. Он не знал, не мог даже представить, где он, ученик старшего класса гимназии, может достать две тысячи рублей. Если бы жива была мама, он пошел бы к ней, упал на колени, во всем признался, и мама наверняка нашла бы достойный выход и спасла его честь. Но мамы не было, а говорить с Варей после вчерашней счастливо-пьяной болтовни, после ее крика: «Вон, негодяй!» — было уже невозможно, и Иван метался по комнате, то падая на кровать, то вскакивая снова.

Так прошли суббота и воскресенье, а в понедельник Иван опять не пошел в гимназию. Он похудел и почернел за эти два дня, он передумал все, о чем только можно было думать, он создал и разрушил тысячи планов, но так ничего и не придумал. Ни одолжить, ни попросить, ни тем более заработать такую сумму было немыслимо. «Украду, — тупо повторял он, устав от пустых размышлений. — Украду, отдам ей и застрелюсь».

Вари с утра дома не было — куда-то уехала, а куда именно, Иван не интересовался. Детей отправили — кого в гимназию, кого заниматься дома с учителями, Гурий Терентьевич еще не приходил, а тетушка сидела в гостиной. Иван метался по дому, но в гостиную только заглядывал, думая, что Софья Гавриловна корпит, как обычно, над счетами, но потом разглядел, что она сосредоточенно раскладывает большой королевский пасьянс, а в углу привычно дремлет Ксения Николаевна. И — боком-боком — вошел в гостиную.

— Что тебе, Иван? — спросила тетушка, размышляя, как ей избавиться от короля.

Иван молчал, сосредоточенно изучая паркет.

— Тебе неможется? Завтра приглашу врача.

— Не надо, я здоров, — хрипло сказал он, по-прежнему не поднимая головы. — Мне уж никто не поможет, кроме мамы. А ее нет.

Софья Гавриловна аккуратно положила короля, поправила сползшее пенсне — эта вечная проверка счетов не прошла даром для ее зрения — и внимательно посмотрела на Ивана.

— Сядь. — И строго добавила, потому что он продолжал стоять как истукан:— Не угнетай меня высотой.

Иван беспомощно глянул, тотчас же опустил глаза и через плечо выразительно покосился на Ксению Николаевну.

— Голубушка Ксения Николаевна, — тотчас же сказала тетушка, — распорядитесь насчет чаю. И сами заварите, вы по этой части мастерица.

— Заварю, матушка, китайского заварю, с четырьмя мандаринами.

Приживалка выкатилась из гостиной.

— Затвори двери и садись, — сказала Софья Гавриловна. — У тебя что-то случилось, и ты потерял лицо.

Иван сел напротив, избегая смотреть в глаза. Долго вздыхал, собираясь с силами, но так ничего и не смог выговорить.

— Ты сказал, что тебе могла бы помочь мама. Я—тетя, но, может быть, я тоже могу помочь? Я очень люблю всем помогать.

— Я знаю, — глухо сказал он. — Но мне нельзя помочь.

— Так не бывает, мальчик, — сказала тетушка, улыбнувшись. — Если бы так было, люди б давным-давно вымерли. А они помогают друг другу и не вымирают.

Иван набрал полную грудь воздуха, опять не смог ничего сказать и с шумом выдохнул его. Снова вздохнул, задержал вздох, зажмурился и пробормотал торопливо и невразумительно:

— Если не дадут двух тысяч до четверга, я их украду. Я украду их, тетя, а потом застрелюсь.

— Каких двух тысяч? Я ничего не поняла. Зачем тебе такая куча денег? Ты проигрался в карты?

— Нет, — кусая губы, буркнул Иван. — Я обещал.

— Кому же обещал?

— Это не важно.

— Напрасно ты так думаешь, это-то как раз и есть самое важное. Так кому же? Другу? Ростовщику? Задолжал за мороженое?

— Не смейтесь! — вспыхнул Иван. — Я обещал их женщине, тетя. Женщине, теперь вам все понятно?

— Теперь понятно, — сказала тетушка, помолчав. — Бог мой, ну и цены пошли.

— Тетя, не надо так, — умоляюще сказал он. — Я даже вам не позволю, даже вам. Это прекрасная женщина.

— Конечно, мой друг, конечно, — грустно согласилась Софья Гавриловна, вставая. — Все женщины прекрасны, но бог мой, как же мало вы их любите!.. — Она несколько раз прошла по комнате, остановилась перед Иваном; он сидел, низко опустив голову. — Я не буду спрашивать, кто она; захочешь — расскажешь сам. Но это большая, очень большая сумма, и я хочу кое-что знать. Уж пожалуйста, ответь мне, Иван.

— Я отвечу, — тихо сказал он.

— Что ты еще обещал этой прекрасной женщине, кроме денег? Ты обещал, что женишься на ней, когда закончишь в гимназии? Почему ты молчишь?

— Я женюсь на ней, тетя, — твердо сказал Иван.

— Так я и предполагала, — задумчиво сказала Софья Гавриловна, барабанив пальцами по спинке стула, на котором сидел Иван. — Так я и думала... Две тысячи нужны этой даме, чтобы уехать из Смоленска?



— Да.

— У нас нет таких денег. — Иван дернулся, но она положила руку на его плечо и удержала на месте. — Мы начинаем уже жить в долг, Иван, под векселя, проценты и расписки. Новое время, что делать, что делать, и у этого нового времени никогда уже не будет добрых старых денег.

— Я отработаю, — торопливо заговорил Иван. — Я отработаю, даю вам слово. Я расписку готов дать, вексель под любые проценты...

— Не закладывай, — строго сказала тетушка. — Никогда не закладывай душу свою. Обожди меня здесь.

Она ушла, но отсутствовала недолго; Иван сидел не шевелясь, весь напрягшись и слушая каждый шорох. Вернулась Софья Гавриловна, неся небольшой футляр.

— Вот все, что у меня осталось, — сказала она. — Думала Машеньке к свадьбе... — Она открыла футляр. — Это серьги моей покойной матушки. Они стоят больше двух тысяч, много больше, но ты же не пойдешь их закладывать, правда? И я не пойду, и не будем считать, что да почему: ясная совесть всегда дороже. Отнеси ей, Иван, только пусть она уедет из нашего города. Ты потом ее найдешь, когда закончишь ученье. Хорошо, мальчик мой?

— Тетя! — Иван вскочил, поймал руку Софьи Гавриловны, припал к ней губами. — Тетя, милая тетя, вы спасли меня! Я никогда, никогда в жизни не забуду этого!

И, схватив футляр, опрометью выбежал из гостиной.

— Забудешь, Ванечка, забудешь, — с грустной улыбкой сказала Софья Гавриловна, вновь усаживаясь за пасьянс. — Все забудешь и правильно сделаешь. Жить — это значит сходить с ума...

#### 4

— Да, жаль, что дела в Сербии закончились столь поспешно, — вздохнул молодой генерал с пшеничной, расчесанной на две стороны бородой и детскими синими глазами.

Он стоял у окна, заложив за спину руки и привычно развернув украшенную орденами грудь. За окном сиял весенний кишиневский день, и в каждой луже светило солнце. Князь Насекин молча наблюдал за ним, утонув в глубоком продавленном диване. В гостиничном номере было холодно и сыро; князь мерз и кутался в шотландский плед.

— Да, жаль, — еще раз вздохнул генерал. — Ей-богу, князь, плюнул бы на все и укатил бы к Черняеву. А там пусть судят: семь бед — один ответ.

— Любопытная мысль, — лениво усмехнулся князь. — Если солдат — слуга отечества, то генерал — слуга правительства. Вы слушаете, Скобелев? Отсюда следует, что если солдат-бунтарь принадлежит суду, то бунтарь генерал принадлежит самой истории. Я правильно вас понял, Михаил Дмитриевич?

— С меня моей славы хватит, — ворчливо буркнул Скобелев.

— Фи, Мишель, — вяло поморщился князь. — Мы поклялись говорить друг другу правду. Кстати, вы помните, где это было?

— Париж, пансион Жирардэ, — улыбнулся Скобелев. — Прекрасная пора! Потом мы почему-то решили стать учеными мужами.

— Вас с колыбели изматывал бес тщеславия, генерал. Если братья Столетовы пошли в университет за знаниями, я — по врожденному безразличию, то вы — лишь в поисках лавровых венков. Через год вы переметнулись в кавалергарды, и из всей нашей четверки терпеливо закончил в университете один Столетов-младший. И вот ему-то и

достанется самая прочная слава, помяните мое слово. И только лишь потому, что он о ней не думает совершенно. А вам всего мало, Скобелев. Мало орденов, мало званий, мало славы, почестей и восторгов толпы. Впрочем, я завидую вашей жадности: она зеркало ваших неумных желаний.

Скобелев молчал, с видимым удовольствием слушая монолог князя: он любил, когда о нем говорили, и не скрывал этого. Он не просто жаждал славы — он яростно добивался ее, рискуя жизнью и карьерой. Он искал ее, эту звонкую военную славу, бросаясь за нею то в Данию, то в Сардинию, то в Туркестан. Он ловил свою удачу, азартно веря случаю самого себя.

В Дании, выехав на рекогносцировку с полувзводом улан, ни на секунду не задумавшись, бросил в атаку этот полувзвод, врубился во главе его в пешую колонну противника, захватил штандарт и ушел с несколькими уцелевшими солдатами.

В Сардинии повел на картечь горстку отчаянных головорезов, вошел на позиции артиллерии, переколол прислугу и захватил пушку.

На Кавказе... На Кавказе, кажется, утомился. Читал лекции по тактике офицерам 74-го пехотного Ставропольского полка, лично проводил учения, беспощадно гоня солдат и офицерскую молодежь в бесконечные броски и атаки. Вечерами лихо танцевал с дамами, пил не пьянея и пел под гитару неаполитанские и шотландские песни. Начальство ставило его в пример, не подозревая, что ночами идет азартнейшая картежная игра, в которую примерный Скобелев уже проиграл не только жалованье за полгода вперед, но и орден, лично дарованный ему королем Сардинии.

В Туркестане он прославился еще во время труднейшего похода на Хиву. Киндерлиндский отряд вышел к южным воротам города под его началом: заболевшего полковника Ломакина солдаты принесли на руках. К тому времени Хива уже сдалась частям генерала Кауфмана, стоявшим у северных ворот: уточнялись детали капитуляции, порядок сдачи оружия и ритуал. И в то время, когда личные представители сбежавшего хивинского ха́на и почтенные аксакалы торжественно вручали Кауфману ключи от северных ворот, Скобелев повел Киндерлиндский отряд на штурм ворот южных. Поднялась невероятная суматоха, стрельба, крики; хивинцы, еще не успев сдать оружия, отчаянно отбивались, не понимая, кто, зачем и почему атакует их город. Скоро разобрались, стрельба прекратилась, трубачи отозвали атакующих; подполковник Скобелев получил свирепый нагоняй от Кауфмана и возможность всю жизнь утверждать, что взял Хиву приступом...

Слава нашла его быстро, но у этой шумной, даже чересчур шумной славы оказался оттенок скандала. И этот проклятый оттенок перечеркивал все, даже ту воистину легендарную личную храбрость, в которой Михаилу Дмитриевичу не могли отказать и враги. А их было несколько не меньше, чем друзей: Скобелев был широк, бесшабашен, резок в оценках и безрассудно отважен в решениях. Обладая прекрасным образованием и острым умом, он так и не научился светскому хладнокровию: в обществе его не любили за детское неумение и нежелание прикрываться язвительным юмором или спокойной иронией. Этот большой, сильный, шумный и яркий человек воспринимал театр военных действий прежде всего именно как театр. Ему всегда нужна была главная роль и публика. И еще противник, и чем сильнее оказывался этот противник, тем талантливее становился Скобелев.

Об этом думал князь, насмешливо поглядывая на Михаила Дмитриевича, мерившего номер большими шагами, — ордена звякали на груди.

— Не тратьте на обиды столько внутренних сил, генерал,—как-то нехотя, словно перевозмогая себя, сказал он.—Москва не верит ни слезам, ни слухам.

— Верит,—Скобелев упрямо мотнул головой,—еще как верит!.. Впрочем, в чем-то вы правы: я не люблю Петербург. Нерусский и неискренний город! В нем есть что-то лакейское: Пушкин недаром сравнивал Москву с девичьей, а Петербург с прихожей. Москва болтлива, шумна, слезлива и отходчива, а град Петров пронзирлив, хитер, молчалив и злопамятен. Нет-нет, я москвич душою и телом, и напрасно вы улыбаетесь, князь: говорю это обдуманно и серьезно.

— А ну как государь не простит?

— Что — не простит?

Скобелев спросил с паузой, и в этой паузе чувствовалось напряжение. Будто он и впрямь подумал о том же, а подумав, сжался. Не струсил — он уже привык волей подавлять в себе всякий страх, — а именно сжался, съезжился внутренне.

— Генерал свиты его императорского величества Скобелев бросил войска, губернатор Скобелев оставил вверенную его попечению область — не слишком ли много? Было бы что-нибудь одно — ну бог с вами, Михаил Дмитриевич, пошалили — прощаем. Но вы же едины в двух лицах, и оба эти лица без монаршего соизволения оказываются сначала в Петербурге, потом в Москве, а затем и в Кишиневе.

— Я требую, чтобы меня судили! — громко сказал Скобелев.— Я готов отвечать перед любым судом, лишь бы положить конец гнусным, порочащим меня слухам. Намекнуть об исчезновении казны кокандского хана в то время, когда я штурмом беру этот самый Коканд, — да за это убить вас мало, господа корреспонденты!.. Ну убью, допустим, а что дальше? Слух назад не отзовешь, слух пополз, затрепыхался, взлетел даже! Уж из дома в дом порхает, из гостиной в гостиную: «Слыхали, генерал-то Скобелев кокандскую казну... того, знаете...» Ну и что прикажете делать? Что? Единственно искать защиты у государя. Единственно!

— И что же государь? — негромко поинтересовался князь.— Понял вашу оскорбленную душу и тотчас распорядился с судом?

— Как бы не так.— шумно вздохнул Скобелев, вновь принимаясь широко и упруго шагать по номеру.— Государь сказал, что генералов своей свиты он под суд не отдает, рекомендовал отдохнуть на водах и... И вот я не у дел. Генерал без войск, правитель без территории. А за спиной шушукуются, на улицах не узнают, а скоро и в гостиных руки подавать не будут.

— И все же не ответили: боитесь вы гнева монаршего, генерал без войск, и лишь бравируете или действительно не боитесь?

— Действительно не боюсь,— улыбнулся Скобелев.— Не из безрассудства, а по расчету, князь. Удивлены, поди: расчет — и Скобелев. Однако расчетец есть, поскольку в моем послужном списке значится Гродненский гусарский полк — служил там корнетом в шестьдесят четвертом. Между прочим, в Четвертом эскадроне означенного полка служил когда-то — в тридцать восьмом, что ли, — и корнет Лермонтов. Ну-с, так вот: государь был шефом этого полка с семилетнего возраста, а однополчан, как известно, прощают.— Он шумно завздыхал, потерев обеими руками любовно расчесанные бакенбарды.— А жаль все же, что в Сербии замирились: ударить бы нам османам под дых одновременно с Черняевым, куда как славно бы было! Ну да ладно, что Сербия — мне сейчас все равно, лишь бы из отечества милого долой.

— По пулям соскучились?

— Напрасно иронизируете, пули имеют и свою благодатную сто-

рону. Когда они свистят вокруг, в вас сами собой просыпаются желания. Например, лечь, убежать, пригнуться. Одним словом, жить. Вы, поди, уж и позабыли, что на свете есть желания? Ну так прошу покорно со мной под пули, там снова почувствуете, что жизнь прекрасна.

— Заманчиво.— Князь бледно улыбнулся.— Признаюсь вам как старому другу, Мишель: вы совершенно правы. Я лишен желаний, я увял и отцвел, не принеся плодов. А, вероятно, мог бы принести...— Он странно оживился, даже отбросил плед, точно перестав вдруг привычно мерзнуть.— Знаете, недавно испытал, что еще что-то могу, чего-то желаю. Гостила у сестры в Смоленске и встретил случайно существо... Простенькое существо, провинция, усадьба, наивность и максимализм. И— чистота, как у мадонны. Вот если бы такая любила— спасла бы, воскресила бы, из могилы бы выгнала. Да не случилось этого, но все равно рад я, Мишель, и имя ее до гроба не забуду, клянусь, не забуду.

— Ну и что же за имя, коли не секрет?— помолчав, спросил генерал, с удивлением слушавший неожиданно пылкую речь всегда вялого, анемичного князя.

— Мария Олексина,— тихо сказал князь.— Мария Олексина...— Он помолчал, словно давая себе время вернуться в прежнее состояние, старательно и неторопливо укрылся пледом и сказал с привычной ленивой бесцветностью:— Извините, Скобелев, утомил вас. Должно быть, горячка, не принимайте всерьез. А что касается пуль, так они скоро засвистят.

— Где засвистят, здесь?— Михаил Дмитриевич горько усмехнулся.— Это все лишь демонстрация, Серж, уверяю вас. Мы боимся воевать, мы все больше на политику надеемся. Побряцаем оружием, погорланим песни, постреляем на полигонах, а там, глядишь, и выторгуем что-нибудь. И— полки по квартирам.

— Непохоже что-то на демонстрацию,— сказал князь.— Россия воевать захотела, генерал, сама Россия: здесь уж никакой политикой не отделаешься. Так что терпите: враг тут ожидается поинтереснее, чем в Туркестане, а время от времени нужно менять не только друзей, но и врагов. А вам, Михаил Дмитриевич, самое время врагов сменить.

— Не врагов я менять стремлюсь, а закоснедые планы наши,— вздохнул Скобелев.— Не утерпел, каюсь, и главнокомандующему идейку одну подкинул. У вас нет карты? Ну черт с ней. В Румынию ведет от нас железная дорога. Возле самого Дуная дорога эта пересекает реку Серет через Барбошский мост, и турки его непременно взорвут, как только мы войну им объявим. Значит, нужен поиск. До объявления войны кавалерийский рейд для захвата Барбошского моста. Просто? Гениально просто: турки и опомниться не успеют, как мы...

Без стука распахнулась дверь, и вошел коренастый мужчина с седоватой бородкой, в странном меховом пиджачке нерусского покроя, с медной бляхой корреспондента на левом рукаве. Снял мягкую шляпу, обнажив изрядную плешь, сказал по-английски:

— Видимо, мне суждено все главные новости узнавать раньше русских. Так вот, император одиннадцатого прибывает в Кишинев. А Двадцать девятый казачий полк уже двинут к границе, за ним следуют селенгинцы. Передовой отряд поведет личный адъютант главнокомандующего полковник Струков.

— Вот и война, господа,— тихо сказал князь и перекрестился.— Откуда это известно вам, Макгахан?

— Тайна корреспондента,— улыбнулся Макгахан.

— И здесь меня обошли! — Скобелев с маху ударил кулаком по столу. — Ах вы, крысы штабные, боитесь скобелевской славы? Ну еще поглядим!.. Прощайте, господа!

— Куда же вы, генерал?

— К отцу! — из дверей прокричал Скобелев. — Пусть хоть в ординарцы берет, только бы на войну не опоздать!..

## 5

Теплым апрельским вечером по всему местечку Кубея, расположенному на самой румынской границе, весело трещали десятки костров. На центральной площади возле каменной церкви играл полковой оркестр, а вокруг костра, зажженного в центре, толпились казаки и молодые офицеры; те, кто постарше, сидели у огня на седлах в тесном кругу бородатых донцов. Со всех сторон доносились песни, озорные посвисты, ржание встревоженных, предчувствующих поход коней.

— Нет, сегодня всенепременно приказ на выступление должен быть, — говорил увешанный медалями старый урядник. — Помяните мое слово, ребята, должен!

— Печенка чует, Евсеич? — смеялись казаки.

— Не сглазь, отец. Каркаешь третий час.

— У него глаз добрый: глянет — как выстрелит!

— Правду говорю, — убежденно сказал урядник. — Ну с кем об заклад?

— Со мной, борода, — улыбнулся безусый хорунжий. — Что ставишь?

— Шашку поставлю. Хорошая шашка, кавказская. А ты что взамен, ваше благородие?

— Лошадь могу. У меня заводная есть.

— Тю, лошадь! На твоей лошади только и знай что девок катать.

— Ну, винчестер, хочешь?

— Смотрите, Студеникин, проиграете, — предупредил стоявший рядом немолодой сотник. — Евсеич и вправду печенкой поход чувствует: тридцать лет в строю.

— Не беспокойтесь о моем имуществе, Немчинов, — с задором сказал хорунжий. — Пойдет ли винчестер, Евсеич?

— Коль не ломаный, так чего ж ему не пойти.

— Нет, новый. Только скажи, откуда о походе знаешь?

— Дело простое, — пряча улыбку в косматую, с густой проседью бороду, начал урядник. — Задаю я, значит, поутру корм своему Джигиту, а он и рыло в сторону. Что ты, говорю, подлец, морду-то воротить? Овес отборный, сам бы жрал, да зубы не те. А он повздыхал этак, по сторонам глазом порыскал да и говорит мне...

— Ох-хо-хо! Ха-ха-ха! — ржали казаки. — Ну Евсеич! Ну отец! Ну уморил!

— Что это они там? — удивленно спросил полковник Струков, нервно топтавшийся у крыльца каменного дома, занятого под штаб.

— Перед походом, — пояснил командир 29-го казачьего полка хмурый полковник Пономарев. — Евсеич, поди, байки рассказывает, а они зубы скалят.

— Поход, — вздохнул Струков. — Порученца до сей поры нет, вот вам и поход. Неужто отложили?

— Быть того не должно...

Полковник вдруг примолк и напрягся, вслушиваясь. Из степи донесся далекий перезвон почтового колокольчика.

— Вот он, порученец, Александр Петрович. Ну дай-то бог!

— Доложите Шаховскому! — крикнул Струков и, подхватив саб-

лю, по-молодому выбежал на площадь.— Место, казаки! Освобождай проезд!

Было уже начало одиннадцатого, когда перед штабом остановилась взмыленная фельдъегерская тройка. Из коляски торопливо вылез не по возрасту располневший офицер по особым поручениям полковник Золотарев.

— Здравствуйте, господа. Заждались?

— Признаться, заждались,— сказал Струков.— Где вас носило, Золотарев?

— Так ведь грязи непролазные, господа. Где князь?

— Сюда. Осторожнее, приступочка.

Командир 11-го корпуса генерал-лейтенант князь Алексей Иванович Шаховской ожидал порученца стоя. Нетерпеливо прервав рапорт, требовательно протянул руку за пакетом. Перед тем как надорвать его, обвел офицеров штаба суровым взглядом из-под седых насупленных бровей. Рванул сургуч, вынул бумагу, торопливо пробежал ее глазами, глубоко, облегченно вздохнул и широко перекрестился.

— Война, господа.

— Ура! — дружно и коротко отозвались офицеры.

Князь поднял руку, и все смолкло.

— Высочайший манифест будет опубликован завтра в два часа пополудни. А сегодня... Где селенгинцы, полковник Струков?

— На подходе, ваше сиятельство.

— Дороги очень тяжелые, ваше сиятельство,— поспешно пояснил Золотарев.— Передовую колонну Селенгинского полка обогнал верстах в десяти отсюда, артиллерия отстала безнадежно.

— Так,— вздохнул Шаховской.— Начать не успели, а уж в грязи по уши.

— Время уходит, ваше сиятельство,— негромко напомнил Струков.— Селенгинцы после марша за мною все равно не угонятся, а артиллерия раньше утра вообще не подойдет.

Корпусной командир промолчал. Подошел к столу, долго изучал расстеленную карту. Сказал, не поднимая головы:

— Сто десять верст марша да переправа через Прут. Вы убеждены, что паром не снесло разливом?

— Вчера с той стороны перебежал болгарин,— сказал начальник штаба корпуса полковник Бискупский.— Утверждает, что паром цел.

Князь Шаховской был старым кавказским воякой, заслужившим личной отвагой одобрение самого Шамиля. Он как никто любил риск, стремился к глубоким рейдам и всегда безоговорочно верил в победу. Но начинать именно эту войну за сутки до ее официального объявления без достаточной подготовки он решиться не мог. Повздыхал, сердито двигая седыми клочковатыми бровями, сказал сухо:

— Повременим. Свободны. Бискупскому остаться.

Недовольный Струков замешкался в дверях, пропуская повалившихся из комнаты офицеров. Глянул на часы, решил:

— Разрешите хоть рекогносцировку с офицерами провести, ваше сиятельство.

— Экой ты, братец, упрямый,— с неудовольствием отметил генерал.— Ну проводи. Не помешает.

Оставив Пономарева заниматься подготовкой к походу, Струков вывел офицеров на границу — на сам Траянов вал, режущий землю на Россию и Румынию. Над степью уже спустилась тьма, но на той, румынской стороне горели окна в таможене и — цепочкой от Траянова вала в глубь Румынии — с десятков ярких костров, точно кто-то высвечивал дорогу русскому передовому отряду. Кратко ознакомив

офицеров с задачей и сердито оборвав их попытки тут же рывкнуть восторженное «ура», указал примерный маршрут, обратив особое внимание на цепочку костров:

— Это нам светят, господа. Деревенька, что перед нами, населена болгарам, бежавшими от турок, и носит название совершенно особое, я бы сказал, даже символическое — Болгария. Это наша первая и конечная цель в этой святой войне, господа. Еще раз напоминаю о порядке и осторожности. Какие бы то ни было перемещения, курение и разговоры запрещаются категорически. Учтите, что поход будет проходить по территории дружественного суверенного государства. Растолкуйте это казакам, чтобы дошло до каждого. И помните, господа офицеры, на нас смотрит не только вся Россия: на нас смотрит вся Европа, потому что мы первыми начинаем освободительный поход против многовековой тирании османов.

Когда вернулись в Кубею, полк был готов к длительному маршу. Коня взнузданы, тюки увязаны, тороки притнаны; казаки еще балагурили у затухающих костров, но за их спинами коноводы уже держали лошадей в поводу.

В начале двенадцатого послышался мерный тяжелый топот: шли селенгинцы. Остановились на дороге у выхода на площадь, устало опершись о винтовки, но строго соблюдая строй. Командир спешился у крыльца, доложил о прибытии полка вышедшему навстречу Шаховскому.

— Что артиллерия?

— Застряла, ваше сиятельство. Полк совершил тридцативерстный переход по тяжелой дороге, нуждается в отдыхе.

— Ясно, — сердито буркнул князь.

— Ваше сиятельство, — умоляюще сказал Струков. — Позвольте с одними казаками поиск произвести, ваше сиятельство.

Генерал хмуро потоптался, вздохнул:

— Делать нечего, рискуйте, полковник. Только...

— Ур-ра!.. — загрела притихшая площадь, заглушая генеральские слова. — Поход, ребята! По местам, казаки!

Шаховской рассмеялся, выпрямился, как на смотре, развернула плечи, разгладил седые усы. Крикнул, поднатужившись, хриплым сорванным басом:

— С богом, дети мои!.. — Закашлялся, обернулся к Струкову. — Обращение — и вперед. Вперед, полковник, только вперед!

— Благодарю, ваше сиятельство! — прокричал Струков, сбегая с крыльца.

Казаки уже вскакивали в седла, вытягиваясь посотенно и строя каре по сторонам площади. Во время захода кто-то вежливо тронул хорунжего Студеникина за плечо. Он оглянулся: с седла, ухмыляясь, свешивался урядник Евсейч.

— Винтовочку мою сам понесешь, ваше благородие, или мне отдашь?

Казаки рассмеялись.

— Тихо! — крикнул сотник Немчинов. — Что за хохот?

Хорунжий торопливо сдернул с плеча новенький английский винчестер и протянул его уряднику.

Каре выстроилось, и в центр его въехали Струков и Пономарев.

— Казаки! — волнуясь, но зычно и отчетливо прокричал Струков. — Боевые орлы России! Вам доверена великая честь: вы первыми идете на врага! Поздравляю с походом, донцы!

— Ур-ра!.. — качнув пиками, раскатисто прокричали казаки.

— Слушай обращение! — Струков развернул бумагу, адъютант услужливо светил фонарем. — «Сотни лет тяготееет иго Турции над

христианами, братьями нашими. Горька их неволя... Не выдержали несчастные, восстали против угнетателей, и вот уже два года льется кровь; города и села выжжены, имущество разграблено, жены и дочери обещены; население иных мест поголовно вырезано... Войска вверенной мне армии! Не для завоеваний идем мы, а на защиту поруганных и угнетенных братьев наших. Дело наше свято и с нами бог! Я уверен, что каждый, от генерала до рядового, исполнит свой долг и не посрамит имени русского. Да будет оно и ныне так же грозно, как в былые годы. Да не останвят нас ни преграды, ни труды, ни иные лишения, ни стойкость врага. Мирные же жители, к какой бы вере и к какому бы народу они ни принадлежали, равно как и их добро, да будут для вас неприкосновенны. Ничто не должно быть взято безвозмездно, никто не должен позволить себе произвола... — Струков откашлялся, передохнул, строго оглядел замерший строй: в задухающем свете костров за силузтами всадников виднелись первые ряды стоявших в строю селенгинцев и группа офицеров на крыльце штаба. Он вздохнул и продолжал с новой силой: — Напоминаю войскам, что по переходе границы нашей мы вступаем в издревле дружественную нам Румынию, за освобождение которой пролито немало русской крови. Я уверен, что там мы встретим то же гостеприимство, как предки и отцы наши. Я требую, чтобы за то все чины платили им, братьям и друзьям нашим, полною дружбою, охраню их порядков и беззаветною помощью против турок, а когда потребует, то и защищали их дома и семьи так же, как свои собственные...» Подлинник подписал его императорское высочество великий князь главнокомандующий Николай Николаевич старший! — Струков сложил обращение, вытер со лба пот, вновь привстал на стременах. — Для молебствия времени нет. Полковник Пономарев, вы один прочтете молитву перед походом. Шапки долой!

Пономарев, громко, отчетливо выговаривая каждое слово, прочитал молитву. Казаки истово перекрестились, надели шапки.

— Полк, справа по три, за мной рысью ма-арш! — подал команду Струков.

И не успели тронуться передовые казачьи ряды, как с улицы донеслось:

— Селенгинцы, слушай! Равнение на Двадцать девятый казачий!.. На кра-ул!..

Слаженно лязгнули взятые на караул винтовки: пехота отдавала воинские почести казакам, уходившим в поход первыми. Генерал Шаховской и офицеры у штаба взяли под козырек, и сразу же загредел походным маршем оркестр. Сотни вытягивались из Кубей к государственной границе России.

Поравнялись с румынской таможней. Во всех окнах горел свет, шлагбаум был поднят. Румынский доробанец у шлагбаума держал ружье на караул, офицер и солдаты, высыпавшие из таможни, отдавали честь.

— Прекрасно, — отметил Струков и, привстав на стременах, крикнул: — Расчехлить знамя!

За таможней начиналась цепь костров, освещавшая дорогу, ведущую в небольшую деревеньку. Сразу стало светло, и все увидели десятки людей, стоявших по обе стороны. Старухи и старики кланялись в пояс, женщины поднимали детей; кто плакал, кто низко кланялся, кто становился на колени, и все кричали что-то восторженное и непонятное.

— Здравствуйте, братья болгары! — громко крикнул Струков, и голос его дрогнул. — Вот мы и пришли!

— Добре дошли, братушки! — сказал седой сгорбленный старик.



Держа в руках хлеб, он шагнул на дорогу, остановив колонну, низко, до земли поклонился. Струков нагнулся с седла, принял хлеб, поцеловал его.

— Спасибо, отец. Только некогда нам, ты уж извини. Мы в твою Болгарию спешим.

Старик еще раз поклонился и отступил в сторону. Но Струков не успел тронуть коня: бородатый крепкий мужик держал за повод.

— Ваше высокоблагородие, русский я, русский! — торопливо говорил он. — В Сербии ранен был, в плен там попал, бежал оттуда и вот вас дожидаясь.

— Ну и дождался, — сказал Струков. — Можешь домой идти, в Россию.

— Охотой я тут кормился, — продолжал бородач, не слушая его. — Места хорошо знаю, хочу проводником к вам. А идти, ваше высокоблагородие, мне теперь некуда: барина моего в Сербии убили. Посчитаться надо бы, возьми, а?

— Проводником, говоришь? — Струков подумал. — Эй, казаки, коня проводнику! По дороге расскажешь кто да что, познакомимся.

— Спасибо, ваше высокоблагородие!

Он ловко вскочил на заводного коня, пристроился рядом. Рассказывал, как воевал в Сербии, как потерял барина, у которого служил денщиком, как без денег и документов прошел всю Европу и осел здесь, в болгарской колонии, ждать своих.

— Настродался я, ваше высокоблагородие: бумаг-то при мне нету. А уж тюрем повидал — и австрийских, и венгерских, и румынских, не приведи бог никому! Ну, славу богу, до болгар этих добрался.

— Охотой промышлял, значит?

— Да, — Проводник усмехнулся. — Башибузуки тут шалят часто. Через Дунай переправляются — по двое, по трое, а то и поболее. Скот угоняют, хаты жгут, бывает, и девчонок уводят. Ну, мне общество ружьишко купило, так теперь потише стало. Ну и охота, она, конечно, тоже. Она здесь богатая, охота то есть... Тут правее бери, ваше высокоблагородие, прямо низинка идет, топко там.

— Ну ты молодец, борода, — смеялся Струков, приняв правее по совету проводника. — Гайдук, значит, так получается?

— Какой из меня гайдук, — усмехнулся в бороду проводник. — Охотник я, стреляю хорошо...

— Паром на Пруте цел, не знаешь?

— Как не знаю, цел. Сам же крепил его, чтоб в половодье не унесло.

Подошли к местечку, жители которого от мала до велика высыпали навстречу русским. Кланялись, кричали приветствия, протягивали казакам пшеничные хлебы, по местному обычаю ломая их пополам на вечную дружбу. Но Струков и здесь не остановился, только сбавил аллюр, из уважения к гостеприимным румынам шагом миновал местечко.

Остановились на берегу мутного, широко разлившегося Прута. Надежно закрепленный паром был на месте, но канат, по которому ходил он на противоположный берег, с той стороны оказался перерубленным.

— Башибузуки, — виновато вздохнул проводник. — Виноват, ваше высокоблагородие, недоглядел: вчера днем еще целым был.

— Кому-то надо вплавь, — озабоченно сказал Пономарев. — Крепит канат, а там уж и мы переправимся. Эй, ребята, кто за крепостом полезет?

— Уж, видно, мне придется. — Евсеич спрыгнул с седла, не ожидая разрешения, стал раздеваться. — Конь у меня добрый, вытащит.

Пока урядник неторопливо стаскивал сапоги и одежду, проводник уже скинул все и в одних холщовых подштанниках спустился к воде. Попробовал ее корявой ступней:

— Холодна купель.

— Куда собрался, борода? — строго окликнул Струков. — Урядник один справится.

— Нет уж, ваше высокоблагородие, ты мне не перечь, — строго сказал проводник. — Я тут за всю Россию в ответе, а, видишь, не углядел.

— За гриву держись, борода, — сказал Евсеич, крепя конец каната к задней луке высокого казачьего седла. — Джигит вынесет. Одежонку нашу с первым же паромом отправить не позабудьте, казаки. Ну, с богом, что ли?

Добровольцы широко перекрестились и дружно шагнули в мутную стремительную воду. Жеребец, сердито фыркнув, недовольно дернул головой, но послушно пошел за хозяином.

— Ух, знобка, зараза! — донесся веселый голос Евсеича. — Не поминайте лихом, братцы!

Полк спешил, отпустил коням подруги, длинным строем рассыпавшись по берегу. Все молчали, с тревогой лоя среди волн три головы — две людские и лошадиную.

— А если судорога? — спросил Студеникин. — По такому холоду судорога очень даже возможна.

— Типун вам на язык, хорунжий, — недовольно сказал сотник.

Две кудлатые головы — одна седая, будто усыпанная солью, вторая темно-руся — плыли вровень по обе стороны высоко задранной в небо лошадиной морды. Но на стремнине их отбросило друг от друга, понесло, закружило, перекрывая волнами.

— Держись! — орали казаки. — Загребай, братцы!

— Придержи канат! — крикнул Пономарев и сам бросился к парому. — Внатяг его надо, внатяг пускать!

Но было уже поздно: мокрый тяжелый канат захлестнул задние ноги жеребца. Джигит испуганно заржал, завалился на бок, голова на миг ушла под воду. Евсеич пытался подплыть к коню, но его снесло ниже и он напрасно молотил руками.

— Пропал конь! — ахнули казаки. — Сейчас воды глотнет, и все, обессилит.

Проводник, развернувшись по течению, уже плыл к Джигиту размашистыми саженками, по пояс выскакивая из воды при каждой гребке. Нагнал сбитого волнами жеребца, нырнул, нащупал поводья, рванул морду вверх. Жеребец всхрапнул, заржал тоненько. Не отпуская поводьев, проводник плыл впереди, из последних сил загребая поперек стремнины. Он греб теперь одной рукой, волны то и дело накрывали его с головой, но он, задыхаясь и глотая мутную ледяную воду, не отпускал коня. Евсеича сносило вниз.

— Держись! — теперь кричали не только казаки, но и офицеры, подбадривая изнемогающего бородача. — Держись, милый! Чуток осталось, держись!..

Жеребец первым нащупал дно, рванулся, вынося на поводьях обессилевшего, нахлебавшегося воды проводника, выволоч на размытый глинистый берег. Следом тащился отяжелевший мокрый канат.

— Ура! — восторженно закричали донцы. — Молодец, борода!..

— Вот вам и первые ордена в этой кампании, — облегченно вздохнув, сказал Струков Пономареву. — Поздравляю, полковник.

— Дадут ли? — засомневался осторожный Пономарев.

— Свои отдам, — смеялся Струков.

Снизу по той стороне бежал Евсеич. Проводник стоял на коленях: его мучительно рвало. Рядом тяжело поводил проваленными боками Джигит.

— Живой? — Урядник сграбастал проводника, поцеловал. — Коня ты мне спас, Джигита моего! Брат ты теперь мой названный!..

— Вяжи канат, Евсеич, — задыхаясь, сказал проводник. — Сам вяжи, сил у меня нет.

Торопливо огладив и крепко поцеловав в мокрую морду жеребца, Евсеич кинулся крепить канат к вбитой в откос дубовой свае.

Струков переправился первым паромом. К тому времени проводник и урядник уже отдыпались. Увидев подходявшего полковника, встали; докладывать не было сил, особо вытягиваться тоже: тяжелые, усталые руки вяло висели вдоль еще не просохших подштанников.

— Спасибо, молодцы. — Струков троекратно расцеловал каждого, протянул фляжку. — Пополом — и до дна. — Дождь, когда они осушат ее, добавил: — Поздравляю с крестами, братцы.

— Рады стараться, ваше высокоблагородие, — устало сказал Евсеич.

Проводник промолчал. Глянул умоляюще:

— Ваше высокоблагородие, уважьте просьбу, век буду бога молить. Дозвольте с вами на турка. Посчитаться мне с ним надобно, ваше высокоблагородие.

— Дозвольте в строй ему, — попросил урядник. — Побратим он мой и казак добрый, дай бог каждому. Всем обществом просить будем.

— В казаки, значит, хочешь? — улыбнулся Струков. — Что ж, заслужил. Полковник Пономарев, возьмете казака?

— Фамилия?

— Тихонов Захар! — собрав все силы, бодро отозвался проводник.

— Немчинов, запиши в свою сотню.

— Премного благодарен!

— Ну, поздравляю, казак. — Струков пожал Захару руку. — Одевайся, грейся. Пока при мне будешь.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие!

Через три часа полк переправился полностью. За это время отдохнули и подкормились и казаки и кони: шли резво, радуясь тихому солнечному дню. За Прутом потянулись нескончаемые, залитые водой низины; дорога пролегла по узкой дамбе, полк с трудом умещался в строю по трое. Струков вместе с Захаром ехали впереди.

— Дунай виден, ваше высокоблагородие, — сказал Захар. — Вон слева блестит, видите? Кругом вода желтая, а он вроде как стальной.

— Слева Дунай, казаки! — крикнул Струков ближайшим рядам.

— Славу богу! — отозвались оттуда. — Побачим и мы, что деда наши бачили.

Перевалили через высокий холм, и Захар придержал коня. Теперь Дунай уже был виден впереди, а перед ними за спуском сразу начинался город. На утреннем солнце ярко белели дома.

— Галац, ваше высокоблагородие. Может, разведку сперва? Тут по Дунаю турецкие броненосцы шастают.

— Некогда разведывать. Авось проскочим.

Проскочить не удалось: перед городской заставой стояла цепь румынских доробанцев. Они стояли спокойно, опустив ружья к ногам, и больше сдерживали толпу любопытных жителей, чем казаков.

— Пропустить не могу, господа, — сказал молодой офицер по-французски. — Сейчас прибудет господин префект, потрудитесь обождать.

Спорить было бесполезно, идти напролом Струков не имел полномочий, и полк замер в бездействии. Наконец показалась коляска, остановилась у заставы, и из нее важно вышел полный господин, опоясанный трехцветной перевязью.

— С кем имею честь?

Струков отрекомендовался, попросил разрешения пройти через город. Префект энергично замотал головой:

— Нет, нет, нет, господа, об этом не может быть и речи. Я не получил соответствующих распоряжений и не имею права позволить вам пересечь мой город. Но я не могу и запретить вам двигаться в любую сторону.

— Извините, господин префект, я не понял вас.

— Я не имею права ни позволить, ни запретить, — туманно пояснил префект.

— Как?

— Я все сказал, господа.

Струков в недоумении повернулся к Пономареву:

— Вы поняли, что он имеет в виду?

— Хитрит, — пожал плечами Пономарев. — Нас мало, а турецкие мониторы ходят по Дунаю.

— Что он говорил, начальник ихний? — нетерпеливо спросил Захар.

— Через город не пускает, — нехотя пояснил Струков.

— Ну так я вас задами проведу, эка беда, — сказал Захар. — Задами-то, чай, можно, не его власть?

— Молодец! — облегченно рассмеялся Струков. — Веди.

— А вот направо, через выгон.

— До свидания, господин префект. — Струков вежливо откозырял. — Полк, рысью!..

Префект молча подождал, пока весь полк не свернул с дороги, огибая город. Потом снял шляпу, вытер платком лоб, сказал офицеру:

— Догадались наконец.

Полк беспрепятственно обогнул Галац, вновь вернулся на дорогу. Отсюда хорошо был виден Дунай и пристань Галаца — вся в дымах от множества пароходов. Пароходы разводили пары, торопливо разворачиваясь, уходили вверх и вниз по Дунаю.

— Турки, — сказал Захар. — Слава богу, броненосцев нет. Быстро мы добрались, не ожидали они.

Струков перевел полк на крупную рысь. Десять верст скачки — и из-за поворота открылась станция Барбош и длинный железнодорожный мост через Серет.

— Цел, слава тебе господи! — крикнул Струков. — Первой сотне спешиться, на ту сторону бегом, занять оборону!

Казачи первой сотни, бросив поводья коноводам, прыгали с седел. Срывая с плеч берданы, бежали по мосту на ту сторону Серета. Командир сотни, добежав первым, замахал фуражкой; казаки его, рассыпавшись, уже занимали оборону.

— Слава богу! — Пономарев снял фуражку, широко перекрестился, и за ним закрестились все казаки. — Поздравляю, казаки, перед нами — Турция.

— Ошибаетесь, полковник, — негромко поправил Струков. — Перед нами — Болгария.

В то время как казаки 29-го Донского полка спешно занимали оборону вокруг захваченного в целостности и сохранности Барбошского железнодорожного моста, в Кишиневе на Скаковом поле в присутст-

вии императора Александра II заканчивалось торжественное молебствие по случаю подписания высочайшего манифеста о начале войны с Турцией. Батальоны вставали с колен, солдаты надевали шапки; священнослужители убирали походные алтари. Многотысячный парад и толпы местных жителей хранили глубокое благоговейное молчание, подавленные торжественностью и значимостью происходящего, лишь изредка всхрапывали застоявшиеся кони да неумолчно орала воробьи, радуясь солнечному дню. Государь и многочисленная свита сели на лошадей и отъехали в сторону, освобождая середину поля для церемониального марша.

Стоя в строю Волынского полка перед своей ротой, капитан Брянов ощущал, что искренне взволнован и умилен, что весь его скепсис, сомнения и неверие куда-то делись, что цель его теперь проста и ясна. Он повторял про себя запавшую в память строку из манифеста: «Мера долготерпения нашего истощилась» — и удивлялся, что не чувствует в себе ни иронии, ни раздражения, которые всегда возникали в нем при чтении выпрених монарших слов. Сейчас он верил, что перед Россией едва ли не впервые в истории поставлена воистину благороднейшая задача, решение которой зависит уже не от воли всевластного повелителя. Решение это зависело теперь от всей России, от ее народа, а значит, и от него самого, капитана Брянова. Он вспомнил вдруг своего деда, тяжело раненного под Бородином, отца, погибшего на Черной речке в Крымскую войну, и с гордостью подумал, что идет отныне по их пути.

Торжественно и звонко пропели трубы кавалерийский поход. Первыми позскадронно развернутым строем на рысях двинулись через поле кубанские и терские казаки, отряженные сегодня в собственный его величества конвой. Под сухой строгий рокот сотен барабанов сверкнули на солнце вырванные для салюта офицерские клинки: 14-я пехотная дивизия генерала Драгомирова начинала торжественный марш. Ряд за рядом, рота за ротой шагала она через поле, оцетинившись тысячами штыков, и Брянов, печатая шаг, шел впереди своей роты раскованно и гордо.

Следом за последним полком 14-й пехотной дивизии шли два батальона, солдаты которых были одеты в новое, незнакомое русской армии обмундирование: в меховых шапках с зеленым верхом, черных суконных мундирах с алыми погонами, перекрещенных амуницией из желтой кожи, в черных же шароварах и сапогах с высокими голенищами. Появление их на поле вызвало бурю восторга в толпе зрителей, и даже император совсем по-особому поднял руку в знак приветствия: шли первых два батальона болгарских добровольцев. Кого только не было в их рядах: безусые юнцы и кряжистые, поседевшие отцы семейств, студенты и крестьяне, торговцы и священники, покрытые шрамами гайдуки и бывшие волонтеры с Таковскими крестами на черных новеньких мундирах. Шла не только будущая народная армия свободной Болгарии — шел ее завтрашний день, и поэтому так восторженно встречали первых ополченцев жители Кишинева.

И было это 12 апреля 1877 года. Впервые после разгрома Наполеона Россия вступала в войну за свободу и независимость других народов.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

#### 1

По раскисшим весенним румынским дорогам днем и ночью двигались войска: Россия стягивала армию на берега Дуная, именно в этом году так некстати разлившегося особенно широко. Днем шла

пехота и кавалерия, ночью неумолчно скрипели обозы, подтягивались пока еще, слава богу, пустующие госпитали, а уж за ними следом валом валила жадная, как мошка, темная шушера: спекулянты и перекупщики, воры и проститутки, карточные шулера и авантюристы всех мастей. Война взбаламутила людское море, подняв со дна и захватив с собой муть и гниль портовых городов. В румынских отелях, где издавна царил язык космополитов, резко возросли цены, превзойдя Вену, Берлин и даже Петербург, и подавляющее большинство русских офицеров предпочитали жить по-походному, вместе с солдатами. Бумажные деньги, что были выданы на поход, сразу же оказались обесцененными: при курсе в четыре франка за рубль давали от силы два с половиной.

— Господа, это немислимо: эти субъекты меняют цены по три раза на дню!

— А вы завтракайте, обедайте и ужинайте разом, вот вам и экономия.

— Шутки шутками, а в Петербурге у Бореля можно пообедать, и даже с вином, втрое дешевле, чем в мерзком галацком ресторане.

— А я, знаете, со своими солдатиками обедаю, из котла. Плачу артельщику долю: щи да каша — пища наша. Дешево и сердито.

— Господа, а какие женщины, какие женщины! С ума сойти. Сидит этакая в ландо...

— У вас же все равно золота нет.

— Вот потому-то я с тротуара и люблюсь!

Дойдя до Дуная, полки устраивались прочно: вода пока и не думала спадать. Днем проводились обязательные ученья, но длинные весенние вечера были свободны. Удрученно пересчитывая тающие на глазах ассигнации, офицеры часами гуляли по улицам, не рискуя заглядывать в кафе и рестораны. Любовались чужими женщинами, чужими рысаками, чужими ландо и фаэтонами, чужой жизнью и болтали. О турках, армию которых уж очень усиленно расхваливали германские газеты, о минной войне на Дунае, о дороговизне, о доме, о будущем и, конечно же, о женщинах. Прекрасных и недоступных, как номера в отелях Бухареста.

Газеты всего мира писали, что русская армия простоит здесь целую вечность: опыта форсирования таких водных преград, как Дунай, еще не существовало в военной истории. Пехотных офицеров мало беспокоили эти стратегические задачи, но артиллеристы и моряки уже занимались ими, постепенно очищая нижнее течение Дуная от турецких мин и боевых судов и ведя непрерывную огневую разведку оборонительных батарей противника.

В румынских городах и местечках допоздна гремела музыка, яркими огнями светились окна кафе и ресторанов, а берег Дуная не спал никогда. Тихо перекликались часовые, часто беззвучно проskalьзывали казачьи разъезды, а когда опускалась ночь и затихала музыка в городских садах и скверах, здесь, на берегах, начиналась своя, особая ночная жизнь. Усиливались караулы, моряки ставили свои мины или снимали турецкие, и тихо, без всплесков и разговоров отваливали на ту сторону лодки. В некоторых случаях эти безмолвные лодки провозжал художавый, небольшого роста, очень неразговорчивый человек — полковник генерального штаба Артамонов. Проводив, стоял, прислушиваясь, не вспыхнет ли стрельба на том, турецком берегу. Но и тогда, когда стрельбы не случалось, не уходил, а лишь перебирался с берега к ближайшему костру, укрытому от турок холмом или кустами. Сидел, глядя в огонь, слушал солдатские прибаутки, много курил и молчал — ждал, когда вернутся охотники.

Но кроме этой совсем уж тайной жизни, ночной Дунай жил

жизнью и полутайной. Часто начиналась она со стрельбы и криков на том берегу; тогда солдаты, бросив костры, бежали к воде. Вглядывались в темноту:

— Плышет вроде?

— Да нет, то бревно.

— Может, и до реки не добрались?

— Может, не добрались, а может, их уж турки убили.

Ждали болгар. Почти каждую ночь они переправлялись через Дунай, пробравшись сквозь турецкие секреты и победы могучую, широко разлившуюся реку. Переправлялись по одному, по двое, группами; едва ступив на берег, требовали оружия. Их наспех допрашивали, регистрировали и отправляли в специальный лагерь, откуда можно было попасть в одну из дружин сформировавшегося болгарского ополчения.

Эти перебежчики, как правило, мало интересовали полковника Артамонова: бежали они из Болгарии тайно, избегая дорог и далеко обходя турецкие гарнизоны. Сведения, которые они охотно сообщали, большей частью были случайными и отрывочными, а то и попросту неверными. Артамонов предпочитал профессионалов — военных, но среди болгар военных не было. Приходилось отправлять своих охотников в турецкий тыл, это было неудобно и приносило не много пользы. Турки часто перехватывали разведчиков еще на переправе, вспыхивала короткая перестрелка, и наступала зловещая тишина. Полковник Артамонов долго еще ждал, сняв фуражку и напряженно прислушиваясь. Потом глубоко вздыхал, надевал фуражку и, не оглядываясь более, уходил к себе. А добравшись до своего отдельно стоявшего домика, возле которого круглосуточно дежурила усиленная охрана, вычеркивал из тайного, известного только ему списка фамилии и мучительно ломал голову, кого бы послать еще: штаб требовал все новых и новых данных о береговой линии турецких укреплений, об артиллерии, резервах и гарнизонах, мостах и дорогах, о настроении населения, наличии фуража, скота, воды, повозок и упряжных волов.

— Разрешите, господин полковник?

Артамонов поднял голову: в дверях стоял его офицер поручик Николов, болгарин, закончивший военное училище в России и состоящий на русской службе. И несметая на то, что поручик был его же сотрудником, педантичный Артамонов сначала спрятал в несгораемый ящик список своих уцелевших разведчиков, а уж потом пригласил Николова пройти.

— Южнее Журжи час назад переправились двое болгар. Просят свидания с вами, господин полковник.

— Откуда они знают обо мне?

— Они от Цеко Петкова.

На хмуром лице полковника впервые разгладились морщины. Даже в усталых глазах появилось что-то живое.

— Где они?

— Ждут в сенях.

— Давайте по одному.

Поручик вышел. Артамонов аккуратно спрятал все бумаги, свернул карту. Николов приоткрыл дверь, заглянул и пропустил в комнату коренастого широкоплечего парня в крестьянской куртке и штанах. Раскисшие от воды царвули оставляли на полу огромные разлапистые следы.

— Здравствуй, юнак. Как добрался? Садись.

— Дошли, — лаконично пояснил парень, сев напротив полковника.

— Имя, фамилия, откуда родом?  
 — Какая у гайдука фамилия и где у гайдука дом? Просто Кирчо.  
 — Ты из четы Петкова?  
 — Да. Воевода ждет переправы. Как условлено.  
 — Как он себя чувствует?  
 — Здоров. — Парень пожал плечами.  
 — Он с надежной охраной?  
 — С ним Меченый.  
 — Когда воевода хочет переправиться?  
 — Через три дня, в новолуние. Вы должны указать, где удобнее, и обеспечить охрану.

— У меня мало данных о той стороне. — Полковник развернул карту. — Зимница не подойдет? Там наш морской отряд...

— В Свиштове крупный гарнизон, — перебил Кирчо. — Опасно.  
 — А где не опасно?  
 — Опасно везде, но лучше там, где турки не решаются плавать.  
 — Тогда у Браилова. Там, правда, пока плавают, но их мониторы невелики и тихоходны.

Кирчо долго разглядывал карту. Потом кивнул:

— Поведу там. Значит, на третью ночь, в новолуние.  
 — Хорошо. — Полковник сделал пометку. — Когда шел, что видел, что слышал?

— Товарищ лучше расскажет, — усмехнулся Кирчо. — Я по сторонам смотрел, а он считал и видел.

— Товарищ тоже гайдук?  
 — Сам спросишь. Я завтра туда вернусь, а он останется. Так воевода решил.

— Хорошо. Николов!

В дверь заглянул поручик.

— Доставишь Кирчо на квартиру. Переодеть, накормить, уложить спать. Ко мне второго. Спасибо, Кирчо. Можешь идти.

Николов, проводив Кирчо, выпустил второго гайдука и тут же вышел. Этот второй был высок и строен, по-военному подтянут и светлоглаз, и Артамонов сразу понял, что он не болгарин.

— Прошу садиться, — сказал он. — Имя, фамилия?

— В отряде звали Здравко. Думаю, этого достаточно.

Он сказал «в отряде», а не «в чете», как говорили болгары, и эта оговорка окончательно убедила полковника, что перед ним не житель Болгарии и даже не южанин. Кроме того, полковник отметил свободную и раскованную манеру разговора. Спросил вдруг по-русски:

— Давно знаете воеводу?  
 — Стойчо Меченого знаю больше. Вместе воевали в Сербии.  
 — Вы не болгарин?  
 — Вам нужна моя национальность или моя разведка? — усмехнулся гайдук.

— Для начала — что видели, где и когда.

— Карту.

Полковник вновь развернул карту. Гайдук склонился над нею, но в отличие от Кирчо ориентировался быстро, точно указывая пункты, о которых говорил.

— Руцук. Турки активно возводят укрепления, строят новые верки и барбетты. Завезены стальные крупновские пушки, видел сам шесть штук, но полагаю, что их больше. Инженерными работами в крепости руководят два английских офицера.

— Почему решили, что они англичане?



— Из всех европейцев только англичане ходят на работу со стеками.

— Вы наблюдательны.

Гайдук молча пожал плечами.

— Продолжайте.

— Пехота вооружена ружьями системы Снайдерса. Новые рудуты, — он показал на карте их расположение, — возводятся на три и пять орудий. Подступы к ним минируются в обязательном порядке. Общее количество пехоты — свыше трех таборов.

— Какого калибра артиллерию могут выдержать мосты?

— На основных дорогах мосты усилены: турки сами возят пушки.

— Где еще были?

— Свиштов. До табора пехоты, две батареи — на три и на пять орудий. Батареи на высотах. — Он указал где именно. — Берег охраняется плохо, но в устье Текир-Дере сторожевой пост. Из Свиштова на Рушук идет телеграфная линия: мы перерезали ее в трех местах. Я засекаю время: турки восстановили линию только через четыре с половиной часа. Значит, не очень-то привыкли ею пользоваться. — Он замолчал, увидев, что полковник в упор смотрит на него.

— Кто же вы все-таки? — спросил Артамонов. — Ваша дотошность изобличает в вас человека военного и бесспорно образованного.

— Вам очень важно знать, кто я?

— Да, — сказал полковник. — Я обязан думать о будущем.

— Моем? — насмешливо улыбнулся гайдук.

— И вашем тоже.

— Я поляк, но судьбе угодно было, чтобы я воевал против турок.

— Ваше имя?

— Зачем же так спешить со знакомством? — улыбнулся поляк.

Артамонов очень серьезно посмотрел на него и вздохнул. Потом вылез из-за стола, прошелся по комнате, что-то сосредоточенно обдумывая. Остановился против гостя.

— Скажите, турки действительно пытаются создать польский легион?

— Я не изучал этого вопроса, но такие слухи до меня доходили.

— И как же вы отнеслись к ним?

Поляк пожал плечами:

— Всякий человек волен в выборе врагов, но не все могут выбирать друзей.

— Следовательно, вы оправдываете тех, кто пойдет в этот легион?

— Как ни странно, я считаю таких людей предателями, — серьезно сказал поляк.

— Где же логика? — усмехнулся Артамонов. — Где пресловутая свобода в выборе врагов?

— Это весьма сложный вопрос, — вздохнул поляк. — Очень возможно, что я был бы более логичным, если бы попал в Болгарию непосредственно из Польши. Но я попал туда из Сербии, господин полковник. Из Сербии, и в этом все дело.

— Кирчо сказал, что вы решили остаться здесь, — помолчав, сказал Артамонов. — С какой целью?

— Хочу вступить в болгарское ополчение. За меня готов поручиться Цеко Петков.

— Поручительство воеводы много значит. — Полковник предложил папиросу, закурил сам. — Ополчение — это хорошо. Очень хорошо, только... — Он помолчал, еще раз старательно взвешивая

то, что собирался сказать. — Только вы мне нужны там. В Турции, в польском легионе, который пытаются создать турки. Прошу вас, не горячитесь, подумайте. Это очень, очень важно для дела всех славян.

— Всех ли? — не скрывая иронии, спросил поляк.

— Не будем сейчас спорить, — примирительно сказал Артамонов. — Я понимаю, в моем предложении много риска, и вы можете отказаться.

Поляк загадочно улыбнулся, но промолчал. Приняв его молчание за добрый знак, полковник Артамонов оживился, заговорил еще пространнее и глуше:

— Я знаю, риском вас не запугать, и упоминаю о нем единственно для того, чтобы дополнить картину: там столь же опасно, как и в бою, а возможно, и еще опаснее. Там как нигде нужны отвага, хладнокровие, ясность ума...

— И отсутствие чести, — негромко перебил собеседник. — Конечно, честь есть звук пустой для тех, у кого ее нет, но ведь вы предлагаете подобную службу шляхтичу, господин полковник. Поверьте, я понимаю, сколь важно во время войны иметь свои глаза и уши на той стороне, понимаю необходимость и даже закономерность подобного военного элемента...

— Боюсь, не совсем еще понимаете, — вздохнул Артамонов. — Времена рыцарских сражений ушли безвозвратно, современная война жестока, кровава и, по сути, свободна от нравственности. Не пора ли задуматься, как же сочетать честь личную с честью отечества в этих новых условиях? И тогда...

— Не нужно говорить, что будет тогда, — перебил поляк. — Честь отчизны есть сумма чести ее граждан, и всякий бесчестный поступок во имя самого благородного, самого светлого завтра сегодня отнимает у чести родины какую-то долю. Отнимает, господин полковник! Вы предлагаете мне днем изображать из себя друга, а ночью предавать тех, с кем вечером делил хлеб? Благодарю, ваше предложение не для меня. Если я не угоден России в каком-либо ином качестве, разрешите мне вернуться к Цеко Петкову. И закончим на этом разговор.

## 2

Всю весну Лев Николаевич страдал головными болями и внезапными приливами крови. Это мешало спать, работать и, главное, отвлекало от дум, и Толстой раздражался, хотя внешне старался не показывать этого никому. Софья Андреевна очень боялась удара, отсылала к врачу. По ее настоянию Лев Николаевич поехал к Захарьину, покорно согласился поставить пиявки, которых не любил и даже побаивался. Захарьин поставил дюжину на затылок, но лучше Толстому не стало.

— Устаю, — жаловался он Василию Ивановичу на прогулках. — Только не говорите Софье Андреевне.

— Надо серьезно лечиться, Лев Николаевич. Поезжайте в Европу.

— И ты, Брут! — сердито отмахивался Толстой. — Покоя, покоя душевного искать надо, а где он, покой?

Покоя не было уже хотя бы потому, что вся Ясная Поляна жадно читала газеты, подробно обсуждая все, что касалось войны. Лев Николаевич относился к ней с неодобрением, предполагая печальный исход.

— Солдата надо готовить долго и тщательно, — говорил он.

А что сделали мы? Уничтожили тип старого русского солдата, давшего столько славы русскому войску.

— Свободный человек должен воевать лучше, Лев Николаевич, — упрямо не соглашался Василий Иванович. — Храбрость изпод капральской палки недолговечна, а свободная личность способна вершить чудеса.

— Что касается личности, то вы, возможно, и правы, — не сдавался Толстой. — Но суть армии — повиновение, дорогой Василий Иванович. Раньше солдат знал, что солдатчина есть отныне вся жизнь его, приноравливался к ней, старался облегчить ее, а облегчить — следовательно, стать примерным солдатом. А теперь он лишь терпит. Вот увидите еще, что прав я, Василий Иванович, увидите, когда позора на войне этой прием поболее того, как на Крымской приняли.

Теперь они спорили часто и почти по каждому поводу. Спорили не потому, что Василий Иванович стал подвергать сомнению слова своего кумира. Нет, Толстой по-прежнему оставался для него авторитетом недосыгаемым, существом, почти равным богам, но Олексин ощущал, что именно сейчас, в этот период жизни, Толстому нужны споры. Нужны для проверки каких-то своих собственных мыслей, которые только зарождались в нем и были еще настолько смутны и бесформенны, что нуждались в контраргументах в той же степени, как и в аргументах. Все бродило в нем, клочкотало, как в перегретом котле, и ночные приливы крови да и сама головная боль были лишь наружным проявлением странных глубинных брожений.

Чаще всего они спорили о религии. Лев Николаевич — для всех, по крайней мере, — по-прежнему оставался ревностным поборником православия, никого, правда, не уговаривая следовать своему примеру. Он старательно соблюдал всю обрядность, но уже чисто формально, и Василий Иванович заставлял его за внимательнейшим изучением Евангелия теперь куда чаще, чем прежде.

— Родник ищите?

Толстой сердито двигал клочковатыми бровями. Первооснова христианского учения была настолько запутана обрядами, искажена вторичными толкованиями, завуалирована политическими соображениями, что отыскать в ней незамутненный источник истины казалось ему почти невозможным. Толстой терзался сомнениями, испытывая мучительное состояние разобщенности с той простой, безыскусной и ясной верой, какой жил народ. Жил в полном согласии формы и содержания, как всегда казалось Толстому, и он завидовал этому согласию и упрямо шел к нему своими путями.

— Вот вычитал в газетах: Садык-паша был поляком, Сулейман-паша — иудей, Вессель-паша — немец. Не странно ли сие? — задумчиво говорил он. — Не означает ли это, что магометанская вера позволяет спекулировать своими догматами людям ловким и беспринципным? Достаточно объявить во всеуслышание, что отныне вы верите, что нет бога кроме Алаха, что Магомет — пророк его, и вам открываются все пути для карьеры.

— Может быть, религия мусульманская более демократична, нежели религия христианская? — осторожно, словно клал полешко в начинавший разгораться костер, спросил Василий Иванович. — Может это быть или не допускаете?

— Вера, с помощью которой открываются двери к должностям, перестает быть верой, — сказал Толстой. — Вера есть внутреннее убеждение, а не формальное признание господствующего порядка вещей, вопрос совести, а не опора в службе. Я упомянул о магометанах лишь как о примере, а в сущности, любая современная религия

уже превратилась в трамплив для природы энергической, а то и просто безнравственной. Вас не мучает эта мысль, Василий Иванович?

Василий Иванович долго шел молча — они гуляли вдвоем по саду, — потом признался:

— Помните, рассказывал, как вешали меня? А ведь им только и надо было, чтобы я на Библии поклялся. Только этого и добивались.

— То есть формы, пустой формальности, — подхватил Толстой. — Вот во что превращается вера, когда забывается то, ради чего создавалась она. Вспомните первых христиан: они шли на муки за веру свою, на костры восходили, к лютым зверям в клетки с молитвой святой входили. Им ничего не обещалось за то, что они называли себя учениками Христа, ничего, кроме пыток, слез, истязаний и смерти. А они — шли и веровали, веровали и шли!

— И дошли, — тихо подсказал Василий Иванович.

— И дошли, — подхватил Толстой. — Дошли до того, что вера Христова стала подспорьем карьеры, ее рычагом и фундаментом. Заяви на словах, что веруешь свято, что блюдешь заповеди, походи в церковь прилюдно, перекрести лоб — и ты уж обеспечен доверием, ты уж столп благонадежности, ты уж и обществу опора. А все ведь — в словах, в словах!

— Вы правы, Лев Николаевич, — сказал Олексин. — Вера вышла из души человеческой, превратившись в форму государственной морали.

— Вера стала безверием, — вздохнул Толстой. — И только мужик еще свято верует в то, что бог есть совесть. Он еще живет по заветам первых христиан, ходивших в рубище и не искавших награды, должностей и власти за веру свою. Вот так и надо жить, ничего не вымалывая у власти имущих и не торгуя совестью.

— Это пассивная жизнь, — не согласился Олексин. — Вы призываете к гармонии личной, Лев Николаевич, а нужно стремиться к гармонии общества.

— Сначала надо переделать себя.

— Но через труд, а не через веру, — упрямо сказал Василий Иванович. — Надо жить своим трудом, надо стараться отдавать народу больше, чем мы от него получаем, надо следовать христианской заповеди не делать другому того, чего себе не желаешь. Вот аксиомы, на которых только и возможно построить справедливое общество будущего.

— Нет, Василий Иванович, вы не правы. Вы опускаете веру, а без веры все здание, что воздвигаете, зашатается и рухнет неминуемо. Вы все о кирпичиках толкуете, а где же раствор, что скрепит их? Нет, нет, у каждого общества раствор крепящий должен быть, как у пчелы воск. Коли не озаботитесь этим своевременно, то государство озаботится. Таким вас раствором скрепит, что и кабала татарская раем покажется. Нет, нет, только через себя, только через себя!

Разговоры случались почти каждый день и часто повторяли друг друга. Толстой словно кружил, заблудившись в глухом лесу, возвращался к собственным следам и снова упрямо направлялся искать выход. Мысль о совести мужика, жившего, по его представлениям, в полной гармонии формы и содержания, чаще всего тревожила Льва Николаевича. Он постоянно выходил на нее с разных сторон, присматриваясь, изучая и проверяя.

— Знаешь, Катенька, по-моему, у Льва Николаевича какой-то кризис, — говорил Василий Иванович перед сном Екатерине Павловне. — В нем что-то нарождается, а что-то отмирает, но все одновременно и потому болезненно.

— Софья Андреевна говорила мне, что он о декабристах роман задумывает.

— Нет, здесь не роман, здесь большее что-то, — задумчиво сказал Олексин. — Како верую и верую ли вообще — вот что его сейчас мучает.

— Однако Лев Николаевич регулярно посещает церковь, Вася.

— А это старое, это не отмерло еще. Это корни, вот их-то он и рвет из души своей. Ему закон надо вывести.

— Какой закон? — удивилась Екатерина Павловна.

Василий Иванович недоуменно пожал плечами и растерянно улыбнулся:

— Не знаю, Катенька. Это я так сказал, по наитию, что ли. Беспокоит меня, что он как-то об обществе не думает. Нужно через общество на личность влиять, а он через личность на общество. Ты как думаешь, прав я, что сомневаюсь?

Ответить Екатерина Павловна не успела: в дверь постучали. Василий Иванович накинул пиджак, вышел открыть.

— Вам кого?

— Это я, Вася. Я, Иван, не узнаешь?

— Ваня? Какими судьбами?

Братья расцеловались. Василий Иванович раздел позднего и неожиданного гостя, провел в комнату.

— Катенька, это Ваня, вот не ожидали мы, правда? А это жена моя, Ваня, Екатерина Павловна. Ты почему здесь? И время позднее и не каникулы. Случилось что в доме?

— А где... где Дарья Терентьевна? — не отвечая спросил Иван, странным, растерянным взглядом обведя комнату. — Она что же, не приезжала?

— Кто должен был приехать, Иван?

— Дашенька не приезжала? Так и не приезжала совсем? Ну скажите же, правду мне скажите!

— Никто не приезжал, — растерянно сказала Екатерина Павловна. — Что с вами, Ваня?

Странно обмякнув, Иван обессиленно опустил на стул, закрыв лицо руками. Супруги испуганно переглянулись.

— Кто должен был приехать, Иван? — спросил Василий Иванович. — Ну что же ты молчишь?

— Я опозорен, — жалко сказал Иван, уронив руки на колени. — Я обманут и опозорен. Что мне делать? Что же мне делать, Вася, я не могу, не могу возвращаться в Смоленск!

По лицу его текли слезы. Крупные, детские. Последние детские и потому особенно трогательные и беспомощные.

*(Окончание следует)*



---

ТАТЬЯНА АНДРОНОВА



## ВЕСНОЮ ПАМЯТНОЙ...

Весною памятной, в начале мая,  
чуть небо осветилось над затоном,  
соседка тихая, до времени седая,  
пришла ко мне в смятении, со стоном.

И фартучек линялый, довоенный  
мнет на коленях желтою рукою:  
«Сынок-то мой... навроде убиённый...  
а нет известья... Может, где живой он?..»

И смотрит, что скажу, и снова плачет,  
а у меня лишь детский страх и жалость.  
«Война вот кончилась... Теперь с победой, значит...  
И слава богу.. Сколь живых осталось...»

И помню ясно: счастье, будто ветер,  
меня мгновенно вынесло из дому.  
Так сильно солнце надо мною светит!  
Пылает между ветками черемух!

Так неподвижны тополя над взгорьем!  
Так серебром внизу река дымится!  
Так мирно галки вьются над гнездовьем!  
Смотрю на них сквозь мокрые ресницы.

Да, радость вперемежку со слезами  
была у всех в том мае, в день девятый.  
И память вечно жить осталась с нами  
о не вернувшихся с войны солдатах.

\* \* \*

Провинция сибирская,  
родная сторона,  
далекою и близкою  
мне грезится она...  
Блестит под летним солнышком  
извилистый Иртыш,  
колодец узким горлышком

лукавит, как малыш,  
 Плеснет струей тяжелою  
 из сизого ведра,  
 и становлюсь веселою  
 я с самого утра!  
 Пойду тропою колкою  
 к обрыву, где лесок,  
 там бродит между елками  
 прохладный ветерок,  
 цветы пылью мажутся  
 у смуглого лица.  
 И молодости, кажется,  
 нет края и конца!

\*.\*.\*

Воспоминанья грустные пришли...  
 Как вы меня тревожите ночами!  
 Все видится и видится вдали  
 телега над сухими ковылями,-

и все скрипят колеса по песку,  
 и солнце низкое, и сумрачна равнина,  
 и стая птиц в осеннюю тоску  
 летит неровным молчаливым клином,

как будто бьются призраки беды  
 над головой отцовскою в папахе...  
 И все качаются от медленной езды  
 худые плечи в ситцевой рубахе.

И вот Иртыш с темнеющей водой  
 и огоньком у бакена речного,  
 все ближе домик с крышей торфяной,  
 видней углы заплота жердевого,

И как приветным кажется, родным  
 вечерний шум сибирской деревеньки!  
 И лесом пахнет самоварный дым,  
 и брат стоит на крашеной ступеньке.

Отец — к крыльцу, но, кудри обнажив,  
 вдруг оглянулся и, лицом добра,  
 мне говорит: «А ну-ка, дочь, скажи:  
 где б ты ни ездила, а здесь, у нас, милее!»

И взгляд его, усталый и живой,  
 все чаще вспоминаю я с годами.  
 Ох, как давно песчаною землей  
 засыпан он за желтыми холмами.

Но каждый год белеют ковыли,  
 и птицы перелетные в тревоге,  
 и чья-то память, как моя, вдали  
 идет по ненаезженной дороге...

\*\*\*

На полях европейских,  
как печаль, обелиски,  
и могильные камни, и на них имена.  
Это наши мужчины так от дома недалеко  
чашу смертную выпили  
в тяжких битвах до дна.

И под взглядами добрыми  
и под взглядами злыми  
им здесь век суждено величаво стоять.  
Небо будет бледнее над лесами чужими,  
ветер будет другие  
травы летом качать.

И тропа не дойдет  
до крылечка родного,  
и бураны не так белым снегом метут,  
и солдаты под плитами звуки русского слова,  
звуки горького вздоха,  
как свидания, ждут...





---

---

ВЛАДИМИР ГОЛЕВ

★

## ЯНВАРЬ

*С болгарского*

Все остается где-то позади...  
Шум городской. Квартиры. Кабинеты.  
Машины и трамвайные пути.  
Бесснежность. Мгла. И серые рассветы.  
Все остается где-то позади.  
Да, все осталось где-то за холмом,  
где тополь спит, вчера еще зеленый.  
И солнце улыбается с трудом,  
свой бег замедлив по крутому склону.  
Ну что ж, пришла зима. Пришел январь —  
с воронами и черными кустами,  
что пляшут на снегу хорó, как встарь,  
качаясь под холодными ветрами.  
...А у домов веселых женщин стая,  
пусть холодно, но весело зимой...  
Нетерпеливо лошадь понукая,  
охотник едет на санях домой.  
Да, на земле зима. Прозрачность. Нежность.  
И тишина, звенящая как лед.  
Но говорит нам белая безбрежность,  
что все еще случится, все придет,  
что в этой белизне необычайной  
таится все: о будущем мечты,  
воспоминанья, радости, печали  
и столько неизбывной доброты!  
И хочешь мир обнять, что так искрится,  
обнять плывущий по сугробам сад,  
и побежать на холм, и превратиться  
в мальчишку, словно много лет назад,  
и замереть от удивленья снова,  
и не поверить собственным глазам,  
как велика, неведома, сурова  
земля, что ныне так понятна нам...  
Земля — тысячелика, многоока.  
Шагаем мы на зов извечный твой  
через июнь, в седой январь далекий...  
Мы весь свой век — как дети пред тобой.

### БАЛЛАДА О КНИГАХ

О книги, о книги, плоды вдохновенья  
друзей моих давних, мне верных и ныне!  
Листаю страницы я с тайным волненьем,  
я к ним прикасаюсь как будто к святыне.

О книги! Я помню рождение каждой  
 в те годы дерзаний и ритмов железных,  
 среди споров горячих и пламенной жажды  
 стать самым великим,  
 стать самым известным.

И не было в мире счастливей поэтов,  
 чем вы, о певцы возрожденного мира.  
 Тогда вы не знали тиши кабинетов,  
 скитаясь по чьим-то убогим квартирам.  
 Но песня за песнею — словно мониста —  
 рождались в блокнотах и тонких тетрадках.  
 И было их много,  
 взволнованных, чистых,  
 как клятва суровых и кратких.

Шагали вперед вы в нелегкое время.  
 Кто был послабее — ушел с подороги.  
 Косила судьба ваше шумное племя.  
 И стая редела. И нет уже многих...  
 Но книги, но книги со мною. И ночью  
 я слышу ваш голос, сердечный как прежде.  
 Я книги листаю и вижу меж строчек  
 всю вашу судьбу, и мечты, и надежды.  
 Пусть многих из вас уже нет —  
 бесшабашных,  
 мечтавших о славе, о взлетах счастливых.  
 Но книги — соратники верные ваши —  
 мечтают,  
 скорбят  
 и поют...  
 И все живы.

### БЕССМЕРТИЕ

Наши судьбы —  
 в веках беспримерные.  
 И когда смертный час приближается,  
 умираем мы,  
 свято веруя,  
 что жизнь на земле продолжается.  
 Диагноз известен нам точно,  
 понятны болезней названия.  
 Мы бдительно  
 денно и ночью  
 свои наблюдаем  
 страдания,  
 следим за распадом клеток,  
 за своими угасшими лицами.  
 И тайно  
 перед рассветом  
 слезы дрожат под ресницами.  
 Всё знаем мы,  
 всё понимаем,  
 владеем секретами атома  
 и все-таки

умираем  
 беспомощными и распятыми.  
 Ничто не спасет от страданий,  
 будь ты хоть мудрец,  
 хоть гений...  
 Но в самом конце исканий,  
 в конце наших вечных сомнений  
 мечтаем мы,  
 умирая,  
 забыв все сказки и были,  
 не о славе  
 и не о рае —  
 о лунной земле на могиле,  
 о звезде, что глядит зачарованно,  
 по которой наш дальний потомок  
 будет шагать, взволнованно  
 листая поэзии томик...  
 Пускай мы владели немногим —  
 дни наши были светлыми.  
 Мы состязались с богом  
 и умирали бессмертными...

### ОСЕННИЕ ПЛЯЖИ

Пески седые.  
 Бурные заливы.  
 Веселый летний шум.  
 И крики чаек...  
 Ах, где же, где теперь тот мир счастливый?  
 Сентябрь принес нам горечь и печали.  
 Холодный дождь прядет беззвучно пряжу.  
 Грустит земля.  
 Гудит, рокочет море.  
 Ну что ж, прощайте, золотые пляжи!  
 Теперь гулять лишь ветру на просторе.  
 Бредем с тобой вдоль берега в молчанье.  
 И мокрые зонты за тусклой мглою  
 нам крыльями все машут на прощанье...  
 До лета!  
 И до солнца над землею!

\* \* \*

Ты солги мне, слышишь?  
 Ты скажи мне,  
 что тоскуешь,  
 что тебе я милый,  
 что вовек мы не были чужими,  
 что меня ждала,  
 меня любила,  
 Ты на сцене необыкновенна,  
 просто невозможно не поверить  
 горю твоему,  
 любви,  
 изменам,  
 радостям,  
 надеждам и потерям.  
 Скольких же любила ты по роли!

Сколько слез — от встречи до разрыва!  
Как правдиво плачешь ты без боли.  
Даже смерть твоя —  
и та красива...  
Так сыграй и для меня Джульетту.  
Знаю я,  
не так трудна задача.  
Я ведь сам прошу тебя об этом.  
Я сдержусь  
и даже не заплачу...

### ВЕРЮЮ

Нет, не умру я, как путник в пустыне,  
всеми покинут и всеми забыт.  
Веди меня, юность, дорогою синей  
в вечный свой лес, что листвою шумит.  
Ты не оставишь меня в одиночестве,  
без светлой надежды, без веры в людей.  
Нет, до последнего часа мне хочется  
в небо взмывать в дерзкой стае твоей.  
Все, что прекрасно и что величаво,  
что превосходит все наши мечты:  
песни и стройки, победы и слава —  
все это, молодость, сделала ты!  
Дерзкая, пламенная и бессмертная,  
радость моя и надежда моя —  
вечно зовешь ты в края свои светлые.  
Руку смелей ей протянем, друзья.  
Молодость, верь, мне не надо признания,  
почестей, славы и гор золотых —  
лишь бы с тобою во всех испытаниях  
был мой простой и взволнованный стих!  
Трудно дышать, коль ты изгнан из стаи,  
тяжко внезапно прервать свой полет.  
Братья, без вас я дороги не знаю,  
страшен без вас мне любой поворот.  
Рос я в прекрасной и юной отчизне,  
путь ее был легендарен и прост.  
Мы, ее дети, шагали по жизни,  
шли за мечтой, доставали до звезд.  
Молодость! Родина! Вы мне открыли  
мир без предела и без берегов.  
Дайте перо из святых ваших крыльев —  
и я буду счастлив  
во веки веков!

*Перевела ЛОРИНА ДЫМОВА.*



---

---

ГАЛИНА ШЕРГОВА



## ЗАКОЛОЧЕННЫЕ ДАЧИ

*Повесть*

**К**аменный Шекспир высовывался по пояс из прямоугольного проема в стене церкви Святой Троицы, точно утренний горожанин, окликающий зеленщика. Дальше, в нескольких кварталах от этой церкви, неистовый Вильям был другим. Там у его хрестоматийного изваяния несли свой чугунный караул дети шекспировской фантазии: леди Макбет безуспешно стирала — который век — пятна крови с грешных ладоней; Гамлет разглядывал череп Иорика, металлический череп, теперь уже не подвластный тлению; Фальстаф, еще не изведавший предательства принца Гарри, тянул вино из нескудеющего кубка. Штаны на коленях Фальстафа были латаны желтыми пятнами: их отполировали юбки дам-туристок, которые любили фотографироваться в Стратфорде в обнимку с великим вдохновителем застолий. Шекспир со стратфордской площади знал тайны убийств из-за власти, предательства и любви, отмыкающей входы могильных склепов. А этот, в церкви Святой Троицы, остался навсегда добрым соседом добропорядочных стратфордцев, чтобы иметь возможность высунуться из окна даже после того, как соседи уложили его под каменные плиты церковного пола. В конце концов, он ведь и был их соседом, просто соседом.

Что он сказал перед смертью? Какие слова он произнес? Наверное, обычные, случайные слова человека, испуганного необратимостью конца. Конечно, ему и в ум не приходило, что поколения школьников обрекаются на вызубривание этой фразы, а поколения учителей и литературоведов — на ее толкование. Правда, какие же слова? Черт его знает. А ведь и я, наверное, их учил. Факт — учил. Не помню.

А Ната сказала расхожую, много раз до того слышанную фразу: «Смешно: когда умирает муж, остается вдова, а когда умирает жена, остается жених. Правда, смешно?» — и заплакала. Эти слова не были ее последними. Но я не помню ничего, что она успела сказать в три последующих дня, отпущенных ей болезнью. Для меня эта фраза осталась ее предсмертной. В те же три последующих дня эти слова раздражали меня несвойственной Натe банальностью и, может, будь они сказаны не в палате для обреченных, послужили бы поводом к ссоре. Но мертвые получают право на пророчество: любая банальность, произнесенная умершим, цитируется близкими как афоризм. А в общем, так и оказалось. Теперь, два года спустя, выяснилось, что Ната сказала все как будет, все как есть.

Вчера вечером, уходя, я подошел к Кире, чтобы поцеловать ее на прощание. Она сидела, поджав под себя ногу, где-то в самой утробе огромного кожаного кресла. Слишком огромного для ее маленькой

квартиры и похожего на заживо дубленного борова. На журнальном столике перед креслом стояла недопитая чашечка с черным кофе. Теперь в интеллигентных домах есть такой ритуал — все стали заходить друг к другу на чашку кофе. Я кофе ненавижу и приучиться к этим замашкам не могу. Но Кира уверяет, что «без кофе не живет». Ничего, жила всю жизнь прекрасно без кофе. Ничего, жила. Она сказала: «Ну, Проскуров, поезжай в свою Березовку и — создавай. А я буду приезжать к тебе редко-редко. Как на побывку к жениху. Будто ты мой жених. Ладно?»

Я не поцеловал ее, только погладил волосы. Вот одно слово — и опята Ната и ее предсказания, и все идет к чертям собачьим.

Я не могу больше об этом думать. День за днем я отучаю себя думать об этом. Но весь мир пойман, как косяк рыбы, в сеть ассоциаций, и я бьюсь где-то в сердцевине. И не могу разорвать узелки, которые завязываются то и дело на ее словах, на ее движениях, на предметах, тронутых ею.

Я не буду думать об этом. Я буду думать о Шекспире и своей недавней поездке в Стратфорд-на-Эйвоне. Я хочу написать их и о них, и они уже складываются в облики, в звучание фраз, и я чувствую их уже как одежду, переставшую быть театральным костюмом, обнимающуюся на сгибах локтей и коленей морщинами повседневности.

В кладбищенском дворе церкви Святой Троицы старые камни надгробий топорщились подобно выщербленным плиткам серой черепицы и беспомощно кренились в траву, траву безучастия и запустения. Я не раз наблюдал это небрежение на английских кладбищах, и поначалу оно меня удивляло. Мое литературное представление об английской патриархальности не оставляло места для подобного отношения к родственным корням. Мне так нравилась духовная цельность англичан и ясность их представлений о мире. Казалось бы, такой статус требует прочно оберегаемых знаков предшествующего. Но позднее я понял, что небрежение к могильным аксессуарам часто дает возможность сохранить бессмертие тому, что единственное и вправе рассчитывать на бессмертие, — человеческой душе в ее битвах за истину. Шекспир сплошь и рядом даже не давал себе труда похоронить погибшего героя. Могилы Гамлета и Лира могут остаться придорожными холмиками, люди все равно веками будут отстаивать право думать над загадками, мучившими их.

Свой альбом стратфордских рисунков я непременно хотел предварить собственной статьей. Но я знаю, если я когда-нибудь напишу об этом, на меня кинутся сотни знатоков английских погребальных ритуалов, чтобы доказать случайность моих наблюдений. Кира — первая. Она терпеть не может «приблизительных знаний». Пусть, пусть. Из меня этого не вырвешь. Я узнал что-то для себя и не собираюсь хвататься за прочную бечевку достоверного. И так уж... Да, когда я вдруг начинаю покрываться холодной испариной от ужаса, что никакой я, к черту, не художник (наверное, такое со всеми бывает, но от этого не менее страшно тебе), я знаю, в чем тут дело. Крепнущая отвычка от собственного мировосприятия. Разучиться проводить точную карандашную линию или угольный штрих нельзя. Это как езда на велосипеде. Выучился — и через двадцать лет поедешь. Потренируешься и поедешь. А вот разучиться думать — самому! — чувствовать — самому! — видеть — самому!.. Это сколько угодно, за причинами дело не станет. Кажется, насчет Гамлета и Лира — это я слабовато, а?

Ничего, ничего... Вот я снова вхожу в мир тишины, где все предметы зримы и имеют значение. И я буду разглядывать их и слушать, и что-то внутри томительно зазвонит, и это будет то, что нужно, чего

ждешь и не можешь дожидаться в московской неразберихе. Конечно, подмосковный дачный поселок не Болдино, а побег в уединение средствами пригородной электрички не очень смахивает на уход в скит...

Оттого что улицы и участки за хилыми ребрышками штакетника были завалены непорочными холмами снега, рождалось ощущение стойкого порядка. Мир не был заброшенным, забытым под этими белыми грудями, напротив — он казался обжитым и прибранным, как комната педантичной вдовы.

Странное дело эти зимние заколоченные дачи!.. Помню, во время войны я шел по улице разбомбленного Ростова-на-Дону. Коробки домов были целы, но лишены внутренностей, как бывают лишены пластмассовые манекены в витринах теплоты живого тела. Такой причудливый некрополь, город мертвых, сияющий уподобиться поселению живых.

Скопище заколоченных дач не навело на мысль о некрополе. Казалось, за заборами, окнами и дверями еще живут чьи-то голоса, недавние ссоры и ревнивые признания. Будто их владельцы покинули дома, замуравив в них бесплотные знаки жизни, а жизнь эта непременно была полной тех страстей, волнующей остроты отношений, к которой мы все стремимся и которая всегда чья-то, не твоя.

— У Феньки на задку бубенчик будет. Как начнет заваливаться — зазвонит...

Фраза была довольно неленая, да и взяты-то ей было вроде неоткуда. Голосок, отчетливый, школьный, возник справа. Там у заборчика стояли мальчик и девочка, она приторачивала к детским санкам огромный бидон. На веревке, охватившей его ржавое тело, висела связка каких-то железяк. Я подошел.

— Здравствуйте, — сказала мне девочка и vareжкой отодвинула со лба челку. «Здравствуйте» совсем не было выражением нашего знакомства, просто знак сельской вежливости. Однако произнесла она это так, словно и впрямь меня знала.

— Я поехал, ма. — Мальчик потянул санки.

— Если у станции не будет, поезжай в Глухово. В сельпо всегда керосин есть. Поезжай-поезжай, не лентяйничай. — Она похлопала его по спине. — Но-о, коня-га! — И залилась смехом.

— Кто же такая Фенька? — спросил я.

— Фенька — наш бидон для керосина, есть еще поменьше — Сенька, для молока, и Дунька — махонький, для масла растительного.

— А как зовут мальчика и девочку?

— Мальчика — Витя, а его мамашу — Зина.

Она снова залилась смехом, откидывая со лба челку быстрым и вкрадчивым движением. И именно этот жест, очень женский, заставил поверить, что девочка — Витина мать. Все остальное в ней — кургузые резиновые сапожки, коричневое пальтишко на огромных пуговицах и даже лицо-блинчик, какие рисуют художники-иллюстраторы детских книжек, «точка, точка, два крючочка», — все было безнадежно инфантильным.

— Вы у Прохоровых снимаете? — спросила она и сама ответила: — Я знаю: левый низ с кухонькой. А мы тут постоянные, зимники. Вот найду как-нибудь соль-спички попросить. По-соседски. В деревне все соль-спички одалживают. Просто зайти неудобно, а тут в виде предлог.

И снова проступила в ней женщина: произнесла это Зина не с детской непосредственностью, а с нарочитой бойкостью бывалой бабенки.

— Гостям рады, — сказал я, хотя вовсе не хотел в Березовке никаких общений.

— Пока! — Она махнула варежкой. — У меня смена, я в Москву. — И побежала, впечатывая в тропинку серые, с круглыми подошвами, как звериные лапки, сапожки.

Дело шло к закату. В чистом, отстиранном полотнище неба растекались розовые и лимонные потеки. Бли, напитанные тяжелой зеленью, тут и там мазали небосвод. Еще минута — и с елей на небесный простор поползла зелень, точно деревья линияли в едком растворе воздуха. Я смотрел на эти оплывы цвета где-то надо мной и передо мной и ждал, что вот-вот у меня тревожно заноеет под ложечкой, как бывало всегда раньше, когда я видел что-то прекрасное, требующее душевной «поимки». Но миг этот не приходил. Просто видел и видел. Значит, если даже точно запомнишь, на холсте виденное не обретет второй жизни.

Зина постучала в окно. Я уже за эти три дня забыл и встречу на тропинке и ее посул зайти «за солью-спичками», но сразу понял, что это она. Дробный стук очень смахивал на бойкую Зинину скороговорку.

— А вы уж и коробок сразу вынесли. Это чтобы я дальше не шла?

Я действительно держал в руке спички: как раз растапливал на ночь печку.

— Но соль в комнате. Придется войти. — Я взял ее за руку и перевел через порог.

Зина сняла пальто, села на табуретку у моего рабочего стола (в летние месяцы хозяйского обеденного). Я извинился — сейчас вернусь, только покончу с печкой. Печка выходила дверцей в соседний закуток, именуемый Прохоровыми прихожей. В спину мне Зина сказала:

— А вам идет свитер. Фигура выигрывает. Вы в костюме не ходите.

— Это вы меня в костюме не видели. Знаете, какой красавец! Глаз не оторвешь. — Я дунул в печку.

— Почему это не видела? Я вас во всем видела. И в костюме и в плаще югославском — такой шанжанистый, да? И в плавках видела. В Серебряном бору. Точно?

— Ну и как?

— Ничего. Фактура есть. Но в свитере лучше. Сорокалетние мужчины даже с хорошими фигурами в прикрытом виде лучше смотрятся.

— У-тю-тю! — Я поддел лучиной поленце, однобоко тлеющее на вершине деревянной горки. — Какой спец по сорокалетним мужчинам! Но мне больше: уже с хвостиком.

— Спец не спец, а жизнь повидала. Слава богу — двадцать восемь лет. К тому же мать-одиночка. Пять рублей в месяц с государства — Витьке на книжку. Когда с армии придет, однокомнатную квартиру ему построю. — Она произнесла все это залпом, с привычным вызовом и вдруг по-другому, деловито закончила: — Если, конечно, московскую прописку пробью ему.

Бронхитный кашель, возникший где-то в глубине тлеющей поленицы, разорвал невидимый барьер, и пламя вырвалось из заточения, охватило дрова. Печка «взялась». Можно было войти в комнату, но я не знал, с чем прийти. Какого черта я поддержал этот развязный разговор, толкающий к дальнейшей двусмысленности поведения. Совсем этот шустрый взрослый подросток не вызывает, так сказать, крамольных инстинктов и нечего было гарцевать: «Ну и как?»



Все-таки я вошел и прижался спиной к печке, еще затаившей утреннее тепло. Зина сидела, упершись пятками в перекладину табуретки, натянув на колени подол огромного бесформенного свитера.

— Вам тоже идет свитер. — Надо же было что-нибудь сказать.

Она закатилась в хохоте:

— Не подходите — укушу! Он собачий. С нашего Тарзана. Мы с Витькой его год чесали. Тарзана, конечно.

— А сколько Вите лет?

— Одиннадцать.

Мы помолчали, и Зина, свесив набок челку, хмыкнула:

— Считаете, сколько мне лет было? Точно. Семнадцать. Он тоже тут, в Березовке, жил, тоже зимник. Я тогда уже без родителей была. Вперед хотел на мне жениться, а когда с армии пришел, уехал и адрес не прислал.

— И совсем вам не помогал?

— Не-а. А, пускай... Он же меня не совращал, я же его сама любила. Пусть. Сами проживем. Это нам ничто иное.

Пожалуй, для первых пятнадцати минут визита биографических подробностей было многовато. Я сам как-то не умею вытряхиваться перед первым встречным, и неожиданная откровенность другого меня тоже раздражает. А о чем я с ней мог говорить? О Шекспире? Вот уж тут точно «что ей — Гекуба?».

— Давайте ужинать, — сказал я.

В день отъезда в Березовку теща моя Елизавета Венедиктовна вошла в мастерскую со свертком: «Вам, Кирилл, просили передать пакет. Какая-то женщина. Она ни за что не хотела входить. Странно». Я развернул газету — сверток содержал мороженое сало, банку соевых огурцов и бутылку с самогомом, заткнутую бумажным пыжом. А также записку: «Опрощайся по всем статьям. К.». Кира любит «стилистические изыски», как она выражается. Где она самогон-то раздобыла? Сейчас этот нектар будет, пожалуй, в аккурат.

— Давайте, — сказала Зина. — И выпить у вас найдется?

— И выпить найдется.

Я принес из сеней сало, хлеб, огурцы, самогон и два стакана.

— Пошли сядем у печки, — предложила Зина, — будем смотреть на огонь и выпивать. Пошли, а?

...Полчища крохотных синемундирных воинов брали приступом зубчатую крепость полена. Осажденные, там, по другую сторону алокирпичной от пламени стены, мелкими перебежками пытались занять стратегически выгодные позиции для обороны. Почему-то именно неприрученные стихии — огонь, вода, ветер — чертят в сознании эскизы людских действий. Их жесткая схематичность бывает точнее доскональной картины события, развернувшегося на твоих глазах. Я подумал о «Короле Лире» в постановке Питера Брука. Графический, почти скучный лаконизм декораций высвобождал человеческие страсти из хламид повседневности. Страсти очищены, они выпадают на дно зрительного зала, точно кристаллы в прозрачном растворе. «Долой, долой с себя все лишнее!» — сам Лир сдирает с тела одежды, прорываясь к прозрению мира в его истинности. Это в сцене бури. Не знаю, бури ли елизаветинского двора диктовали Шекспиру диалоги этой сцены. Может быть, обычная деревенская гроза, застигнутая в пути театральный фургон, наметила чертеж бури, расколовшей лировское государство и лировскую душу. Стихия была не символической, а графическим прообразом.

— Долой, долой с себя все лишнее! — сказал я вслух.

Зина вздрогнула, покраснела и как-то затравленно выглянула из-за кулисы прямых, падающих к поднятым коленям волос.

Я захохотал:

— Нет, король Лир призывал к иному.

— Мы записывали «Король Лир», радиопостановку.

— Где?

— Как то есть где? На работе. Я же звукооператор на радио. —

Она отвернулась, снова уводя глаз и круглый холмик носа за кулису волос. — Вы думаете — я уж совсем серая. И «Король Лир» не слышала. В виде — девушка из предместья.

— Кто вас так называл?

— Называл. Один. Ладно, выпьем за Зинкину серость. — Она ткнула в мой стакан боком своего. Стакан она держала растопыренной короткопалой пятерней, точно дошкольник кружку с молоком. Однако отпила только глоток. — Вообще-то точно. У нас все девчонки культурнее меня. А вот режиссеры всегда ищут: где Зина, где Зина? Потому что я на один слух могу поймать букву и одну нотку вырежу, и в наложениях у меня никаких чихов не бывает. Иногда на четырех аппаратах сразу работаешь, а все — тип-топ. Пусть даже пять, это нам ничто иное.

Что-то жалостливое было в Зининой хвастливой отваге. Я обнял ее, и она, приткнувшись к моей подмышке, совсем исчезла под рукой. Я переложил стакан в левую руку и выпил все. Потом я поцеловал ее в губы. Сначала она не сопротивлялась, но внезапно отдернула голову и затрясла челкой:

— Не надо, не надо, Кирилл Петрович, не надо...

Но мне уже не хотелось отпускать ее. Я плотнее прижал к себе маленькое угловатое тельце.

— Ну почему? Ну почему?

Она вырвалась, и я увидел, что у нее светлые-светлые глаза. Они точно вынырнули из-под челки, жалобные и испуганные.

— Потому что я вам никто. А вы мне — кто-то. Если бы вы мне тоже были никто...

Потом глаза ее стали еще больше и светлее, потому что в каждом возникло по слезе.

— И смеяться тут нечего.

— Я не над тобой.

В общем-то, я не врал. Я улыбнулся потому, что мне показалось забавным, что она так подробно отвечает на этот сакраментальный вопрос «ну почему?». Все мужчины всегда лопочут в такие моменты это самое «почему» вовсе не в расчете на разъяснения. Вопрос, так сказать, риторический. Женщины, с которыми я был связан, отлично это понимали. А она пустилась в объяснения.

— Надо мной, — сказала Зина убежденно. — Вы же не разговариваете даже со мной. Вы со своими мыслями разговариваете. Ведь верно?

— Верно, — сказал я.

— Я пойду.

— Иди. Приходи как-нибудь. За спичками.

Когда она пробежала мимо окна, глухой стук ткнулся в стекло: видимо, Зина задела ветку и та швырнула в окно снегом.

Наконец приехала Кира. Я говорю «наконец» совсем не потому, что так уж не мог дожидаться ее. Но я знаю, что она выжидала две недели и высчитывала дни, чтобы получилась подольше. Кира изо всех сил старается не быть обременительной и то и дело дает мне почувствовать, что ее присутствие в моей жизни не только не мешает моей работе, напротив — побуждает к творчеству.

Ната никогда не задумывалась над тем, обременяет она меня или

нет. Она могла месяцами даже не спрашивать, над чем я работаю. Не интересовалась — и все. Я усматривал в этом безразличие к моей деятельности, непонимание и злился. А иногда она вдруг входила в мастерскую и начинала тасовать листы эскизов, удивленно поднимая брови. Причем это бывало в особенно напряженные моменты. И я опять злился. «Ну что, не подходит?» — спрашивал я мрачно. Она пожимала плечами: «По-моему, все это — мадам Литература». Мы начинали ссориться, но через час она уже как будто не помнила ни о своем отношении к рисункам, ни о ссоре. Однако фраза вроде «мадам Литература» оставалась где-то внутри меня, и я начинал работу сначала. Хотя и уговаривал себя, что это дилетантские, бездумные словечки. Но теперь я понимаю, что не Натины замечания имели значение для моей работы. Какая-то первозданная естественность ее поведения подсознательно передавалась и мне. А вероятно, нескованность, естественность ощущений и есть самое необходимое для художника.

— Мы пойдем гулять, — сказала Кира.

На ней была новая куртка с капюшоном, отороченным рыжей лисой. Почему-то я знал, что куртка готовилась специально для этой поездки. Она ей действительно шла: лицо выглядывало из мехового ореола как хорошенькая мордочка горжетки. На мордочке поблескивали черные пуговики-глаза. Я уже было собирался похвалить капюшон и пуговики, но в этот момент Кира взяла щепотку снега и посыпала на мех, чтобы я обратил внимание на куртку, и я ничего не сказал.

Сумерки упрятали дачи куда-то глубоко-глубоко за заборы, и улица притаилась.

— Ты был прав, решившись на побег, — сказала Кира. — Тут так мертво, будто никогда и жизни не было. Мы с тобой одни живые в мертвом поселке. — Она, привстав на цыпочки, прижала лоб к моей щеке. — И теплые.

Я поцеловал ее и подумал о том, что заколоченные дачи вызывали у меня совсем иные ассоциации.

У дороги стояла крохотная обледеневшая избушка, прикрывающая колодец. Поникшие, сползающие сосульками крылья ее крыши, какие-то нищенские и бездомные, вызывали щемящее чувство жалости, как деревни, обездоленные войной. Именно эти деревни и возникли сразу передо мной, особенно та, на Смоленщине. Кира опять прижалась ко мне лбом и шепнула:

— Мы с тобой такие теплые, что можем жить в ледяной избушке. Давай будем в ней жить. — Она подбежала к колодцу, подтянув меня за руку, и нагнулась вниз, в сруб, откуда дышал нестойкий пар. — Каждое утро мы будем просыпаться и говорить... — Она крикнула вниз, воде: — «Я люблю тебя, Кира»... Повторяй. Ты можешь это повторить?

Я сказал в черную, многоголосую утробу:

— Я люблю тебя, Кира.

— Мы очень созвучные, у нас даже одинаковые имена. У нас одно эхо, — сказала она, нагибаясь еще ниже.

Я вдруг увидел себя и Киру такими, какие мы есть сейчас, на окраине той, давней послевоенной деревни. Собственно, какая окрестность могла быть у одинокой, оплывающей сосульками избы, замкнутой целое село. У избы вертится мальчуган в женской городской кофте, натянутой поверх каких-то лохмотьев. А мы кричим ему о созвучии наших имен и общем эхе.

Разумеется, сцена эта была нелепой, в те времена, когда я шел с войны, никакой Киры со мной не было и не могла она иметь отно-

шение к той моей жизни, как и смоленская деревня была ни при чем здесь. Но почему-то это, примерещившееся, казалось реальным, а нелепыми были мы нынешние и наше литературное объяснение в жерле колодца двадцать пять лет спустя.

— А теперь — домой, домой, домой! — засмеялась Кира. — У нас еще впереди твой Шекспир. Я тебе привезла второе издание Козинцева.

Пока я возился, собирая ложки-плошки к ужину, Кира лежала на тахте (точнее — матраце, водруженном на четыре кирпича) и листала книжку.

— Смотри, еловые ветки со снегом лежат на подоконнике, как собачьи или волчьи морды, — сказала она.

Я посмотрел на окно, ответил: «Да, похоже» — и подумал: «Странное дело — вот если Кира подруге или я приятелю вздумаем рассказывать о сегодняшнем дне, все будет очень здорово. Прогулка по пустому сумеречному поселку, объяснение в колодце, потом разговоры о Шекспире, а потом ночь, когда можно вдвоем лежать и слушать, как трещит печка, и в окно заглядывают волчьи морды».

И это — прекрасно.

Все правда. И все — неправда. Потому что Кира все эти две недели придумывала сорок раз распорядок этого дня, в котором должны были присутствовать и нелепости, и интересные разговоры, и эта ночь. И сейчас мы выполняем программу.

Я всегда понимал Кирины замыслы, понимал, что продиктованы они желанием быть мне интересной, желанной. Я понимал, что она любит меня. И я никогда не злился на нее, как некогда злился на Нату. Я очень хотел любить Киру. Ведь все, что она делала, было мне действительно мило и интересно. Я очень хотел любить ее. А Нату я просто любил, хотел или не хотел — любил.

— Подойди, пожалуйста, — позвала меня Кира.

Когда я нагнулся к ней, она сделала стригущие движения двумя пальцами над моими волосами, шепнула:

— Вот так мы подстрижем твои черные кудри, чтобы ты был у нас модный-модный. — Потом поцеловала меня в губы.

Программа шла своим чередом. Но я знал, что, прежде чем мы окажемся вместе, мы еще должны будем поговорить о Шекспире.

— Что это за книжка у тебя? — спросил я.

— Однотомник Конрада. Я тут делала глоссарий. При твоей темноте поясню: глоссарий — это толковый словарь к тексту.

Я действительно не знаю, что такое глоссарий. Я не знаю, что входит в функции редактора классической литературы. Кирино издательство выпускает классику. Как это ей удастся подредактировать Стендаля или Твена? Или Шекспира? Не хочу я говорить о Шекспире. И дальше — ничего не хочу. И я не могу объяснить Кире, что это вовсе не оттого, что она мне не желанна. Я не могу выполнять ритуал. А у нас все складывается в ритуал. Но ни одна женщина не поверит, что мужчину покидает желание именно от этого. Для женщины существует одно-единственное объяснение: он не хочет — он не любит.

Зачем она листает эту книжку? Она же знает ее наизусть, раз она редактор и делала глоссарий. Чтобы я заметил, что она редактор такой вот книжки и делала глоссарий? Мне вдруг стало жалко Киру: бедняга, шила куртку, делала глоссарий, придумывала, что и как тут будет.

— Ты моя ума палата, — сказал я и тоже поцеловал ее.

В этот момент в дверь постучали. Я открыл и увидел Зину.

— Ой, у вас гости! — Зина сразу обнаружила точным женским глазом Кирину куртку, висящую в «прихожей».

— А вы разве не гость? Вполне прекрасный-распрекрасный гость! — Я очень ей обрадовался: все-таки ее приход нарушил ритуал. — Только редкий гость. Обещали за солью-спичками придти — и нет как нет.

Зина подозрительно взглянула на меня и серьезно сказала:  
— Смех.

Я снял с нее пальто и прошел за ней в комнату. Протянув Кире ладошку ложечкой, Зина сказала:

— Будем знакомы. Зина.

Кира улыбнулась:

— Полонская. Будем.

Зина уселась в своей обычной позе на табуретку, натянув подол свитера на колени.

— Я, между прочим, вам, Кирилл Петрович, одну пленку принесла. «Король Лир», кадр насчет одежды. Вы, кажется, интересовались.

Я захохотал: сюжет замкнулся на Шекспире совсем неожиданным путем. И ритуал так и не нарушился.

— Вот мы и затеем шекспировский вечер, — я очень развеселился, — будем пьянствовать. Старик Шекспир как раз и умер с перепоя. Надрался со своим другом Беном Джонсоном — и отдал концы, бедняга. Зато весело отдал.

— Нет — правда? — восторженно спросила Зина.

Кира отшвырнула книжку и поморщилась.

— Кирилл Петрович любит сомнительные источники. А иногда и сомнительные знакомства. А когда они неуместны, ему не хватает одной добродетели для их пресечения — мужества. Между прочим, Платон считал эту добродетель низшей. Видимо, наиболее простой и естественной.

Слава богу, Зина не могла понять, о чем она говорила. Но меня передернуло. Чтобы увести разговор, я сказал с нарочитой неприужденностью:

— Это сплетни, Зинуша. Шекспир был отличный мужик, хотя и соблазнил свою супругу до брака. Это тоже сомнительно, товарищ редактор?

— Отчего же, книга записей в церкви Святой Троицы подтверждает твои сообщения. Первая дочь родилась через полгода после свадьбы.

— Полюбил, значит. А любовь все спешит. Неверно? — Зина в упор посмотрела на Киру.

— Кстати, в этой книжке у Козинцева есть великолепный абзац: для Шекспира естествен гул продолжающейся жизни после единичной кончины. Знаешь, — вся речь была обращена только ко мне, будто Зины не существовало, — по-моему, это нужно сделать главной мыслью твоего шекспировского альбома. Именно его жизнеутверждение. Это сейчас прозвучит особенно в жилу.

Ничего «кстати» в этом монологе не было, просто Кире хотелось продемонстрировать, что Зина тут лишняя, не соединенная с нами общими интересами, общим пониманием. Но Зина слушала внимательно и прилежно, отчего мне стало бесконечно жаль ее.

— Зинуша, хозяйничайте. Вы же тут все знаете, — сказал я. Пусть Кира думает, что Зина у меня старожил. Раз так, пусть думает.

— Ладно. Раскинем ваш сервиз. Все в сенях?

Спрыгнув с табуретки, Зина побежала в «прихожую», притащила стаканы, единственную тарелку и тихонько свистнула:

— Помянем раба божьего Шекспира. Чтоб лежал — не дремал, нас вспоминал.

Кира сделала вид, что ни я, ни Зина ничего не произнесли:

— И еще — ты это подчеркни во вступительной статье — нужно противопоставить историческую определенность и жизнеутверждение Шекспира зыбкости современной западной драматургии. Особенно Бекетту. Возьми «Лира» и «В ожидании Годо». Это есть, между прочим, у Уэста. Я же тебе давала ту книжку.

Уэст меня тоже заинтересовал при чтении. Мне показалось точным его соображение относительно того, что ожидание Годо, который так и не приходит, обретает драматизм, способный волновать сердца только в том случае, если тот, кто скорбит об отсутствии бога, убежден, что некогда бог существовал. Я даже запомнил текстуально: «Бессмысленность религии воспринимается как утрата того, что было в прошлом реальностью». Но заговорить сейчас об этом я не мог — это было бы предательством по отношению к Зине.

— Для вечера и водки это что-то слишком мудрено, — произнес я уже с раздражением.

Но неожиданно Зина, потянув вниз подол свитера, смешно дернула головой, точно выныривая из-под воды, и залилась своим дробным смехом.

— А теперь пейте-гуляйте. Я пошла. — Она взглянула на меня, точно оправдывалась. — Верно-верно, меня Витька ждет.

Когда хлопнула дверь, я сказал зло:

— Зачем нужно было обижать ее? Перед кем ты выпендривалась?

Кира сорвалась с тахты, обхватила руками мою голову и заговорщицки зашептала:

Виновных нет, поверь, виновных нет!  
Никто не совершает преступлений.  
Верусь тебе любого оправдать,  
Затем что вправе рот зажать любому.

Сухими сомкнутыми губами она прижалась к моим. Но я вывернулся.

— Брось. За что, главное, ты ее?

Кира снова села на тахту, и веселая лихость сменилась в ее голосе пренебрежительной иронией:

— Ты, кажется, слишком серьезно принял мой призыв к опрощению? К самогону и огурцам еще прибавился романчик с подмосковной кассиршей! И давно ты с ней спишь?

— Ну о чем ты говоришь? — сказал я без энтузиазма.

Кира бросилась в «прихожую» и стала натягивать куртку. Я видел, что она возится с застежкой намеренно долго, чтобы я успел ее остановить. Когда она выскочила на улицу, я все-таки крикнул для порядка: «Кира!» — и лег на тахту.

«Виновных нет, поверь, виновных нет...» Единственная фраза, застрявшая где-то в мозгу, вращалась, как картинка, прикрепленная к кольцу, методически проходящая перед глазами.

«Виновных нет, поверь, виновных нет...»

Чтобы вырваться из тупого заклинания этих слов, я произнес вслух:

Никто не совершает преступлений.  
Верусь тебе любого оправдать...

— Это Шекспир сочинил? — спросил от двери Зинин голос.

— Шекспир.

Она подошла и прямо села ко мне на тахту.

— Я знаешь почему пришла? Потому что я тебе кто-то стала. Я увидела.— Зина пальцем что-то написала у меня на лбу. И как по секрету сообщила: — А на нее ты не обижайся. Она замуж за тебя хочет, вот и старается. Ты не обижайся.

И опять слово «наконец» ударило мне в виски, в сердце, будто я тронул оголенный конец электропровода. Но это было не то «наконец», которое мне пришло в голову в связи с Кириным приездом. Это было «наконец-то».

Я увидел ели. По хребтам веток тянулись белые пряди снежной седины. Внезапно черно-белый плоский пейзаж, пейзаж гравюры, обрел объем. Лес наполнился малиновыми клубами закатного воздуха. Свет был плотным, почти выпуклым, выступающим из-за деревьев. Он шел на меня, в меня и как водный накат бился о грудную клетку, рождая томительное, почти забытое ощущение ожидания, тревоги. Я уже не мог точно, как это бывало на предыдущих прогулках, запомнить детали линий и подробности цвета. И все-таки именно сейчас я чувствовал, что наполняюсь той желанной неясностью, смятенностью чувств, которая — единственная! — вызовет потом облики возникающего на листе. Именно эта невнятность, возникшая где-то глубоко внутри, расступалась, давая дорогу мысли и неожиданности ассоциаций.

Я уже раньше решил, что буду делать шекспировский альбом черно-белым, в туши. Но повадку этих нерадушных линий я поймал сейчас в празднестве алого цвета, заполнившего до отказа лес.

Конечно, ни перед одним из героев Шекспира не вставал ландшафт, похожий на березовский. А я вдруг понял, о чем буду писать, что я буду рисовать. И как такое получалось — неизвестно, но получалось.

Все *go* было подступом, приступом к этому мигу. И обживание примет чужой эпохи, и фамильярное сближение с человеческим бытовизмом Шекспира, и видение в печке той лировской степи — «Долой, долой с себя все лишнее!».

Я должен написать вот что: классические мерил человека добродетелей — вечны. Время не имеет права вычеркивать их из ежедневных словарей или оправдывать их искажения собственной трансформацией. В человеке всегда живет тоска по истинности страстей, какие мерещились мне в этих заколоченных дачах, — очищенных от унылости повседневной текучки или подогнанных под колодку заученных канонов. Мы добровольно мельчаем, выговаривая у самих себя право на проступки, навязанные ситуацией.

Никто не совершает преступлений.  
Берусь тебе любого оправдать...

В быту, в привычной ежедневности, мы растрчиваем вечные добродетели, и, по Платону, низшую из них — мужество. И тогда ты уже не можешь провести на листе бумаги единственно искомую линию или сказать женщине, что в тебе — пусто.

Я шел и шел, и улицы поселка, то смыкая стороны нагромождением сугробов, то распадаясь в перекрестках, тянулись куда-то к концу земли.

На очередном скрещении улицы с уже лесной просекой сугробы откатились подальше, выпростав площадку для продовольственного магазинчика, сбитого из крашенных досок, неоправданно летнего сейчас в своей дачной голубизне. Из открытой двери магазина

вываливался хвост очереди, безвольный, как язык усталой собаки. И вся эта вереница замерла неподвижно, только изредка вздрагивая шевелением людских тел. Вдоль очереди бродил кургузый человек в длиннополом дождевике. В руке он держал некий предмет, смахивающий на детский ночной горшок, только непомерно высокий. Человек тыкал горшком то в одного, то в другого из стоявших в очереди. Люди что-то говорили ему, он сокрушенно опускал свой горшок и тут же вздергивал снова. Мне вдруг показалось, что это Юрка Сивак. Хотя откуда бы здесь взяться Сиваку с ночным горшком?

— Подсолиться решили, Кирилл Петрович? — Мне навстречу выскочила из очереди Зина.

— Чем подсолиться? — не понял я.

— Селедку безголовую, баночную, завезли. Во — и народ обезголовел: час ждут, пока разгрузят. Я-то вообще без головы насчет хозяйства. Надо Витюшку с премии порадовать. А вообще-то — здравствуйте! — Она вынула из кармана пальто красную ладошку и сунула мне. — Варезку потеряла. С правой руки, это к плохому.

Я сунул ее жесткую пятерню за отворот своего пальто. Зина засмеялась, челка упала на глаза.

В левой руке Зина держала хозяйственную сумку. Ладошка у меня за пазухой вздрогнула, рванувшись откинуть челку. Но руки она не отняла, только пальцами поскреблась мне в грудь. Дунув уголком рта, согнала волосы на лоб.

— Вы селедку не берите, вы вечером приходите к нам. Я картошечки наварю, у нас своя, лорх сорт.

— Приду.

— Нет, вы сейчас не уходите. Побудьте тут. Ну чуточку. Пошли сядем.

За магазином были свалены пустые ящики. Зина поставила два рядом, села, усадила меня и снова сунула руку мне за отворот.

— Вы не поверите, — ее пальцы снова поскребли по моему свитеру, — я столько раз воображала себе — вот потрогаю вас. Вы же ничего не знаете. Я же в вас влюбилась давно-давно, когда вы к нам на запись приходили. Я еще ученицей оператора была. Потом девчонки наши уже знали, если вы на радио приходите, сейчас летят: Зинка, твой тут! И если где вас встречу, у меня уже — привет — праздник. — Зина сыпала слова быстрее обычного, будто боясь, что заговорю я и спугну ее решимость.

— Купите кофейник, незаменимая вещь в культурном семействе. Эмалированный кофейник вы можете приобрести всего за два рубля. — Перед нами стоял человек в дождевике, металлически затвердевшем на морозе. — Только крайние обстоятельства заставляют расстаться с этим предметом первой необходимости.

— Иди-иди, — сказала Зина, — тебе домой — прямо и направо.

— Кофейник имеет крышку. — Человек отогнул по-жестяному громыхнувшую полу дождевика и из кармана брюк извлек крышку. — Два рубля совместно с крышкой. — Он просительно смотрел на нас сквозь перекосившиеся на носу очки. — Однако если в данный отрезок времени вы стеснены в средствах — рубль.

О Юрке Сиваке напоминали, пожалуй, только эти косо сидящие очки.

— Иди-иди, — снова сказала Зина. — Крышка. От дырки.

Человек уронил руку с кофейником и обреченно побрел опять к очереди.

— И кофейник я воображала. — Зина коротко боднула меня в



грудь. — Я всегда думала: он приходит и я ему кофе подаю. Я воображала: вы обязательно дома пьете кофе.

— Не пью я кофе.

— А кофейник так и не выбралась с деньгами купить. То то, то се, то Витьке что-нибудь надо. Мне очень хотелось сегодня этот кофейник купить, у меня и премия целая. И вы тут, под боком. Но у него — не стала.

Я прижал к себе под пальто ее ладошку, и та выжидательно замерла.

— Придешь вечером?— спросила Зина шепотом.

«Я не могу прийти к тебе, ты мне еще не кто-то. Уже, может, не никто. Но еще не кто-то». Я должен бы так сказать, я хотел сказать именно так, я даже произнес это про себя. Я сказал:

— Наверно, твоя очередь подходит. Иди проверь.

— Наплевать. Еще раз встану. Нам в очередях стоять — ничто иное.

Когда я садился на ящик, я не мог подоткнуть под себя короткие полы куртки и сейчас все время чувствовал, как разъехавшиеся доски сквозь брюки впиваются мне в ляжку. Мне очень хотелось встать, но я не двигался. Чтобы не обидеть Зину.

— Вот какая история моей любви,— она счастливо замотала головой и залилась своим бегущим вверх смехом,— в виде книги «Письмо незнакомки». Вы читали?

Доска куснула меня снова, и я сделал попытку сменить положение.

— А еще что я вам скажу. Я же со всех ваших пленок сняла дубли. Выписала в фонотеке, сняла дубли и вечером, когда поздно работаешь, никого нет, слушаю.

«Чертов ящик, еще пять минут — и вместо зада у меня будет зияющая рана»,— подумал я.

— А одну пленку я вообще сперла: Украла то есть. Ее Москвина из передачи вынула, сказала — размагнитить. А я спрятала.

— Какую пленку?

— Это где вы про художника Сивака рассказываете. Она же должна была идти. Уже в программе стояла. А потом Москвина вынула, Собака эта Москвина.

Со мной всегда так: если мне на улице или еще где-нибудь помешается какой-то человек, в тот же день я встречаю его настоящего или натыкаюсь на него в разговоре. Сегодня была очередь Сивака.

Мимо нас прошла толстая бабка в зеленом платке, дыблящемся остроугольным домиком над оранжевым лицом. В сумке, набитой покупками, сверху лежал эмалированный кофейник, из его широкого горла торчала куриная голова. Зина проводила тетку взглядом.

— Вот зараза Седуха. Отхватила кофейник.

— Ну и пусть.

— Пусть?— Зина выдернула ладошку у меня из-за пазухи. — Пусть? Он же на пропой! Он же из дома всегда носит, все с себя догола и из дома. От жены. Она, бедная, исплакалась вся. Седуха, зараза, знает же. Если бы ее мужик все из дома! Рада. Чужое горе за рубль отхватила и рада. Это ей ничто иное.

И опять, как тогда у меня, Зинины глаза вдруг посветлели и стали большими. В каждом стояло по слезе.

Я думал о Сиваке, и проклятый ящик перестал жать ляжку. А может, я просто переменял позу.

— Эта пленка у тебя?

— Ну говорю же — спрятала. Москвина велела размагнитить. Собака эта Москвина.

Москвина была редактором отдела на радио. В общем-то, она всегда ко мне благоволила. Мы сделали вместе несколько передач из серии «Художник и время». Если бы я работал в манере передвижников, я бы обязательно писал Москвину. Содрать с нее очки-фары, за которыми не разглядишь дымных, с легчайшей косиной глаз, прикрыть долгополой шубой лиловое джерси, шапку или плат на скрученный над шеей жгут волос — боярыня Морозова. Только красивее.

Продолговатая неторопливая ее рука с зажатой в пальцах сигаретой плавала перед глазами собеседника, как нарядная рыба в аквариумных просторах. Сигарета распускала голубые веера дымка.

— Вот и наш Кирилл Петрович! Здравствуйте, мой гениальный! Ну, что вы наговорили в нашей последней передаче? Вы даже и сами не представляете, какой это блеск. Конец света. Просто по ту сторону. На прослушивании начальство залилось слезами. — Она говорила всегда с воинственной экзальтацией, особенно ошарашивающей личной ее верой в произносимое.

...Утром в день той записи мне позвонил Солодуев из Союза художников и сообщил, что я должен выступить по радио с критикой Сивака в моей рубрике «Художник и время». Ага, так вот, значит, чем обернулось Юркино выступление против Дымова! Титулованного, неуязвимого Дымова. Дымова, которого все звали Памятник Себе. Действительно монументальный, с седой гривой волос, умудрявшийся не шевелиться даже когда он шел или величественно оборачивался к собеседнику, Дымов казался только-только спустившимся с цоколя.

Впрочем, кличка имела иной смысл: некогда прославившийся созданием многофигурной живописной композиции, украшавшей вестибюль одного из административных зданий, Дымов все последующие годы уныло варьировал облик своего знаменитого первенца. И хотя это обстоятельство ни для кого загадки не являло, за Дымовым как-то укрепилась и даже росла слава ведущего художника-монументалиста. Он неизменно председательствовал на художествах, творческих конференциях, о нем писали газеты в рубрике «Встречи с интересными людьми». Дымов считался также главой школы.

Собственно, точнее было бы назвать Дымова не главой школы, а главой бригады. Он сколотил из молодых художников некий коллектив, отвечающий всем требованиям коллективизма в работе: картину писали все члены бригады — один левый край, другой правый, кто эту фигуру, кто другую. Дымов «проходил» рукой мастера». За что получил в художнических кругах кроме Памятника еще и прозвание Коллективный Сикейрос.

Не обходилось и без накладок. Так, однажды Дымов «взял подряд» сделать фреску в фойе областного театра — коллективный портрет лучших производственников области. Сорок восемь прославленных людей труда, объединенных в группу. Композиция заняла весь простор стены метров на пятнадцать длиной. Однако когда фреска была уже готова, рабочие одного из предприятий сочли, что их сослуживец, тоже запечатленный в композиции, такой высокой чести не достоин. Дымов срочно получил фотографию нового кандидата, и кто-то из художнической артели «записал» изображение новым. На открытие театра пригласили всех героев дня. И вот подходит к Дымову некий человек и, смущаясь, говорит: «Товарищ художник, мне, конечно, очень лестно и почет необычайный... Я, может, и не стою того... Но, понимаете, я тут два раза обозначен — слева и вот в середине». «Как так? — Дымов скульптурно откинул голову с поднятыми по-станиславски бровями. — У нас ваша фотография была! И фамилия». «Фотокарточка точно моя. А вот фамилия другая. Я уже обозначен. Конечно, нас много, всех в личность не

упомнишь». Упомнить было и вправду трудновато, ибо левый фланг фрески писал один из членов дымовского содружества, а центр уже совсем другой. Да и состав артели был текучий: художники менялись, уходили, занимались иные.

Солодуев тоже был когда-то таким артельщиком у Дымова. Но живописец в нем существовал довольно скудно. А вот организатор — класс. Договор оформить, заказ лучший получить — это Солодуев, Солодуев. Пользуясь своим влиянием, Дымов позже выдвинул Солодуева в аппарат Союза художников и продолжал двигать, куда тот не достиг чинов весьма высоких. Правление Союза этому не противилось: от деловых качеств Солодуева прок был всем.

И надо отдать должное солодуевскому благодарному чувству — служил бывший «артельщик» Дымову верой и правдой. Хлопотал для него титулы, награды, и упаси кого бог слово сказать против маститого кумира!

А Юрка Сивак сказал. Обсуждали в Союзе заказы на монументальные росписи, и Юрка вылез. Ничего неведомого для присутствующих Сивак не сообщил. И про перемены старой композиции, и про «поточный метод», и про историю с областным театром знали все. Но привыкли — и молчали. А когда Юрка, по-кроличьи дергая носом, пропыхтел на финал: «Да сколько же можно этот тираж гнать! Ну прямо метод фотографа в Пошехонии какой-то: вставляй в дырку морду — и увековечен в вечном антураже», по залу прошел веселый гул. Тот веселый гул, что знаменует начало развенчания чьей-нибудь непогрешимости.

Дымов и бровью не повел. Более того, скульптурность его фигуры и лица обрела черты уже некой потусторонней значительности. Солодуев дернул плечом, готовый ринуться в бой, но, безошибочно улавливающий все мысли и настроения учителя, ограничился ироническим замечанием:

— Боюсь, что устами Юрия Владимировича вещала обида отвергнутого автора эскиза.

Тогда и правда Юркин эскиз не прошел.

И месяца три-четыре все было тихо. Даже показалось, что Сиваку его филиппика сошла с рук. А когда история почти забылась, вдруг Солодуев ринулся в поход против Юрки, обвиняя его творчество во всех смертных грехах, не упуская случая в любой доклад или отчет вставить Юркину фамилию, если нужно было проиллюстрировать примерами профессиональную несостоятельность...

И вот он позвонил мне:

— Ваши передачи, Кирилл Петрович, интересны весьма и приносят большую пользу делу популяризации художественного творчества. Но они, как бы сказать, лишены полемической остроты. Нужно не только пропагандировать хорошее, здоровое, но и бичевать все, что тормозит наше движение вперед.

— Да, я сам об этом думал, — согласился я. Я и верно думал о том, чтобы ввести в радиоразговор проблемы, заставляющие людей серьезнее размышлять о том, что хорошо и что плохо.

— Так вот, в Союзе есть мнение... — И тут Солодуев заговорил о Юрке.

Я хотел спросить: «Чье мнение?» — хотя прекрасно знал чье. Но не спросил. Я просто отнекивался как мог. Во-первых, Юрка Сивак мой однокурсник. А во-вторых и главных, он хороший художник и мне нравится, как он работает. Я бы сам так не работал, но у другого мне нравится. Мне этот пример не кажется самым подходящим, есть более доказательные... Солодуев выслушал мой спич не перебивая, потом сказал:

— Как знаете, Кирилл Петрович... Но вы сами накануне личной выставки, и хотелось бы, чтобы принципиальность художника была видна не только на его холстах, но и в его действиях.

Я хотел было возразить, что именно поэтому и не хочу выступать. Но опять промолчал. Мне очень хотелось, чтобы моя выставка состоялась. Очень. Вот и все. А организация выставок зависела от Солодуева.

Москвина была какая-то растерянная, встретила меня без обычного радушия, не декламировала, как в прошлые разы, мой текст, а просто быстро-быстро отвела меня к микрофону. Из-за стекла аппаратной я видел, как она что-то говорила режиссеру — рука темпераментно ныряла. Но мне ничего не было слышно в моем заточении.

Когда я уходил, мне очень хотелось сказать Москвиной, что я согласился на это выступление только потому, что другой мог сделать это резче и убийственнее для Юрки, и — вы же видите — я постарался все утопить в общих рассуждениях. Я и себе твердил то же самое. Я ничего не сказал и ушел сразу, едва кончилась запись. Даже слушать не стал.

Через два дня Москвина позвонила мне домой. Я сначала не узнал ее, больно уж голос был ровный, без вспышек:

— Мы должны извиниться перед вами, Кирилл Петрович, но руководство сняло вашу передачу с эфира.

Много месяцев спустя случайно я узнал, как было дело, и представил себе все до слова, будто сам присутствовал при происхождении.

...Придя из студии в комнату редакции, Москвина швырнула на стол коробку с пленкой и горестным контральто произнесла:

— Это — по ту сторону добра и зла. Это — конец света.

К концу дня Москвину вызвал к себе главный редактор Трофименко:

— Что там, Екатерина Павловна, с «Художником и временем»? Мне тут Солодуев телефон обрывает — говорит, какую-то важную передачу вы зарубили без согласования. В чем суть-то?

Москвина медлительной своей рукой покачала перед самым лицом Трофименко, вычертив в воздухе замысловатый дымный орнамент.

— Вы видели работы Сивака? Вы видели. Мы вместе с вами задыхались у его полотен на выставке московских художников.

Трофименко был человек уравновешенный и задышаться от восторга не входило в его привычки. Но картины Юрки ему правда нравились.

— Мы вместе задыхались у его полотен, — действительно повторила Москвина, — а автор, видите ли, слишком субъективен в оценках.

Она не назвала даже моей фамилии — просто автор. Она не пересказала выступление. Но Трофименко умел усекать существо вопроса без пространных объяснений. Он поднял трубку и набрал номер Солодуева:

— Так выяснил я что к чему. Правильно передачу-то сняли. Мы же радио, товарищ Солодуев: не можем мы так за здорово живешь человека на весь свет костерить. Ну, кому нравится, кому нет — пожалуйте, в специальном журнале дискуссию откройте. Это только на пользу художнику. А мы радио. Нас миллионы слушают... Он что, Сивак-то ваш, идейные ошибки совершил или скомпрометирован чем?.. Что значит — не в этом дело?

Москвина услышала, как Солодуев произнес в трубку со значением:

— В Союзе художников есть мнение, что работа Сивака требует самого решительного осуждения.

Тут Трофименко задал вопрос, который не задал я:

— Чье мнение?

— Есть мнение,— с еще большим нажимом сказал Солодурев.

— Это хорошо,— согласился Трофименко,— когда есть мнение.

Вот у меня тоже мнение, что передачу давать не следует.

Но ничего этого сама Москвина мне не рассказала, сказала только: «Руководство сняло вашу передачу».

— Кто это звонил?— спросила Ната.

Это само по себе было странно: Ната никогда не спрашивала что да кто, если хотел — говорил.

— Москвина. Сказала, мое выступление не идет.

— Слава богу,— сказала Ната.

Таким образом, Юрка не узнает, что я продал его во имя собственной выставки. Никто не узнает. И Юрка не узнает. А еще утром я представлял, как по радио во всеуслышание будет объявлено, что я продал Юрку. И мне захотелось побегать и ломать приемники в каждом доме. Но теперь никто не узнает. И приемники могут спокойно наигрывать марши и любые «Andante Cantabile», от которых плачут Лвы Толстые. «Лев Толстой плакал, слушая «Andante Cantabile» Чайковского»— об этом всегда сообщают по радио.

— Глупенькая ты,— сказал я Зине,— никакая Москвина не собака. Она хороший человек.

Мы все еще сидели на ящиках в тылах голубого магазинчика, я еще чувствовал за пазухой ее выдернутую руку, кровожадная щель в досках перестала ощущаться вовсе. Я повторил:

— Она хороший человек.

Зачем мне было объяснять Зине, что я понял сейчас? Та женщина предвидела ужас, который охватит меня завтра после записи, и, может быть, представляла, что мне захочется бегать по Москве и ломать приемники. Она похоронила на кладбище использованной пленки мое корыстолобное малодушие, мое предательство. Даже не начертав на коробке профессиональной эпитафии: «В фонд».

И вот выясняется, что Зина сберегла эти останки, и, может, завтра кто-нибудь возьмет эту пленку, послушает и скажет: «Ха! Силен Проскуров! Вон, оказывается, какие вольты у него в биографии имеются. Забавно бы пустить такое в эфир — как раз к нынешней выставке Сивака, подверстать ко всем похвалам!»

Похвалы были. И выставка была. У Юрки сейчас выставка, и во всех газетах есть хвалебные отклики. Месяц назад на вернисаже я увидел его и не узнал сперва. Юрка облачился в чернейший костюм с помпезностью гробовщика. Пегие вихры победно вздымались над лысиной, очки (клянусь, оправа — черепаха чистой воды) он поддегивал к переносице, морща нос смешным движением чихающего кролика. С Юркой была жена. (Господи ты боже мой — Юрка женат!) Он то и дело целовал ее в бледный висок, не стесняясь присутствия посетителей.

— Здорово, мэтрило!— крикнул мне Юрка.

Мы обнялись. От этого самого «мэтрило» пахнуло теплым родством студенчества. Как-то наш преподаватель рисунка сказал про меня: «Проскуров — законченный мэтр». И Юрка подхватил: «О ветер-ветрило, о мэтр-мэтрило».

Я тронул пальцем белую стрелу его рубашки, вонзавшуюся в черноту пиджака:

— Ну ты, старик, сила. Крахмал! С ног до головы — сплошной крахмал.

— А что, между прочим,— он надул щеки от гордости,— я тут был на приеме в честь Ренато Гуттузо, так я был элегантнее Гуттузо. Без вопросов.

Я очень радовался за Юрку — радовался выставке, жене, этому нелепому черному костюму. Честное слово, я даже не вспомнил про пленку и про те времена, хотя в нынешней экспозиции были картины, по поводу которых Солодуев требовал поношений. Вроде о моем непубликованном выступлении не знал не только он — я сам.

Он не знал. Он никогда не узнает. А ведь если бы не вышли эти двое с ведром, я бы сказал ему. Я же ехал с тем, чтобы сказать. «Слава богу!»— сказала Ната. И будто захлопнулась крышка, лязгнув замочек — все, ничего нет, нет моего выступления, ничего нет. Ната вышла из комнаты, унося этот невидимый ключ — «слава богу!».

Но я тут же начал пальцем ковырять в замочной скважине ящика, слотнувшего «все». Юрке нужно сказать. Пусть никто не знает — слава богу. Но Юрке нужно сказать.

Юрка кончал фрески в новом спортивном зале в новом районе. Я тут же оделся и поехал на стройку.

Будущий гимнастический зал еще не был прибежищем спортснарядов, еще кони, кольца, брусья не сообщили ему деловитой утилитарности. Просто объем воздуха, заключенный между шестью плоскостями, из которых одна была сплошь стеклянной, а противоположная ей расписана сивакскими фресками.

Поджарые длинномордые кони, похожие на борзых, выгибали плоские крупы в грациозном прыжке; свернутые по спирали тела акробатов летели им навстречу; яркие мячи взрывались, как цветочные бутоны, поощряемые внезапно пришедшим днем лета. И на этой точно лишенной границ плоскости между конями, гимнастами, шарами колыхались перистые тела летучих рыб и медлительные женские фигуры.

Я сразу понял: Сивак наконец осуществил свою давнюю идею возрождения и модернизации древнекритской культуры. Я помню, как еще в институте Юрка буквально обалдел, увидев репродукции с крохотных гемм и камней Кносса. XX век до нашей эры утверждал на Крите примат природной грации и красоты. Гимн силе и триумф победителя пришел в искусство греков пятнадцатью веками позже. Вместе с умением не только побеждать, но и поработать.

В сивакской фреске не было сюжетного единства, присутствие тех или иных фигур не вызывалось логической необходимостью. Но вся плоскость была объединена поразительно четким единством ритма. И еще. Она рождала ликующее ощущение, родственное тому, что водило резцом мастеров и — через сорок столетий! — продиктовало Бабелю фразу о том, что жизнь — это луг в мае, по которому ходят кони и женщины.

— Здорово, мэтрило!— Юркин выкрик ударился о близкий потолок и оттуда рухнул на меня: Сивак сидел на стремянке где-то на самой верхотуре.

Он спустился оттуда — неуклюжее существо в грязной спецовке, в очках, напоминавших заезженный детский велосипед. Не как спустился бы творец этого фантастического мира.

— Ну как, мэтр? Как? Только честно, честно. Дело? А, дело?

— Дело. Очень даже дело.

— Ты попал на пышный эндпиль. Сейчас Зотова прибудет.

Мимо нас прошла девушка-рабочая в щегольском комбинезоне и ромашковой косыночке по брови. Потом в зал вошла другая, третья.

Вероятно, у них были какие-то дела, но я видел только, как они пересекали зал в разных направлениях. Пол зала был засыпан толстым слоем опилок, поглощая звук шагов, и мне снова вспомнился луг в мае, по которому ходят кони и женщины.

— Прошу, Татьяна Ивановна.

В зале так же бесшумно возникла новая группа людей. Заместитель начальника строительного управления Зотова появилась в сопровождении руководителя стройки и еще двух мужчин в одинаковых черных пальто с серыми каракулевыми воротниками — толстого и тонкого.

Грузная, сидящая Зотова с беззлобным лицом многолетней матери долго и печально смотрела на фреску, потом перевела глаза на начальника строительства:

— Как же так получилось, товарищ Смирнов?

Смирнов шмыгнул красным носом: он был без пальто и, видимо, ждал комиссию в неотопливаемом еще вестибюле.

— Так ведь эскизы утверждались в управлении, Татьяна Ивановна.

— Как же так получилось, Петр Семенович? — повторила Зотова — уже к тонкому.

— Это шло помимо меня, Татьяна Ивановна, надо поднять документацию, кто утверждал и утверждал ли вообще. Тут похоже на самостоятельность. — Тонкий сыпал словами.

— Что значит — самостоятельность? — взмыл строитель.

— То значит, — мрачно сказал толстый.

— А получилось нехорошо, Юрий Васильевич. — Зотова повернула к Сиваку крупную темную голову, охваченную венцом косы.

— Владимирович, — поправил Юрка.

— Мы ждали от вас картины со спортивной тематикой, которая побуждала бы молодежь на новые достижения в спорте. А вы тут не то цирк, не то зоопарк представили, не поймешь. — Она улыбнулась своей шутке, а толстый и тонкий захохотали.

— Да, без поллитры не разберешься, — сказал толстый.

— Какова же задача данного барельефа, Юрий Васильевич? — спросила Зотова.

— Это не барельеф, это фреска, — сказал Юрка.

— Тем более, — вставил толстый.

— Не знаю, тут все нарисовано. — Юрка энергично сморщил нос, подтягивая очки.

— Ох, Юрий Васильевич, Юрий Васильевич, — Зотова обняла Сивака за плечи, — я же знаю: вы потом будете говорить, что мы, мол, зажимаем новаторство в искусстве. Ведь так? А мы должны помогать вам, не давать скатываться. Должны ведь, Юрий Васильевич?

— Владимирович, — снова сказал Юрка.

— Это к делу не относится, товарищ Сивак, — буркнул толстый, но Зотова строго на него посмотрела, и он смолк.

— Вам бы только чего-нибудь такое накрутить, чего на свете не было, чтобы не как у людей. А молодежь на этом учится.

Неожиданно Юрка улыбнулся и почти с нежностью произнес: — Вы счастливый человек, Татьяна Ивановна. Вы живете, как первый человек, пришедший на землю. Будто до вас ничего не было — ни цивилизации, ничего. Вот этому искусству четыре тысячи лет, и четыре тысячи лет оно радовало людей. А вы смотрите и говорите — «накрутить, чего не было на свете». Это трогательно. Ей-богу.

Тут по лицу Зотовой стала расплываться фиолетовая темнота,

как клякса на школьной промокашке, и голос ее сразу утратил материнскую покровительственность.

— Идите, товарищи. — Зотова повернулась к строителю. — А вам, товарищ Смирнов, придется напомнить, что сооружение молодежных комплексов — задача большого воспитательного значения. Неужели я должна краснеть за вас, когда сам товарищ Солодуев из Союза художников СССР обвиняет наше руководство в неразборчивости? — Она произнесла «Союз художников СССР» с ударением на последнем слове, будто давая понять, что преступление имеет не областной, даже не республиканский, а прямо-таки общегосударственный масштаб.

— Так ведь было предложено, — залопотал было тонкий.

— Союзом художников СССР, — отрезала Зотова, — было предложено привлекать авторитеты. А не тех, кому еще в шарики-мячики играть. — Собственная шутка снова смягчила Зотову, и она уже умиротворенно двинулась к выходу.

Группа покидала зал, и тут же, почти мгновенно, будто они ждали за дверью, вошли два маляра с ведрами и кистями. Один из них, постарше, крикнул удаляющейся группе:

— Так что, товарищ Смирнов, ликвидируем?

Тот обернулся:

— Ждите указаний.

Юрка еще не понимал смысла происходящего и недоуменно водил глазами по залу — то на фреску, то на маляров, то на улывающую группу. Но я-то понял и стремительно ринулся за уходящими. В вестибюле я подошел к Зотовой и, выразительно понизив голос, сказал:

— Татьяна Ивановна, разрешите вас на минутку.

Зотова удивленно вскинула глаза, но отошла и тоном руководителя, великодушно принимающего посетителя в неурочные часы, вымолвила:

— Слушаю вас.

— Я хотел бы предупредить вас, Татьяна Ивановна, — голос мой обрел интимность, — что мнение товарища Солодуева — это, как бы сказать, только личная точка зрения. Я так полагаю. — Мой голос уже шелестел, как на предсмертной исповеди. — Дело в том, что эскизы видели. И они понравились.

Я не соврал. Ведь действительно эскизы рассматривались на худсовете. И действительно понравились. Но странная, неконкретная форма слов «видели» и «понравились» и особый нажим, с которым я их произнес, сообщили этим словам таинственное величие. Будто речь шла о некоем суждении, рожденном в неведомых надземных сферах, высказанном кем-то, чье мнение не подлежит критике, кто не имеет даже земной фамилии и должности. Или, напротив, суждение это — плод серьезных многоступенчатых коллективных согласований и оттого тоже непреложно в своей конечности.

— А вы откуда? — спросила Зотова.

— Из Союза художников СССР, — сказал я. И опять не соврал. Зотова торопливо кивнула.

— Понимаю, понимаю. — Но тут фиолетовая темнота снова поползла по ее лицу. — А, собственно, что вас волнует? На основании чего этот сигнал? Происходит осмотр объектов по готовности. Я лично осуществляю.

Я скромно потупился:

— Да нет, я просто для информации.



Я ничего не рассказал Юрке. Он не понял даже, что ретивость строителей могла поставить под угрозу существование его фрески. Фреска была дописана, ее репродуцировали в журналах и хвалили. Я даже испытывал особую гордость оттого, что Юрке неведом мой дипломатический акт дружбы, спасший его работу. Не знает, и хорошо. Я знаю. Это главное.

Но и про пленку я ничего не сказал Юрке. Он так ничего и не узнал. Когда неделю спустя я зашел к нему домой, соседка сказала, что Юрка уехал из Москвы неизвестно насколько.

А теперь он может узнать. И не от меня. И все узнают...

— Ты можешь принести мне эти пленки? — спросил я Зину.

— Желаете свой голос слушать? Зачем тебе? Ты и так можешь себе говорить что хочешь. Это у меня ты — только в коробочке. — Вдруг она погладила меня по лицу согревшейся, но еще красной ладонью. — Вообще-то ладно. У нас, конечно, пленку выносить из здания не разрешают, но я принесу. Себе еще дубли сделаю. А то, может, ты из моей жизни опять испаришься. Все-таки голос останется. Придешь вечером?

Я задержал ее руку у себя на щеке и сказал:

— Приду.

«Приезжать не надо. Я не хочу, чтобы ты сердилась, и ты зря вскинулась тогда. Но приезжать не надо». Я сжал телефонную трубку, будто на ее черное тельце можно было опереться, чтобы не растерять храбрости. «Говори громче. К чему этот интимный шепот при подобных заявлениях? — сказала Кира. — Или там кто-нибудь стоит рядом и ты таишься?» «Никого тут нет, с чего ты взяла?»

В тесной комнатке почты действительно я был один. Телефонистка пряталась где-то за фанерным иллюминатором перегородки, и ее присутствие не ощущалось.

Маленькое облупленное здание почты втерлось в компанию многоэтажных домов институтского городка, похожих на солидно одетых людей. Дачный поселок Березовка отделялся от городка научно-исследовательского института железнодорожным путем. Городок назывался Зеленогорск, хотя при его строительстве все деревья в округе были вырублены и никакой зелени тут не было. Но ведь и в Березовке росли только ели и сосны. Никакой березы я не видел. Почту в новом доме еще не открыли. Звонить в Москву я приходил сюда.

«Хотя вот вошла какая-то женщина. Так что божественная интуиция тебя не подвела. — Я попытался шутливым тоном отодвинуть объяснение. — Впрочем, женщина мне неизвестна и от нее таиться незачем».

Женщина грузно прошла к окошечку телефонистки, половицы под ней ревматически хрустнули.

— Что ж за люди, Лидок? — сказала она, обращаясь к дырке в фанере. — Уговаривай, не уговаривай — как в стенку.

— Не говори, — возникло за перегородкой, — что им, инвалидская машина помешала?

Видимо, женщина уже заходила сюда сегодня и это было продолжение разговора.

— А что в горисполкоме сказали? — спросила телефонистка.

— Сказали — имеет право машину ставить. Им и другие соседи все говорят: безобразие к инвалиду приставать. А они свое.

«Ну как шекспировский альбом?» — спросила Кира. «Своим чередом». «Видимо, подмосковная интрижка дает понимание шекспировских страстей». Я представил, как она зарывается в глубины кресла-бороза, поджав под себя ногу. «Шекспировские страсти

остаются за тобой. Тут мирно. Тут — чисто-светло». Я очень старался, чтобы голос звучал подобродушнее.

— Чего, Лидок, они мне только не кричали, эти, из седьмой квартиры, — опять заговорила женщина. — «Нашла повариха инженера спать!» А он же, знают ведь, от пояса недействительный. У него же в хребетик ранение было.

— Господи! — вздохнула телефонистка.

— А этот, из седьмой квартиры, прямо при нем: ждешь, когда помрет, площадь двухкомнатную заполучить. При нем — надо же, Лидок! А что мне, это требуется? У меня и своя комната была. Я жалею его — и все.

— Не расстраивайся, Маруся. Все же, кто люди, знают, что ты за ним как за ребенком ходишь. А помнишь, когда у него и площади не было, ты его в тазике мыла. И питание с работы носила, когда он вовсе недвижимый был. Я перед кем хочешь заявлю: она и денег никогда не брала. Не расстраивайся.

Голос телефонистки взлетел над перегородкой, и оттого, что ее не было видно, казалось, голос этот существует сам по себе, голос сострадания.

«Я закурила, — сказала Кира. Я услышал сквозь потрескивание подмосковных пространств в трубке, как она затянулась. — Хочешь сигарету? На». Я предвидел, что она постарается в конце концов сделать вид, что никакой размолвки не произошло. «Здесь не курят, — ответил я. — Тут как раз и плакатик: «Не курить, не сорить!»...»

Женщина у перегородки раскатисто вздохнула, переминаясь с ноги на ногу, отчего снова хрустнул пол.

— А может, позвонить кому, Лидок? Набери, может, газету «Вечерку», там бывает жалостливое. Скажи: так и так, герой войны, инвалид, лежа на инженера выучился, без машины двигаться не может, а соседи склочничают, что машина под окнами стоит. Где же человечество, скажи? Как же, скажи, в людях совести нет? — Она помолчала, потом совсем тихо прибавила: — Про меня не говори. А то тоже раздумывать начнут: что это чужой бабе за дело? Не все, Лидок, понимают, что всякая баба, она жалостью живет. Чем жальчей, тем ей сродственней.

«И еще на плакатике надпись «Не приезжать!». — Я малодушно сделал жалкую попытку ироническим тоном смягчить впечатление от произносимого. Потом снова спасительно вцепился в трубку и сказал уже по-другому: — Не приезжать, потому что мне это не нужно и не стоит разыгрывать спектакли».

— Нет, я звонить не буду, — сказала телефонистка. — Я лучше опишу. Когда в газете пропечатывают, так люди-читатели их позорными письмами завалят. Подожди, звонят. — За перегородкой задрезбужало, и телефонистка крикнула: — Восемнадцатый талон! Москва! Идите в кабину.

Я держал в руке восемнадцатый талон.

— Кто Москву заказывал? Абонент на проводе... Что он, ушел, что ли? Б2-26-44!

Женщина обернулась ко мне, но я не пошевелился: я ведь уже мысленно прошел через весь разговор с Кирой и не было смысла его повторять вслух. Это тоже смахивало бы на наше обычное выполнение программы.

— Ушел, наверное, — сказала женщина. И мне: — Не вы Москву ждете?

— Нет, я не жду Москву. — Я поднялся и вышел из комнаты.

Чтобы пройти от почты к станции, нужно было пересечь единственный на этой стороне довольно лысоватый лесок. Когда от станции к городку люди шли с электричек, лесок походил на затертый городской скверик, в котором идет деловитое будничное гуляние. Сейчас лесок был пустынен. Это было затишье перед прибытием поездов, которые привезут людей с работы: часть зеленогорцев работала в Москве.

Я пытался представить себе женщину, разговаривавшую с телефонисткой: занятый мысленными переговорами с Кирой, я даже не рассмотрел, какая она была. Да и сам разговор у перегородки не очень отчетливо дошел до меня.

Я остановился на откосе. Железнодорожная четырехпутная колея и домик станции, приделанный (как это сооружается в детских игрушках) к площадке перрона, лежали в неглубоком распадке между двумя насыпями. За противоположной насыпью тянулась Березовка, и летом весь откос был обычно запружен ребятей с велосипедами, готовыми принять на свои багажники материнские сумки, груженные московской снедью. Сейчас там не ждал никто. На этой стороне, кроме меня, стояли молодая женщина и старуха с кошелкой лука.

Одновременно с двух сторон к перрону подошли две электрички, вдвинув его между своими телами. Перрон заполнился выходящими, но за ближним поездом мне была видна только общая масса голов, которая вылилась на платформу, точно краска, выдавленная из тюбика.

Так же одновременно, вскрикнув, электрички разошлись. Хвост каждого поезда заканчивался глазастой ящеровой головой водительской кабины — ведя электричку в обратный путь, машинист переходил с одного конца на другой, и хвост превращался в голову. Электрички расходились, уставившись друг на друга, точно птяться. Кто-то растаскивал их, стараясь развести, и чем быстрее бежали они, тем мучительнее казался их порыв навстречу друг другу, который обречен на разлуку.

За поездом перрон обнажался, и с него стал стекать народ. Площадка почти опустела, когда я увидел Зину. Насыпь, где я стоял, была совсем рядом, и я видел все подробно: как Зина ищуще оглядывалась по сторонам, как левой рукой в варежке держала хозяйственную сумку, а правую засунула в карман пальто. Я даже видел, что поверх продуктов в сумке лежала голубая круглая банка сельди, такой же, как тогда продавали в магазинчике. Не хватало еще, чтобы она покупала для меня селедку банками! Зря я в тот вечер нахваливал угощение.

И все-таки у меня что-то потеплело внутри от этой банки и от выражения Зининого лица. Она вовсе не казалась растерянной, не увидев никого ни на перроне, ни на той стороне пути. Лицо у нее было счастливое, и я знал, что и это лицо и эта банка имеют отношение только ко мне. Вдруг она засмеялась, подпрыгнула и побежала к противоположной насыпи, вскидывая ноги так, что были видны круглые подошвы серых резиновых сапожек.

Я знал, что через минуту нагоню ее, но круглые подошвы вдруг пропали и в памяти возникли мучительно растаскиваемые электрички с иступленными мордами стеклянных ящериц — несоединимости и бесповоротной разлуки.

Но Зину я нагону через минуту. Я побежал с насыпи, когда молодая женщина, только что стоявшая рядом, зверино закричала у меня за спиной, а под ноги мне посыпались какие-то твердые шары, которые я отбрасывал на бегу.

И только тут я понял, куда пропали подошвы серых сапожек и

откуда перед глазами возникла морда электрички. Наперерез Зине ворвался незамеченный электровоз, шедший по товарной колее.

...Она лежала на носилках «скорой помощи» (машина подошла к самому основанию откоса), и правая рука без варежки свешивалась к земле. «С правой руки к плохому», — повторил я про себя ее слова. Возле красной короткопалой ладошки на снегу лежала круглая блестящая луковица. (Ах, так это луковицы из старухиной кошелки путались у меня под ногами!) Ладошка тянулась к золотистому шару, как к детскому мячику, и Зина снова казалась ребенком, которого так и не коснулись женские невзгоды.

В толпе, непонятно откуда появившейся, переговаривались:

— Целая — видать, волной откинуло.

Санитары взялись за носилки, и я рванулся влезть за носилками в машину.

— Не нужно, гражданин, поздно теперь ее сопровождать, — сказал санитар. Он покосился на маленькую руку, протянутую к луковице, и добавил угрюмо: — Лучше родителей пойдите подготовьте. Вы ей близкий?

— Да, да.

Я все-таки пытался протиснуться в низкую щель машины. Но санитар отстранил меня, кивнув куда-то вниз:

— И сумку приберите.

Я поднял с земли Зинину сумку. Банка прочно сидела в ее горловине, ничем не потревоженная.

Теперь нужно было пойти к Вите. Целый час я топтался на улице, ища слова. Я так и не знал, что сказать.

— Вот мамина сумка, Витюша, — сказал я.

Ничего глупее нельзя было придумать: я помню, как долго Натины вещи всякий раз вызывали во мне мучительную судорогу. Но Витя не заплакал, не закричал.

— Я знаю про мамку, Кирилл Петрович. Соседи были. — Он взял из моих рук сумку и поставил ее на стол. — Звали к ним ночевать. Сейчас опять придут.

— Ты теперь будешь жить со мной. Будешь? Сперва тут поживем, до конца учебного года, а потом переедем в Москву.

Он покачал головой:

— Нет. Тут хозяйство все. Куда я это брошу?

— Черт с ним, с хозяйством.

— Нет. Мамка работает, наживает, а я брошу. — Он говорил о ней как о живой.

— Ну возьми тогда это пока. — Я вытянул из кармана пачку десятков.

— Спасибо, Кирилл Петрович. — Витя не отстранил моей руки, просто обстоятельно объяснил: — Мамка в аккурат премию получила. И еще книжка у меня есть — мамка на комнату мне копит, когда с армии приду.

Мне было не по себе от этого взрослого, рассудительного спокойствия, будто в этом мальчике, как и в матери, уживались сразу ребенок и взрослый. И я не знал, как мне говорить с ним, беспомощно шаря глазами по комнате.

На стенах тут и там были пришпилены фигурки причудливых зверей, сплетенных из пестрых ракордов магнитофонной пленки. Я тронул пальцем желтого утенка со свирепым зеленым глазом змеи.

— Твоя работа?

— Это мамка забавляется. Она вообще выдумщица. — И через паузу: — Большое воображение фантазии.

Витя замочал, застывшим взглядом смотря на утенка, потом отвернулся к столу и стал распаковывать сумку. Он вынул голубую банку, потряс ее — внутри что-то твердо забилося.

— А я думал, Зина опять селедку привезла, — сказал я.

— Нет. — Он слегка улыбнулся. — Она говорила: банка — пленки солить. Она ее в тот раз в магазине выпросила.

Витя снял крышку. Внутри лежали круглые рулоны пленки, намотанной на металлические бобины. И еще одна плоская картонная коробка с этикеткой — в таких коробках пленка обычно хранится в фототеке. Я взял в руки один рулон. На бобине было написано карандашом: «К. П. Выступление 6/II-64 г.». На другой то же и другое число. Всего шесть рулонов. На этикетке картонной коробки значилось: «Передача «Художник и время». Выступление К. П. Проскурова». И тоже дата. Та давняя чертова дата. Эта пленка не была дублем. Это был оригинал.

— Это мои выступления на радио, — сказал я Вите.

— Возьмите их тогда себе. Мамка, наверное, их вам привезла.

— Наверное.

— Возьмите. — Он уложил рулоны в банку и протянул мне.

— Давай жить вместе, — попросил я. — Тебе будет хорошо, увидишь.

— Я знаю. Вы хороший. Мамка всегда говорит, что вы хороший. Но я не могу — хозяйство. Вы сейчас идите. Ладно? Вы завтра опять приходите.

Какая-то ноющая пустота заполнила меня, когда я оставил этот странный дом, дом двух взрослых детей. Теперь — одного.

Я стоял на крыльце не двигаясь, и в голове была та же ноющая пустота. Потом, утопая в снегу, я пробрался к окну и заглянул в комнату. Витя сидел у стола, обхватив обеими руками Зинину сумку, зарывшись лицом в ее опустевшую утробу. Края сумки, отороченные разъятыми полосками застежки «молния», прикусили Витино лицо, точно челюсти зловещей рыбы. И я сразу вспомнил, где я уже однажды видел такие же мелкозубые пасти, где мне пришлось на ум это сравнение.

...Убегая на работу и, как всегда, опаздывая, Ната металась по квартире и причитала:

— Опять не успею взять сумку из ремонта. Когда кончаю, у них уже закрыто.

— Давай квитанцию, я получу.

Она изумленно вскинула брови:

— Ты? Нет уж. Я не могу позволить себе роскошь иметь смешного мужа, который разгуливает по улицам с дамской сумкой.

— Я спрячу ее в портфель.

В тесном закутке мастерской у горизонтально вытянутого прямоугольника окна, за которым помещались мастера, ждала короткая очередь. В правом углу этой прямоугольной низкой щели застыло неподвижное лицо сидящего приемщика. За его спиной двигался какой-то человек. Он не был виден в рост: щель открывала только часть живота, обтянутого старым брезентовым пиджаком, застегнутым на единственную пуговицу — допотопную, витую, из желтой меди, видимо некогда украшавшую женский салоп. Эта блестящая точка двигалась в щели туда-сюда. Так движется на экране прибора пучок света, указывая местонахождение объекта наблюдения. Я наблюдал за пуговицей. Когда дошла очередь до меня, точка вышла за пределы экрана и долго не появлялась. Потом приемщик сказал за перегородкой:

— Пройдите туда. Посмотрите сами свою сумку.

За перегородкой я увидел владельца пуговицы во весь рост. Это был Юрка Сивак.

— Здорово, мэтрило!— Юрка хлопнул меня по плечу.— Тоже ищешь сумку?

— А ты? — Вопрос был закономерен и нелеп в то же время.

— Да вот соседка попросила ее ридикюль забрать. А куда сунули — не найдут. Симпатичная старушенция. Хлопочет обо мне. Вот видишь, — он покрутил пуговицу на пиджаке, — пуговицу присобачила. Все сокрушалась, что мой фрак без пуговиц.

Мы стояли в приземистом темноватом помещении, где со стеллажей, похожих на многоярусные нары, свешивались сумки, портфели, папки. И всюду зияли мелкозубые пасти чудовищных рыб с разъятыми «молниями».

Мы обнаружили Натину сумку, и Юрка пошел проводить меня до дверей.

— А ты молодец, мэтрило. Ты тогда оказался на высоте. Это без вопросов. Я же знаю, что тебе Солодуев предлагал. Не все бы устояли. В общем, спасибо. Можешь смертный час встречать без боязни. Это важно. А то как говорил поэт: «Легкой жизни я просил у бога. Легкой смерти надо бы просить». Ну, будь. — Он ушел за перегородку искать старухин ридикюль.

«Легкой жизни я просил у бога...» Если бы я что-нибудь мог просить у него, если бы мне когда-нибудь приходило в голову с ним разговаривать... Наверное, те, для кого существует бог, в более выгодном положении, хотя и их диалог с небесами чаще всего превращается в монолог. Нам приходится самим хлопотать о легкости жизни. И «когда придет твой последний час, ровный красный туман застелит очи» — к кому обращаемся мы? К прошлому? К будущему? К близким? К совести? Может быть, все это, слитое воедино, и есть высшее начало, которое другие зовут богом?

Но ведь на самом пороге и те, для кого есть вера, и те, для кого ее каноны — достояние литературы, все говорят уже обычные человеческие слова, не похожие на покаяние. Что же сказал перед смертью Шекспир, умевший управлять богами? Ната сказала: «Смешно: когда умирает муж, остается вдова, а когда умирает жена, остается жених». А Зина ничего не сказала. Она не готовилась к этой минуте. А у меня еще масса времени — десять лет, или двадцать, или час. И если бы у меня был бог, мне было бы что сказать ему.

Как писал Уэст: «...бессмысленность религии воспринимается как утрата того, что было в прошлом реальностью...»

Я не знаю его имени, я не верю в его существование, я не знаю, как обращаться к нему. Но я бы сказал: «Видишь ли, я знаю мой грех, хотя он не числится среди смертных. Мой грех — понимание. Я никогда не метался в сомнениях, пытаюсь распознать добро и зло. Я всегда знал, что есть добро и что — зло. Но, может быть, у меня не хватало низшей добродетели — мужества, а может быть, я приучил себя жить, считая, что повседневность не наделена бессмертными категориями. Я хотел вернуть людям деяния шекспировских героев, но ведь я не мог вспомнить лица женщины, жертвенно и величаво посвятившей жизнь чужому инвалиду и выходящей сражаться с людской черствостью. И разве Зининой любви я искал бы место среди чугунных памятников нетленных шекспировских чувств? Я понимал многое, и многое открывалось мне еще и еще. Но оно существовало само по себе, а я сам по себе. «Берушь тебе любого оправдать...» Я понимал необходимость внутренней свободы — и всегда был на поводу у чего-нибудь. Мой грех — понима-

ние. Заблуждения можно прощать. А понимание — нельзя. И я не прошу прощать меня»...

Снег, насыпавшийся за отвороты моих бурок, растаял, и я вдруг почувствовал, как хлюпает там вода и как у меня застыли колени. Я еще стоял в сугробе под Витиным окном.

Мальчик все сидел в той же позе, и я подумал, что он уснул. Но в эту самую минуту Витя судорожно притиснул к себе сумку и забился лицом о металлические зубы «молнии».

После похорон я уложил Витю, незаметно бросив ему в чай таблетку снотворного, и вышел на улицу.

Поселок был привычно недвижим, и пустые дачи безмолвно хохлились за заборами. Но сейчас у меня не возникало чувства, что за задвинутыми ставнями окнами кипят голоса и страсти покинувших дома летних обитателей. Напротив: прошлое — давнее и недавнее — казалось похороненным в сосновых склепах побуревших срубов. Точно и вправду можно заколотить входы в память, где спрячешь свои проступки и даже совесть. Четыре гвоздя, доска, раз, раз — и со всем этим покончено. Дом отзывает — и начинай новый сезон.

Я оказался у станции. Но едва я увидел четыре колеи, площадку перрона с прилепленной к ней избушкой касс, я побежал через железную дорогу к леску на той стороне. Потом через лесок.

В почтовом домике опять никого не было.

— Дайте мне Москву, — сказал я в окошко.

Телефонистка приблизила лицо к круглой прорези в перегородке, с сомнением посмотрела на меня и спросила:

— Опять не будете говорить?

— Буду, — сказал я.

На этот раз Москву дали сразу.

— Это я. Здравствуй. — Я не цеплялся за трубку, она в руке была почти бесплотной.

— Я все знаю. Я встретила Москвину, — торопливо сказала Кира, — Это правда ужас.

— Да, — сказал я.

— Можно мне приехать? — У нее слегка надломился голос.

— Нет. Не нужно. Сходи, пожалуйста, в «Изогиз» и скажи, что шекспировский альбом я в срок не сдам. Что-то не работается. Если могут, пусть пролонгируют договор.

— Я схожу. Не беспокойся об этом.

— И зайди к теще. Я домой не приеду долго. Может быть, до весны. Мне это сложно ей объяснить. Ты скажи сама.

— Скажу. — Она помолчала. — Ну разреши мне приехать. Я не буду обременять тебя.

— Нет, Кира. Не нужно.

В трубке снова наступила тишина, будоражимая потрескиванием, а потом просочился совсем грустный ее голос:

— Как странно: все, кто тебе становится дорог, умирают... Наверное, я потому для тебя ничего и не значу, что все живу и живу...

— Будь здорова, — сказал я.

У своего дома я увидел женщину и сразу узнал ее. Это была Москвина. Янисколько не удивился, хотя меньше всего можно было ожидать встретить ее тут, тем более после долгого перерыва в наших встречах: с той передачи о Сиваке мы уже не работали вместе. Но я не удивился: в последнее время я же думал о ней и сейчас Кира ее упомянула. А у меня всегда так.

— Входите. Там открыто. — Я пошел к крыльцу.

— Нет, нет. Я на минутку. — Она покачала кистью руки, и мне показалось, что над рукой поплыл сигаретный дым. — У меня странная миссия, Кирилл Петрович. Зинуша вывезла из радио пленки, а кто-то заявил об этом начальнику охраны. Разумеется, ей уже ничего не грозит. Но нам бы не хотелось, чтобы она была чем-нибудь запятнана. Даже сейчас.

— Да, да. Пленки у меня. — Я поймал себя на том, что больше всего меня удивил не повод приезда, а непривычная для Москвиной манера говорить. Сосредоточенная, безо всякой экзальтации.

— Я знала, что она привезла их вам. Сама она никогда не делала бы ничего недозволенного. Это удивительная девочка. Поразительно честная и открытая. Но ради вас — вот видите...

— Пройдемте в дом. Пленки там. — Я сделал два шага по ступенькам.

— Я подожду. Принесите, пожалуйста. — Москвина отвернулась и произнесла будто не мне: — Ее сменщица мне рассказывала, что Зина собиралась снять дубли для себя, а потом сказала: «Теперь не надо, Теперь у меня и так есть его голос»... Она поразительная девочка.

Банка с рулонами лежала на табуретке, той самой табуретке, где сидела Зина. Я вынул эти коричневые блины с блестящей сердцевиной, потом картонную коробку.

Да, но ведь у этой пленки нет дубля! И во всем свете уже нет человека, знающего о существовании свидетельств моего поступка. Зинина смерть освободила меня от страха, от прошлого. Это как заколоченная дача. Нужно перезимовать и начинать новый сезон.

Я бросил на стол картонную коробку, а рулоны уложил обратно в банку.

— Тут все? — спросила Москвина.

— Все, — сказал я.

Я видел, как Москвина шла по дорожке, ведущей к калитке. Тропка узким желобом тянулась внутри ограждения из продолговатых сугробов, и полы длинной москвинской шубы смахивали с них радужную пыльцу. Я видел, как плавно и ритмично вздрагивает тяжелый жгут волос под платком. Это спокойное шествие вселило мирную беззаботность в мою душу.

Но у калитки Москвина остановилась и, не оборачиваясь, замерла. И тогда я почувствовал, что по моей спине, по шее, куда-то за уши, обжигая, ползет панический ужас. Она все поняла. Она поняла, что я «зажал» криминальную пленку, что я пытаюсь скрыть свое предательство. Наверное, она даже знает о моих покаяниях. «Мой грех — понимание... Сколько людей билось в поисках истины, пытаясь распознать точную грань между добром и злом. Я всегда знал, что есть добро и что — зло, но, малодушно подыскивая оправдания, поступал вопреки этому знанию. И даже сейчас, когда я уже был готов обрести добродетель — низшую, по Платону, — мужество, я снова ринулся в заманчивое укрытие спасительной лжи...» А Москвина все поняла. Она все поняла и знает все. Сейчас она скажет мне об этом.

Москвина повернула ко мне голову.

— Не могу совладать со сложной системой этой задвижки, — сказала она растерянно, — помогите, пожалуйста.

Ужас отхлынул у меня из-за ушей и благодатно скатился по спине. Я кинулся к калитке, отбросил закрубевшую от инея щеколду. Я не мог удерживать радости:

— Я провожу вас, Екатерина Павловна, что же это я.., Хорош кавалер и хозяин!..



— Нет, нет. — Ее рука в мохнатой варежке, утратив обычную плавность, взметнулась у моего лица. — Мне не хотелось бы идти подле вас...

...Я шатался по комнате, бессмысленно переставляя предметы и зло твердя про себя: «Подле вас... Господи, какая претенциозность — подле!..» Как некогда фраза «виновных нет, поверь, виновных нет», эта, новая, теперь вертелась в мозгу, и я не мог избавиться от нее, от своего раздражения и беспомощности. «Господи, какая претенциозность — подле!..»

Я почувствовал, что продрог, нужно было растопить печку. Спички куда-то запропалились. «А попросить соль-спички уже негде», — подумал я и произнес вслух:

— Господи, какая претенциозность — подле! Надо же придумать такое!..



---

---

ВАЛЕНТИН СОРОКИН

★

## МНЕ ГОВОРИТЬ О РОДИНЕ—КАК ПЕТЬ

Мне говорить о Родине — как петь,  
Как тысячу слепых врагов иметь,

Да, тысячу, да, тысячу врагов  
С грохочущих заморских берегов,

Где царствует и золото и ложь,  
Уравнотешишь — на весы положи!

Мне говорить о Родине — как петь,  
Как миллион товарищей иметь.

Кровь русская не даром пролилась  
И на востоке пламенем взялась.

На западе знаменами взошла,  
На севере снега зарей зажгла.

На юге заалела, занялась,  
Кровь русская не даром пролилась.

Мне говорить о Родине — как петь,  
Как звонкий лук, как тетиву иметь

И проверять сквозь лающую мглу  
Великой речи грозную стрелу!..

### БОЛЬ ПАМЯТИ

Сосновый шум, ты шум из детства,  
Из тех святых далеких лет,  
Когда вагонного соседства  
И заводского близко нет.

Сосновый шум, ты юность наша,  
Гармошки вздох, пожатые рук,  
Когда луна, как братства чаша,  
Обходит молодецкий круг.

Сосновый шум, ты жизни ветер,  
Я понимал края свои,  
Когда сражались на рассвете  
С горластым громом соловьи.

Сосновый шум, ты зрелость слова,  
Ты правда жданная души,  
Когда звенишь и плещешь снова,  
Крыла взметая из глуши.

Сосновый шум, ты ясность лиры,  
Звезда, горящая в пути.  
Лети над родиной, над миром  
И над судьбой моей лети!..

### ХЛОПЬЯ СНЕГА

*Владимиру Карпенко.*

А в сосновом бору златокором  
Склон осыпан зеленой иглой,  
И над белым тяжелым простором  
Плещет ветер холодный и злой.

Но дорога гудит и дымится,  
Сквозь холмы прорывается к нам.  
Хлопья снега, как теплые птицы,  
Глухо падают по сторонам.

И лежат, опереньем блистая,  
На печальной равнине вокруг  
Неразумные, добрые стаи,  
Под свинец угодившие вдруг...

Протяну к небосводу ладони,  
И опять через мокрую тьму  
Чей-то голос надрывно простонет,  
Чей, откуда — я сам не пойму!

Слава едущим, мчащимся, ждущим,  
Пусть им светит удачи звезда.  
Человек меж былым и грядущим  
Не проходит один никогда.

Потому и отважные души  
Шлют и шлют на меня голоса,  
Чтобы песню бессмертия слушал,  
Раскрывая во мраке глаза!

### БЫЛИНА

Вновь клянусь я поспешность свою,  
Ветер времени, злой и несносный,  
Ну а где-то в забытом краю  
Сыплют иней печальные сосны.

Скачет месяц, как взмыленный конь,  
И за дымной, морозною далью  
Снегириный тревожный огонь  
Пробежал по всему Зауралью.

Разрывает холодную тьму  
Дом бетонный негаснувшим оком,  
В том большом, непривычном дому  
Умирает отец одиноко.

Все зовет он меня и зовет,  
Ноют руки, озябнули ноги...  
Вьюга тихие тропы завьет,  
Заметет боевые дороги.

Утомясь эту жизнь понимать,  
С вилкой, с ложкою или с тарелкой  
Перед ним наклоняется мать  
Постоянной, бессменной сиделкой.

А кругом — никого, никого.  
И в годах, как седая былина,  
Затерялась шинелька его,  
Та, в которой он шел до Берлина.

Не спасут ни друзья, ни врачи,  
Лишь, в спокойном бессмертии правы,  
Обелиски мерцают в ночи  
Над курганами горя и славы!..

### БЕЛЫЙ САД

Сад мой белый, мой белый сад,  
Я запомнил таким тебя:  
Лишь неделю тому назад  
Снеговел ты, весну трубя.

И взлетал от земли в дожди  
Длинным шумом лебяжьих стай.  
Сад мой белый, ты подожди,  
Так внезапно не отцветай.

Сколько гроз на пути твоём,  
Сколько солнца над головой.  
И с тобою побыть вдвоем  
Я хотел бы, веселый мой.

Пусть над нами дрожит звезда  
И заря разрывает тень,  
Я не знаю, спешит куда  
На рассвете рожденный день.

Белый сад мой, пурга, пурга  
На траве и на тальнике.  
И смыкаются берега  
Речки, льющейся вдалеке...

### БЕГУЩАЯ БЕРЕЗА

Наверное, к вязу, к нему  
Под ветром июльского жара  
Над кромкой реки по холму  
Береза однажды бежала.

Тонка и настолько легка,  
Объята любовью своею,  
Как люди, весь день облака  
Тревожно следили за нею.

Шумели вокруг ковыли.  
И солнце ползло за полями.  
То гаснет, то вспыхнет вдали  
Косынки зеленое пламя.

О, если бы мне испытать  
Такую же верность, как эта,  
Согласен я деревом стать  
Навеки, с любого рассвета.

Но сердце тоскливо дрожит.  
И память не знает покоя.  
И к вязу бежит и бежит  
Береза над летней рекою.

### ЕСТЬ В КАЖДОМ

Есть что-то в кукушечьем звоне  
Тревожное, горькое есть,  
Как в странно услышанномestone,  
Рожденном тоскою не здесь.

Есть в женщине, вам незнакомой,  
Красивой и нежной, права,  
Зовущие к свету и к дому,  
Где речка, очаг и трава.

Есть в друге улыбка из детства,  
Поры скоролетней привет,  
И юности дальней соседство,  
И мужество нынешних лет...

Есть в облаке, тихо плывущем,  
Извечная память души —  
О кровных, мучительно ждущих  
Тебя в преисподней глуши.

Есть в лунном движенье глубоком  
Трагедия — рад бы помочь,—  
Как матери жуткое око,  
Бессонно глядящее в ночь:

Не песня, не плач, не скитанье,  
Не чья-нибудь добрая весть,  
Есть в каждом свое пониманье  
Пространства и времени,— есть.

### ПУСТЬ ЗВЕНИТ

Не пророчь за перевалом  
Мне опять одно и то же,  
Все, что ты науковала,  
Я давно забыл и прожил.

И не зря теперь сдается:  
Да, в судьбе необозримой  
Ничего не остается,  
Кроме песни и любимой,

Кроме облака и дали,  
Где за маминой улыбкой  
Гуси-лебеди летали  
Над моей веселой зыбкой.

И, пожалуй, ради братства  
Призывай, святая лира,  
Быть свободным от пиратства  
Разных праведников мира.

Ты, кукушка, не простушка —  
Голос горя светоносен.  
Пусть звенит твоя опушка  
Вздохом клевера и сосен.

### ДОБРЫМ БЫТЬ

Прошлого туманом не повиты  
Дни мои, и не ослабли нервы.  
И, платя достойно за обиды,  
Никогда не обижаю первым.

Есть такие люди — хуже зверя,  
Своего мгновенья не пропустят:  
Ни беде, ни радости не веря,  
Встретят — непременно вас укусят.

Понял я, плечистый да глазастый,  
Над страной с восторженностью рея,—  
Оттого, что миловал их часто,  
Ни один не сделался добрее...

Но меня не захлестнет тревога,  
Не убьют житейские ухабы:  
Злобным стать — трудов не надо много,  
Добрым быть — стремленье не для слабых!..

### БУДЬ СО МНОЙ

Будь со мной, как синева с волной,  
В чувствах и в движениях красива,  
В миг тоски почти невыносима,  
Будь всегда, пожалуйста, со мной.

Ты моя призванием моим,  
Мужеством, терпением и нежностью,  
Ревностью, безумием, мятежностью,  
Словно стон — дыханием одним.

Ты моя любимая страна  
С ливнями, полями и лесами,  
С реющими в море парусами,  
Только мной навек покорена,

Ты моя веселая весна,  
Где ручьи звенят и птицы кружатся,

Над землею облака упружатся,  
Травы пробудились ото сна.

Будь со мною, легкая как лист,  
Будь со мною, добрая как мама,  
Я один искал тебя упрямо,  
Храбрым сердцем совестлив и чист.

### ИВАН ДА МАРЬЯ

День наполнен синевою.  
Лезут тени в погреба.  
Ухожу я с головою  
В придорожные хлеба.

Загустелая пшеница  
Плещет волнами в зенит.  
То под ветром серебрится,  
То вздыхает, то звенит.

Пахнет клевером и пылью,  
Острой сдобою солом.  
Солнце огненные крылья  
Распластало над селом.

Веет бор смолистой гарью,  
Пни угрюмые крепки.  
И цветы иван-да-марья  
Тихо бродят вдоль реки.

По цветам заря гуляла,  
Потому из немоты  
Светят розово и ало  
Те высокие цветы.

В глубях знойного тумана  
Поднимись-ка в полный рост.  
Кроме Марьи да Ивана —  
Никого на сотни верст...

### ЭТО БЫЛО СО МНОЮ

Это было со мною в апреле,  
Из вагона я видел — вдали,  
Поредевшие очень, летели  
Над весенней землей журавли.

Может, пять, может, семь, может, десять,  
Коль взрывным камнепадом в веках  
Гром свинцовый раскалывал веси,  
Смерть гуляла в чужих облаках.

А когда пораженный валился,  
То за гранью вздыхающих гор  
Трепетал, полыхал и светился,  
Как горящий в ночи метеор.

И вожак ли несчастью не внемлет,  
Он над скопищем вышек стальных





---

---

АЛЕКСАНДР АВДЕЕНКО

★

## В ПОТЕ ЛИЦА СВОЕГО... \*

*Роман*

**И**стекало льготное свободное время выпускницы строительного института Валентины Тополевой, предоставленное ей по закону. Еще два дня — и надо приступать к работе.

Она не стала дожидаться конца этого срока. Скорее, как можно скорее определиться! Взяла свое направление и поехала в строительный трест — место будущей работы. Там ей сказали, что она должна обратиться к заместителю управляющего Людниковой Татьяне Власьевне.

— Людниковой?! — переспросила Валя. — Обязательно к ней? — Ей сразу вспомнились слова Саши о том, что его мать может помочь ей устроиться.

В кабинет вошла с подчеркнuto независимым видом. Смело направилась к большому столу, за которым сидела Татьяна Власьевна. Холодно, как с незнакомой, поздоровалась.

— Здравствуйте, — сдержанно откликнулась хозяйка кабинета и, пригласив девушку сесть, с некоторой опаской взглянула на нее.

Валя надменно сощурила свои прелестные серые глаза, отчего они перестали быть прелестными. Достала из сумки вчетверо сложенную бумагу, положила на стол.

— Меня направили к вам по разверстке. Вот моя путевка.

Она сидела, закинув ногу на ногу, не прикрывая коротенькой юбкой голые колени. С преувеличенным интересом разглядывала стены кабинета, мебель, пол.

Татьяна Власьевна долго и внимательно изучала путевку. Но не в бумагу смотрела она — себе в душу. И Валю украдкой разглядывала. Красивая, ничего не скажешь. Нежный цвет лица. Огромные серые глаза, чистые и доверчивые. Но зачем она, такая юная, старается выглядеть независимой, даже дерзкой? И еще Татьяна Власьевна думала о ночном тяжелом разговоре с сыном.

Валя потеряла терпение. Вскочила со стула.

— Насколько я понимаю, вы уже решили мою судьбу, но не знаете, в какой форме сообщить мне об этом. Не затрудняйтесь. Мне все ясно. Свободных рабочих мест у вас нет. Я вольна уезжать туда, откуда прибыла. Так ведь?

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» №№ 1, 2 с. г.

Татьяна Власьева провела ладонями по гладко причесанным, с ровным пробором волосам, раздумчиво сказала:

— Чего вам в самом деле хочется, Валентина Павловна? Если желаете вернуться в Москву, я могу это устроить...

— Нет, в Москву я не вернусь. Хочу здесь работать! И буду работать!

— Не волнуйтесь, пожалуйста. Нет никакой проблемы с вашим трудоустройством. Свободные рабочие места у нас есть. С радостью примем молодого специалиста.

Валя в изнеможении опустилась на стул. Улетучилась заносчивость, дерзость. Она стыдилась своей предвзятости. «Проклятый характер!» — подумала она, растерянно глядя на мать Саши.

— Простите, Татьяна Власьева,— сказала она виноватым голосом.— Я была уверена, что вы... сразу же тогда, на аэродроме, почему-то невзлюбили меня...

— И тогда и теперь вы не поняли меня... Увидев вас, я подумала: милая девушка. Не вы меня испугали, а Саша. До вчерашнего дня любил одну, а сегодня вроде бы влюбился в другую... Я считала, что имею право предупреждать сына, требовать, советовать. Сейчас я уже так не считаю... Саша лучше меня знает, что и как ему делать...

Валя не хотела задавать никаких вопросов. Молчала.

— Где вы хотели бы работать, Валентина Павловна? У нас есть вакансии в проектно бюро. Могу поручить оформление постоянной выставки во Дворце культуры строителей...

— Пошлите, если можно, на какой-нибудь стройучасток. И еще лучше на отдельный объект!

— Хотите начинать с самостоятельной работы? Правильно! Завидую я вам, Валентина Павловна. Вашей молодости. Вашему новенькому диплому. Вашей будущей работе. Всею завидую, что будет у вас, и, главное,— счастью. Не отказывайтесь от личного счастья ни при каких обстоятельствах. Не бойтесь, что скажут о вас люди, как посмотрят. Истинно счастливый человек всегда прав!..

Валя, всегда находчивая и смелая в разговоре, не знала, что сказать в ответ.

Кто-то не постучавшись вошел в кабинет. По радостно изменившемуся лицу Татьяны Власьевны Валя поняла, кто стоял позади нее.

— Доброе утро, мама,— проговорил Саша.— Я не помешал?

— Здравствуй... А почему ты не здороваешься с Валентиной Павловной?

Вале не захотелось, чтобы он сказал неправду, и поспешила ответить вместо него:

— А мы уже сегодня виделись.— И не прощаясь выбежала в коридор.

Она бежала, будто кто-то преследовал ее по пятам. В сквере напротив гостиницы села на скамейку. И тут же подошел Саша, сел рядом. Она не вскочила, не ушла, как он ожидал. И, спеша выговориться, сказал скороговоркой:

— Ничего плохого я Клаве не сделал. А мог бы... Хорошо и для нее и для меня, что этого не произошло. Надо уважать, а не презирать человека за то, что он поумнел. Я был дурак дураком... Давно известно, что молодые ошибаются на каждом шагу. Я не исключение. И вы... вы тоже от ошибок не застрахованы...

— Моя жизнь вас не касается. Вы придумали себе какую-то другую Валю, в сто раз лучшую, чем я. У меня есть одно хорошее качество — чистоплотность. Но его-то вы и не заметили.

И ушла.

Выступление Александра Людникова на юбилее знатного сталевара привело редактора радиоузла Пудалова в ужас. Сначала он воспринял его как безобразную выходку распоясавшегося парня, испортившего прекрасную песню. Но, поразмыслив, пришел к выводу, что выпад молодого рабочего против ветерана труда Шорникова серьезнее, чем просто дурачество, и больше, чем обида зарвавшегося новаторско-скороспелки, однодневного мотылька. Нападая на Шорникова, Людников каждому по труду, хотя вроде бы и защищал его. Демагог! Придя к такому выводу, Пудалов ринулся к столу и настроил разносную статью. Камня на камне не оставил от «порочной» позиции Людникова.

Статью он понес редактору многотиражки комбината Петрищеву. Так себе товарищ... Небольшого росточка. Узкоплечий, короткорукый. Выцветшие волосы, похожие на паклю. Веснушчатый. Неказист не только внешне: мирно сосуществует со всеми. Считает, видимо, что худой мир лучше доброй ссоры. Гнилая это позиция! Эх, дали бы ему, Пудалову, редактировать многотиражку — он бы сделал из нее лучшую заводскую газету в стране! Не боец Петрищев, но Пудалов вынужден идти к нему на поклон. А что делать? Презирать Петрищевых в открытую — непозволительная роскошь. Надо высоко сидеть, чтобы говорить людям то, что о них думаешь...

Петрищев еле-еле виден за огромным редакторским столом, заваленным книгами, журналами, бумагами, свежими гранками, сверстанными полосами завтрашнего номера газеты.

— Каким ветром занесло к нам? — спросил он Пудалова.

— Принес тебе статью-бомбу, начиненную размышлениями по поводу вчерашнего трудового праздника в главном мартене.

— Интересно! Однако, Мишенька, почему ты принес статью нам? Каждая редакция старается опередить другую, вставить ей перо в одно место, а ты...

— Моя редакция имеет свою специфику. Одно дело печатное слово, другое — пущенное в эфир, на ветер, так сказать. Что написано пером, не вырубишь топором.

— Ты поразительно скромн. Отчего бы это, а? Ладно, давай свою бомбу.

Уткнулся в статью Пудалова и не оторвался от нее, пока не прочитал. Потер веснушчатую переносицу, крикнул.

— Острый сигнал... Однако! Надо проверить факты...

— А чего проверять? Ты же был на празднике, все слышал.

— Был. Слышал. И тем не менее...

— Забыл? Пожалуйста, можно время повернуть вспять.

Пудалов нажал кнопку портативного магнитофона, прихваченного с собою, и продемонстрировал Петрищеву неопровержимую истину.

— Вот тебе и проверка фактов, дорогой Петя!

— Да, вроде бы все так... Однако... что-то тут не так...

Пудалов очень вежливо, дружески, тихим голосом сказал:

— Петя, что с тобой? Ну же! забыл решение бюро горкома: отпраздновать достойным образом в главном мартене трудовой юбилей Ивана Федоровича Шорникова?.. Прошу без обиняков ответить: будешь или не будешь печатать мою статью, критическое острие которой направлено против людей, игнорирующих решение бюро горкома партии?

— Лихо сформулировано! Однако... Скажи, почему ты так близко к сердцу принял эту историю?

— Здрасьте! Да как же я мог не возмутиться выступлением Людникова?

— Вроде бы оно так, однако... Необязательно быть буржуем, чтобы выражать буржуазную идеологию. И необязательно быть рабочим, чтобы исповедовать пролетарскую идеологию...

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ты мог подпасть под влияние тех, кому не по нутру оказалась критика Людникова.

— Чепуха! Никакой критики не было. Обида побежденного. Оскорбленное самолюбие.

— Документы проверял? Я имею в виду экономические показатели.

— Зачем их проверять? Доверяю решению компетентного жюри. И потом, цифры не всегда точно рисуют нравственный облик людей. Поступок — вот показатель нравственности!

— Поступки сталеваров выражаются только цифрами. Чьи цифры более нравственные — Людникова или Шорникова?

— Отказываешься печатать? Боишься?

— Боюсь за доброе имя газеты...

— Припудриваешь родимые прыщи, Петенька. До свидания, сверхосторожный Петрищев! Поищу смелого редактора...

Пудалов не пошел, как намекал, в редакцию городской газеты. Направился в более надежное место — к Тестову.

Что за человек Тестов? Так ли он прост и ясен, каким представлялся Саше Людникову?

Молодость с ее горячим сердцем, окрыленная чистотой помыслов, желанием как можно скорее проявить себя, нетерпеливая и нетерпимая, склонна преувеличивать собственные способности и недооценивать возможности своих настоящих или мнимых противников.

Тестов невысок, но и не приземист. Одевается почему-то всегда в черное — зимой и летом. Нейлоновым рубашам предпочитает косоворотку, подпоясанную витым черным шнурком. Идеально круглая голова всегда тщательно выбрита. Нос крупный, костистый. Лоб высокий. Брови мохнатые. Лицо тяжелое, с землисто-восковым оттенком, лицо пещерного человека, редко видящего солнце. И при всем при том милая, добрая, приветливая улыбка, улыбка рубахи-парня. Улыбнется — и мигом все пещерное бесследно, как окалина, слетает с лица. К сожалению, он не знает, как хороша, человечна его улыбка, и потому редко ею пользуется.

Мартен для Тестова давно стал родным домом, а люди, работающие в нем, — друзьями, товарищами, побратимами. Ради них он работает и живет. С утра до вечера только и делает что заботится о них. Рук не покладает.

На комбинате добрая сотня неплохих рабочих столовых, но в главном мартене — одна из лучших, если не лучшая. Двухэтажная, как кафе на столичной улице Горького. Стены облицованы молочным кафелем. С потолка свисает богатая люстра. Столы покрыты цветным пластиком. Еда разнообразная, вкусная, недорогая. Овощей вдоволь. Фрукты не редкость. Очередей нет. Чистота. Порядок.

В главном мартене и красный уголок отличный. Большой читальный зал с пурпурными шелковыми полотнищами на окнах, с гигантскими фикусами по углам. Вдоль стен полированные книжные шкафы без замков и без запретительных надписей «Не трогать!». Открывай любой, бери техническую книгу, роман. И тут Тестов поработал. Вошли недавно в строй великолепные душевые. Нажимал Тестов на администрацию, чтобы она раскошелилась, резко улучшила в соответствии с веком научно-технической революции бытовые условия рабочих, — и добился своего.

Безропотно тянет нелегкий свой воз Тестов, вол, не чувствующий ярма. Устраивает сталеваров в санатории, дома отдыха, а их детей в пионерские лагеря, в оздоровительные пансионаты. Вручает в торжественной обстановке ордера на квартиры. Посвящает в рабочие вчерашних десятиклассников. На свадебных церемониях поздравляет новобрачных, преподносит им памятные подарки, толкает застольные речи. Выдает оказавшимся на мели единовременное денежное пособие. Хоронит умерших пенсионеров. Выступает с праздничной трибуны. Митингует. Рапортует. Составляет резолюции. Готовит решения.

Особое внимание уделяет Тестов социалистическому соревнованию. Этот участок своей деятельности он считал главнейшим. Никому его не передоверяет, так как уверен, что только он может руководить им правильно.

Уверен он и в том, что знает лучше любого сталевара, как тот должен жить, работать, отдыхать, и потому обижается, когда его доброе намерение не оценивается должным образом.

Вот к этому весьма авторитетному товарищу Тестову, единомышленнику в борьбе за правильную линию жизни, линию горкома партии, и пожаловал Пудалов. Выложил на стол свое взрывоопасное сочинение и веско сказал:

— Моя статья о безобразном выступлении Людникова на юбилее нашего славного ветерана! Познакомьтесь, Матвей Григорьевич.

Тестов прочитал пять машинописных страниц и крепко пожал Пудалову руку.

— Ве-ли-колепно! Так говорю я. Так скажут и в горкоме. Напоявал уложили распоясавшегося молодчика. Где вы собираетесь печатать статью? В многотиражке? Или в городскую газету понесете?

— Пусть опубликует ваша «Мартеновка».

— Ну зачем же скромничать? Статья Пудалова украсит городскую и областную газеты.

— Сначала должна появиться в стенной. Так надо!

— Ну раз надо... Вам, журналистам, виднее.

— Кто редактор «Мартеновки»?

— Грибанов. Подручный Людникова... Я с ним потолкую.

Так была решена судьба сочинения Михаила Пудалова.

Валя сдала документы, оформилась по всем правилам, побеседовала, как полагалось, с начальством рангом пониже Людниковой, приняла объект, поговорила с бригадирами и приступила к исполнению обязанностей прораба стоквартирного дома на улице Степана Разина. Исполнилось то, о чем мечтала чуть ли не с детства: стала полноправным строителем. Вступила на дорогу деда, отца. Ее называют теперь товарищ прораб.

Много дел обрушилось на нее в первый же рабочий день. Принимала панелевозы. Давала указания бригадирам. Подписывала накладные, путевки, требования. Произносила сотни слов, не имеющих никакого отношения к ее душевной тревоге. С головой окунулась в работу и все-таки не могла забыть: тяжесть лежала на сердце. Помнила встречу с Клавдией, последний разговор с Сашей...

В обеденный перерыв, когда десятиэтажная стоквартирная машина затихла, обезлюдела, когда прораба перестали осаждать со всех сторон, сердце Вали заболело еще сильнее. В одиночестве сидела она в прорабской, пила без всякого аппетита молоко, жевала бутерброд и перебирала в памяти события последних дней. Зачем в самолете она ответила на заигрывание молодца в красной куртке? Почему согласилась, чтобы он отвез ее в гостиницу и потом, ночью, на Солнечную гору? Дура, дура, дура!.. Себе изменила, и вот к чему это приве-

лю — ее оскорбила, унизила взбалмошная, распущенная девчонка Клава. И он, парень, тоже хорош. За версту видно — ловкач и бабник. Как подпустила его к себе? «Что же делать? — уныло думала Валя. — Как уйти от всего, что случилось? Да и не поздно ли спохватилась?..»

Татьяна Власьевна столкнулась с Полубояровым недалеко от строящегося стоквартирного дома. Он заботливо и встревоженно заглянул ей в глаза.

— Я вас разыскиваю по всему городу. Надо поговорить...

Татьяна Власьевна взяла его под руку и сказала:

— Пойдемте.

Пробираясь между огромными железными коробами с жидким, пахнущим сыростью бетоном, они вошли в еще не отделанное помещение первого этажа. В будущем универмаге не было ни души. Татьяна Власьевна уселась на краю штабеля досок. Полубояров сел рядом.

— Смотрите... — Достал из внутреннего кармана спецовки пачку бумаг, разложил их на доске перед Людниковой. — Вот квартальные показатели работы двух сталеваров, — сильно волнуясь, говорил Полубояров. — Печь Александра дала сверх плана три тысячи тонн стали, а печь Шорникова почти на тысячу меньше... Бригада Александра увеличила стойкость свода печи без капитального ремонта до трехсот плавов, а бригада Шорникова едва перевалила за двести... Я знал, кто победитель, но проголосовал за иконописного ударника. Уступил нажиму. Побоялся отстаивать Сашу, потому что вы... что я... Одним словом, хотел целым выйти из драки...

После долгой паузы Татьяна Власьевна спросила:

— Зачем вы мне все это рассказали?

Он не ответил. Татьяна Власьевна взяла руку Полубоярова, ласково посмотрела ему в глаза.

— Я знала, что вы человек мужественный и честный...

В резном старинном кресле, за большим столом, заваленным магнитофонными кассетами, папками, книгами, привычно сутулясь, сидел Пудалов, слушая магнитофонную запись. Длинные черные волосы зачесаны назад жесткой щеткой. Во рту дымилась сигарета, вставленная в янтарный мундштук. Пудалов выключил магнитофон и вопросительно-удивленно посмотрел на вошедшего посетителя в синей рабочей спецовке.

— Здравствуйтесь, — сказал Полубояров.

— Здравствуйтесь.

Приветствия с одной и другой стороны прозвучали как дуэльные выстрелы соперников.

— Жарко у вас, — сказал Полубояров, опускаясь в кресло и вытирая голову платком, — жарче, чем у нас в мартене...

Пудалов, слегка постукивая мундштуком по зубам, излучающим золотое сияние, любезно откликнулся:

— Благодарю за интересную информацию о температуре в мартене. Однако полагаю, вы не только с этим пришли.

— Да. Я пришел с тем, чтобы опровергнуть письмо Грибанова, подручного сталевара из бригады Людникова. Я считаю, что он искажал факты.

Пудалов выдохнул табачный дым, разогнал его рукой и спросил:

— Простите, чей вы адвокат? Я хочу сказать, от чьего имени вы ступаете? Вас кто-нибудь уполномочил вести этот разговор?

— Никто. Я пришел по собственной инициативе. И по долгу совести.

— Прекрасно!.. Совестьливый человек — это человек в квадрате,

так сказать. Какие же именно факты искажил в своем письме рабкор Грибанов? Разве сталевар Людников не выступал на юбилейных торжествах Ивана Федоровича Шорникова?

— Грибанов неправильно истолковал его выступление...

— Ошибаетесь — правильно истолковал! Речь Людникова была именно такой, как ее квалифицировал Грибанов. Безобразной! Так свирепо наброситься на своего товарища по труду, на своего учителя, так низко ему позавидовать, так беспардонно оклеветать перед лицом честного народа!

— Людников сказал правду.

— Чью? Какую? Кому она нужна, кому выгодна?

— Правда не может быть выгодной или невыгодной. Правда есть правда.

— Вот так классовый подход к правде! Или вы считаете, что правда бесклассова? Простите!.. Вернемся к фактам. Факт, что вы, как член жюри, голосовали за Шорникова. Факт, что одобрили письмо рабкора Грибанова в нашу редакцию...

— Этого не было. Не одобрял!

— Хорошо, смягчим несколько формулировку. Вы не возражали, когда Грибанов в вашем присутствии сочинял письмо в редакцию. Факт, что пришли в редакцию с целью нажать на корреспондентов, защищающих рабочую честь передовика Шорникова. Остается выяснить, почему вдруг сделали поворот и переметнулись от Шорникова к Людникову... Не потому ли, что в будущем муже Татьяны Власьевны Людниковой заговорили родственные чувства?

Полубояров побледнел. Руки его сжались в кулаки. Пудалов испуганно вскочил со своего места. Но Полубояров не ударил его. Тихо сквозь зубы сказал:

— Как вы попали сюда? Такого пройдоху и на пушечный выстрел нельзя подпускать ни к печати, ни к радио!

Уже взявшись за ручку двери, обернулся, посмотрел на узкую прилизанную голову Пудалова.

— Вы пережили сами себя. Перестарок!

В квартире моего друга Егора Ивановича неожиданно-негаданно появился именинник. Аккуратно выбритые щеки и подбородок. Золотые подстриженные усы. Запах одеколona. Белоснежная наимоднейшая рубашка, воротник которой, твердый и широкий, плотно охватив темную жилстую шею Ивана Федоровича, прямо-таки душил его. Шорников обнял старого товарища, гаркнул басом старого солдата-гвардейца:

— По веселому делу к тебе, Егор!

— Это и слепому ясно. Теперь ты без дела, просто так не изволишь заглядывать. Времени не имеешь. Нарасхват, это самое, твоя знатная личность.

— В другой раз отыграешься, Егор. Сейчас слушай, чего балакать буду. Айдайте ко мне на юбилей! Сабантуй начнется в семь вечера. Но ты приезжай пораньше. Я с тобой, ворчун, особисто, с глазу на глаз хочу отпраздновать.

— Иван, садись, поговорим... Удобнее, прочно усаживайся.

Шорников нехотя сел. Егор Иванович начал, по своему обыкновению, издали:

— Сорок лет назад ты, безусый паренек, худой, лохматый, иззябший, подошел к моему костру и робко спросил: «Дяденька, можно погреться?» Я сказал, это самое, тебе, помнится, так: «Грейся себе на здоровье. Не мой он, костер, а общий, артельный». Было такое дело?

— Было. Да к чему ты это все вспоминаешь?

— Не мешай, Иван, сказку рассказывать... В первой пятилетке ты был мужиком-сезонником, а я бывалым мастеровым. Ты приехал в наши края за длинным рублем, а меня рабочий класс Урала и всего Советского Союза послал начинать краугольное строительство. Ты букву от буквы с трудом отличал, а я технические чертежи читал одним глазом. Было такое дело?

— Ну, было... К чему пытаешь про то, что нам известно?

— Потерпи... В первой пятилетке мы с тобой начали вскрышные работы на горе.

— И Андрюха Булатов вместе с нами был.

— Пойдем дальше. Мы с тобой заложили фундамент первого кирпичного завода. В моих руках был мастерок с цементом, а в твоих каменная глыба пуда на три. Так нас и увековечили. Андрюха Булатов остался за кадром.

— Эта газета до сих пор хранится в моем сундуке. Пожелтела. Края посекались...

— Пошли дальше. Дорога длинная. Тридцатого июня ты, да я, да Андрюха Булатов, да еще тысяч десять строителей встречали первый поезд на железной дороге, только что проложенной...

— И это в моей душе зарубкой осталось. Мы в обнимку стояли на паровозной площадке, и нас с тобой увековечили корреспонденты. И такая фотография хранится в моем сундуке.

— Поехали дальше... Мы всегда рядом вкалывали на стройплощадке, вместе выступали на митингах один после другого, в бараке жили как братья-близнецы, за все это нас, это самое, окрестили Серпом да Молотом.

— Называли. Хорошее прозвище!..

— Пойдем дальше. Пятого сентября несколько сот рабочих начали монтировать временную электростанцию. Ты был рядом со мной. Приглядывался, как я работаю молотком, зубилом, ключами, монтажной лопаткой, отвесом да ватерпасом.

— И такое было, Егор. И теперь я с благодарностью вспоминаю, как ты натащивал меня всякому железному делу.

— Пойдем дальше...

— Уж больно медленно мы шагаем, Егор. До завтрашнего дня не одолеем свою дорогу жизни, если не прибавим шаг!

— Прибавим! Первого июля тридцатого года ты да я, Серп и Молот, под гром аплодисментов, крики «ура» и звуки духовых оркестров заложили в громадном котловане первый камень домны номер один. И под этот камень в специальной капсуле положили исторический акт. Перед тем как замуровать его, мы с тобой прочитали его вслух для всего митинга...

— Не мы, а ты. Я в ту пору, сам знаешь, лозунга «Долой неграмотность!» не мог еще одолеть.

— Верно, я читал, а ты поддакивал, кивая, да во весь рот улыбался. Так тебя улыбающегося и засняли.

— Историческую фотографию я увеличил и повесил над телевизором.

— Видел. Пойдем дальше. Не разлучались мы всю первую пятилетку. И вторую вместе были. Все делили пополам — и заработки, и пайки, и похвальные грамоты, и премии, и подзатыльники. Девчат только любили разных, самостоятельно...

Иван Федорович засмеялся:

— Тебе, Егор, в этом деле больше везло, а я напоролся на грозную и бедовую дивчину. Она сразу прихлопнула мою парубочью жизнь, приковала к себе. — Беспокойно глянул на часы. — Уже двенадцать, а мы с тобой не продвинулись дальше второй пятилетки.



— Сейчас перескочим в девятую. Потерпи. Ты, Иван, в ту пору уважал меня?

— Еще как! Больше, чем начальника строительства товарища Гугеля Якова Семеновича. Ты был для меня первым человеком.

— Ну вот мы и приехали куда надо — в сегодняшний день... Ну а теперь ты меня уважаешь, Иван?

— Сильнее, чем раньше.

— Совет мой примешь?

— Как же не принять, когда мы Серп и Молот. Друг без друга нам жить нельзя.

— Ну так слушай... Откажись от первого места, от звания «лучший».

Если бы земля разверзлась под ногами Шорникова, если бы камни заговорили, он был бы менее потрясен. Долго молчал. Долго собирался с мыслями и силами.

— Отказаться?.. Это как же, Егор? Народ и государство наградили, а я... Вот так совет! Невпритык эти твои слова с твоей прежней линией...

— Не народ, не государство наградили тебя, а Тестов. И не твоя она, награда, а Людникова. Откажись! Не пустят тебя в рай с чужой славой!

В последние годы Шорников мало сердился на людей, но сейчас пришел просто в бешенство:

— Хватит! Не желаю слушать! Был ты моим другом, Егор, а стал врагиной. Забуду сюда дорогу. Прощай! На том свете встретимся. Не раньше!

Так закончилась дружба Ивана Федоровича и Егора Ивановича.

Я слово в слово записал все, что рассказал мне по свежим следам событий мой старый друг...

Покончив с одним рассказом, Егор Иванович переходит к другому. Он неистощим. Напичкан информацией всякого рода — приятной и неприятной.

— Слышал новость, Саня?

— Их столько каждый день рождается в городе... Какую имеешь в виду?

— Строительный трест получил министерскую премию. Перевыполнил план. Повысил производительность труда. Добился большой экономии в расходовании средств и строительных материалов — металла, древесины, изделий из железобетона, жидкого бетона.

— Хорошая новость. Я рад за строителей.

— Погоди, это самое, радоваться. Давай сначала поплачем. Держи!

Егор Иванович вручил мне пачку листов. Просматриваю верхнюю страницу, исписанную мелким аккуратным — красиво вычерчена каждая буква — почерком.

— Что это?

— Комментарий, это самое, к министерской премии. Читай.

— «Кольца железобетонные — три штуки. Диаметр до двух метров. Всю весну валяются в сквере на улице Первостроителей. Бесхозные... Панели железобетонные. Двенадцать штук. Семь метров на три. Зарастают бурьяном на пустыре рядом с недостроенным Дворцом культуры...»

И далее следовал длинный перечень строительных материалов, брошенных и забытых. Дочитав всю пачку, я сокрушенно сказал:

— Твои комментарии, Егор Иванович, убийственны для нерадивых деятелей треста. Я их заберу. Не возражаешь?

— Бери, пожалуйста! Я их, это самое, для тебя специально составлял в надежде, что дашь им ход.

— Да, Егор Иванович. Не сразу, но дам. После того как разделюсь с первоочередными, неотложными делами.

— Ну, если так, товарищ секретарь, так я тебе еще кое-что подброшу. Считал ты, сколько вокруг города индивидуальных садов? Не трудись, не думай. Подскажу. Не меньше тридцати тысяч. Во какая зеленая махина прикрывает город со всех сторон. Хорошо это, да? Еще как хорошо! Просто здорово. Но, это самое, и на солнце есть пятна. Раз появился индивидуальный сад, должен вырасти и садовый домик. Ну и вырастали. Как грибы после дождя. Это только так говорится — домик. Присмотрись получше — и увидишь домину! Не деревянную. Не кирпичную. Не шлакоблочную. Железобетонную! Или отлитую из бетона. Спрашивается, откуда садовладельцы брали материала? Покупали на коммерческих складах? Нет! Там ни жидкого бетона, ни железобетонных изделий не продавали и не продают! Выписывали в управлении треста? Нет! Выписывали только считанные десятки. Остальные двадцать девять тысяч девятьсот с чем-то приобрели дефицитный материал, это самое, слева, незаконным путем, у расхитителей народного добра. Это тебе, секретарь, тоже комментарий к министерской премии и повод для больших размышлений!

— Да, есть над чем подумать... Есть у тебя какие-нибудь предложения?

— Есть, но ты их отвергнешь как неприемлемые.

— Почему ты так думаешь?

— Обкатал, это самое, на других деятелях... Слушай. В один прекрасный, как говорится, день позвонил к нам в общественную приемную директор бетонорастворного завода и умолял: «Егор Иванович, христом богом прошу тебя помочь нашей беде!» Спрашиваю, что за беда. «Стыдно сказать, Егор Иванович». Подбодрил я директора: «Говори, не бойся. Я, как и врач, обязан хранить чужие тайны». Осмелел и признался: «Добрая половина машин с нашим бетонным раствором не доставляет груз на место назначения — на комбинатские новостройки». «Куда же попадает раствор?» — «В индивидуальные сады. На отливку домиков, подвалов и даже бассейнов для купания. Помогли, Егор Иванович, изловить леваков». — «А вы, спрашивается, почему сами не ловите?» — «Руки наши коротки»...

Мой собеседник умолк, нарочито долго раскуривая сигарету.

— Что же ты еще сказал директору?

— Я сказал ему, что бороться с леваками необходимо всем и каждому. И беречь дефицитный бетонный раствор тоже надо. Привлекать к строгой ответственности расхитителей народного добра — долг, это самое, каждого из нас. Однако, сказал я, все это не даст нужного результата — не искоренит зла на вашем заводе. Надо докапываться до причины хищения. Директор сразу, это самое, вопрошает: «Что за причина, Егор Иванович? Давай назови». Навостри, говорю, директор, уши и слушай. Поскольку тридцать тысяч трудящихся города обзавелись индивидуальными садами, то и вам, директору, горсовету и прочим организациям, надо было позаботиться и о садовых домиках. Не додумались. Недоперли. И что же получилось? Двадцать девять с чем-то тысяч любителей-садоводов, честных работяг, металлургов и строителей, стали невольными пособниками леваков, расхитителей, а то и сами брали на складах треста то, что близко и плохо лежит. Сконфузился директор, скомкал разговор, повесил трубку...

Вот проблема, Саня, а? Нравственная, а не только хозяйственная. Ну, чего молчишь? Скажи что-нибудь.

— Цэ дило трэба розжуваты, как говорил мой отец...

— Ну вот, и ты туда же, куда директор,— в кусты!..

— Нет, Егор Иванович, я не туда, я в другое место... Подумаем над этой проблемой в обкоме...

...Волкодав, увидев товарища Тестова, мирно помахал хвостом и даже позволил потрепать себя по густошерстной рыжей холке.

— Эй, хозяева, встречайте гостя!

Войдем и мы вслед за Матвеем Григорьевичем Тестовым в дом Шорникова на улице Крылова.

Большая парадная комната. Мягкая мебель. Ковер на стене. Голубые шелковые шторы. Стены увешаны почетными грамотами, в разное время полученными знатным сталеваром Шорниковым, его портретами, фотографиями, вырезками из журналов. На комод, на тумбочках, на этажерках памятные подарки: статуэтки и вазы, изделия каслинских мастеров, расписные шкатулки палешан, мраморные чернильницы, никогда не знавшие чернил... Всего не перечислишь. На каждой вещи хромированная пластинка, а на ней выгравировано: «Лучшему сталевару...», «Учителю и другу...», «Стальных дел мастеру...», «Дорогому Ивану Федоровичу», «Победителю»... Длиннющий раздвижной стол завален богатой снедью и заставлен бутылками, графинами и кувшинчиками. В красном углу сидел Тестов. Подняв рюмку, он провозгласил тост:

— Пью за тебя, Иван Федорович, за твою неувядаемую жену-красавицу!

Тестов подмигнул бабе Марине, послал ей воздушный поцелуй. Не забыл и ее мужа — чмокнул в щеку.

— Правильно сказал, Григорьевич! — откликнулся Шорников. — Красавицей Марина выскочила за меня, красавицей и по сей день осталась.

Баба Марина стояла у стола, смущенная до слез, в шелковом цветастом платье, повязанная ситцевым фартуком, с рюмкой в руках.

— От моей красоты рожки да ножки остались, от нее всякий нос воротит. Давайте лучше выпьем так... за ясно небо да за землю зеленую!

Опрокинула рюмку в рот, остатки водки выплеснула в потолок.

— Закусывайте, Григорьич. Ешьте чего душа желает. Все сами стряпали — и пироги, и студень, и колбасы, и пиво, и бражку, и первач. Только портвейн и коньяк покупали.

— Живем, как деды наши жили,— по старинке,— добавил Шорников.

— По старинке, говоришь? — Тестов хлопнул ладонью по телевизору. — А это что такое? Предмет эпохи научно-технической революции и зажиточности рабочего класса. Всегда ты, Иван, сидел на пьедестале жизни!

— От такого долгого сидения у него штаны протерлись!

Баба Марина собрала грязные тарелки, ушла на кухню. Словам ее не придала значения. Привыкли к ее чудачествам. Проводив бабу Марину трезвыми глазами, Тестов сказал:

— Ну, Иван, малость погуляли, пора и за дело приниматься!

— Клавдия, айдате сюда! — крикнул Шорников.

Вошла Клава. Села, настороженно посмотрела на гостя. Тестов достал из портфеля чистый лист бумаги, авторучку.

— Бери, Клавонька, канцпринадлежности и расшифруй загадоч-

ное свое слово «предатель», которое ты бросила в лицо Людникову при всем честном народе. На мое имя пиши заявление.

— Ничего я не буду писать, — отозвалась Клава.

— То есть как это не будешь? — Тестов в недоумении повернулся к хозяину пиршественного стола. — Иван Федорович, ты же говорил...

Шорников положил тяжелую руку на плечо дочери.

— Пиши, Клавдия! Вся правду как есть. Фулиган и предатель должен получить свое сполна!

— Я сказала: ничего писать не буду...

— Что же получается, Клавдия Ивановна? — грозно вопрошал Тестов. — Вы клеветали на Людникова? Выходит, он не предатель?

— Думайте что хотите, а я никому жаловаться на свою судьбу не желаю! И довольно меня учить! Не девочка я несмышленная...

Вскочила, выбежала из комнаты.

Вошла баба Марина с тарелкой, полной свежей клубники. С откровенной издевкой посмотрела на мужа и почетного гостя.

— Не выгорел вам счастливый номер, друзья-приятели. Так-то оно лучше... Моя дочка оказалась умницей. Обрадовала, миленькая! Все свои грехи смыла. Ешьте клубничку. Подсластите горькие пилюли.

С улицы послышался стук в ворота, собачий лай. Баба Марина пошла к воротам, отодвинула засов и открыла окованную железом калитку. Перед ней стоял Полубояров.

— Здравствуйте. Дома Иван Федорович?

— Заходите. Прибыли в самый раз...

Тестов и Шорников с мрачноватым удивлением смотрели на гостя: они уже знали о его визите к Пудалову. Баба Марина осталась гостеприимной хозяйкой:

— Чем прикажете потчевать? Чистоганом прозрачным или золотистой брагой?

— Я пришел не выпивать. Хочу сказать... — Взглянул прямо, глаза в глаза, на Тестова и Шорникова. — Нехорошо мы поступаем с Людниковым!

Тестов осуждающе покачал головой.

— Здорово, начальник, обработала тебя Татьяна Власьевна, — сказал он. — Медовый месяц, медовые речи...

— На эту удочку вы меня не подцепите, Тестов. И не запугаете. Хватит!.. Я все равно скажу что хочу.

Тестов заерзал на стуле, схватил нож, рубанул тупой стороной по столу.

— Предисловие интересное. И все-таки желательнее ближе к цели. Как твое мнение, Иван Федорович?

— Не мешай ему, Григорьевич!

— Иван Федорович, поскреби свою душу и ты увидишь, что Людников работает лучше тебя. Он рука об руку с наукой идет, а ты больше нутром тянешь, на глазок. Тебе — привилегии, а ему — трудности. Откажись от премии, будь человеком!

Тестов без нужды со звоном передвинул тарелки.

— Иван Федорович, да как ты терпишь?.. Дай отпор демагогу!

Шорников спокойно, с достоинством разгладил годами ухоженные роскошные усы.

— Рано вы меня в шлаковые отходы сливаете. Я еще поработаю, дам родине сталь. Вот так. Больше нам не о чем калякать. Прощайте.

— Нет, я еще не все сказал, Иван Федорович!.. Вы отбиваете у молодых желание честно работать, бороться за первые места.

— Ого! — воскликнул Тестов. — Лихо!

— Вы, Тестов, создаете рабочую аристократию, которая находится на изживении у рядовых рабочих!

Тестов не дал дальше говорить Полубоярову. Закричал:

— Шорников и такие, как он,— становой хребет комбината!

— Помолчи, Григорьевич! Я и сам дам ему сдачи...

Иван Федорович прикоснулся, будто набираясь сил, к бархатной подушечке с орденами и медалями, лежавшей на столике у стены. Грузный, головастый, дыша водочным перегаром, подошел к Полубоярову.

— Все нам ясно и понятно. Вам милее Сашка Людников — как-никак он пасынок, а я пришей кобыле хвост!

Тестов отодвинул кресло, выскочил из-за стола и попытался добить противника из пушки самого крупного калибра:

— Вышестоящие организации поручили нам провести юбилей Шорникова! Почему же вы саботируете?

— Все, что я вам сказал, скажу и самым вышестоящим...

Влас Кузьмич сидел у открытого окна, приколачивал набойки к своим рабочим башмакам, насвистывая старинный вальс «На сопках Маньчжурии». Саша лежал на диване, курил и раздумчиво смотрел на портрет седой женщины в черной кружевной накидке.

— Дед, ты по любви женился на бабушке?

— Один петух женится без разбору. — Бросил взгляд на портрет, висящий на стене. — Строга была Ефросинья Петровна!.. Ни на кого, кто в юбке, не имел я права зыркнуть. До последнего своего дня строжилась: прокляну, говорила, Влас, тебя и на том свете, если женишься... Вот жена была, вот любила!

— Ну а если бы она, когда была в девушках, не полюбила тебя, что бы ты делал?

— Хм!.. Я бы носом землю рыл, жар-птицу поймал — и доказал бы, что я стоящий жених!

В передней раздался звонок. Саша встал, открыл дверь и с радостным криком бросился к человеку, стоявшему у порога с чемоданом в руке:

— Здравствуй, Шальников! Откуда? Куда?

— Из Москвы прилетел... Может, пригласишь в дом?

Саша потащил Шальникова в столовую.

— Дед, посмотри, кто объявился!

— А, Петя! Привет! Зачем пожаловал в родные края?

— Редакция «Комсомольской правды» поручила своему специальному корреспонденту написать очерк о самом молодом и самом лучшем сталеваре. Так сказано в командировочном удостоверении. — Достал из кармана бумагу, развернул ее перед Сашей. — Вот!.. Теперь смотри в мою душу и читай, что там написано! Увидал?

— Мелковатый почерк. Ничего не понял...

— Эх ты, грамотей! Слушай! Написано: Шальников командируется в родные края по сердечному делу — повидать ту, которую... Ясное дело?

Влас Кузьмич покачал сивой, стриженной под бобрик головой:

— Столичный житель, высшее образование получил, а все такой же балабошка, каким был здесь!

— Какое же удостоверение настоящее, первое или второе? — улыбаясь, спросил Саша.

— И то и другое. Выполнил оба задания с честью и в срок. Приступаю к первому. Ты, Саня, вроде бы самый молодой сталевар комбината. И, говорят, лучший. Выходит, я должен писать о тебе.

— Ошибаешься. Самый лучший сталевар Иван Федорович Шорников. О нем и строчи.

— Старики не интересуют мою газету.

— Зря. Поговори с ним — и ты получишь великолепный материал о молодом сталеваре Людникове. Не теряй времени, Петя! Поезжай.

— А как же та, которая... Валентина Тополева?

— По дороге к Шорникову заедешь к гой, которая... Она живет в гостинице «Центральная». Комната семьдесят семь.

— Вот это информация! Ты ее знаешь? Когда успел познакомиться?

— Успел уже и раззнакомиться...

— Что ты хочешь этим сказать? — Шальников шутливо замахнулся на Сашу кулаком. — Если что-нибудь плохое — уложу наповал!

— Напрасно ты бомбардировал ее телеграммами, благословляя ее первые шаги по святой земле. Она и без твоего барабанного боя марширует будь здоров — красиво, покоряет всех и каждого...

— И тебя, значит, не миновала чаша сия? Ну и ну! Саня, будь другом, проводи меня к Вале. Одному страшновато...

— Попроси о чем-нибудь другом... В общем, я не поводырь.

— Я понял тебя, несчастный! Не первая и не последняя жертва!..

Побывал Шальников и в главном мартене. Поговорил с Иваном Федоровичем Шорниковым. Встретился с Тестовым. Часа три рылся в документах планового отдела и делал выписки. Посетил Пудалова. Послушал магнитофонную запись речи Людникова. И с Клавой успел побеседовать. До позднего вечера работал. Вернулся на квартиру к другу около полуночи, сел пить чай и заявил:

— Завтра, Саня, улетаю. Материал для очерка собран...

— Что-то больно быстро, Петя. Пришел. Увидел. Победил... И чья же голова затрепещит? Моя? Шорникова?

— Об этом узнаешь в самое ближайшее время. Читай «Комсомолку»!

— Чего темнишь, Петька?

— Не тяни жилы, Саня! Не имею права выдавать тайну спецкора. Может быть, редакция не согласится с моей позицией.

— Ну и гад же ты, Петька! Полосатый... Валу видел?

— А как же... Ну и натворил ты делов!

— Что натворил? Что она тебе сказала?

— Ты, Саня, должен знать это лучше меня...

Андрей Грибанов, подручный Людникова, босой, в трусах, с огромным шестом в руках, на конце которого пламенела тряпка, стоял на крыше сарая и, пронзительно посвистывая, гонял голубей. Увидев машину, остановившуюся у ворот его дома, спрыгнул на землю.

Из «Волги» вышел Николай Петрович Полубояров. Андрей подбежал к начальнику цеха, вытирая о штаны ладони.

— Милости просим! Вот не ждал!..

— Ну как? — держа руки за спиной, сухо спросил Полубояров.

Грибанов не понял, чем интересуется начальство. На всякий случай бодро и весело отрапортовал:

— Порядок!

— Голубей приголубливаешь? Сам себя голубком чувствуешь? Спишь спокойно? Appetit не потерял? Совесть не грызет?

Глаза Андрея настороженно ощупывали Полубоярова: чего это он с подковыркой разговаривает?

— Я спрашиваю, где твоя совесть?

— Совесть?.. Разве я сделал что-нибудь плохое?

- Сделал! И себе, и мне, и всем. Оклеветал Людникова.
- Так вы, оказывается, за него?! А я-то думал...
- Слушай, голубятник! Если у тебя осталась хоть капля совести, иди к Тестову и забери клеветническое письмо.
- Пойду, Николай Петрович! — сейчас же согласился Грибанов. — Ваше слово для меня закон. Промахнулся я, левша этакая. Поедем! Но... боюсь, что поздно...

Очень они спешили, но все-таки опоздали. Стенгазета «Мартеновка» уже висела на своем обычном месте.

Бытовой пятиэтажный корпус главного мартена соединяется с цехом крытой галереей, воздвигнутой над железнодорожными путями, светофорами, автомобильными дорогами. Сталеплавильщики дважды в день — приступая к работе и кончая смену — проходят этот длинный высотный тоннель, преддверие горячей работы, доброго огня, делового шума и грохота, ослепительного света мартеновских печей. Мне по душе этот особый прохладный уголок необъятной территории комбината.

Я долго простоял около немудреного самодельного плаката, рассказывающего, как росла в цехе производительность труда сталеваров из пятилетки в пятилетку — от первой до ныне действующей. Никаких рисунков, только цифры. Черное по белому. Изучаю. Сравниваю. Хвалю пропагандиста, которому пришло в голову использовать для наглядной агитации такое удачное место.

Привлек мое внимание и стенд с фотографиями лучших сталеваров, разлильщиков стали, шихтовиков. Всмотривался в знакомые и незнакомые лица и радовался: каких трудяг, каких богатырей вырастили! Порадовал меня и алый транспарант с надписью: «Первая пятилетка — наше славное детство, наша золотая юность. Девятая — вертикальный взлет нашей зрелости».

В этой же галерее я увидел стенную газету «Мартеновка». В глаза сразу бросилась черная шапка: «**О распоясавшемся комсомольце Людникове**». Под нею напечатаны статья Пудалова и письмо в газету Андрея Грибанова. В текст вмонтированы две фотографии. На первой запечатлен Людников перед микрофоном. Подпись под ней была лаконична: «Одна сторона медали». На второй изображены Саша Людников и его друзья в ресторане, за столом, на фоне бутылок. Подпись: «Вторая сторона медали. Снимок сделан через полчаса после того, как Людников произнес юбилейную речь». Слышал я, как реагировали мартеновцы на эту «сенсацию»:

- Вот это да! Вышибут парня отовсюду...
- Не пропадет! Дальше огня не пошлют.
- Кто на знатного подымет меч, тот от меча и погибнет!
- Не с Людникова надо стружку снимать, а с того, кому в первую очередь дают скрап и жидкий чугун, кого первым обеспечивают кислородным дутьем, кому до конца жизни забронировано первое место!
- Жаль Сашку Людникова. Осрамили хорошего парня...
- Нечего таких шустрых жалеть. Поперед батька в пекло полез. Теперь, когда его мордой об стол стукнули, поскромнее станет...

Видел я, слышал, как обсуждали «Мартеновку» и Саша Людников, Николай Дитятин, Слава Прохоров, Степан Железняк. Сначала негромко, но крепко выругались. Потом стали возмущаться:

- Ну и пройдохи. В наш же карман залезли, а кричат «караул, грабят!»..

— Мстят за справедливую критику. Дадим сдачи. Напишем опровержение!

— Младенец ты, Слава! Видел за свою куцую жизнь хоть одно опровержение? Напечатано — значит, правильно...

— Ах Андрюха Грибанов, чертячи рога!..

— Хватит, братва! — остановил друзей Саша. — Вредно перед горячей работой нервы трепать.

Нормальный разговор. Истинное человеческое братство предполагает, а не исключает и критику, и самокритику, и беспощадную требовательность, и правдивость, и справедливость. Принцип каждому по труду лежит в основе рабочего братства. Где соблюдается этот принцип, там невозможно дутое величие. Все, казалось бы, ясно. Но как трудно — знаю по собственному опыту — эту ясность, простоту, государственную необходимость сделать доступной всем и каждому. И прежде всего тем, кто определяет, кому быть первым в социалистическом соревновании, а кому вторым.

Как же быть с «Мартеновкой»? Посоветовать снять ее? Нет! Людникову-младшему нанесен удар. Но вместе с тем и поднялась буря общественного негодования против Тесова, против его методов руководства соревнованием, против незаконных, безнравственных привилегий, предоставленных Шорникову. Постараюсь сделать все, чтобы победил принцип каждому по труду...

Влас Кузьмич вернулся с работы позже обычного. Пришел мрачный, тихий. Татьяна Власьевна встревожилась:

— Ты что, папа?

— Дожили мы, Татьяна, до черного дня... «Мартеновка» расчихвостила Сашку! — Достал из кармана записную книжку, надел очки и прочитал: — «Зависть и неблагодарность руководили молодым сталеваром, когда он вылез на рабочую трибуну и произнес хулиганскую речь». — Глянул поверх очков на дочь, сердито хмыкнул. — Вот, оказывается, какого сына и внука воспитали Людниковы. Слушай дальше. «Распоясавшийся зазнайка и скандалист...»

Раздался резкий звонок. Влас Кузьмич вышел в переднюю, открыл дверь, впустил Полубоярова.

— Утешать пришел? Каяться? Поздно спохватился...

Втолкнул гостя в комнату. Татьяна Власьевна сидела в углу дивана и плакала. Николай Петрович подошел к ней:

— Не надо, Танюша! Не плакать мы должны, а воевать за правду...

Влас Кузьмич разглагольствовал, стоя посреди комнаты:

— Выпрямляй кочережку, пока она горяча, на голове супротивников. Иначе правду не откуешь. Завтра же подамся в обком, пробыюсь к первому секретарю и скажу: «Вот, Федор Петрович, до чего довело ваше спокойное отношение к моему острому сигналу. Я вам писал, предупреждал. Почему же не приняли мер?..»

Настало время рассказать о моем первом, самом первом разговоре с Людниковым-старшим.

Влас Кузьмич встретил меня тогда ехидной усмешкой.

— Прибыли вы, товарищ Голота, на место происшествия к шапочному разбору! — Плюнул на железную плиту, шаркнул рабочим башмаком. — Плохое положение в главном мартене стало еще хуже, чем было в то время, когда я подал сигнал тревоги. Однако один дурак умно сказал: лучше поздно, чем никогда...

И он увел меня в укромное местечко, поведал во всех подробностях, что произошло в цехе. Я выслушал старого мастера и сказал:



— Влас Кузьмич, вы ударили в набат две недели назад, а Шорникова тянут за уши на пьедестал три месяца. Почему же вы, лично вы, секретарь парторганизации, так долго терпели это?

— Ничего в ту пору я не терпел, товарищ Голота. Не грех, думал я, поспособствовать старому сталевару на его последней трудовой вахте: создать особо благоприятные условия, обеспечить победу в соцсоревновании. Словом, куда ни крути, куда ни верти, а я тоже собственноручно тянул Шорникова за уши на пьедестал. Было такое дело в самом чистом виде, к моему стыду. Помогал богатому богатеть, а бедному беднеть. Делал счастливым одного, отбирая счастье у всех остальных. Против своей совести поступал, непартийно, и сам об этом, глупак этакий, не ведал. Тьфу да и только! К счастью, вовремя понял, что поступаю неправильно...

Пришлось мне прервать поток самокритичного красноречия Людникова-старшего:

— Ну а как же и когда поняли, что поступаете неправильно?

— После того как побывал на съезде партии, послушал генеральный доклад и выступления делегатов. Всего за пять дней высшую партийную школу закончил. Яснее стал видеть. Проверил себя, свой комбинат, свой цех строгой мерой партии, ее умом. И увидел наши прорехи, в том числе и эту... шорниковскую.

— В горком обращались?

— Нет. Боялся, что меня неправильно истолкуют. Ведь бюро горкома вынесло постановление насчет Шорникова. По случаю его шестидесятилетия...

— Тут что-то не так, Влас Кузьмич. Не мог горком вынести постановление, гарантирующее победу Шорникова в социалистическом соревновании.

— Правильно, точно такого, как вы говорите, постановления не было, но похожее было. Не в лоб, так по лбу. Можете проверить.

— Проверю... Да, тугой узел захлестнулся в главном мартене.

— Мертвый узел. Его не развяжешь голыми руками. Рубить надо. Я вам еще не все успел сказать. Есть у Шорникова важный защитник...

— Вы про кого говорите?

— Водились они в молодости — Андрюха Булатов и Ванька Шорников. Что было, то было...

И тут проблема Булатова! Я некоторое время помолчал, внимательно разглядывал не крупное мальчишеское лицо Людникова-старшего, его худощавую сухонькую фигуру. Хорош старик. Вовсе не богатырь с виду, как положено быть металлургу, покорителю тысячеградусного огня, а мечет молнии.

— Влас Кузьмич, я полностью буду на вашей стороне, если все обстоит так, как вы рассказываете.

Позиции до конца прояснились. Говорить нам больше ни к чему. Мы распрощались.

Вечером после семи я заглянул в горком. В это время Колесов всегда на месте. Любит в тишине, в одиночестве подумать, подвести итог рабочему дню, распланировать работу на завтра.

Партработа!.. Прекрасное поле человеческой деятельности. Приобщаешь людей к жизни страны, народа, партии, государства. Держишь руку на пульсе каждого горняка, металлурга, строителя. Радуешься всему, что добыто. Огорчаешься потерям, недоделкам, неряшеству, показухе на том или ином участке...

Колесов обрадовался, увидев меня. Будто год были в разлуке. Вы-

шел из-за стола, протянул руку. Выспрашивал, как здоровье, самочувствие.

— И сегодня я к вам, Василий Владимирович, на огонек и по делу. Скажите, было решение бюро горкома о том, чтобы отметить юбилей сталевара Шорникова?

— Ивана Федоровича?.. Было. Единодушно проголосовали. И правильно сделали. А вы... вы в чем-нибудь сомневаетесь?

— Пожалуй, нет. Как было сформулировано решение?

— Очень хорошо его помню. «Поручить товарищам Тестову и Пудалову должным образом отметить сорокалетие трудовой деятельности Ивана Федоровича Шорникова, сталевара главного мартена». Формулировал я, вносил предложение Булатов. Вас встревожил скандал в главном мартене?

— А вас?

— Нехорошо получилось... Людникову не следовало выступать с такой речью. Это мое личное мнение. К тому же предварительное. Безнравственно обижаться на то, что не тебе, а твоему соседу, товарищу по работе присуждено первое место...

Не ждал я таких слов от Колесова. Резко сказал:

— Людников защищал не себя, а принцип каждому по труду.

— Как защищал?! Где?! Бригадир, депутат горсовета, студент третьего курса института, политически грамотный парень должен бы знать, что такого рода вопросы разбираются не на юбилейном празднике!

— Социалистическое соревнование прежде всего дело тех, кто трудится и соревнуется. Людников правильно сделал, что воспользовался подходящей для данного случая трибуной — рабочим местом и митингом. Ковал железо, пока было горячо.

Колесов озабоченно смотрел на меня. Впервые мы не понимали друг друга. Пришлось прояснить свою позицию:

— Василий Владимирович, я размышляю вслух. Пытаюсь разобраться, кто прав — дед и внук Людниковы или Тестов с Пудаловым и Шорниковым. Рассчитываю на вашу помощь.

— Да, да, конечно...

Был я и у Пудалова. Побеседовали. Рассказав о выступлении Людникова в главном мартене, Пудалов сделал такой великодушный вывод:

— Безобразный, конечно, случай, но совершенно не типичный для советского образа жизни. Более того, он нетипичен для самого Александра, хорошего сталевара, комсомольца, депутата горсовета.

Пудалов говорил и упивался ладным своим слогом. Был он в замшевом пиджаке, в красной в черных цветочках рубашке. От его прилизанных волос разило бриолином. Курил длинную сигарету, вставленную в янтарный мундштук. Пускал душистый дым колечками к потолку и время от времени с тревогой поглядывал на меня сквозь наимоднейшие, в сияющей оправе очки: достаточно ли я высоко оцениваю его личные достоинства?

— Наш советский образ жизни не повседневная бытовщина, не все то, что существует в том или ином виде, так или этак проявляет себя. Натурализм давно осужден и в литературе и в политике... Советский образ жизни — это...

Он вынудил меня вступить в разговор:

— Действительность, освобожденная от всего неприятного, сложного, драматического, нежелательного. Образцово-показательная жизнь. Так я вас понял?

— Упростили несколько... Мы не скрываем, что у нас пока еще

не все трудящиеся являются ударниками коммунистического труда. Однако впередсмотрящий был, есть и будет ведущей силой, образцом для подражания и тем самым типичной фигурой советского образа жизни.

— Ну а как быть с теми, кто рядовой, обыкновенный, но кто и душой и телом с советской властью и ее порядками? В каком образе жизни они существуют?

— Судьбы отдельных людей не всегда идентичны всеобщей судьбе, судьбе миллионов, судьбе народа...

Говорит как пишет. Грамотей! Такого не переубедишь!.. Для него, конечно, и Колокольников, и Федора Бесфамильная, и Леонид Иванович Крамаренко и его сын тоже нетипичны. Отрегушировал, отлакировал действительность. Ну а ты, Пудалов, что за явление — типичное или нетипичное? Воздержусь спрашивать. Можно вспугнуть мыслителя. Выясним наши позиции несколько позже. В другом месте.

— Советский образ жизни тем и прекрасен, что доступен всем, — сказал я и прихлопнул в одностороннем порядке дискуссию.

Пудалов молча, весьма почтительно в знак согласия со мной склонил прилизанную голову.

Ушел я от него не с пустыми руками. Получил во временное пользование магнитофон и несколько кассет с лентами, на которых были записаны юбилейные речи в главном мартене.

История, которую я рассказываю по ходу действия, по горячим следам событий, развивается далеко не так, как мне бы хотелось. Один хороший писатель, Стендаль, сказал, что в высшей степени безнравственно не изображать действительность правдивой. Вот как! Писатель, отступивший от правды жизни, безнравствен. Трижды безнравствен партработник, побоявшийся посмотреть правде в глаза!..

Виделся с глазу на глаз с женой Ивана Федоровича Шорникова. Дома не было ни мужа ее, ни дочери. Восстановил с ее помощью недостающее звено. Вот исповедь бабы Марины:

— Всю правду, видно, надо выкладывать. Припекло! Куда от нее денешься?.. Навечно я приклепана к Ивану. Не его славой, не собственным доминой в пять комнат, с верандой, погребом, кладовой, гаражом и садом. Сорок лет совместно живем! Привыкла. Да и Клавдия у нас. Непутевая девка, а все ж таки кровинушка родная. Поздняя она у нас, потому не вызрела умом и сердцем. Ничего, и от такой не отказываюсь. Ругаю любя... И его, Ивана, в молодые годы любила. Мы с ним в землекопской артели работали — он грабарем, я кухаркой. На двадцать пять мужицких ртов готовила я борщи, каши да барабулю с салом, таком и маком. На Иване веревочные лапти, дерюжные штаны и рубаха, а на Марине вылинявшая, истертая до дыр юбка, ситцевая кофтенка, а ноги босые, черные да порепанные. Он малограмотный, я неграмотная. И не побрезговали друг другом. Всей артелью свадьбу сыграли, но «горько» не кричали: хмельного ни капли не было. Закон воспрещал пить на стройке водку и самогон. Сухим тот закон назывался... Муж и жена, а гнезда своего не построили. Иван в бараке на двести пятьдесят мужицких голов жил, а я приютилась около барака, под навесом, рядом с печкой. Ни мне нельзя сунуться к мужу, ни ему к жене: все время на людях. Как стемнеет, бежим на Солнечную гору. Тишина была там, ветерок теплый, трава некошенная, духовитая. Перина — земля. Одеяло — небо. Подушка — мужнина рука. Лады! Хорошо! А на зорьке айдате вниз — он к грабарке, а я к ложкам, чашкам и артельному котлу. К зиме нам в бараке выделили семейную квартиру —

закуток, отгороженный горбылем, с ситцевой занавеской вместо двери. Ох и радовались же мы своему углу! Три года, до пуска второй домны, жили в тесноте и обиде, в табачном дыму, обложенные матом со всех сторон. Ваш брат-мужик слова не может сказать, чтобы не поперчить его похабщиной. В ту пору ничего не стеснялась. Иной раз и сама посылала подальше какого-нибудь рукастого надоедливого ухажера. Днем кухарю, бывало, а вечерами и ночами мужикам рубахи да подштанники стираю. Чертоломила, рук не жалела, рубахи зарабатывала. Приданое хотела купить: кровать с никелированными шпиками, постель, миски с ложками. Комнату нам, ударникам, обещали вскорости предоставить.

Почто я тебе байки рассказываю про то, как жили в молодости? Неглупая у тебя голова, должна догадаться. И в бедности, и в голоде, и в холоде мы с Иваном друг в дружке души не чаяли. Никогда нам не было скучно. Не из-за чего было ссориться. В одну сторону тянули. Ликбез вместе окончили. На курсы повышения квалификации в обнимку ходили. В один день на мартен определились — Иван в подручные сталевара, а я в крановщицы на шихтовом дворе. В обед бегали друг к дружке—я к его огню тулилась, а он к моему холоду. Ох и жили же мы добряче! Не разлей вода, да и только. Десять полюбовных годов пролетело как один день. По старой привычке мы с Иваном летними ночами взбирались на свою гору — небом укрывались, землю под бока подстилали, и нам было мягко, сладко да светло. Одним только угрызались: детей не было. Потоскуем по нерожденным ребятишкам и еще больше друг дружку любим. Ваня не бражничал, когда и сухой закон отменили. Все деньги домой приносил. С гулящими бабами не знался. Одну меня почитал. Так любил, так любил, что иной раз и заговаривался. Ты, говорит, моя богородица пресвятая!.. Да святится имя твое!.. А когда родилась у нас Клавочка, жизнь совсем хорошей стала. Жили мы в ту пору уже в премированном доме. В этом самом. Директор Головин на серебряном блюде преподнес. Мебель справили, сам видишь, какую. Люстру купили хрустальную чешскую. Три тыщи не пожалели. Тарелки, ножи, вилки, чашки с блюдами — немецкие. Ковры — китайские. И на автомобиль не поскупились потратиться. А чего жалеть? Иван Федорович стал знатным, денег получал много да еще каждый месяц премии отхватывал — то двести, то триста, а то и все пятьсот. И я кое-чего домой приносила. И Клавдия в общий котел тасила. Все у нас было и есть. На сберкнижке — тыщи. А полюбовность, какая была в молодости, пропала. Ищи ветра в поле!.. Кто виноват? Приходит с работы злой, несловоохотливый. Раньше богородицей величал, а теперь и Мариной язык не поворачивается назвать. Ведьмой я для него стала. И я на него всех чертей вешаю. Раньше и в дерюге Иван для меня красавцем был, а теперь и в аглицкой да итальянской шерсти, в орденах да знатности страшилищем выглядит. Вот до чего дошло! Иван теперь почитает только свое начальство, да и то на выбор. Как же, знатная личность! Голову, как верблюд, стал задирать. Все, говорит, сам знаю, все сам понимаю. Сам с усам. Куда там! Ни одной книжки не прочитал за целый год. Над газетой засыпает. И телевизор переносит, только когда на свое изображение смотрит. Пивом да водочкой стал баловаться. На этих... банкетах, на даровщинку приучился пить. Хлещет теперь не с товарищами, не с дружками, а сам, в одиночку. Не то осторожничает, не то боится, что ему, денежному, за троих малоденжных придется расплачиваться. Горе ты мое, Иван! Горе на старости лет...

Сам ни с кем не дружит и мне запрещает водиться с подругами. А у меня их полгорода. В молодости я пристрастилась вышивать,

кроить, шить. И теперь этим делом в охотку занимаюсь. Бабы знают, какая я мастерица, — просят помощи, совета. Никому не отказываю. А Иван рвет и мечет. Ты, говорит, чересчур доступная. Смотри, как бы тебе эта доброта боком не вышла. Чего боится, ума не приложу. Не понимаем мы теперь друг дружку. Все что ни скажем — невпопад. Да ведь не зря старая поговорка до сих пор среди молодых да новых живет: нелюбимая жена все невпопад говорит... Много отхватил Иван наград и премий. И чем больше получает, тем больше хочет. Первое, только первое место ему подавай! До того, бессовестный, дошел, что у Сашки Людникова законную его премию перехватил. И еще смеялся: «Ничего, Сашка молодой, свое еще получит. А я должен уйти на пенсию не абы как, а с барабанным боем». Срамник да и только... Здорово пропесочил его на юбилее Сашка Людников! Почаще бы вот так лоск снимать, он бы опять человеком стал. Мое домашнее ругательство мало помогает. И надоело, по правде сказать, нянчиться. Не маленький. В умных президиумах красуется. Не надо его туда приглашать. Хватит! Насиделся за красным столом. Пусть другие, совестливые, посидят. Вы бы похлопотали, товарищ секретарь. Удружите бабе Марине. Да и ему, Ивану, хорошо будет. Может, он и помягчает, поласковой наша жизнь станет... Похлопочете? Спасибо! Не зря, значит, открылась как на духу. Ну что еще рассказать? Вроде больше нечего. Наговорилась! Даже язык опух и заплетаться стал. Смочить его надо. Может, и вы бражки выпьете? Холодная, из погреба. Ну, как желаете... До свидания. Заходите. Наберусь сил, так еще чем-нибудь поделюсь. В такой же вот день приходите, когда ни Ивана, ни Клавдии дома нет. Неразговорчивая я при них. Придете? Лады! Буду ждать. Идите, не бойтесь! Я собаку в сарай заперла и кость ей бросила..

«Дело Людникова» созрело до такой степени, что пора встретиться с Колесовым — поделиться результатами проделанной мною работы.

Пришел я к нему в наилучшее его время — вечером. Добрых три часа рассказывал обо всем, что мне стало известно. Колесов внимательно, не спуская с меня глаз, слушал и озабоченно поглаживал голову. Когда я закончил, сказал:

— Материалы, которыми располагает горком, не расходятся с вашими. Вопрос ясен. Будем обсуждать его на бюро горкома.

— Интересно, какую позицию займет Булатов? — спросил я.

— Булатов?.. Хм... Трудно предсказать поведение Андрея Андреевича. Мужик он своенравный. Так что не решусь сказать ничего определенного о том, как он поведет себя на бюро.

— Мне кажется, он ненастолько своеволен, чтобы защищать Шорникова.

— Не буду удивлен, если горой встанет за Шорникова. Не удивлюсь, если и махнет на него рукой.

— Но они же друзья!

— Были. С тех пор как Булатов занял верхнюю ступеньку на служебной лестнице, у него нет друзей. Дружба отнимает много времени. Для одного лишь друга он почему-то делает исключение — для Егора Ивановича.

Я вспомнил встречу с Олей на кладбище и спросил:

— Ну а как его личная жизнь?

— Нет ее, личной жизни! Домой приезжает в полночь, а то и под утро. И по воскресеньям шастает по комбинату, подгоняет людей: «План, дорогой товарищ, давай план, не подводи себя, нас, государство»... Ольга Васильевна как-то жаловалась мне: «Для жены у Андрея тоже один приемный день в месяц. И то не в каждый».

У меня на языке вертелся вопрос о царице Тамаре. Хотел спросить, как же Булатов ухитряется выкраивать для нее время. Сдержался. Не позволил себе мелочиться.

— В последнее время Булатов полюбил одиночество. Присутствует на собрании или заседании, вроде нормально смотрит, слушает, улыбается, подает реплики, а все равно чувствуется, что витает он где-то. Никто ему не нужен. Один-одинешенек. Разъединственный. На голову выше всех прочих.

Говорил Колесов о директоре серьезно, бесстрастно. Не судил, не иронизировал. Просто сообщал, каково положение на самом деле. Привычный язык человека, ничего не делающего на скорую руку, медлительного на суд и расправу.

Я был первым секретарем горкома около десяти лет, а он секретарствует всего три года. Хорошо помню, как он делал свои первые шаги в качестве секретаря первичной организации листопрокатного цеха. Собственно, мне он обязан тем, что стал не инженером-производственным, а партработником. И он этого не может забыть. Но нет никаких моих заслуг в том, что он стал первым секретарем. Когда я выдвигал его на партработу, то не думал, что он так далеко пойдет. Энергия, ум, талант, любовь к партработе, преданность ей проложили ему дорогу в кабинет первого.

На повестке дня один вопрос: о руководстве социалистическим соревнованием в главном мартене. За большим столом сидели члены бюро горкома, приглашенные — Тестов, Пудалов, Шорников, Полу бояров, Влас Кузьмич, Александр Людников.

Колесов предоставил слово Тестову. Докладчик не спеша, с достоинством поднялся. В руках кипа бумаг. В глазах спокойствие. Тщательно выбритая голова сияет. Косovorotka темная. Пиджак новенький. Лицо отпаренное, будто отутюженное — ни морщинки, ни единого волоска, обойденного бритвой. Представительный пятидесятилетний здоровяк, уверенный в том, что живет и работает как надо, не знающий угрызений совести. Удивительно! Люди его склада в подобных ситуациях чувствуют себя обычно крайне неуютно. Почему же Тестов так внушительно солиден? Заручился поддержкой Булатова? Не знает, как настроены Колесов и я?

Почти не заглядывая в приготовленные бумаги, Тестов обстоятельно доложил, сколько в цехе было ударников коммунистического труда в прошлой пятилетке и сколько стало теперь, как за это время выросла производительность труда, кто с кем соревнуется, как и кем учитываются результаты. Сталевару Шорникову уделил особое внимание. Рассказал, как Иван Федорович из квартала в квартал выполнял и перевыполнял план, как завоевал первое место и звание лучший сталевар. О Людникове не очень-то распространялся: сказал о нем вскользь, добродушно-пренебрежительно. Говорил тридцать минут — уложился в регламент. Сел на свое место с чувством исполненного долга.

Булатов хлопнул по столу ладонью, горячо, от души похвалил оратора:

— Толково! Дельно! Ясный ответ на вопрос, почему главный мартен хорошо работает, опережая прочие цеха.

Колесов строго взглянул на директора и сказал, что не может согласиться с его репликой. Он расценил доклад Тестова как попытку негодными средствами выдать черное за белое, скрыть от членов бюро истинное положение вещей.

Булатов, слушая Колесова, пожимал плечами. Тестов побагровел. Пудалов низко опустил прилизанную, с пробором голову. Шорников

теребил роскошные усы. Людников-старший ерзал на стуле, тихонько ударял по столу маленьким кулаком, как бы одобряя все, что говорил секретарь горкома. Людников-младший неотрывно смотрел на Колесова.

— В главном мартене,— говорил Колесов,— плохо руководят социалистическим соревнованием. Партийная организация предоставила Тестову право действовать по своему усмотрению. И вот результат — острейший конфликт между Шорниковым и Людниковым. Но, к счастью, секретарь парторганизации Влас Кузьмич осознал свою ошибку и немало сделал, чтобы ее поправить...— И он подробно изложил историю с его письмом в обком.

Булатов с бесцеремонностью человека, привыкшего высказываться, когда ему хочется, перебил Колесова:

— Странно все это, дорогие товарищи! Цеховую склоку возвели в ранг серьезного конфликта, достойного обсуждения на бюро горкома!

Высказался, пренебрежительно поджал губы и стал что-то рисовать на листе бумаги. Колесов спокойно ответил Булатову:

— Большинство членов бюро, Андрей Андреевич, к вашему сведению, придерживается другой точки зрения. Мы обсуждаем не цеховую склоку, а большой принципиальный вопрос.

Вот здесь я впервые подал свой голос.

— Поддерживаю большинство,— сказал я.

Булатов бросил рисовать, быстро и с удивлением взглянул на меня:

— Вот как!

— Да, так, Андрей Андреевич. Уверен, что и вы через какое-то время, терпеливо выслушав секретаря горкома, присоединитесь к большинству. Факты, как и динамит, дробят самые высокие и упрямые горы. Извините, Василий Владимирович, продолжайте.

Колесов положил на стол портативный магнитофон и прокрутил пленку, на которую были записаны выступления Пудалова, Шорникова, Людникова. Потом прочитал «письмо в редакцию» Андрея Грибанова и рассказал, кем оно было организовано. Не забыл и о «Мартеновке». Развернул огромный, туго свернутый лист ватмана для всеобщего обозрения. Вспомнил и то, что говорили сталевары по поводу травли Людникова. Сослался на статью в многотиражке. Закончил он так:

— Шорникову были предоставлены на рабочем месте большие преимущества, потому он из года в год и ходил в передовиках. Тестов поддерживал Шорникова: за одним ударником легче ухаживать, чем за многими. Какая же это склока, Андрей Андреевич? В том, что это настоящий и глубоко принципиальный конфликт, я убедился, побеседовав с рабочими главного мартена. Конфликт комбинатского масштаба. Я бы даже сказал — государственного! И особенно ясно это стало мне после того, как я нашел поддержку своим мыслям у самых знаменитых зачинателей стахановского движения. Не удивляйтесь! Я сейчас объясню, как они поддержали меня... Два выдающихся человека своего времени, Алексей Стаханов и Валентина Гаганова, шахтер и ткачиха, недавно, в канун Красной недели, поделились своими мыслями с читателями «Комсомольской правды» о социалистическом соревновании как неотъемлемой части советского образа жизни. Много и справедливо было сказано о наших достижениях. Явственно прозвучала и законная тревога. «В соревновании,— писал Алексей Стаханов,— необходимы «культ» высшей рабочей нравственности, незыблемая принципиальность в оценках. Здесь как нигде нетерпимы лакировка, подтасовка фактов. Всякая фальшь утя-

желенным бумерангом возвращается к своим «инициаторам». Сколько и мне встречалось в жизни «маяков на час» — передовиков, не выдержавших испытания временем и славой. Не хочу сказать, что все они с самого начала были дутыми величинами. Фальшь произрастает из другого: человек вкалывал ради длинного рубля, но его чуть ли не силком тащили в герои, делали образцом для всех остальных. Нам не все равно, с кого «делает жизнь» начинающий рабочий, под чью поступь он подлаживает свой неуверенный еще шаг. Опыт передовиков лишь тогда кажется нам привлекательным, когда сами его носители соответствуют необходимым социальным критериям, нашим представлениям о долге и рабочей чести...» — Колесов отложил в сторону один лист и взял другой. — «Вот, скажем, у нас на комбинате, — писала Гаганова, — ежемесячно определяется лучший в данной профессии молодой рабочий. Побеждает сегодня вроде бы один, завтра другие, а посмотришь, в победителях одни и те же лица. Нет, я не сомневаюсь, что они поистине победители, и не сомневаюсь, что им надо воздавать должное. Но не случится ли однажды, что узкий круг победителей станет соревноваться внутри себя, а остальные, кто вне круга, потеряют интерес к лаврам лидеров? Не махнут ли рукой эти остальные и на само соревнование, в котором им заранее уготована роль побежденных? А почему, кстати, лидер должен быть один?»... Товарищи члены бюро, я не утомил вас цитатами?

Со всех сторон раздался голоса:

— Все это очень интересно... К месту. Ко времени... Продолжайте, Василий Владимирович!

Колесов говорил более часа. Внушительная смелость Тестова улетучилась. Пудалов сник и не пытался этого скрыть. Булатов же, когда Колесов закончил, посмотрел на него добрыми глазами, дружески улыбнулся и развел руками:

— Вы переубедили меня, дорогой товарищ! Ввели директора в заблуждение красивые разглагольствования некоторых деятелей. — Он кивнул в сторону Тестова. — Есть и еще причина, почему на первых порах я поддерживал Тестова. Ни для кого не секрет, что мы с Иваном Федоровичем Шорниковым закладывали фундамент комбината. Ну вот мне и хотелось достойно проводить заслуженного человека на покой. Бюро горкома меня поддержало. Но товарищи из главного мартена по-своему истолковали наше доброе отношение к Ивану Федоровичу. Переусердствовали!

— Какие ваши предложения? — спросил Колесов.

Булатов закрыл один глаз, другим зыркнул на Колесова и сказал:

— Премудрый Соломон, будь на моем месте, предложил бы такую формулировку: пусть оба станут победителями — Шорников и Людников!

— Два первых места? Два лучших сталевара? — спросил Колесов.

— А почему бы и нет? Один лидер — хорошо. Два лидера — совсем хорошо!

Находчивость Булатова сняла напряженность, царившую в зале с первых минут начала работы бюро. Все улыбались. Даже Тестов и Пудалов повеселели. Предложение Булатова давало им возможность выйти сухими из воды. Тестов, выступая с покаянной речью, с воодушевлением говорил:

— Верно, переусердствовали мы, выполняя постановление бюро горкома насчет того, чтобы достойно проводить Ивана Федоровича на заслуженный покой! Постараемся впредь не спотыкаться на ровном месте. Вовремя нас поправили, натолкнули, как говорится, на путь истинный. Теперь мы старую икону не будем мазать елеем...



Яростно выпячивал Шорникова. Яростно отрещивается от него. Пришлось Колесову еще раз выступить:

— Я категорически против предложения товарища Булатова.

— Почему? — воскликнул директор.

— Сейчас мы и это выясним. — Колесов перевел взгляд на Шорникова. — Иван Федорович, в начале года ваша бригада выдвинула встречный план.

— Правильно. Выдвинула. Но...

— Собственное обязательство не выполнено? Это вы хотите сказать? Не сдержали рабочее слово, данное стране, своим товарищам?

Шорников молчал.

— А вы, товарищ Людников, выполнили встречный план?

— И перевыполнили.

— Значит, сдержали слово?

— Старались.

Колесов повернулся к Булатову:

— Теперь ясно вам, Андрей Андреевич, отношение большинства членов бюро к вашему соломонову решению? Нельзя венчать венком победителя побежденного. Мы за то, чтобы коллектив, перед которым тот или иной сталевар, горновой или вальцовщик обязался выполнить и перевыполнить план, постоянно и строго следил, как держится данное им слово. Мы за то, чтобы все щели были закрыты для желающих пробиться в передовики с помощью громкой фразы и былых заслуг!

Я попросил у секретаря горкома слово. Обвел взглядом членов бюро и сказал:

— Безоговорочно поддерживаю товарища Колесова. И считаю своим долгом кое-что добавить к тому, что так хорошо изложил в своем выступлении Василий Владимирович. Мы, товарищи, действительно обсуждаем не цеховую склоку, а принципиальную коренную проблему, которая красной нитью проходит через все решения последнего партийного съезда. Вспомните, что и как сказано в Отчетном докладе ЦК о нашей Конституции, о наших законах, о правах и достоинстве советского человека. Цитирую по памяти: «Уважение к праву, к закону должно быть личным убеждением каждого человека. — Я посмотрел на Тестова, Пудалова, Булатова и продолжал: — Это тем более относится к деятельности должностных лиц. Любые отступления от закона или обход его, чем бы они ни мотивировались, терпимы быть не могут». Вот как определенно, товарищи, сказано с трибуны съезда. И далее: «Не могут быть терпимы и нарушения прав личности, ущемления достоинства граждан. Для нас, коммунистов, сторонников самых гуманных идеалов, это дело принципа».

Булатов усердно закивал, соглашаясь со мной:

— Верно, прекрасные слова! Я слышал их своими ушами. Весь зал Дворца съездов стоя аплодировал докладчику!..

Да, слышал. Да, аплодировал. Булатов был делегатом XXIV съезда партии. Слышал, да на ус, как говорится, не наматал.

— Сейчас, товарищи, как мне кажется, очень полезно посмотреть на то, что произошло в главном мартене, и с самой высокой, исторической вышки... Россия, совершив в семнадцатом году социалистическую революцию, стала самой передовой в мире в политическом отношении страной. С тех пор мы, советские люди, росли не по годам, не по дням, а буквально по часам. Мы неустанно и упорно поднимали не только экономику, но и боролись за истинно прекрасную жизнь на земле. Для всех людей. Для каждого человека, живу-

щего интересами народа. Немало на великом пути было промахов, недостатков. И все же теперь, в девятой пятилетке, наш образ жизни, обусловленный социалистическими законами, социалистической экономикой, стал самым гуманным за всю историю человечества. И поэтому в силу нашей высочайшей политической и человеческой нравственности мы беспощадно боремся с теми, кто идет не в ногу с народом и так или иначе, по своему недомыслию или благодаря неизжитым пережиткам, мешает нам жить. Ни рабочая спецовка, ни большой производственный стаж, ни даже партийный билет не делают нас идеальными во всех отношениях. Вы, Тестов, вы, Пудалов, и вы, дорогой Иван Федорович, вольно или невольно, однако беспощадно попирали священные права Людникова. Права, завоеванные им в социалистическом соревновании. Да, товарищи, священные! Ибо социалистическое соревнование было, есть и будет высшей школой политического, экономического, трудового и нравственного воспитания. Мой дед Никанор Голота еще в прошлом веке был шахтером на донецкой шахте. Так вот однажды забойщик Голота, наделенный былинной силой и удачью, обремененный большой семьей, угнетенный нищетой согнанного с земли мужика, дерзнул за двенадцатичасовую упряжку вырубить обушком и выдать на-гора втрое больше угля, чем выдавали другие забойщики. Хозяин шахты, известное дело, был рад, не поспешил на магарыч. А товарищи Никанора люто возненавидели его — для них он стал предателем рабочего братства, хозяйским прислужником. Устроили трудяги Никанору темную.. Вернемся, товарищи, в наши дни. У нас созданы все условия для того, чтобы каждый человек, даже далеко не богатырь, мог проявить себя в труде. Молодой сталевар Александр Людников стал победителем потому, что полностью развернулся как талантливый, сознательный, технически подготовленный рабочий человек. Он мобилизовал все свои силы, завоевал законное право быть на комбинате самым передовым, самым уважаемым сталеваром, достойным премии и награды! Вы же, Тестов и Пудалов..

— Ваша правда! Все понял! — отчаянно выкрикнул Тестов.

Пудалов, ни на кого не глядя, сказал тихо:

— Повинную голову, товарищ секретарь обкома, с плеч не секут...

Не отмолчался и старик Шорников. Поднялся, разгладил рукой пышные усы.

— Я, товарищи, отказываюсь от первого места. Не мое оно, Сашкино. Догнал он меня и перегнал. Честь ему и слава. От чистого сердца говорю все это.

И тут произошло непредвиденное. Людников вскочил, с грохотом отодвинув тяжелое кресло, подбежал к Ивану Федоровичу, крепко обнял его. Старик расплакался.

Минутой позже Колесов спросил:

— Какие будут предложения, товарищи?

Второй секретарь горкома сказал:

— Есть предложение обязать треугольник главного мартена пересмотреть свое решение по итогам социалистического соревнования в пользу товарища Людникова.

Других предложений не было. Проголосовали единогласно. Булатов, поднимая руку, смотрел на меня и улыбался.

Иван Федорович Шорников на другой же день подал заявление об уходе на пенсию. Место его занял Николай Дитятин, первый подручный Саши Людникова.

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Небо голубое. Воздух чист. Вода прозрачна. Мир прекрасен: полон милых людей, любимых друзей, товарищей, единомышленников. Веселый, работающий, справедливый мир. Перекликается со мною тысячами добрых голосов. Просится в душу тонким, еле заметным запахом горной фиалки, музыкой «Лебединого озера», рассветами, закатами, шелестом листвы тополиной рощи. Он мне бесконечно дорог, этот единственный на свете мой мир. Я привык в нем жить — думать, работать, любить, привык запросто пользоваться его чудесами. И так, кажется мне теперь, будет до бесконечности. Сейчас я не верю ни в страшные болезни, ни в смерть.

Бросаю машину на Комсомольской площади на центральной стоянке. Иду по улице. Захожу в парикмахерскую, сажусь в кресло и смотрю на свое отражение. Лена ни за что не узнала бы меня. Двадцать ей, а мне шестьдесят с гаком. Если бы, взявшись за руки, прошлись по Ленинскому проспекту, на нас бы все прохожие обалдело смотрели. Ее бы пожалели, а меня высмеяли...

Видишь, Елена, как плохи мои дела. И любить тебя вслух, на людях, уже не имею никакого нравственного права. Ну и ладно. Мне хватит и молчаливой, не видимой никому любви. Я не раз рассказывал своей жене, матери моих сыновей, моему другу, как любил Лену. И она понимала меня. Ничуть не ревновала. А ты, Лена, не ревнуешь к той, кто уже сорок лет занимает твое место? Нет? Тоже все понимаешь? Молодчина! Ты всегда была умницей: дальше всех, глубже всех своих подружек видела и чувствовала. В будущем жила. В нравственном отношении опередила даже нас, кто живет теперь, в эпоху расщепленного атома и полетов в космос.

Девушка в белом халатике, с холодными пальцами стрижет мои седые волосы. Я смотрю, как она ловко омолаживает, охорашивает меня, и улыбаюсь. Расчудесно быть победителем. Хорошо купаться в лучах восторжествовавшей правды.

Встал. Поблагодарил. Расплатился. Пошел дальше.

Минут через пять подъеду к комбинатской проходной, предъявлю вахтеру пропуск, помчусь в главный мартен. А пока что стою у газетной витрины и пробегаю глазами сегодняшний номер многотиражки, в которой напечатан пространный отчет о заседании бюро горкома партии.

— Здравствуйте, товарищ Голота!

Оборачиваюсь и вижу корреспондента «Комсомолки» Петра Шальникова.

— Ты?! Откуда взялся?

— С неба. Только что с аэродрома. Еще в гостиницу не заезжал. — Он протягивает мне газету, и я вижу в ней броский заголовок трехколонной статьи: «О тех, кто не пускает вперед сталевара-комсомольца Александра Людникова». — Вам первому показываю — мой вклад в победу Саши!

Петя летел к нам из Москвы со скоростью чуть ли не тысячи километров в час и все-таки не успел со своим вкладом к празднику справедливости, то есть к бюро горкома партии. Я высказываю это вслух. Петя смеется.

— Никогда не поздно признать правду правдой!

Да, верно, не поздно. Никогда! Даже в последнюю минуту жизни.

— Надолго к нам, Петя?

— На один день. Вернее, на полдня. Улетаю обратным рейсом.

— Что же ты успеешь сделать за такое короткое время?

— А я ничего не буду делать. Прилетел просто так. Порадоваться вместе со всеми победе Сашы Людникова.

— Ты хочешь сказать: победе всех настоящих передовиков...

— Согласен с вашей редакторской поправкой. Вы не знаете, где сейчас Сашка? На работе или дома?

— Сталь варит. Собираюсь его проведать.

— Так, может, вместе проведем, а?

Мы сели в «Жигули». Поехали в главный мартен. Оставили машину в тени гигантской дымоходной трубы, поднялись по железной лестнице. Петя бросился на первую печь, обнимался с Сашей Людниковым, Славой Прохоровым, Степаном Железняком, размахивал «Комсомолкой». Подхожу к ребятам. Они, щедрые, и меня приветствуют.

— Как дела, Саша? — спрашиваю я.

— Прекрасно. Лучше не бывает.

— Когда сталь выдашь?

— К концу смены, если все будет в порядке.

— Я хочу посмотреть на твою победную плавку. Можно?

— Пожалуйста! Только долго ждать. Два часа.

— Всего два часа? По сравнению с вечностью — ничто.

...У каждого из нас есть сокровенная молитва. Моя мать, провозжая отца на работу, крестила его и говорила:

— Господи боже мой, сохрани и помилуй нашего кормильца от доменного огня!

Мой дед в лучшую, богатырскую пору своей жизни, перепоясывая себя, одетого в шахтерское рванье, широким ремнем из бычьей кожи-сырца, ухмылялся в рыжую бороду:

— Ну, бог Саваоф, добром прошу тебя: благослови Никанора Голоту счастливо вкалывать уголек от зари до зари. И сердце господина штейгера ублажи, шоб вин не скостил ни за шо ни про шо мою добычу. И шоб кровля над башкой була як железяка. И шоб я не застудив на сквозняковой струе поясницу. И шоб братья-забойщики не завидовали моей силе!..

Помолится, посмеется и спешит с обушком за поясом, в чунях в шахту. В темноте уходил. В темноте приходил.

Бабушка, как только он уходил, опускалась перед божницей на колени и слезным голосом умоляла:

— Господи, прости богохульника! Сам не знае, шо меле...

В худшую свою пору, когда уже все силы отдал хозяину, большой, тронутый умом, дед молился так:

— Эй ты, дармоед всесвятный! Спускайся на землю, выпей со мной. Брезгуешь? Ну и дурак! Знаешь, кто я? Че-ло-век! А ты кто? Никто. Бред сивой кобылы. Мыльный пузырь!..

Моя сестра Варька и я в детстве часто бывали голодными. Глядя на закопченные иконы и неумело крестясь, шептали:

— Добрый боженка, пошли нам краюху хлеба. И еще, если не жалко, чего-нибудь: цыбулю, холодец, требуху, шматок салца.

Потеряв деда, бабуку, отца, мать, брата и сестру, став беспризорником, приспособляясь к обстоятельствам, я так молился в начале дня:

— Господи, спаси и помилуй раба твоего Саньку Голоту! Сделай так, чтобы милицейская облава не накрыла меня, не закинула в кутузку, чтоб самосудчики-мужики не отбили сапогами нутро, чтоб я вдоволь наелся, чтоб дожил до вечера, а потом и дальше...

В коммуне для бывших беспризорников ее руководитель, которого мы все звали Антонычем, научил меня и таких, как я, молиться

по-иному. Во время завтрака, подняв кружку с молоком или чаем, обращаясь к пацанам, сидящим за длинными столами, он говорил:

— Помолимся, коммунары.

Ему хором, в триста глоток отвечали:

— Помолимся!

— «Действуй, пока еще день, — начинал Антоныч, — придет ночь, и никто уже не сможет работать. Всякий истинный труд священен. Он пот лица твоего, пот мозга и сердца; сюда относятся и вычисления Кеплера, размышления Ньютона, все науки, все прозвучавшие когда-либо героические песни, всякий героический подвиг, всякое проявление мученичества вплоть до той «агонии кровавого пота», которую все люди прозвали божественной...»

После этих слов Антоныч обычно умолкал. Продолжал «молитву» кто-нибудь из коммунаров. Самый памятный. Голосистый. Среди таких бывал и я. Говорил стоя, вскинув голову:

— «Если это не культ, то к черту всякий культ. Кто ты, жалующийся на свою жизнь, полную горького труда? Не жалуйся, пусть небо и строго к тебе, но ты не можешь назвать его неблагоприятным, оно как благодарная мать, как та спартанская мать, которая, подавая своему сыну щит, сказала: со щитом или на щите! Не жалуйся, спартанцы тоже не жаловались...»

Когда я был мальчишкой, я думал, что эту «молитву» сочинил мой воспитатель Антоныч. Много лет спустя я узнал, что он просто читал отрывок из сочинения Томаса Карлейля «Прошлое и настоящее». Энгельс в знаменитой своей работе «Положение в Англии» цитирует любимого им Карлейля целыми страницами. Книга Карлейля, писал Энгельс, говоря о современной ему Англии, «является единственной, которая затрагивает человеческие струны, изображает человеческие отношения и носит на себе отпечаток человеческого образа мыслей»...

Интересно, кому и как молится мой законный наследник Саша Людников?

Мартеновский агрегат. Печь. Влас Кузьмич называет ее печкой. Ничего себе печка! Небоскреб из крепчайших стальных конструкций. Нутро выложено дорогим огнеупорным кирпичом. К ней, к печке, протянуты железнодорожные рельсы, трубы с газом, нефтью, кислородом. Над ней мостовой кран. Рядом справа туда-сюда носится заправочная машина. Обслуживают печку сотни мощных электромоторов, десятки работяг — инженеров, техников, мастеров, лаборантов, диспетчеров, каменщиков, футеровщиков, подсобников. Эта махина днем и ночью бушует полуторатысячеградусным огнем...

Саша оделся, взял рукавицы. Любил он свои рабочие доспехи. Роба сталевара не духами опрыскана, а благоухает. Не верите? Значит, никогда не надевали спецовку металлурга, шахтера, слесаря, токаря. Пахнет она потом молодого здорового работяги. Одевшись, зашагал в ногу с братвой по лестнице бытового корпуса, по гулкому переходу галереи. Ребята гогочут, слушая, как Степан Железняк рассказывает про какую-то Люсю, с которой вчера танцевал в правобережном Дворце культуры. Саша тоже смеялся. Но мысли его были не тут, а там, около печки. Дадут ли сколько требуется железного лома? Доставят ли вовремя жидкий чугун? Не закипят ли кислородное дутье? Не обделят ли шлаковыми и чугунными ковшами? Не поджег ли сменщик свод? Не повредил ли, сам о том не ведая, подину так, что плавка уйдет в прорву? Всякое бывает. Смотри в оба

да смотри. Проверяй да проверяй. Товарища и себя. Сам с собой соревнуйся. То есть работай на совесть.

Ну, пришел к ней, милой. Стоял на рабочей площадке с рукавицами в руках. Свежий, только что обласканный солнцем, горным ветром, золотым сиянием горы. Смотрел на пятиглазую, гудящую так, что не перекричишь, не перезвонишь, и спрашивал: «Ну как?»

Белый-пребелый огонь вырывается из-под пяти огнеупорных плит. Огонь, похожий на парус. Огонь — хвост кометы. Огонь — знамя победы. Огонь — утренняя заря. Огонь — северное сияние. Огонь-молния. Вода толстыми струями омывает завалочные окна — предохраняет печь от прогара, помогает бороться с немилосердной жарой.

Саша сдвинул со лба на глаза синие, в металлической оправе спецочки, заглянул в самую душу печки. «Плохо себя чувствуешь, да? Понимаю. Здорово поработала. За кампанию, от ремонта до ремонта, надо было четыреста плавок дать, а ты не поскупилась на восемьсот. Выстояла! Молодчина, милая! Удружила. Не была бы такой выносливой, покладистой и доброй, не отхватили бы мы первое место, не стали бы лучшими сталеварами главного мартена. Честь тебе и слава за прошлое. Ну, а как насчет будущего? Может, еще малость поработаешь, а? До круглой цифры — до тысячи. Тогда все комбинатские и министерские рекорды побьем, опять прославимся. Выстоишь, а?» Молчит печка, как золотая рыбка. Страшно стало Саше оказаться у разбитого корыта. «Виноват, милая! Забудь мою низкую просьбу. Не было ее. В самое ближайшее время освободим от огня, уничтожим твою старую душу и вставим новую. Иначе нельзя. Можем осрамиться. Победа, говорят мудрецы, иногда одерживает верх над победителем».

На этом и оборвался немой разговор Саши с печью. Помешал сталевар соседнего, второго агрегата. Новичок. Бывший подручный. Колька Дитятин. Ну и наследство ему досталось! Не знали предки Кольки, какому богатырю нежную фамилию придется носить. Кто первый раз слышит, как он называет себя, еле скрывает усмешку. Подошел Дитятин к Саше и говорит:

— Начнем?

— Нет, Коля, не начнем.

— А что именно не начнем?

— То самое, про что говоришь.

— Неужели догадался?.. Скажи! Ну?

— Не могу я сейчас соревноваться с тобой.

— Почему?

— У тебя бóльшая привилегия, — сказал Саша.

— Какая привилегия? — удивился Дитятин.

— Твоя печка свежая, после капитального ремонта, а моя... недельки через три-четыре погасим ее.

— Зачем? Она же крепкая. Ни одного прогара. Восемьсот плавок выдержала. И еще двести проработает. Головой ручаюсь.

— Не выдержит, Коля... Не можем мы с тобой соревноваться в течение года. Всего недельки три имеем право соперничать.

— Согласен и на три недели. Значит, по рукам? Начали?

— Начали!

— Держись! Пощады не жди.

— И ты не жди. Соперничать так соперничать.

— Разобьюсь в лепешку, а обгону своего учителя!

— И не жаль тебе его будет?

Ребята вокруг хохочут — Сашины подручные и Колины. Оттопыривают большие пальцы. Посмотрим, чья возьмет..

Да здравствует седоголовый Голота в облике кудрявого Саши Людникова! Да здравствует будущее Саши Людникова в облике сегодняшнего Голоты. Человек переходит в человека—и этим он бессмертен. В этом тайна жизни. Власть времени не только в настоящем. И в прошлом и в будущем.

— Ну, братцы, мне пора на аэродром, — говорит Петя Шальников.

Я предложил ему свои «Жигули».

— Доставлю тебя к самому трапу. Поехали!

— Как же плавка?

— Успею вернуться...

Мне хочется вволю насмотреться на Петю, наговориться с ним. Люблю хороших людей.

Рвемся ехать, а топчемся на одном месте. Стоим рядом с Сашей, смотрим на огонь, бушующий в печи. Молочно-голубоватый факел гудящего пламени, смесь воздуха с газом и мазутом, с огромной силой хлещет из боковой горелки, омывает огнеупорные стены и свод печи, лижет кипящую сталь. Добро дело — красота!

— Ну что, поехали? — говорит Петя. — Перед смертью, как говорится, не надыхишься. Бывайте, ребята! Заходите в «Комсомолку», когда будете в Москве.

Всю дорогу до самого аэропорта он рта не закрыл. И меня втянул в разговор. Дошли и до героя дня — Людникова.

— Вы, кажется, подружились с Сашкой? — спросил Петя.

— Вроде бы. Во всяком случае, считаю себя его другом.

— Он не рассказывал вам, почему поссорился с Вале́й?

— Не ссорились они... Насильно мил не будешь, Петя.

— Кто кому не мил?

— Он ее полюбил, а она нет. Вот и разбежались.

— А мне показалось, что Сашка ей понравился.

Петя тяжело, по-стариковски вздохнул. Лицо его стало печальным, задумчивым.

— Давно ее любишь?

— Сто лет... С первого курса. И сразу понял, что безнадежно...

А вам она нравится?

— Ну, знаешь.. Я теперь и к самым хорошим девочкам не приглядываюсь. Видел ее мельком.

— Напрасно вы считаете себя стариком!.. Будь я девушкой, я бы влюбился в вас. Вы здорово похожи на Жана Габена.

— Жаль, что ты не девушка, — засмеялся я. — Будь я таким, как Жан Габен, Валя заметила бы меня, когда мы летели вместе. Мы сидели почти что рядом, а она не обратила на меня никакого внимания...

Три года несчастен Петя в любви, а живет как счастливый человек: всегда веселый, энергичный, доброжелательный. Это ли не мужество?

Приехали на аэродром. Оставляю машину на стоянке, иду провожать Петю.

Улетел. Все меньше и меньше становится большая серебристая птица. Вот и совсем скрылась...

Проходя мимо газетного киоска, купил центральных газет. Сажу в машине за рулем, просматриваю их. Металлургические заводы Урала и Юга выплавляют сверхплановую сталь. Предприятия Ленинграда снова блеснули трудовыми достижениями. Автозавод на Волге в Тольятти выпустил полуторамиллионную машину. Страна и народ трудятся, живут, летят в будущее.

Глаза мои закрываются, голова опускается на руль. Тело приобретает невесомость. Куда-то легко и стремительно лечу. Далеко внизу — города, реки, леса, моря, степи, горы. Рядом, рукой подать — ноготок луны, звезды. Лечу и понимаю, что это сон... Сплю и слышу, как гудят на аэродроме самолеты, как объявляют по радио, что начинается посадка на очередной рейс. Сон человека, выбившегося из сил...

Отрываю голову от руля, протираю глаза, оглядываюсь по сторонам. Много людей вокруг. Но мое внимание почему-то привлекла к себе тоненькая девушка в белом платье с короткими рукавами. Она стояла под навесом аэровокзала между колоннами и поглядывала в мою сторону. Вот она спустилась по ступенькам на асфальт, направилась к стоянке такси. Пристроилась в хвост громадной очереди. Не скоро уедет. Ни одного такси нет. Похожа на Валу Тополеву! Она? Или только похожа? Выходит из очереди и решительно идет... Что такое? Неужели выбрала мои «Жигули»? Подошла. Подоздоровалась, застенчиво улыбнулась и спросила:

— Вы не подвезете в город?

— Садитесь.

Я открыл заднюю левую дверцу, но девушка села рядом со мной.

— Отсюда лучше видно, — сказала она.

Я включил мотор, и мы поехали. По обе стороны отличной, залитой солнцем дороги тянулись уже высокие, сплошь укрывающие землю разливы хлебов. Ни облачка. Безветрие. Тишина. Свежайший воздух.

Приблизилась окраина города — наши знаменитые сады, прикрывающие индустриальную крепость с запада. Бесконечные аллеи яблонь, груш, вишен, слив. Не продуваемый даже сильным ветром зеленый массив. Легкие рабочей столицы. Шестьсот гектаров комбинатского сада. И около двух тысяч индивидуальных.

— Улица Гагарина. Вам куда?

— В город.

— А куда именно? Наш город громадный — старый и новый. Правобережный и левобережный, четырнадцать поселков-спутников...

— Да, я знаю, — сказала она.

— Знаете? А я почему-то подумал, что вы нездешняя.

— Так и есть. Впрочем... — она взглянула на меня и покраснела, — здешняя и нездешняя...

Краснеет она, как и разговаривает, тоже своеобразно. На ее щеках поверх обычного румянца проступает более жаркий и постепенно заливаает лицо.

— «Здешняя и нездешняя»... Неясно... Живете вы все-таки или не живете в нашем городе?

— Я родилась здесь. Меня увезли отсюда, когда мне был год...

— Валя! Теперь я уверен в этом.

— Я вас, оказывается, знаю. Вы Тополева Валентина. Инженер-строитель. Работаете на правом берегу.

— Откуда вы знаете?

— Я видел вас, когда вы летели сюда. Сидел сзади. И слышал ваш разговор с Сашей Людниковым.

Горячая кровь опять хлынула к ее нежным щекам. Она отвернулась. Замолчала. Ладно, подойдем к деликатной проблеме с другой стороны. Я сказал:

— Жаль, что вы разминулись с Петей Шальниковым.

Она резко повернулась ко мне:

— Петей?.. И его вы знаете?.. Я приехала на аэродром — хотела



проводить его, да вот опоздала. Мы с ним давние друзья. Был он у меня в гостинице...

— Рассказал, зачем прилетал?

— Да. Выручать из беды Сашу Людникова. Но беда уже была ликвидирована.. — Помолчав, тихо сказала: — Если увидите Сашу, передайте ему... — И еще тише: — ...что я жалею... очень жалею, что не поддержала его в трудные для него дни.. Это ужасно! Ненстоящий я человек — ни любить людей, ни сочувствовать им не умею...

Я понял ее признание по-своему и в открытую спросил:

— Вы не поверили в его любовь?

— Себе я не поверила! — Взглянула на меня большими серыми глазами, полными слез.— Вот об этом, пожалуйста, ему ничего не рассказывайте.

— Не буду. Он сам все поймет, как только увидит вас.

Высавив Валю у гостиницы, я по автомату позвонил в главный мартен на первую печь, попросил к телефону сталевара Людникова. Ждать пришлось недолго.

— Слушаю вас, — отозвался Саша.

Я назвал себя и спросил:

— Как дела с плавкой?

— Нормально. Только что выдали. А почему вы не приехали?

— Задержался в аэропорту... Случайно встретил Валю. Привет тебе передала.

— Этого не может быть! Не передавала она привета. Она.. она не такой человек, чтобы за неделю сменить гнев на милость.

— Должно быть, сменила. Позвони ей, узнай... Она сейчас дома, в гостинице.

После работы, не заезжая домой, еще с мокрым чубом, Саша Людников помчался в гостиницу «Центральная». Интересно! Ну и как ты вел себя? Давай рассказывай, дорогой мой друг!..

«Раньше я бегом без передышки одолевал все восемь маршей лестницы. Сейчас не одолел и трех. По-стариковски стою на площадке. Сильно стучит сердце. Душа труса празднует... А вдруг все, что говорил товарищ Голота, неправда? Вдруг она опять укажет на дверь? Ну и пусть! По крайней мере буду знать—не на что надеяться.

— Укатали сивку крутые горки? Добегайся до этого самого... до фарта лысого? Такой молодой!..

Сверху с ведром и шваброй в руках, в синем халатике спускалась женщина. С жалостью взглянула на меня.

Какой там инфаркт? Просто отдыхаю...

Взбежал на самый верхний этаж. Свернул направо, в полутемный длинный коридор. Замелькали таблички на дверях: 58, 59, 60, 61... Вот и 77-й. Сердце мое так колотится, что его слышно, наверно, всем жильцам четвертого этажа. Да, так оно и есть. Открылась дверь семьдесят седьмого номера, хотя не стучал в нее. На пороге—Валя. На щеках вспыхнул и не хочет гаснуть, наоборот, разгорается все больше и больше румянец. Нет ни смущения, ни гнева. Неужели?... Выходит, точную правду сказал мне дорогой мой товарищ Голота!

— Здравствуйте, Саша... Я услышала шаги в коридоре и сразу подумала, что это вы... Заходите. Рада вас видеть...

Перешагнул порог ее номера. Надо было протянуть руку, поздороваться как следует, что-то сказать. А я, чучело огородное, потерянно стою посреди комнатухи, оглядываюсь по сторонам и молчу. Платья, кофточка, брючки висят на спинке кровати, брошены на ди-

ван. Пудреница, большая расческа, флакон с духами, крошечные ножницы выложены на тумбочку перед зеркалом. Несколько пар летних туфелек выстроилось у шкафа.

Молчу две, три минуты и не стыжусь молчать. Хорошо мне молчать. И ей, чувствую, не в тягость мое молчание. Даже лучше, догадываюсь, что ничего не говорю. Потом все-таки спрашиваю, сам не слыша своего голоса:

— Валя... вы, наверно, еще не успели пообедать?

— Нет,— отвечает.— А вы?

— Я тоже... Давайте вместе пообедаем. Моя мама мастерица готовить украинские борщи!

— А она... и на мою долю сварила борщ?

— Моя доля — ваша доля. Поехали!..

Вышли из номера. Быстро, чуть ли не бегом пошли по коридору. Сели в машину, поехали. Выехав на Кировскую, я свернул не направо, а налево. Самая короткая дорога к моему дому лежит через центральный переход. Я же выбрал длинную — через северный. Мне хочется подольше побыть наедине с Валею.

— Куда же вы, Саша?

— Домой.

— А разве и так можно?

— Можно и вокруг земного шара объехать и попасть на улицу

Горького, семь...

Проехали мимо автобазы, мимо Октябрьского райкома партии, мимо второй проходной, именуемой еще и доменной, мимо конного двора, мимо огромного пустыря, лежащего между горой и комбинатом. Я оглянулся назад и посмотрел вправо.

— Вот где-то здесь, в одном из пяти тысяч барачков, и родился Сашка Людников.

Валя посмотрела в ту сторону, куда я указал. Перевела взгляд на меня, улыбнулась:

— Историческое место, Людниковское поле...

— Людниковское поле? Звучит неплохо... А где, в каком месте вы родились?

— В Березках. В ту пору там была только одна большая улица.

— Она и теперь есть. Хотите посмотреть?

— Да.

Промахнули Кировскую и свернули направо. Миновали приземистый универмаг и выехали на крутую, зеленую, недоступную для солнца улицу. Громадные, с роскошными кронами тополя. Слева и справа двухэтажные коттеджи.

— Это она и есть, ваша улица. Где именно вы родились?

— Точно не знаю.

— А вы прислушайтесь к сердцу, оно вам подскажет.

Она тихо засмеялась:

— Молчит мое сердце. Другие у него заботы...

— Какие?

Валя покраснела. И, зная об этом, недовольная собой, ответила:

— Я думаю о том, как встретит Татьяна Власьевна...

Березки остались позади. Спускаемся к железнодорожной товарной станции. Свернули круто влево и поехали вдоль западного конца комбината: мимо листопркатного-три, листопркатного-четыре. И мимо особого царства-государства — калибровочного завода — проехали. И попали на северный переход. Он длинный: мосты, виадуки, вода, насыпи и рельсы, рельсы, рельсы. Отсюда, с перехода, хорошо видно, как идут один за другим поезда. От нас с металлом,

цементом, железными изделиями. К нам с углем, рудой, лесом и прочими грузами.

— Где мы сейчас находимся? — спрашивает Валя.

Будь на моем месте кто-либо другой, он бы сказал: «На северном переходе». Для меня такие простые слова сейчас не подходят. На язык другие, песенные просятся. Я сказал:

— Мы находимся в преддверии нашего будущего.

Не высмеяла говоруна. Лицо серьезное, задумчивое. Понимает, что происходит со мной. Пытает себя: может или не может ответить мне полной взаимностью? Ну и что ты выпытала, милая? Молчит. Не так ей все ясно, как мне. Ничего! Подождем...

Въехали на правобережную сторону, белую, чистенькую, многоэтажную. По улице Строителей спускаемся вниз. Слева промелькнули монументы: каменная палатка в натуральную величину, воздвигнутая на высоком фундаменте, мозолистая, увеличенная в тысячу раз ладонь горняка, в которой лежит глыба настоящей магнитной руды. Пересекли круглую площадь Орджоникидзе и попали куда надо. Моя родная улица. Арка, ведущая в сердцевину многокорпусного квартала. Деревья, большие, развесистые, как в старом лесу. Солнечные поляны. Качели. Волейбольные площадки. Привык я к своему двору. Но Валя первый раз видит наше приволье. Всплеснула руками:

— Ой, как тут у вас хорошо!

— Да? Не лучше других мы. Во всех кварталах правобережья имеются такие зоны отдыха. Всего вдоволь — зелени, воды, свежего воздуха, цветов и тишины...

Мы вошли в седьмой корпус, в седьмой подъезд. Все, кто был во дворе, смотрели на нас. Ладно, пусть смотрят. Со временем перестанут обращать внимание на то, что рядом со мной идет такая красавица. Привыкнут!

Поднялись на второй этаж. Остановились перед дверью с номером семь. Повезло Людниковым: кругом семерки. Я не стал звонить. Достал ключ, тихонько всунул его в щель замка. Но не повернул. Глядя в глаза Вали, держа свободной рукой ее руку, спросил шепотом:

— Да?

Она молчала. Я терпеливо ждал. Готов был ждать минуту, десять, сто, месяц, год...

— Да, — услышал, вернее угадал я тихий ответ Вали.

Я осторожно поцеловал Валу в холодные, еще чужие губы и повернул ключ. Но открыть дверь не успел. Мама часто угадывала, когда я появлялся у родного порога, и раньше меня успевала открыть дверь. Так произошло и теперь. Мама обняла Валу и сказала просто:

— Входи, Валечка. Входи — будь хозяйкой.

— Какая же я хозяйка? — смутилась Валя.

— Хозяйка! — решительно подтвердила мама. — Я ведь отсюда уезжаю. Замуж, представь, выхожу... Входи же, Валечка!

Валя вопросительно блестящими, полными слез глазами взглянула на меня. Я молча кивнул и слегка подтолкнул молодую хозяйку к двери. Она вошла в квартиру номер семь. И не уйдет отсюда до ста лет!..»

Три дня назад прилетела из Москвы высокая комиссия. Во главе с неизвестным мне товарищем Дородных, заместителем министра черной металлургии.

Живем с Дородных под одной крышей, а еще не успели познакомиться. То мне некогда пригласить его к себе, то его не застаю дома. Сегодня, на четвертый день, он сам явился ко мне. На ночь глядя.

В двенадцатом часу. Высоченный здоровяк, человечище килограммов на полтора. Но движется легко. Попахивает коньячком. Поглядывает на меня с высоты роста Петра Великого — сверху вниз. Говорит приятным басом. Выражение лица улыбочиво-веселое. Рукопожатие крепкое. Смотрит прямо в глаза, остро, пытливо, словно гипнотизирует. Называет меня на «ты», будто знает сто лет. Запросто, по-свои-ски похлопывает по плечу.

Мне сразу же, с первой минуты нашего общения, стало ясно, что познакомился с человеком, который до седин, лет до шестидесяти, остался молодым, рубахой-парнем. Посмотрим, не ошибся ли я.

— Знаешь, зачем я сюда прилетел? — Он вопросительно смотрел на меня и ждал моего слова.

— Нет, — сказал я, — не знаю. — И замолчал, так как был уверен, что Дородных сам скажет все, что меня интересует.

— Добывать истину: правильно или неправильно Булатов понизил в должности главного инженера внутрикомбинатского железнодорожного транспорта Батманова Игоря Ростиславовича.

По-видимому, Дородных любил разговаривать вот таким особым манером: спрашиваешь — отвечаю. Ну что ж, поиграю и я в вопросы и ответы. Говорю:

— Ну и как она, истина, добыта?

— В кармане, можно сказать. Комиссия пришла к выводу, что Булатов был прав, понизив Батманова в должности.

— Вот как! Но...

— Не трать зря слов, секретарь. Мы тщательно во всем разобрались. И я наперед знаю все, что хочешь сказать. В таких трагических случаях вошло в традицию валить всю вину на стрелочников, на дежурных по переезду. Нет, дудки, у нас этот номер не пройдет!.. Главный инженер железнодорожного хозяйства комбината в первую очередь отвечает за аварии на железнодорожных путях. Если бы он доверял охрану железнодорожных переездов тщательно проверенным людям, хорошо обученным на специальных курсах, если бы почаще инструктировал их, проверял, был требовательным, то автобус с людьми не попал бы под колеса поезда, идущего от мартена-одина к стрипперному отделению. Правильно был наказан Батманов. Еще хорошо отделался. Под суд можно было отдать его...

— Судили одного дежурного по переезду, который не выполнил своих служебных обязанностей — не включил звуковой и световой сигналы и не пустил шлагбаум.

— И Батманова надо было посадить на скамью подсудимых! Он бы тогда не отнимал время у высших инстанций по разбору своих жалоб-кляуз...

— Батманов не жалобщик, не клязник. Он отстаивал свои права гражданина, обеспеченные ему нашей конституцией.

— Она как ты хватил! Бессовестный он тип, твой подзащитный, а не честный гражданин!

— Вы, товарищ Дородных, выпячиваете только одну сторону дела Батманова...

— Ничего себе «сторона» — пять погибших, трое раненых.

— Прокуратура не привлекла Батманова к ответственности. Не было оснований... Вам известно, каковы были отношения Булатова с Батмановым до катастрофы на переезде?

Дородных отмахнулся толстой тяжелой рукой:

— А зачем мне копаться в их допотопных расправах?

— В горьком я познакомился с документами, — сказал я, — которые неопровержимо доказывают, что между Булатовым и Батмановым...

вым вспыхнул острый конфликт еще осенью прошлого года, что Булатов попросту свел с Батмановым старые счета, понизив его в должности. Вот она, истина! Вы знакомились с этими документами?

— Видел. Читал. Но я не такой доверчивый, как ты. Меня на мякине не проведешь.— Расхохотался, похлопал меня по плечу.— Не обижайся, Голота. Я человек простой, дипломатии не обучен. Более тридцати лет на периферии вкалывал. Недавно в Москву, в аппарат министерства попал.

— И успели за короткое время оценить Булатова?

— Его до меня оценили. Коллегия министерства. Он, так сказать, числится в золотом фонде руководящих кадров.

— К чему это вы сказали?

— Так, между прочим...

— Нет. Пытаетесь воздействовать на меня. Нажимаете.

Он помолчал. Не смеялся. Не улыбался. В глазах острые льдинки. Вот он какой, рубаха-парень...

— Ну что ж,— сказал он уже другим голосом, не панибратским и веселым.— Раз ты такой догадливый, поговорим откровенно. Не лезь, Голота, на рожон! Я знаю, как ты относишься к Булатову. Коллегия не даст его в обиду ни тебе и никому другому.

— Вся коллегия?

— Вся не вся, а за половину ручаюсь.

— Бывают случаи, что и большинство жестоко ошибается... становится меньшинством.

— Вот ты какой, Голота!.. Ну ладно... Выпить у тебя что-нибудь найдется, секретарь?

Исчезли льдинки в глазах. Дружелюбно смотрит на меня.

— Выпить?— спрашиваю я.— Что желаете? Чай? Кофе?

— Да пошел ты со своим чаем!.. Горилку маешь? Або, на худой конец, спотыкач...

Ушел. А я шагаю по бывшему кабинету Головина и сам себя подбадриваю словами Ленина: «Ни слова на веру!.. Ни слова против совести!»

Объективное познание коммуниста, будь то директор комбината, сталевар или горновой,— важнейшая, если не главная, повседневная обязанность и долг парработника. Надо знать все сильные и слабые стороны людей. Одинаково непростительно и вредно недооценить или переоценить того или иного человека.

Много я уже знаю о Булатове, Колесове, Воронкове, молодом Головине, но все еще считаю, что пока не имею права со всей определенностью докладывать членам бюро обкома, какова природа конфликта между ними. Еще и еще нужны факты. Этим я сейчас и занимаюсь.

Есть у меня еще одна забота: не нервировать людей, которые меня интересуют, не мешать им выполнять свои повседневные обязанности.

Время от времени информирую Петровича, советуюсь с ним. До сих пор мы были единомышленны. Надеюсь, и дальше будет так...

Селекторный час. Утренний рапорт проводит Булатов. Никто его не видит. И он никого не видит. Но это не чувствуется. Начальники цехов разговаривают так напряженно, будто сидят перед грозным директором лицом к лицу.

Булатова называют Андреем Андреевичем, а он всех подряд «дорогими товарищами». А иногда совсем просто: «Коксохимическое производство, ваше слово! Докладывайте». Или еще короче:

«Копровый!» Так удобнее, экономнее. И нет риска перепутать Ивана Андреевича с Андреем Ивановичем...

Главный инженер Воронков проводит утренний рапорт в другом стиле. Каждого начальника цеха величает по имени-отчеству. И это нисколько не мешает ему быть требовательным.

На заочном рапорте говорит только тот, кого вызывают. Остальные слушают, ждут своей очереди.

— Замечаний о питьевом режиме, по технике безопасности нет. Столовая и буфеты во всех сменах работали хорошо. План выполнен.

Почти все рапортующие начинали именно этими словами. Прекрасно! На первом месте не металл, как он ни дорог, не кокс, не руда, а человек.

Заместитель начальника первого мартена в ответ на замечание директора о неудовлетворительной работе цеха за прошедшие сутки сказал:

— Будем стараться, Андрей Андреевич.

— А вы не старайтесь, дорогой товарищ, а делайте. Пожалуйста! Почему не ушли в отпуск? Раздумали? Раньше надо было подумать. Ладно, с этим все. Как у вас дела с ковшами?.. Вот оно что! Зачем же вы на рапорт являетесь, если даже этого не знаете? Где Головин? Почему вместо себя незнайку выставил? Как явится, пусть немедленно позвонит. Пожалуйста!..

Другого начальника Булатов долго, внимательно слушал и, не вытерпев, перебил:

— Хватит! Я вас понял. Плохо сработали, дорогой товарищ. На неправильный путь перевели стрелку. Под уклон летите. Все с вами... Горняки!

Начальник горы кратко доложил, как обстоят дела, и умолк, ожидая вопросов.

— Все ясно, — весело сказал Булатов. — Порадовали, не так как некоторые... Доменщики!

Начальнику доменного цеха он сделал единственное замечание:

— Руду получаете с высоким процентом железа. Пятьдесят восемь! Почти все шестьдесят. Почему же чугуна даете тютельница в тютельница? Не зажимайте! Пожалуйста!..

Говоруна-объективщика бесцеремонно оборвал на полуслове:

— Размениваетесь по мелочам, дорогой товарищ. От главных дел улепетываете, как черт от ладана. Никуда от них не уйдете. Учтите. Пожалуйста.

Слово «пожалуйста», выговариваемое так, как пишется, прозвучало на рапорте раз двадцать. Кстати и некстати.

В кабинет главного инженера, где я нашел себе пристанище на время селекторных переговоров, осторожно протиснулся, занимая своим громадным телом весь дверной проем, товарищ Дородных. Заулыбался, увидев меня:

— Здравствуй, секретарь. Рад тебя видеть и не на своем месте! — Он засмеялся, довольный немудреной остротой. — А где хозяин этих апартаментов?

— У директора.

— А ты что здесь делаешь? Не отвечай. Понял! — Он кивнул на аппарат селекторной связи. — Изучаешь почерк обвиняемого?

Пришлось мне подстроиться под стиль Дородных. Играть, так играть до конца.

— У нас в почете презумпция невиновности. Пока суд не вынес решения!..

— Понял! Одобряю. Давай в таком же духе и дальше. Пошел я к Булатову. Не составишь компанию?

— Нет, не хочу мешать работать.

— Ты очень деликатный человек, Голота. Такие, брат, про тебя слухи гуляют по городу. Бывай. Вечером увидимся в гостинице.

Не увиделись. Он срочно вылетел в Москву. Вызвал министр.

Первый и второй мартеновские цехи чуть ли не каждый день не выполняют план. Главный же, технически менее усовершенствованный и менее производительный, работает хорошо. Вот здесь директор комбината каждый рабочий день, кроме пятницы, устраивает оперативное летучее совещание. Присутствуют начальники мартеновских цехов, весь заводской штаб. Я расположился в самом заднем, сильно затемненном ряду.

Булатов в одиночестве сидит за маленьким столиком и угрюмо смотрит на собравшихся в темноватой зале, будто проверяет, все ли нужные люди на месте. Останавливает взгляд на Константине Головине.

— Первый мартен! Сколько вчера обещали выплавить стали? Сколько недодали? Что помешало сработать хорошо? Доклады-вайте!

Головин говорил слабым голосом, путано. Он, по-моему, так избит на бесчисленных оперативках, что на нем живого места не осталось.

Булатов поворачивается к Головину боком, смотрит на него одним глазом и жестким голосом говорит:

— Ясное дело. По-вашему, в прорыве виноваты не вы, а те, кто не обеспечил первый мартен в достаточном количестве скрапом, шлаковыми чашами, чугуновозами, кислородом. А вы, дорогой товарищ, кругом правы. Ну и позиция!

Молодой инженер, человек не робкого десятка, уныло молчит. Коротко подстриженная голова опущена. Руки упираются в спинку стоящего перед ним стула.

Булатов хладнокровно, не повышая голоса, допытывается:

— Когда же вы начнете выполнять план, дорогой товарищ? Пожалуйста, говорите. Ну! Я жду... Что вам мешает нормально работать?

Головин тихо, себе под нос бормочет:

— У нас нет резервов по завалочным машинам...

Вероятно, он высказал не самое главное, не то, что сейчас надо было бы сказать, и совсем не то, что хотел. Булатов коротко и невольно при общем молчании засмеялся:

— Где вы потеряли свои резервы, дорогой товарищ? Объясните, пожалуйста.

Молчит Константин Головин. Смотрит себе под ноги. Губы, щеки, подбородок дрожат. Булатов спокойно его рассматривает. О чем думает сейчас директор? Что на душе у Головина? Душевная жизнь есть тайна каждого. В душу человека не заглянешь — она труднодоступна даже самым зорким.

И все же я рискну предположить, что Булатов критикует начальника крупнейшего цеха не только с позиций директора. Он, кажется мне, вкладывает в чисто производственные отношения и еще что-то сугубо личное.

Любой руководитель не может хорошо исполнять свои обязанности без постоянного нравственного самоконтроля.

Научно-техническая революция — мощный, важный, но не единственный рычаг, с помощью которого мы изменяем мир, укрепляем экономику. Нравственная сила многое решает и в сфере производства, и в области производительности труда, и в отношениях людей.

Ударник коммунистического труда — высоконравственный человек. Мастер, озабоченный тем, чтобы на рабочих местах был отличный психологический климат, — высоконравственный командир. Начальник цеха, не желающий и не умеющий заботиться о подчиненных, стремящийся выполнить план любой ценой, — безнравственный и опасный деляга... Директор, одинаково бдительно стоящий на страже планов завода и жизненных интересов трудящихся, создающий на комбинате, на заводе атмосферу доброжелательности, уважающий человеческое достоинство своих сотрудников, — настоящий государственный и партийный деятель, он, как правило, вызывает к себе всеобщую любовь.

Вот о чем думал я, слушая Булатова...

...Заглянул я в кабинет главного инженера без всякой надежды застать его на месте. Меньше всего времени Воронков проводит за столом. Всегда находится там, где больше всего нуждаются в нем — в его знании, авторитетном указании, энергичном, толковом распоряжении. Такие горячие точки он сам ищет и вовремя находит.

Увидев меня, бросил телефонную трубку, поднялся из-за стола:

— Милости просим! Заходи!

Я сказал ему о том, что сейчас больше всего занимало меня:

— Дошли до меня слухи, Митяй, что ты во время болезни директора на свой страх и риск отправил в Москву и во все концы страны толкачей, наделенных чрезвычайными полномочиями. Правда это?

— Было такое дело... Что, осуждаешь?

— А зачем тебе это понадобилось?

— Мы держали на голодном пайке тридцать пять мартеновских печей. Не успевали готовить сырье в должном количестве и мало-мальски сносного качества. Не хватало оборудования и, конечно, порядка. Спасались от катастрофы авралами в общегородском масштабе. Десятки тысяч людей субботничали на складах металлолома. Вот для того, чтобы раз и навсегда покончить с авралами, я и снарядил особую экспедицию во главе с Костенковым. Мужик он пробивной, с хорошо подвешенным языком, хитроватый и умный стратег.

— Результаты?

— Прекрасные. Костенков выколбтил нужное нам оборудование. Три мощных импортных прессы. Гильотинные ножницы. Опасность, угрожавшая текущей пятилетке, считай что миновала!

Я обнял Воронкова. Признаюсь в порядке самокритики: слабак я в этом пунктике. Всех хороших людей готов обнимать.

— Ну и боец же ты, Митяй, — сказал я. — Самого себя превзошел. Одним ударом уложил наповал министерских бюрократов и тех, кто не верил, что проблему металлошихты можно решить так быстро и просто.

— Не просто и не быстро. Костенкову пришлось стучаться в самые высшие инстанции. Наше это счастье, что все уважают, любят детище первой пятилетки.

— А как Булатов отнесся к твоей экспедиции?

— Ну, видишь ли... Я замаскировал свою самостоятельность. Везде и всюду каждому втолковывал, что это не моя инициатива, а директорская: коренная реконструкция тылов мартеновских цехов.

— Ну а самому Андрею Андреевичу тебе удалось втолковать, что это не твоя инициатива, а его идея?

— Сошло... Не имею ни выговора, ни упреков за то, что действовал не по его прямой указке.

— А благодарность имеешь?



— Не принято отмечать простого исполнителя со стороны идейного вдохновителя...

— Стало быть, Булатов уверен, что все хорошее, что делается на комбинате, исходит от него, а все плохое от лукавого, то есть от нерасторопных, бесталанных подчиненных?

— Пожалуй, так оно и есть. Но... — глянул на меня сквозь сильные стекла очков, обжег умным взглядом, — положи руку на сердце надо сказать, что мы все, в том числе и я и ты, в той или иной мере заражены булатовщиной. В природе человека выпячивать, преувеличивать свои достоинства и терпимо относиться к своим слабостям и недостаткам. И только лучшие из нас бывают беспощадны к себе даже тогда, когда одерживают победы...

Трудно не согласиться с Воронковым, если хочешь оставаться честным перед самим собой и если тебе доступно знание природы человека.

Булатов смотрит на себя как на победителя. И в министерстве некоторые деятели яро поддерживают его, поскольку комбинат из года в год выполнял и перевыполнял план. Знают о его заносчивости, больших издержках, но... победителя, дескать, не судят.

Судят, дорогие товарищи! И еще как. И не только люди. Сама победа нередко побеждает победителя. Смерти подобно ее длительное ослепительное сияние, ее блаженный жар, ее ядовитая нега. Лишь тот, кто не позволяет себе ни на мгновение упиваться победой, остается повелителем своей судьбы, несгибаемым бойцом, каким и был до победы: сильным, настойчивым, не щадящим себя добытчиком истины.

Пятница. Четырнадцать часов. В этот день, в этот час всегда происходит оперативное совещание по итогам работы комбината за неделю.

В небольшом, человек на сто, зале рядом с кабинетом директора собрались командиры производства, начальники бытовых служб, юридической части, общепита, главный механик, главный сталеплавильщик, заместители директора и главного инженера.

Присутствует на птичьих правах и Егор Иванович. Он сидит в дальнем углу, у окна, и держит себя тише воды, ниже травы. Но его седая красивая голова всем сразу бросается в глаза. Не ведаю, как он сюда попал: то ли по приглашению директора, то ли сам по себе, повинувшись неистребимой привычке всегда держать руку на пульсе комбината. Скорее всего последнее.

Булатов сидит за длинным столом президиума. Рядом с ним справа — главный инженер Воронков. Митяй серьезен, непроницаемо замкнут, отрешенно молчалив. Глаза опущены. Директор оживлен и весел. Он в хорошо сшитом сером костюме, в белоснежной рубашке, манжеты которой далеко выступают из рукавов пиджака. Галстук широкий, свежий, с аккуратно завязанным узлом.

Я впервые присутствую на таком совещании. Интересно, как и чем оно начнется. Думаю, что и здесь в центре внимания будет Константин Головин. Директор выдаст ему полной мерой за всю его неделю плохой работы. Я ошибся. Совещание началось на самой высокой мажорной ноте — с поздравлений по случаю дня рождения Гарусова, начальника отдела кадров. Вручая имениннику огромный букет цветов, Булатов улыбался, долго и энергично тряс ему руку. Все присутствующие тоже улыбались. Один только Воронков оставался серьезным.

Традиционная церемония заняла две-три минуты.

Именинник, получив цветы от директора, поблагодарил за по-

здравление, вернулся на свое место. Букет он почему-то положил на край стола. Так он и лежал там в течение всего совещания, радуя глаз своей красотой и благоухая. Жаль, что никто не додумался поставить его в вазу с водой.

Благодушно-веселое выражение на лице Булатова моментально и бесследно исчезло, как только он открыл совещание. В голосе зазвучали властные ноты. На подобную перемену, подумал я, способен человек, умеющий владеть собой или быстро перевоплощаться, как это делают высокоталантливые артисты, Райкин например...

Он беспощадно, не стесняясь в выражениях, критиковал руководителей коммунального хозяйства комбината за то, что те не обеспечили вчера, в четверг, в самое горячее время, в часы пик, когда рабочие спешили на работу, нормальное трамвайное движение. Виновники стояли с поникшими головами и ни единым словом не возражали директору.

Трамвайная проблема, оказывается, существует...

Досталось и общепиту, допустившему в отдельные дни плохую работу столовой в мартене-один. Миловидная женщина, краснея и бледнея, мужественно выслушала все горькие слова в свой адрес и твердо сказала:

— Андрей Андреевич, я уже приняла все необходимые меры. Впредь такое безобразие не повторится ни в первом мартене и вообще нигде.

— Прекрасный ответ! — ласково проговорил Булатов. — Держите свое слово, кормилица. Пожалуйста!

Помолчав, посмотрел на сидевших перед ним командиров и суровым голосом сказал:

— Мартен-один! За неделю вы недодали стране тысячи тонн стали! Почему? В чем дело? Докладывайте!

Поднялся Константин Головин. Лицо багровое. Стриженная голова чуть откинута назад. В глазах гордое бесстрашие. Приятная перемена. Вчера и позавчера он был далеко не таким. А может быть, это только с виду он такой храбрый? Послушаем, что и как скажет. Начал решительно:

— Будем объективны, Андрей Андреевич!

Булатов не дал ему говорить. Грозно предупредил:

— И не пытайтесь оправдывать плохую работу причинами, от вас якобы не зависящими, хотя бы нехваткой ковшей внизу, на разливочном пролете, и чугуновозов наверху. Верно, их стало меньше. А куда они подевались? Сгорели. По вашей вине, дорогой товарищ. Недосмотрели. Проглядели. Проворонили. Вы, начальник цеха, собственными руками подрубили сук, на котором сидели... Дальше! Не вздумайте жаловаться на нехватку скрапа, на его плохое качество. И на нестойкий огнеупор не ссылайтесь — нам это известно. Я жду от вас самокритичного ответа на ясный вопрос: почему первый мартен проваливает не только встречный план, но и государственный? Докладывайте, дорогой товарищ. Пожалуйста.

Директор своим решительным предупреждением на этот раз не вышиб Головина из колеи. Константин кратко и деловито ответил:

— План мы не выполняем, Андрей Андреевич, потому, что вышли из строя самые производительные печи.

— А почему допустили аварию? — спросил директор. — Где были теплотехники, мастера? Что вы делали, дорогой товарищ, в то время, когда печи были на волосок от катастрофы? Отвечайте! Пожалуйста.

Головин, глядя в лицо директора, сказал:

— Два года назад одна из наших печей, как вы знаете, продлила

рабочую кампанию до тысячи одной плавки. Мы полагали, что и сейчас имеем в запасе рабочие ресурсы. Подвели нас огнеупорщики.

— «Полагали»!.. А где ваши точные инженерные расчеты? Где график планово-предупредительных ремонтов? Где научные прогнозы? Где ваши консультации со специалистами центральной заводской лаборатории, с главным сталеплавильщиком? Где все это? Почему было предано забвению?.. Ладно. Отодвинем вчерашний день в сторону. Сейчас речь идет о том, чтобы быстро наверстать потерянное. Как вы собираетесь это сделать? Отвечайте! Пожалуйста.

— Дайте срок — и мы полностью рассчитаемся с долгами и еще кое-что припасем. Мы свое слово сдержим. Если, конечно, его сдержат и другие.

— Кому вы предъявляете, дорогой товарищ, ультиматум?

— Это не ультиматум. Законное напоминание о том, что судьбу плана пятилетки по стали решают не только сталеплавильщики, но и весь штаб комбината. Мы должны сообща раз и навсегда решить проблему полной обеспеченности цехов металлоломом.

— Спасибо, просветил! — ядовито вставил директор.

Головин остался невозмутим.

— Для того чтобы мы устойчиво хорошо работали, мы должны получать скрап в достаточном количестве и хорошего качества. И кислород. И все остальное. И скоро такие времена наступят. Мне известно, что главный инженер товарищ Воронков принял меры...

— Это демагогия чистой воды, дорогой товарищ! И я сейчас это докажу.

Булатов слегка приподнялся, посмотрел в зал, нашел нужного ему человека, сидящего в задних рядах, спросил:

— Отдел снабжения, вы чего-нибудь недодали на этой неделе первому мартену?

— Нет. Все в норме.

— Ясно! Главный электрик, вам Головин предъявлял претензии?

— Никак нет, Андрей Андреевич. Подаем энергию в его хозяйство бесперебойно. Без ограничений.

— Главный механик, а вы что скажете?

— В первом мартене безотказно работают все механизмы. Любой аварийный агрегат заменяется по первому сигналу Головина.

— Железнодорожники, а вы не обижаете первый мартен?

— Все на больших скоростях доставляем — и металлолом, и шихту, и чугун, и сталь...

Булатов снова уставился на Головина:

— Слыхали, дорогой товарищ? Ну и что теперь скажете?

— Андрей Андреевич, я имел в виду долгосрочные факторы, всю девятую пятилетку, а не только хорошую погоду на завтра и послезавтра. По-моему, комбинату не делает чести всенародный аврал, с помощью которого мы время от времени ликвидируем прорывы в наших тылах — в копровом, на базах металлолома, на шихтовых дворах. Век научно-технической революции требует от нас...

Булатов прервал Головина:

— Все это, конечно, правильно, дорогой товарищ, насчет долгосрочных прогнозов, но мы обязаны не забывать и о погоде на завтра. И поэтому я вас спрашиваю: как вы будете работать завтра? Дадите план?

— Пока нет.

Булатов откинулся на спинку кресла, усмехнулся бескровными губами:

— Бравый ответ. В чем же дело, дорогой товарищ? Отвечайте. Пожалуйста.

Директор сидел в кресле. Головин стоял с опущенными руками. По лбу катились капли пота. Коротко подстриженные волосы стали влажными. Глаза с недоумением уставились на цветы.

— Что же вы молчите, дорогой товарищ? Позвонит министр, спросит меня, как выправляет положение первый мартен. Что я ему скажу? Посоветуйте. Пожалуйста.

Благие намерения директора очевидны. Для пользы дела, как он уверен, для блага комбината и с воспитательными целями Булатов не щадил самолюбия Головина, его чести инженера и человеческого достоинства. Андрей Андреевич находился в таком благородном запале, что и морально недозволенный прием — начальственно-жесткий тон его диалога с подчиненным — казался ему вполне уместным, просто необходимым.

Воронков ни разу, ни на мгновение не поддержал директора в нападках на Головина. Ни словом, ни выражением лица, ни взглядом, ни каким-либо жестом. Отрешенно, непроницаемо молчал. И все же мне было ясно, на чьей он стороне. Да и не только мне...

Головин оторвал глаза от цветов, пожал плечами, улыбнулся. Это произошло неожиданно, произвольно. Нервная получилась улыбка. Все так это и поняли. В том числе и Булатов.

— Ну, я жду. Посоветуйте, что я должен ответить министру.

— Я бы доложил все как есть, — все еще улыбаясь, проговорил Головин.

— А именно?

— Обрисовал бы тяжелую обстановку в цехе.

— Это давно сделано, в тот же час, когда рухнула первая, самая первая печь. Дальше?

— Я бы еще сказал, что борьба за встречный план, за победу в этой пятилетке никому не достанется легко, что на длинном пути победного наступления могут быть и непредвиденные поражения и обидные потери. Временные потери. Все наверстаем после реконструкции мартеновских тылов.

— Нет, дорогой товарищ, что сегодня упало с воза, то пропало раз и навсегда.

— Поднимем! Я оптимист...

Тон Булатова стал еще ядовитее, беспощаднее:

— Вы, дорогой товарищ, как я вижу, под свое поражение пытаетесь подвести теоретическую базу. Ловко! Умно! Дальновидно! Как же это вы при таком багаже до сих пор всего-навсего начальник цеха? Маловато. Не по боярину бобер. Вам бы впору пришелся пост директора какого-нибудь института прогнозов.

В ответ на такой выпад Головин сказал:

— Что вы, Андрей Андреевич. Я не собираюсь покидать цех. Рано! Мало еще бит и терт. За битого начальника цеха со временем дадут дюжину небитых.

Все сидящие в зале, сами не раз нещадно битые, рассмеялись. Появилась усмешка и на губах Булатова. Но он сейчас же согнал ее. Вытер ладонью рот и, словно не было длинного тяжелого разговора, с новой энергией, повторяясь и не замечая этого, спросил:

— Ну, дорогой товарищ, так что же все-таки мешает вам хорошо работать?

— Да поймите же наконец, что мы не можем после того, что случилось, сразу, с сегодня на завтра, выправить положение!

Все это Головин сказал с достоинством, в упор бесстрашно глядя на Булатова.

— Кто же это должен сделать? Пригласить начальника второго

мартена? Или другого соседа? Может быть, главного инженера? Но зачем тогда вы, дорогой товарищ, в цехе?

— Сами выправим положение! — сказал Головин. — И очень скоро. Мы уже наметили ряд мероприятий.

Директор презрительно хмыкнул:

— Мероприятий много, а стали мало.

— Больше, чем вчера. Сегодня мы сработали со значительным улучшением...

— Да разве это значительно — прибавка тысяча тонн? Вспомните, какие у вас долги! Я подозреваю, что у вас смутное представление об организации труда в сталеплавильном цехе. Организация — мать порядка в любом деле. Дорогой товарищ, почему до сих пор вы не знаете этой старой, как мир, истины?

И директорское колесо завертелось по второму кругу. Снова затрещали ребра начальника первого мартена.

Головин теперь не возражал ни единым словом. Молчал.

Молчание бывает разным. Подавленным. Угрюмым. Растерянным. Жалким. Трусливым. Стоическим. Себе на уме. Мудрым. Вызывающим. Мужественным. Презрительным.

Молчание Головина радует меня. Я чувствую в нем протест, бунт, силу, достоинство.

Но Булатову, видимо, оно не показалось таким. Он проработывал инженера Головина как проштрафившегося мальчишку в коротких штанишках.

— Ищите потери стали, дорогой товарищ, под ногами мастеров, сталеваров, разлильщиков, шихтовиков. Не оправдывайте ни себя, ни подчиненных. Нацеливайтесь только на победу! Пожалуйста.

Вот после этого Головин и прервал свое молчание. Вскинул голову, сказал:

— Да, верно, у нас сейчас все есть — скрап, чугун, кислород, ковши и прочее. Нет только самого главного — человеческого, партийного отношения к нам, сталеплавильщикам, с вашей стороны, Андрей Андреевич!

Булатов побледнел, переложил пачку бумаг, лежащую перед ним, с места на место, тихо и грозно сказал:

— Вот оно что!.. Так, значит, вы понимаете требовательность директора?

— Это не требовательность, а просто разнос! Жить не хочется, а не только работать, когда слушаешь вас...

— Ясное дело! Ну что ж, дорогой товарищ, мы обсудим вашу позицию. Но уже не здесь. На парткоме. И, может быть, на бюро горкома партии... Огнеупорщики, ваше слово. Докладывайте!

В тесном зале стало жарко и душно. Сильно запахло увядающими цветами. Мой сосед слева, инженер Котов, чуть склонился ко мне, шепнул:

— У меня такое чувство, будто я присутствую на отпевании живого человека...

Совещание кончилось около пяти. Люди расходились молча, сосредоточенно-притихшие, углубленные в себя. На Булатова почему-то избегали смотреть. Так что же все-таки главное в Булатове? Талант производственника? Чрезмерно суровая требовательность к подчиненным? Неумение привлечь к себе людей? Готовность выполнять план любой ценой, идти к цели напролом, не щадя ни себя, ни тех, кто не поспевает за ним?..

В середине тридцатых годов я знал директоров прославленных заводов — Гвахария, Макарова, Дьякова, Степанова, Франкфурта,

Лихачева, Гугеля, Завенягина, Носова. Разные люди, они имели общую замечательную черту, воспитанную в них школой наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, — революционный размах и большевистскую деловитость, умение преодолевать трудности и привлекать к себе любовь, беззаветную преданность делу партии и народа, бесстрашие, правдивость, простоту, бескорыстие, твердое и страстное желание выполнять государственные задания и одновременно улучшать жизнь людей. Серго Орджоникидзе давно нет. Но до сих пор существует его стиль работы...

В длинном и широком коридоре меня догнал Константин Голловин.

— Ну как? — спросил он сильно сдавшим голосом.

— Что именно?

— Я про Булатова. Разбушевался, а? Некрасиво, стыд и срам. — Осуждающе взглянул на меня. — И вы... почему вы не вмешались? Вам, секретарю обкома, это сподручнее делать, чем кому другому.

— Вот потому что секретарь обкома, я и не вмешался. Всему свое время... Приходи, Костя, в «Березки», поговорим. Жду тебя завтра вечером.

— Приду. Обязательно. До свидания.

В этот же день я был у Колесова. Поделился своим впечатлением о характере выступления Булатова на оперативном совещании. Василий Владимирович выслушал меня с грустным выражением лица.

— Да, нехорошо, — сказал он. — В последнее время Булатов часто бывает несправедлив, высокомерен с людьми. И кадровая его политика тревожит нас... Здорово переменялся Андрей Андреевич! До того, как стал директором, он не чурался советоваться с людьми, признавал, что в споре рождается истина. Теперь же изрекает «последнее слово». Он не понял, что его ответственнейшая должность не награда, не дар божий, которым он может беспечно пользоваться до конца своей жизни. Доверие народа надо каждодневно оправдывать хорошим трудом и человеческим отношением к коллективу, к людям... Трудно работать с директором, который всегда и везде считает себя непогрешимым. Поймите меня правильно. Я не против уверенности в себе. Когда твоя правда, твоя убежденность опираются на талант, профессиональное умение и знание, на долгий опыт — это прекрасно, на партийность и несокрушимую нравственную силу — это прекрасно. Но когда при раздутой амбиции под ногами у тебя пустота — это плохо для тебя и опасно для окружающих. — Помолчал, подумал и, как бы подводя итог разговору, сказал: — Трудно нам, членам бюро горкома, разубедить Булатова, что не все его поступки и слова соответствуют его общественному положению. Он твердо уверен, что соответствуют. Иначе бы его не назначили директором. Наивно? Но это факт!..

Оперативка в главном мартене отменена. Временно. На два дня. По случаю смерти старейшего металлурга инженера Трофимова, бывшего долгое время начальником главного мартена, воспитателя целой плеяды сталеваров-рекордистов. Всю жизнь он был прекрасным командиром. Был он и большим любителем хорошего пения. Хор сталеваров, созданный им, выступал во многих городах Урала, Сибири. Слышали его и москвичи.

Трофимова в последний путь провожало много людей. Медленно через весь левобережный город двигалась траурная процессия. За гробом шли седые сталеплавильщики, представители старой гвардии, молодые сталевары и почти все работники штаба комбината

и горкома партии. Среди них я не увидел Булатова. Очень и очень это прискорбно. Не имеет значения, в каких лично он был отношениях с Трофимовым. Его положение таково, что он обязан шагать в траурной процессии, бросить горсть земли в разверстую могилу ветерана труда и сказать прощальное слово. Моральное, нравственное обязательство такого рода не закреплено на бумаге. За его нарушение официально не взыскивают. Но нарушение его оскорбляет людей, надолго запоминается.

Я не затронул бы этой деликатной темы, если бы в течение последних дней не присутствовал на так называемых директорских оперативках. То, что я видел, слышал, чувствовал там и здесь, на похоронах Трофимова, сложилось в моем сознании в одну логическую цепь — цепь нравственных поступков, из которой не вырубить ни одного звена.

Похоронили Трофимова в ясный, теплый летний день. На левом берегу, на старом, заложенном еще в тридцатых годах кладбище, у северного плоского подножья горы. Рядом за стальной оградой могила Ивана Григорьевича Головина, соратника и друга Трофимова. Много лет они работали вместе. И легли на вечные времена бок о бок. Привольный, густо заросший, в деревьях, кустарниках и цветах островок, на котором похоронен Головин, со всех сторон тесно обступают могилы строителей, горновых, газовщиков, сталеваров, слесарей, электриков, рабочих горячих путей, инженеров, техников, мастеров.

Командарм и его армия на вечном покое.

Вдова Трофимова раздала друзьям и соратникам покойного новенькие полотняные рушники. Сунула не глядя и мне один. Я держал его и не знал, что с ним делать. Кто-то стоящий рядом, с заплаканными глазами, с густыми нависающими бровями, осторожно взял рушник из моих рук и положил себе на левое плечо...

Все меньше и меньше остается тех, кто закладывал краугольные камни гиганта черной металлургии. Левобережное кладбище за срок лет сильно разрослось. Улицы. Переулки. Аллеи. И памятники, памятники, памятники. Металлические, конечно. Железным людям — железные обелиски.

И еще одно печальное событие в течение этой же душной, жаркой недели.

В соседнем коттедже, слева от моей гостиницы, где живет семья Головиных, — траур. После тяжелой болезни скончалась престарелая Анна Петровна, мать Константина, жена покойного директора Головина. Среди множества людей, шедших за гробом, я видел первого секретаря горкома Колесова, председателя горсовета и других руководящих работников. Булатов не провожал в последний путь и вдову самого знаменитого в истории комбината директора...

Сразу после похорон мы с Егором Ивановичем поехали ко мне. Пьем чай, играем в шахматы. Две-три минуты поговорим о чем-нибудь и снова надолго умолкаем. Не все, что чувствуешь, о чем думаешь, выговаривается словами. Но и не все, чем болеешь, глушится молчанием.

Когда мы закончили партию и менялись фигурами, чтобы начать другую, я спросил:

— Ты еще не забыл, как на комбинате относились к Головину-старшему?

— Его любили за внимание к людям, за веру в них. За своевре-

менную поддержку всякого доброго начинания. За справедливость. За умение нацелить человека на большие дела. За то, что не возвышался над другими как памятник...

— А как к нему относился Булатов? — спросил я.

— Как и все — восхищался. До сих пор хорошо вспоминает.

— Странно!

— Что ж тут странного?

— Странно, что он, став директором, не во всем подражает тому, кем когда-то восхищался.

— И не мудрено. Свою голову на плечах имеет. Да и время сейчас другое — эпоха научно-технической революции, атомной энергии, спутников и полетов в космос. Сейчас даже с талантом Головина руководить комбинатом так, как двадцать лет назад, нельзя — обанкротиться!

— Человек всегда должен оставаться человеком...

Егор Иванович двинул белую королевскую пешку вперед, оторвал взгляд от шахматной доски, внимательно посмотрел на меня.

— Ты, как я понимаю, не считаешь Булатова настоящим человеком?

— Скажи, если это не секрет, почему Булатов так упорно агрессивен против Константина?

— Вот тебе на! Какой же тут секрет? Тебе ведь известно, что первый мартен работает в последнее время из рук вон плохо.

— Нет, дело не только в этом. По-моему, есть еще какая-то причина. Мне кажется, что в свое отношение к Головину Булатов вкладывает еще и личное чувство. Ревность. И даже зависть.

— Что ты! Исключается. Не тот случай. Булатов всего добился, чем может гордиться человек, а Костя... Не отрывайся от земли, секретарь!

— Можно завидовать Косте и с благополучных позиций Булатова. Вполне естественная ситуация. Восходящая звезда и угасающая. Один давно перегорел, не ждет никакого повышения ни в чинах, ни в должности, так как всего достиг, а другой только еще думает о маршальском жезле. Константин Головин — приметная и перспективная фигура на комбинате. Все ему симпатизируют. За личные его достоинства. Кроме того, на его лице светится еще и отраженный свет знаменитого отца. Как было бы хорошо, думают люди, если и Константин со временем станет капитаном флагмана черной металлургии! Вот все это и вызывает у Булатова особое отношение к Косте. — Я помолчал, отхлебнул из стакана остывший чай, двинул черную пешку вперед. — Не здесь ли собака зарыта, Егор Иванович?

— Вот какой корень ты извлек! Дал маху. Исключается! — категорически заявил он. — Булатыч человек норовистый, с заковыками, но честный, принципиальный!

— Ладно. Не будем спорить. Скажи только, почему директор так упорно отказывается переселить в новые дома жителей загазованного поселка?

По этому вопросу Егор Иванович высказался еще более решительно:

— И тут я тебе не буду поддакивать. Правильно действует Булатов. Кто же как не он должен защищать металлургов?

— От кого их надо защищать?

— От таких, кто любит загребать жар чужими руками!

— А разве справедливо, что рабочие поселка живут у подножья огнедышащего вулкана? Не они подошли к вулкану, вулкан подошел к ним.



— Это, конечно, безобразие. Горсовет и строительный трест должны позаботиться о них...

— Чужие слова повторяешь. Что ж, вас с Булатовым в этом вопросе переубедить, как видно, невозможно...

— Да, это самое, никак невозможно! Сто миллионов человек нас не переубедят. Огнем не выжжешь наше убеждение: металлургии в городе — превыше всего.

— Егор Иванович, зря тратишь порох! Меня тоже не переубедят и сто миллионов человек... Ладно. И вторую позицию Булатова мы прояснили. Перейдем к третьей. Скажи, если знаешь, почему директор не счел нужным посоветоваться ни с парткомом, ни с профкомом, ни с горкомом партии, когда сочинял свою скандальную «квартирную инструкцию»?

— Знаю! Вернее, догадываюсь... Потому что был уверен в своей правоте. Это раз. Во-вторых, он действовал как единоначальник, в соответствии со своим положением. В-третьих, не предполагал, что по такому явному вопросу должен еще договариваться с общественными организациями. Так я думаю.

— А Булатов думает по-другому. Он сознался, что не захотел ни с кем советоваться, потому что был уверен, что и партком и горком партии будут против его самостоятельного мероприятия. Выходит, что он сознательно противопоставил себя всем и вся.

— Не может этого быть!.. Булатыч глубоко партийный человек. Будь он не таким, не удостоился бы высокого доверия.

— Странно, очень странно ты разговариваешь, Егор Иванович, когда заходит речь о Булатове. Вот эта странность уже не один день, не одну ночь мучает меня. Твоя позиция в отношении Булатова не стыкуется с твоим характером, с твоей непримиримостью ко всякого рода недостаткам в людях и на производстве. Помолчи, выслушай меня до конца! Не понимаю, как ты, человек с кристально чистой совестью, с абсолютным чувством правды и кривды, хорошего и плохого, можешь яростно оправдывать явно порочные действия Булатова. В чем тут дело? Долг старого друга? Гипноз директорской власти, славы?

Егор Иванович смахнул с шахматной доски в ящик стола черные фигуры и пешки, зло взглянул на меня:

— Чего ты добиваешься? Хочешь, чтобы я, это самое, смотрел на Булатова твоими глазами? Не будет этого. Слышишь?

— Что ты, Егор Иванович! Я просто докапываюсь до истины. Только и всего... Чаю согреть?

— Пошел ты со своим чаем знаешь куда!..

Он поднялся, надвинул по самые уши старенькую, с опущенными полями шляпу, хлопнул дверью.

Я смотрел в окно, как он быстро шагал к воротам. Вдруг он развернулся на сто восемьдесят градусов и стремительно пошел назад, в гостиницу. Вбежал в комнату, охрипшим голосом закричал:

— Слушай, искатель истины, а почему ты ни разу не спросил меня, как это получилось, что Андрюха Булатов, вроде бы ничем не приметный рабочий паренек, стал крупным инженером, профессором, Героем, руководителем мирового комбината?

Я постарался ответить как можно спокойнее, мягче:

— А зачем спрашивать о том, что хорошо известно? Твоя биография ничуть не хуже. И моя...

Егор Иванович не захотел дальше слушать. Махнул рукой и вышел.

Я не фантазировал, говоря Егору Ивановичу о ревнивом и завистливом отношении Булатова к молодому Головину.

Вчера и позавчера я встречался с Константином Головиным. Мне удалось выяснить предысторию их теперешних сложных отношений. Вот какова она.

...Однажды, это было месяцев шесть назад, в самый разгар рабочего дня, когда в цехе дела не ладились — на одной печи во время разлива стали сгорел ковш, на другой произошел прогар, на третьей плавка едва не ушла в подину, — диспетчер объявил по радио:

— Константин Иванович! Вас срочно приглашает к телефону директор комбината товарищ Булатов. Повторяю: Константин Иванович, вас срочно приглашает к телефону директор комбината товарищ Булатов.

Шумно было в эту минуту в первом мартене: гудело в печах тысячеградусное пламя, щелкала контроллерами завалочная машина, грозно ревел мощный вентилятор, омывающий рабочую площадку и сталеваров прохладой, мостовой кран, непрерывно сигналив, бережно нес в длинных клешнях ковш, полный жидкого чугуна, громыхали по рельсам платформы со скраповыми мульдами, мастер что-то сердито выговаривал сталевару. Однако ничто не могло заглушить тревожно-деловой голос диспетчера.

Головин снял рукавицы, свернул их в трубку, положил в карман спецовки, вытер разгоряченное, покрытое крупными каплями пота лицо, озабоченно глянул на пламя, бушующее в печи, потом перевел взгляд на сталевара Локтева и мастера Сергеева:

— Все вам ясно, люди добрые? Еще раз не оскандалитесь?

— Не беспокойтесь, Константин Иванович. Ничего не упустим. Все сделаем как надо, — откликнулся мастер, плотный, кряжистый, круглолицый, с волжским выговором, облаченный в спецовку из толстого солдатского сукна. — Одну ногу сломали, другую будем беречь как зеницу ока. Так и передайте директору, если спросит, конечно, что тут у нас и как!

— Ну-ну..

Сказав это, Головин направился к телефону неторопливым шагом. Демонстративно неторопливым — он не хотел показать сталеварам, как его встревожил директорский звонок.

Булатов откликнулся коротким «да», имеющим в его устах массу смысловых оттенков: вопрошал и отвечал, сомневался и соглашался, выражал удивление и сомнение, отчуждение и одобрение, насмешку и восхищение, гнев и радость, отцовское поощрение и начальственный запрет, великодушные друга и ярость противника. Этим искусством — быть многосторонним с помощью самых ограниченных средств — он овладел не так давно, уже после того как стал во главе комбината. Сейчас Булатов в слово «да», предназначенное для начальника первого мартена, вложил непривычную для себя ласку. Головин, ждавший свирепого разноса, перевел дыхание.

— Велели позвонить, Андрей Андреевич.

— Не велел, а просил. Приказываю я не по телефону, а печатно, да еще типографским способом. Пора тебе это знать... Ну как там авария?

— Ликвидировали, Андрей Андреевич. Подчищаем последствия. Скоро встанем в нормальную колею.

— Ладно. Без тебя подчистят. Направляйся прямо сюда, в управление. Без всяких зигзагов. Пожалуйста.

— Иду, Андрей Андреевич!

Головин снял пластмассовый шлем, положил его на пульт управления, сказал мастеру Сергееву, что идет к директору, и покинул цех. Он был в изрядно потрепанной, прожженной в нескольких местах рабочей куртке, в старых, с пузырями на коленях штанах, в грубых,

с толстыми подошвами ботинках, с ног до головы покрытый графитовыми блестками. И ничуть не смущался показаться директору в столь неказистом виде. Ничего! Мартен не Дворец культуры.

Секретарша, сидевшая за столом у самой двери директорского кабинета и бдительно, с достоинством его охранявшая, увидев Головина, приветливо заулыбалась, вскочила, распахнула перед ним высокую, светлого дуба, тяжелую дверь.

Головин вошел к директору, высоко неся круглую, коротко подстриженную голову и держась подчеркнуто прямо. Больше всего он боялся, что люди, сидящие в приемной, могут заподозрить его в робости, в нежелании отстаивать свое достоинство перед высоким начальством.

Булатов встретил его странным, как показалось Головину, взглядом. Узнаёт и не узнаёт. Рад и не рад видеть. Вроде бы мирно улыбается, великодушно милостив, но держит камень за пазухой..

— Сядем, как говорится, рядом да потолкуем ладком. Час назад звонил заместитель министра Дородных. Сватает тебя главным сталеплавильщиком на сибирский гигант. В недалекой перспективе должность главного инженера. Вот, брат, какая важная новость. Ну, чего же ты молчишь? Рад или не рад?

Головин пожал плечами. И на его суровом, несмотря на молодость, лице выступили красные пятна. Смущался и злился на себя за эту мальчишескую слабость — неумение скрыть внутреннее волнение.

— Не знаю, Андрей Андреевич, что и как сказать, — пробормотал он. — Рад, но и недоумеваю.

— Чего же тут недоумевать? На повышение идешь.

— Но я ведь отказался. Мне тоже звонили. Вчера ночью. На квартиру. Я решительно сказал, что никуда отсюда не уйду. Мое постоянное место здесь. Я полагаю, что говорил убедительно.

— Так. Ясно. Значит, тебе раньше звонили? Я об этом не знал.— Булатов, глядя поверх очков, какое-то время молча, пристально разглядывал Головина.—Значит, говоришь, твое постоянное рабочее место здесь, на нашем комбинате? Это ты, брат, переборщил. Коммунист должен работать там, где может принести наибольшую пользу народу.

— Именно это я и делаю.

— Сам о себе не имеешь права судить. Партии виднее, чего каждый из нас в отдельности стоит. И только партия решает нашу судьбу.

— Я на партию надеюсь, Андрей Андреевич, но и сам стараюсь не плошать. Моя позиция нисколько не противоречит уставу.

— Я не о букве устава говорю, а о его духе.

— Я тоже.

— Не вижу. Не слышу. Не чувствую.

— И это естественно. Вы же не вся партия...

— И не думал я выступать от имени всей партии. Сам по себе разговариваю с тобой.

— Извините в таком случае. Мне показалось...

Ласковое выражение на лице Булатова сменилось настороженным.

— В последнее время, дорогой товарищ, тебе часто кажется, что на комбинате не все в порядке. Везде плохо, кроме как в первом мартене...

— Что вы, Андрей Андреевич, я так не считаю! В нашем цехе немало неполадок. Сегодня, например, произошла авария. По нашей вине.— Головин вдруг спохватился, взглянул на директора и ска-

зал: — Ваши последние слова не имеют никакого отношения к звонку заместителя министра. Как я догадываюсь, вы позвали меня вовсе не для того, чтобы спросить, согласен я или не согласен стать главным сталеплавильщиком на сибирском гиганте, а для чего-то другого.

— Ну что ж, раз ты такой догадливый, темнить не стану и выложу все карты на стол.

Булатов встал, прошелся по кабинету. Собирался с мыслями. Обкатывал, шлифовал слова, фразы. Остановился, сказал:

— Эх, Костя, Костя!.. Умный ты мужик, талантливый инженер, а ведешь себя как последний охламон с Центрального поселка. Большое будущее у тебя под носом, а ты его не видишь.

— Не понял.

— Договориться нам надо.

— О чем?

— Воевать будем или...

— Война — это всегда плохо. Но и мир не всегда хорош...

— Язык у тебя длинный и острый. Не только противников режет и колет, но и друзей, желающих тебе добра.

— Себя вы, как я понимаю, причисляете к моим друзьям?

— А ты уже меня к ним не причисляешь? Быстро забыл, кто выдвинул тебя, рядового инженера, недавнего выпускника, на должность начальника цеха!

— Нет, я помню, что это сделали вы. Но рекомендовала меня партийная организация. И еще главный инженер Воронков. И вы вынуждены были утвердить мою кандидатуру.

— Почему вынужден? — взорвался Булатов. — Это моя генеральная линия — выдвигать молодых инженеров на руководящие посты!

— Эта линия определена Двадцать четвертым съездом партии, Андрей Андреевич.

— Да, конечно! И я претворяю ее в жизнь... Ох, как трудно с тобой разговаривать! В пот вгоняешь. Спрячь хоть на время свои когти. Выслушай старшего товарища.

— Попробую... Только, пожалуйста, называйте меня на «вы».

— Но, Костя... Я знаю тебя с пеленок. Ты же на моих глазах рос, поднимался все выше и выше... Я привык обращаться к тебе на «ты»!

— Плохая привычка, Андрей Андреевич. Мне не по себе, когда вы тыкаете...

— Хорошо... Постараюсь не тыкать, как вы изволили выразиться... Смотрю я на вас, дорогой товарищ, на ваше отношение ко мне и думаю: а не потому ли я вам не по душе, что для вас был, есть и будет только один-единственный на свете настоящий директор нашего комбината — ваш собственный отец, пухом ему будет земля, Иван Головин?

Головин-младший с изумлением смотрел на Булатова. Даже сейчас, в пылу спора, он не ожидал от него такого выпада. Так изумился, что не находил слов возразить.

Булатов по-своему понял его молчание.

— Ну что, попал в самую точку, да? Так оно и есть. Для тебя... извини, для вас только один Иван Головин — гигант. Все остальные директора, в том числе и я, так себе, жалкие его тени, пигмеи по сравнению с ним.

Хладнокровие вернулось к Головину.

— Для меня действительно Иван Григорьевич Головин наилучший из лучших директоров. И не только я так считаю. И мне странно, что вы...

— Покушаюсь на его авторитет? Это вы хотели сказать? Чепуха! Я не меньше вашего уважаю выдающегося инженера и блестящего

директора Головина. Учусь по мере сил у него. Применительно к новым условиям, конечно.

— Тогда я не понимаю...

— Вот в этом все дело, дорогой товарищ, что вы белое принимаете за черное. Ладно, раз уж затронута эта щекотливая тема, буду до конца откровенным. Почему вы противопоставляете своего отца нынешнему директору не в пользу последнего, конечно?

Головин-младший воскликнул:

— Где, когда это было? Не было ничего подобного, Андрей Андреевич!

— Прямого противопоставления действительно не было. Но косвенно... Где, когда вы отозвались обо мне добрым словом? Какое из моих мероприятий показалось вам разумным, своевременным? Где и когда вы посмотрели на меня с доверием, приветливо?

— Ах вот как вы ставите вопрос! Да, я не кричу на всех перекрестках, какой вы замечательный директор комбината. Но и не охаиваю, никому не противопоставляю. Я трезво оцениваю вас. И это кажется вам несправедливым. Тот же, кто превозносит вас до небес, клянется в преданности,—такой человек кажется вам изрекающим святую истину....

— Вот ты и выдал себя!.. Так со мной никто, кроме тебя, не разговаривал. Даже лодыри, которых я гнал с завода, не смели забываться. Спасибо!.. Но отвечать тебе в этом же духе я не намерен. Не воевать хочу, а договориться.

— О чем, Андрей Андреевич? Все давно ясно. Я начальник цеха, а вы директор комбината. Подчиненный и вышестоящий. Ваш приказ для меня закон.

— Приказными словами, дорогой товарищ, не переубедишь таких вот гордых подчиненных. К ним особый подход требуется... Вот я и пытаюсь найти его. Видите, как я с вами откровенен. Третьему нельзя ни видеть, ни слышать нас.

— Действительно, люди не поверят, если рассказать им, как мы здесь с вами толкуем... Итак, Андрей Андреевич, вы хотите со мной договориться...

— Ладно, стерплю и это,—сказал Булатов.—Чего не сделаешь ради мира на земле! Вам сколько лет, дорогой товарищ?

— Вы же знаете. Тридцать два.

— А мне этим летом стукнет шестьдесят. То, что тебе предстоит вытащить на своем горбу, у меня осталось за плечами.

— У вас славное прошлое, Андрей Андреевич.

— Да, славное, не буду скромничать. Но я никогда не лез напролом, не ломал ближним ребра, не бросал себе под ноги друзей и недругов, чтобы взобраться на верхнюю ступеньку лестницы. Неожиданно для самого себя очутился в директорском кресле. Доволен, конечно. Раз меня сюда посадили, значит, лучших не нашлось, значит, башка моя варит неплохо...

— Положим, не так уж неожиданно вы оказались в директорском кресле...

— Ну ладно! Надоело, в конце концов... С тобой по-человечески разговаривают, будь же и ты человеком!

— Не будь я человеком, не возражал бы вам. Молчал бы, как... преданный чурбан.

— Вот в этом твоя беда, Костя. Ты себя считаешь совершенным во всех отношениях, а всех остальных... За что ты меня ненавидишь, Костя?

— Вы ошибаетесь. У меня нет к вам ненависти!

— Хорошо. Допустим... За что ты меня не любишь?

— Теперь вы правильно поставили вопрос... Мне любить вас противопоказано.

— Неужели я и в самом деле такой никудышный по сравнению с твоим отцом?

— Опять вы о моем отце!.. Да, я горжусь им, хотя знаю, что многие нынешние директора металлургических комбинатов нисколько не хуже Ивана Головина. И вы кое в чем не уступаете ему, даже превосходите.

— Ну вот, наконец хоть одно доброе слово о Булатове сорвалось с твоих ядовитых уст! Эх, Костя, Костя!.. Если бы ты на людях так говорил обо мне!

— Наверное, когда-нибудь и говорил. Но зачем это вам нужно? У вас и так много всего.

— Мне нужна твоя дружба. Дружба талантливого инженера. Хорошего начальника цеха. Потомка знаменитого металлурга, сына легендарного директора комбината.

— Теперь понял. Вы хотите заручиться моей поддержкой?

— Не для собственной шкуры она нужна, а для пользы дела.

— Хорошо. Я поддержу вас. Но...

Булатов благодарно пожал Косте локоть.

— Я был уверен, что мы с тобой договоримся. Одним комбинатским молоком вскормлены.

— Я буду поддерживать директора не только восхвалением его положительных сторон, — сказал Головин, — но и критикой недостатков..

— Ну и прямолинейный же ты, Костя! Как русский штык..

— Больше буду нажимать на вторую педаль, так как считаю, что критика и самокритика были, есть и останутся острейшим оружием в борьбе со всякого рода недостатками и в борьбе за истинно хорошего человека и руководителя. И еще я считаю, что не имеет права на похвальное слово тот, кто не способен видеть теневые стороны и не смеет сказать о них.

Головин поднялся, давая понять, что хочет уйти.

— Постой! Говорил ты, Костя, напрямик. Я отвечу тебе такой же монетой. Почему ты не хочешь мира? Не потому ли, что ты мой скрытый соперник?.. Молчишь? Ладно, помалкивай. Молчание — знак согласия. Не потому ли не протягиваешь руку дружбы, что замахнулся на мое кресло, что ждешь, когда я его освобожу? Нет, дорогой товарищ, я долго собираюсь жить!..

— Живите себе на здоровье, Андрей Андреевич! — И Головин пошел к двери.

— Не быть тебе моим соперником! — крикнул ему вслед Булатов.

Головин остановился, через плечо посмотрел на него, усмехнулся:

— Кто знает... Вы пошутили. Пошучу и я... Один неглупый человек сказал так: «Плох тот солдат, который на поле боя не носит в своем походном ранце маршальского жезла».

— Правильно! Носи, Костя, пригодится со временем. — Булатов вплотную приблизился к Головину, положил руки на его плечи. — Выдам тебе, дорогой товарищ, свою директорскую тайну. Я считаю молодого Головина самым крупным самородком на комбинате. Самородком, нуждающимся в шлифовке. И я облюбовал этого самого Головина как своего законного наследника. Молчи!.. Тяну тебя за уши на свое место, а ты брыкаешься, не понимая собственной выгоды. — Он с грубоватой нежностью оттолкнул Головина. — Видишь, какой у тебя соперник!

— Вижу!.. — Головин помолчал и сказал: — Помню, как-то в

детстве отец, наверно, в припадке чрезмерной любви к своему чаду схватил меня за уши и чуть-чуть оторвал от пола и поцеловал. Больно было, но я не заплакал. Обожая отца, я все-таки невольно показал ему зубы — укусил за руку. Инстинкт самосохранения, а может быть, человеческого достоинства автоматически сработал. Вот до чего доводит чрезмерная любовь и чрезмерное достоинство.

Булатов не принял его слов всерьез. Засмеялся:

— Ладно, никогда больше не трону твоих чересчур чувствительных ушей. Иди, Костя, а то мы с тобой, чего доброго, растеряем все, что с таким трудом выковали в два молота на общей наковальне...

И вскоре то ли по случайному совпадению, то ли подчиняясь обстоятельствам, обусловленным самоотверженным трудом, десять печей первого мартена вошли в нормальную колею. Не горели ковши. Сталь выплавлялась строго по заказам. Аварий не было. Скрап — постоянно узкое место цеха — поступал вовремя, в достаточном количестве и более или менее приемлемый — не легковесный, не растрепанный, как плохо спрессованный тюк соломы. Так продолжалось не одну неделю, не один месяц.

Булатов не мог нарадоваться Головиным-младшим. Сильно переменялся и Костя. Спрятал все колючки, которые когда-то маскировал так называемым чувством собственного достоинства. Не вступал в пререкания с директором даже в том случае, когда был повод поспорить. Мягким и податливым стал. Всю энергию, весь талант вкладывал не в выяснение отношений, а в работу. Молодчина да и только! Булатов где только мог расхваливал Головина, ставил первый мартен в пример другим цехам. Делал он это с оговорками, чтобы победитель не зазнался, не почил на лаврах.

Там, где есть победитель, преуспевающий талант, там найдутся и злопыхатели, завистники. Рука руку моет, говорили они. Покровительство сильной личности, с одной стороны, безоговорочное восхищение и безропотное послушание — с другой. Древний как мир товарообмен...

Кое в чем они были правы. В малом. В ничтожно малом. Но и малое в известных условиях становится опасной величиной. Большие пожары возникают нередко от искры.

Хотел того или не хотел Головин, но на совещаниях, на оперативках или на утреннем рапорте он никогда не вступал с директором в конфликт, как бывало раньше.

Хотел того или не хотел Булатов, но он, беспощадно критикуя других начальников цехов, Головина всячески оберегал...

Первый мартен комбината — это, по существу, крупный сталеплавильный завод. Десять современных высокопроизводительных печей. Три из них — уникальные двухванные печи-великаны. Долгое время цех работал хорошо. Выполнял и перевыполнял напряженный государственный план. И со встречным успешно справлялся. Завоевал первое место, большие денежные премии отхватил, благодарности и все прочее, что полагается за ударную работу. И коллектив сталеваров и Константин Головин стали героями, купались в лучах славы. Был большой праздник. Гостей у Головина в то время бывало — тьма-тьмущая: из соседних цехов, из области, из министерства, представители других заводов, приезжавшие набраться опыта.

Частенько появлялся на рабочих площадках и директор комбината. Приходил он сюда, как сам говорил, чтобы полюбоваться молодцами, отдохнуть душой. Посмотрит, поулыбается, похлопает по плечу какого-нибудь сталевара, мастера, начальника смены, скажет Константину: «Так держать, капитан!» — и уедет.

Директор уважал и любил в ту пору начальника первого мартена. На каждой оперативке ставил в пример. Один раз даже сказал: «Достойный сын достойного отца». Все шло к тому, что не сегодня, так завтра Константин Головин станет главным сталеплавильщиком комбината или начальником производства. И никто не удивился бы, если б это произошло. Но случилось другое.

Однажды директор приходит к победителю в цех и видит Головина мрачным. Спрашивает:

— Ты что, Костя, такой невеселый? Вроде нет причин для плохого настроения. Дела идут хорошо.

Головин снял каску, озабоченно погладил круглую стриженую голову, тяжело вздохнул и сказал:

— Причин для плохого настроения нет, а для тревожного раздумья есть.

— Что тебя беспокоит?

Начальник цеха кивнул на печь, против которой стоял.

— Вот эта долгожительница. Больше тысячи плавок дала без капитального ремонта.

— Ну и что? Это же здорово.

— Боюсь, как бы не надорвалась. На пределе работает. Там петух на волю просится, здесь — вот-вот закукарекает.

— Переменился ветер? Недавно, помнится, ты собирался побить мировой рекорд.

— Тогда печь была еще ничего себе, внушала доверие, а сегодня...

— Разуверился?

— Советуюсь с вами.

— Смелость города берет.

— Так-то оно так, но смелость не исключает предусмотрительности.

— Это само собой. Для чего ты, Костя, завел этот разговор? — Булатов усмехнулся тонкими губами и одним глазом посмотрел на собеседника. — Испугался собственных замыслов? Рука, занесенная для победного удара, повисла в воздухе?

Головин не отвечал.

— Хочешь печь на ремонт поставить? — жестко уточнил Булатов.

— Пора. Боюсь судьбу искушать.

— Так бы прямо и говорил, а то крутит, юлит, вертит туда-сюда! Ну что же, останавливай, если у тебя другого выхода нет...

Головин, глядя на двухванную печь-великаншу, задумчиво произнес:

— Светится, матушка. Но все-таки стоит, варит сталь...

Булатов в тон ему подхватил:

— Сталь, которая сейчас очень и очень нужна и комбинату, и министерству, и стране.

— Так вы полагаете, можно еще повременить с ремонтом?

— Я тебе этого не говорил. И не скажу. Сам решай что и как.

— Значит, надо остановить?

— И этого не предлагаю.

— Что же делать?

— Ишь какой ловкий! Хочешь спрятаться за директорскую спину?

— Я прошу совета у старого и опытного инженера.

— Перестраховка под видом потребности посоветоваться. Попытка получить от директора вексель в случае просчета на собственную непогрешимость. Не получишь! Взыщу полной мерой. И, ко-



нечно, воздам по заслугам в случае победы. — Он глянул на часы. — Вот такая ситуация на четырнадцать часов восемнадцать минут.

Прошла неделя. И еще раз появился директор в первом мартене около печи-долгожительницы. Ласково посмотрел на нее, перевел взгляд на Головина, улыбнулся:

— Стоит, а?

— Светится, полыхает крыльями, вот-вот закукарекает, но стоит.

— А ты боялся!

— Было такое дело. Смелость города берет. Старая истина, но каждый пробирается к ней собственным путем...

Посмеялись старый и молодой инженеры, директор комбината и начальник цеха, и разошлись.

Печь-рекордистка стояла еще неделю, потом рухнула. Вскоре пошла под откос вторая. Великая это беда — незапланированное выбытие мартеновских печей из строя. В таких случаях потери неисчислимы. Заблаговременно ничего не подготовлено для восстановления — ни материалы, ни люди, ни механизмы. Нарушается общий график. Авралы, штурмовщина, неразбериха, нервотрепка...

Такова предыстория конфликта Булатова с Головиным. Ну а теперь от недавнего прошлого вернемся к настоящему.

После того как пятиэтажная громада управления комбината опустела, Булатов позвонил в кабинет Воронкову и спросил:

— Чем ты сейчас занят, главный?

— Укладываю бумаги, собираюсь домой. Жена обещала накормить грибным супом, пирожками с капустой, жареной индейкой. Сегодня у нас праздник: дочери исполнилось десять. Может, и вы пообедаете с нами, Андрей Андреевич? Вот было бы хорошо.

— Не до этого сейчас. Дела в первом мартене такие, что хоть волком вой. Волком, который попал в капкан...

— Отвлечетесь на час-другой от дел, Андрей Андреевич... Поедем! Мои домашние будут рады. Давно вас не видели. Года два, пожалуй.

— Хочу, но не могу. Не имею права. И ты задержись. Пожалуйста. Потолковать нам с тобой по душам надо. Заходи.

Воронков положил трубку внутрикомбинатского телефона, набрал номер городского, сказал жене, чтобы обедали без него, и пошел в кабинет директора. Было досадно, что сорвался семейный праздник. Но досаду пересилило любопытство: какой разговор собирается вести с ним Булатов?

Воронков был очень терпим, охотно прощал людям прегрешения житейского характера. Нет на свете человека и не может быть, считал он, идеального во всех отношениях. Люди есть люди. Черствость, вспыльчивость, заносчивость Булатова, на взгляд Воронкова, были второстепенными чертами его характера. Главное в нем — преданность делу народа, умение организовать коллектив комбината, большая профессиональная подготовка. Это, в конце концов, и определяло сносное, в общем, отношение Воронкова к Булатову.

Булатов в одиночестве сидел за огромным столом. Руки, сжатые в кулаки, выложены на полированную столешницу. Роговые очки еле держатся на кончике носа. Губы стянуты. Узкий, с залысинами лоб наморщен.

— Извини, что я лишил тебя семейного праздника. Такое, брат, дело...

Воронков кротко улыбнулся и, чуть сощурился, близоруко через сильные стекла очков вглядывался в директора.

— Слыхал, конечно, про наш конфликт с горкомом? — спросил Булатов.

— Что вы имеете в виду, Андрей Андреевич?

Булатов хмыкнул и простецки, как это делают дети, вытер рот ладонью.

— Заковыристый вопросик задаешь, главный! С миной замедленного действия...

— Не понимаю, — растерянно, заметно побледнев, сказал Воронков. — О чем вы, Андрей Андреевич? Что вам не понравилось?

— Подтекст. Тонкий намек на толстые обстоятельства... Ладно. Отвечу тебе без всяких тонкостей — к ним я не привык, они мне ни к чему. У меня с горкомом один-единственный конфликт, а не дюжина, как тебе кажется.

— Ничего такого мне не кажется, Андрей Андреевич. Я и про один-единственный ваш конфликт слышал только краем уха.

— Вот ты опять проговорился. Что же это получается, главный? Ты, моя правая рука, мой первый заместитель, о моем принципиальном конфликте с горкомом только краем уха слышал. Почему плохо прислушиваешься? Почему не принял близко к сердцу всю эту катаvasию с моим квартирным приказом?

— Это только так говорится, по инерции, что краем уха... Извините за неточность. Мне известен этот ваш конфликт с горкомом.

— «Ваш»?! Не наш, значит, с тобой, а персонально мой? Открещиваешься, главный? Простая душа. Что на уме, то и на языке.

— Андрей Андреевич, вы сегодня не в духе.

— Нет в духе. В злом духе, дорогой товарищ. И скрывать этого не намерен. Наоборот, хочу довести до твоего сознания, что и ты в этом во многом повинен. Я недоволен твоей позицией, главный. Тащил воз на крутую гору в одной упряжке. И вот ты на самой опасной крутизне взваливаешь на меня одного всю тяжесть и норовишь освободиться от хомута.

— Давайте уточним мою позицию в этом вопросе, Андрей Андреевич.

— А чего уточнять? Все ясно как божий день.

— Нет, не ясно!.. Скажите, почему вы в одиночку сочинили эту квартирную инструкцию? Почему не сочли нужным хотя бы проинформировать меня о сути дела? Я уж не говорю посоветоваться. Молчите? Я за вас отвечу: вы были уверены, что я вынужден буду вас поддержать даже в том случае, если внутренне не согласен с вами.

— Попал пальцем в небо!.. Я не нуждался в твоей поддержке. И не обязан был тебя ставить в известность об этом мероприятии. Квартирные и бытовые дела не твоя стихия.

— Почему же теперь, после конфликта с горкомом, вам понадобилась моя поддержка?

— Потому что эти горкомовские говоруны ухитрились из мухи слона сделать. И речь идет не о формальной поддержке, не волнуйся, я как-нибудь сам себя поддержу в драке с Колесовым. Мне обидно, дорогой товарищ, что ты меня предал. Ты, кому я доверился, кого тащил за уши все выше и выше...

— Вы неосторожно обращаетесь со словами, Андрей Андреевич. Когда я вас предал? Где? Кому?

— Мою квартирную инструкцию, приказ, которым должен руководствоваться коммунхоз, читал?

— Да, ознакомился...

— Согласен с ней?

— Нет. Ваш приказ противоречит и букве и духу советских за-

конов. Он негуманный. От него попахивает местничеством, произволом.

— Ты, кажется, мораль мне читаешь? Очнись!.. Ты уже давно не секретарь парткома, а только главный инженер.

— Я был и остаюсь коммунистом, Андрей Андреевич..

— Вот что, дорогой товарищ, немедленно отправляйся в первый мартен. Бери Головина за шиворот, тычь носом в прорыв и добивайся решительного перелома!

— Я не способен кого бы то ни было хватать за шиворот. Тем более талантливого инженера Головина..

— Какой он талант? Медная тарелка, отражающая золотой свет легендарного отца. Дезорганизатор — вот кто он такой. Во всех грехах первого мартена повинен только он, Головин. С него и спрос.

— Нет, Андрей Андреевич. Мы с вами тоже не безгрешны. В обязательствах, принятых на девятую пятилетку, мы должны были еще в прошлом году коренным образом реконструировать тылы мартенов — колоннаду, хранение и разделку скрапа, — установить дополнительные и более мощные прессы, мостовые и магнитные краны, заменить старые завалочные машины новыми. Мы этого пока еще не сделали и, стало быть, на какое-то время подорвали позиции мартеновцев.

— Ах вот как! Стал адвокатом Головина? Продолжай, дорогой товарищ. Пожалуйста.

— Положение в первом мартене, конечно, можно временно, на два-три дня, выправить. Хватаньем за шиворот мастеров, начальников смен, бригадиров, сталеваров. Но это не стратегия, не политика дальнего прицела в борьбе за девятую пятилетку, а отчаянное, жалкое крохоборство. Положение первого и других мартенов надо менять кардинально, как и положено в век научно-технической революции.

— Что ты говоришь, главный? Да как у тебя язык поворачивается? Кто как не ты должен был быть застрельщиком и проводником этой самой революции?

— Я не снимаю с себя ответственности, Андрей Андреевич. Оплошал. Вместе с вами. Понадеялся вслед за вами, что одолеем крутой подъем по инерции, с хорошего разгона восьмой пятилетки. На легке. Кавалерийским наскоком. С малыми затратами энергии и капиталов... Андрей Андреевич, наберемся мужества и признаем, что мы с вами просчитались. Собственно, мы в этом уже признались, перестроившись на ходу, реконструируя тылы мартенов в пожарном порядке..

— Сам себя, дорогой товарищ, заголив исподнее, истязаете при всем честном народе. Ну что ж, истязай. Но меня в свою компанию не тащи. Вот так. А теперь, главный, слушай мою команду. Отправляйся к Головину и добивайся немедленного, решительного перелома!

Воронков долго молчал, потом, глядя на директора кроткими глазами, твердо сказал:

— Вы хотите, чтобы первый мартен стал полем моего поражения. В этом случае вы быстро и легко докажете министерству, что я никудышный работник, не оправдал надежд, и добьетесь моего понижения или перевода на другой завод. Слишком это хлопотно для вас. Я ускорю развязку: подам заявление об уходе.

— Дудки, дорогой товарищ! — закричал Булатов и грохнул по столу кулаком.—Только с мертвецов снимают ответственность. Я сегодня же доложу министру о твоем истерическом припадке. А пока ты обязан работать!

— Докладывайте! Мне теперь все равно. Дальше родного прокатного стана не пошлют. Бросайте рыбу в воду.

— Бросим, но раньше жабры вырвем. Без партбилета останешься. Об этом ты не подумал, главный?

— Руки у вас длинные, Андрей Андреевич, но коммунисты комбината разберутся что к чему.

— На поддержку Колесова рассчитываешь? На его неприязнь ко мне?

— На его партийность рассчитываю. На глубокое знание обстановки на комбинате.

— А что, если твоя судьба решится там, на небесах, а не здесь, на земле? Такой вариант не исключен. Тебя все поддерживают, пока ты главный. Станешь ничем — многие от тебя отшатнутся. Может быть, и Колесов...

Надо было оборвать тяжелый разговор. Но Воронков не в силах был этого сделать. Ему хотелось выговориться до конца.

— И до того как я стал главным инженером, я не чувствовал себя ничем, — сказал он. — И после того как уйду с должности главного, тоже останусь человеком... Ну что еще вам сказать на прощание?

— Пожалуй, хватит. Будь здоров, бывший главный. Любовь, как говорится, была без радости, разлука будет без печали... В последний раз спрашиваю: будешь работать?

— С вами, Андрей Андреевич, — ни при каких обстоятельствах. Не хочу! Не могу! У нас, как говорят социологи, психологическая несовместимость!..

Теперь все. Воронков, не глядя на Булатова, молча и быстро вышел из директорского кабинета.

Домой он не поехал. Остановился около горкома в надежде застать Колесова. Василий Владимирович часто и по вечерам работает. Не хватает ему дня.

Лифт бездействовал. На пятый этаж пришлось подниматься пешком. Два раза отдышал. Сердце бешено колотилось.

Колесов был один. Сидел за столом и читал. Не спросил, что именно привело Воронкова к нему в такой поздний час. Кивнул на кресло, улыбнулся и сочувственно сказал:

— У тебя такой вид, будто ты из преисподней выскочил.

— Так оно и есть. Только что выяснял отношения с Булатовым. Все выложили, что думали друг о друге.

— Да, я знаю. Мне звонил Булатов.

— Уже?.. Ну и стратег!

Воронков изложил все, как оно было на самом деле.

— Не надо было говорить об отставке, — сказал Колесов. — Поставил себя в крайне невыгодное положение и невольно усилил позиции Булатова. Честно говоря, не ждал от тебя капитуляции.

— Никакой капитуляции не было. Я дал Булатову бой.

— Не обольщайся. Ты дал ему в руки сильный козырь. Теперь он доложит министру: Воронков — дезертир. Ты не имел права оставлять поле боя.

— Я и не думал его оставлять. Воюю...

— Без оружия в руках?

— Почему без оружия?

— Да ты пойми, раз добровольно покидаешь комбинат в трудный для него час, ты уже не воюка.

Воронков молча вглядывался близорукими глазами в секретаря горкома и размышлял. Никогда он не считал, что поступает и мыслит лучше всех. Не боялся объявить себя несведущим в том или ином

вопросе. И делал он это с легким сердцем, порой даже смеясь над собой. Так, мол, и так, братцы-инженеры! Я попал впросак. Прав оказался товарищ такой-то, честь ему и хвала, а мне стыд и позор. Так поступил он и сейчас. Снял очки, протер кусочком замши, сказал с беззащитной улыбкой, улыбкой доверчивого, простодушного ребенка:

— Пожалуй, Василий Владимирович, я погорячился... Да, это точно!

— Я думаю, тебе надо завтра же ясно и определенно сказать Булатову, что ты остаешься работать.

— Согласен! Буду действовать в таком духе...

На другой день после тяжелого разговора Воронкова с Булатовым я оказался в директорском кабинете. Не по своей инициативе.

Булатов достает из нижнего ящика стола пачку бумаг, перевязанную шпагатом, бросает на стол:

— Полюбуйтесь, дорогой товарищ!

— Что это?— спрашиваю я.

— Письма от моих безвестных недругов. Анонимщики ломают директору ребра, «вправляют мозги», шельмуют, клеветают. Желаете послушать какое-нибудь послание, написанное слюною бешеной собаки?

— Ну зачем же, Андрей Андреевич?

— Нет, я прочту! Вы должны знать, как меня оскорбляют.

Булатов наугад выдернул из пачки оранжевый конверт. Извлек из него тетрадочный мелко исписанный листок и без всяких комментариев, скороговоркой, временами глотая слова, прочитал:

— «Неуважаемый директор! Пишет вам один из тех, кого вы оскорбили и унизили. Боюсь напомнить, где и когда это было, — можете отыгаться на моей спине. Да, вы человек мстительный. Никому и нигде от вас нет пощады. Пользуетесь властью, данной вам, снимаете головы тем, кто вас хоть как-нибудь покритиковал или чем-то не угодил вашему ндраву. Но недолго вам осталось владычить. Подходит пенсионный возраст...»

— Хватит! — остановил я его. — С какой целью вы демонстрируете этот хлам?

— Гм!.. Не согласен, дорогой товарищ. Это не просто хлам. Загрязнение политической и нравственной атмосферы комбината ядовитыми испарениями клеветы и надругательства над личностью. — Он слегка пристукнул кулаком. — Я знаю, чья это работа!

— Да?.. Чья же?

— Колесова!

— Ну что вы, Андрей Андреевич! Почему вы так думаете? Какие у вас основания?

— Весь комбинат знает, как ваш воспитанник и преемник относится ко мне. Пример заразительный. Глядя на него и другие распоясались... Все, кому я наступил на мозоль, так или иначе ущемил, когда этого потребовали интересы дела...

— Я решительно отвергаю ваши подозрения. Уверен, Колесов не имеет к анонимкам никакого отношения!

— Я настаиваю!

— Очень жаль... Подойдем к этому вопросу с другой стороны. Содержание анонимок, их количество вас не встревожило?

— Дорогой товарищ, за кого вы меня принимаете? Я не кисейная барышня из института благородных девиц. Я — Булатов! Прошел огонь и воду. С малых лет хлебнул всякого лиха — на всю жизнь

закалился. Плевки анонимщиков отскакивают от моей бронированной шкуры, как резиновые мячики!

— Я удовлетворен вашим ответом. Вопросов больше не имею.

— Видали?! Слыхали?! Да как вы со мной разговариваете, дорогой товарищ? Я к вам всей душой как к секретарю обкома, а вы... тоже мне прокурор нашелся!

— Я с вами разговаривал как с коммунистом, состоящим на учете в одной из парторганизаций нашей области. И только! До свидания!

И я покинул кабинет Булатова. Пришел по его приглашению поговорить — и вот что получилось...

Я сидел в большом зале центральной лаборатории на собрании актива — шло обсуждение проекта нового комбината — и слушал Булатова. Директор даже сейчас счел уместным, общественно полезным обрушиться на первый мартен и его начальника Константина Головина.

— Плохо работаете, дорогой товарищ... Если бы Иван Григорьевич Головин встал из могилы и посмотрел на вас, он сказал бы, что вам нельзя доверить даже суп варить, а не то что стали!..

Я был потрясен, услышав эти беспощадные слова. А каково Константину?

Руководитель любого ранга, с самым большим стажем руководящей работы, проводя совещание или оперативку, каждый раз как бы держит перед коллективом, во главе которого стоит, экзамен на политическую и нравственную зрелость. Отсюда вывод: всегда будь готов к такому экзамену. В каких бы чинах и званиях ты ни был, обязан все время совершенствовать себя как человека, подниматься все выше и выше в отношениях с людьми. Истинный коммунист — это всегда и настоящий человек. Знает ли это Андрей Андреевич Булатов? Сомневаюсь...

Жаль, что ни секретарь парткома, ни кто-либо другой — хотя бы даже и я — не вышел на трибуну сразу после его выступления и не сказал примерно так: «Представим, товарищи, себе, что покойный Иван Григорьевич Головин действительно оказался среди нас. Думаю, он сурово посмотрел бы на товарища Булатова и сказал бы ему: «Не имели вы никакого права вкладывать в мой уста слова, оскорбляющие рабочее достоинство сталеплавильщиков первого мартена. Будь я директором и в этой пятилетке, я бы не допустил, чтобы первый мартен попал в прорыв. А если бы все-таки такое случилось, я бы разделил ответственность с начальником цеха и все силы комбината бросил бы на помощь первому мартену. Вот так, Андрей Андреевич!»...»

Кто-то трогает меня за плечо. Оборачиваюсь и вижу Егора Ивановича. Пушистая, белая, как одуванчик, голова. Розовощекое лицо. Молодой блеск в глазах. Забыл все свои обиды. Друг, как и раньше.

— Ты что, Саня, невеселый? Радоваться должен! Такое событие — второе рождение комбината! Грандиозный проект!

— Была и радость. И печаль. Все было. Ну и Булатов! Ну и отмочил!

Сидим в самом заднем верхнем ряду и тихонько разговариваем.

— Мне тоже не понравилось, как Булатов брякнул про Головина. Столкнул живого сына с мертвым отцом. Запрещенный прием. Бесчеловечный. Подорвался Булатыч, это самое, на собственной мие. После его выступления я хотел вылезти на трибуну и высказаться. Вовремя одумался. Я один на один во время перерыва выложил ему все, что он заслужил... Все, голубчик, проглотил, съедобное и не-

съедающее. Ты, Андрюха, сказал я ему, это самое, хороший инженер-производственник, но никудашный инженер человеческих душ. Это точно. Ты сегодня не критиковал Головина, а мордовал. И тебе кажется, делал это для блага комбината. Чепуха на постном масле. Зablуждаешься. Да как же Костя может после таких разносных слов за план бороться? Ты, Андрюха, будто бы руками Головина-отца раздел Костю догола и высек розгами, обесчестил, лишил сил, человеческого достоинства.

— Так ты и сказал?

— А чего церемониться!.. Он же мой бывший ученик, как ты знаешь. Высоко взлетел, а для меня остался Андрюхой.

— Ну и что ты еще ему сказал?

— Все, что накипело. Я твой первый мастер, Андрюха. Первый твой учитель. Твой друг. И потому имею право раскрыть тебе глаза на самого себя. Смотри, это самое, как бы люди не стали думать и говорить, что ты попал не на свое место!

— Ну а он?

— Не ждал от меня таких речей. Взвился, это самое, на дыбы. Ладно, пусть пострадает. Разве Косте было легче, когда над ним свистели розги? Я ему сказал еще и такие слова. Всю жизнь тебя, Андрюха, учили уважать, любить человека, ценить его достоинства, а ты... чугунок, кокс, сталь, прокат да огнеупор заслонили тебе людей.

— Все правильно. Точно!

— И ты, Саня, должен вправить ему мозги.

— Да, Егор Иванович, должен!

После того как актив закончился, я подошел к Булатову, прямо и резко сказал ему:

— Хороший был бы у вас доклад, Андрей Андреевич, чистый мед, если бы не ложка дегтя.

— Вы насчет чего, дорогой товарищ?

— Вы позволили себе выпад против Константина Головина от имени его мертвого отца. Будь я на месте Константина, я бы вышел на трибуну в конце собрания и сказал: «Вы не имели права выступать от имени моего отца, он не давал вам таких полномочий».

— Для пользы дела вынужден был так сказать.

— Медведь, который хотел согнать с лица мужика муху и хлопнул его по лбу камнем, тоже думал, что действует мужику на пользу....

— Ну знаете, дорогой товарищ!.. Сравнили! Вы что, против критики и самокритики?

— Ничего-то вы не поняли...

— Понял! Но не принимаю ваших окриков. На кого нападаете, дорогой товарищ? Кого одергиваете? Разве я личные счета свожу с Константином Головиным? Критикую за плохую работу. От имени министерства, которое назначило меня директором комбината. От имени партии, народа. Вот какое у меня право! И делаю это с чистой совестью...

Продолжать разговор с Булатовым было бессмысленно.

Я вернулся в гостиницу, позвонил в обком, поговорил с Федором Петровичем, поужинал и сел за письменный стол — отчитаться перед самим собой за прожитый день. В дверь постучали. Вошел Колесов и прямо с порога начал:

— Невмоготу перемалывать мысли в одиночку. К вам вот явился. Поговорить. Я прямо-таки взбешен выпадом Булатова против Головина!

— Скажите, Василий Владимирович, в своем конфликте с ним вы считаете себя абсолютно правым?

— Безусловно!

— Почему же в таком случае не обсудить позицию Булатова на бюро горкома?

— Я думал об этом, советовался с рядом товарищей... Не все члены бюро разделяют мою точку зрения.

— И сколько их, не согласных с вами?

— Булатов. И секретарь Октябрьского райкома Левыкин.

— Левыкин считает Булатова во всем правым?

— Нет, не считает... Но он очень уж уважает чины и звания Булатова. Боится, как бы сверху не вступились за него и не обвинили бюро горкома в склоке, в подсиживании директора...

— И эта гнилая позиция Левыкина вынудила вас не ставить на бюро вопрос о непартийном отношении Булатова к постановлениям горсовета, к указаниям горкома?

— Нет, не вынудила... Я не терял надежды, что Булатов одумается.

— Вы и теперь на это надеетесь?

— Нет, не надеюсь.

— И какой следует вывод? Булатов остался глух к тому, что говорили ему каждый в отдельности секретарь горкома, председатель горсовета, секретарь парткома комбината, секретарь обкома. Придется убеждать его хором! Итак, Василий Владимирович, будем готовиться к бюро...

Он появился в затихшей, будто обезлюдившей гостинице среди ночи. Галстук съехал набок. Волосы взлохмачены. Лицо выбелено до синевы. Смотрел на меня беспокойными, вроде бы затравленными глазами, но говорил требовательно, даже категорически:

— Потолковать надо, дорогой товарищ!

— О чем? — спросил я как можно спокойнее.

— Обо всем, что клопочет вот здесь! — Он ударил себя в грудь кулаком.

— Стоит ли зря тратить силы? Не лучше ли поберечь их для бюро горкома...

— Там будет особый разговор... Сейчас я хочу потолковать с тобой без протокола, стенограммы и магнитофона. По-дружески. Начистоту...

Рвется в бой. Ну что ж...

Я лежал в кровати с книгой в руках, в одних трусах — ночь была жаркой, душной. Последние слова Булатова заставили меня подняться. Надел пижаму, включил верхний свет, сел на диван, закурил, предложил сигарету гостю. Он резко отодвинул мою руку.

— Ты же знаешь, я не терплю этой гадости!

— И я когда-то не терпел. Вынудили обстоятельства...

— Нет и не будет таких обстоятельств, которые заставили бы меня изменить себе!

— Хорошие слова. Прекрасные... Но ведь ты уже изменил себе. Передо мною не тот Андрей Булатов, которого я когда-то хорошо знал, уважал, любил. Ты предал мое доверие к тебе.

— Вот как! Всего, брат, ждал от тебя, но не такого...

— Я тоже многого не ждал от тебя. Куда подевалось все твое простое, сердечное, человеческое?

— Брось мораль читать!

— Без морали нельзя. Когда-то я чуть было не стал таким, как



ты. На самом краю пропасти удержался. И потому, побывав в твоей шкуре, имею право так разговаривать с тобой.

Булатов вскочил, затряс перед моим лицом волосатыми кулаками.

— Какая, по-твоему, у меня шкура, черт возьми? Говори!

— Скажу!.. Только ты сядь, пожалуйста... Ты самый умный человек на комбинате. Самый дальновидный. Самый принципиальный. Самый преданный. Больше всех болеешь за комбинат. Единственный. Незаменимый. Таким ты видишь себя. А на самом деле?.. Сиди смиренно, иначе разговор не состоится.

— Извини. Пожалуйста...

— Ты по заслугам занял пост директора крупнейшего комбината. И до поры до времени был на должном уровне. А потом? Чем больше ты получал власти, тем бесцеремонней пользовался ею и лениво, неохотно, а иногда с явной досадой прислушивался к мнению других...

— Начало многообещающее. Давай, дорогой товарищ, выговаривайся до конца. Интересно взглянуть на самого себя чужими глазами.

— Мои глаза не чужие. Я, может быть, в большем ответе за тебя, чем ты сам за себя. Потому-то я и непримирим к твоим недостаткам.

— Правильно рассуждаешь, как и положено секретарю обкома. Продолжай! И не сердись на реплики. Без них в моем положении не обойдешься. Да и тебе они необходимы: разжигают неприязнь к Булатову...

— Ты сознательно или бессознательно поставил себя над коллективом трудящихся и присваивал себе победы, за которые днем и ночью в течение нескольких лет борются семьдесят тысяч человек. Такой поступок, мягко говоря, безнравствен.

— Грабежом это называется, — усмехнулся Булатов.

— Грабителей мы судим. Уверенно, с легким сердцем, без угрызений совести. Таких же людей, как ты, с неоспоримыми заслугами в прошлом, могущих быть полезными государству и в настоящем и только по их собственной слепоте ставших вредными, мы, увы, судить не научились. Даже распознавать булатовщину как следует мы еще не умеем.

— Булатовщину!.. Здорово сказано. Спасибо за оказанную честь.

— Пойми, пока не поздно, что тебя выдвигали и награждали как человека, причастного к мировому комбинату. Свет его величия упал на тебя, а ты вообразил себя великаном, решил, что тебе все дозволено. Устранил с дороги всех, кто не превозносил тебя.

— Лодыри, разгильдяи давно зубы на меня точат.

— Разве доменщики Крамаренко, отец и сын, разгильдяи? Разве инженер Колокольников лодырь?

— Личные счеты сводят...

— Постыдись! Лучшие люди города спрашивают партком, горком, обком: доколе коммунисты будут терпеть произвол директора комбината?

— Будь правдой все, что ты сейчас наворотил, министерство давно бы выпихнуло меня на пенсию. Выполняю и перевыполняю планы — потому и держат директором.

— Какой ценой выполняешь? В сводном приказе по комбинату на этот год ты запланировал доменщикам давать энное количество технического кислорода. Действовал якобы вполне в духе научно-технической революции, в духе требований Двадцать четвертого

съезда партии. Ну а что вышло на деле? Доменщики не получили почти половины обещанного тобой кислорода. Ты подвел их, что называется, под монастырь. Если бы ты проявил настоящий директорский характер, такой, какой был у Головина, Завенягина, Лихачева — воспитанников Серго Орджоникидзе, ты бы не оставил домены без достаточного кислородного дутья. Поднял бы тревогу во всех инстанциях и добился своего: выполнил обязательства, данные доменщикам. Это аморально, безнравственно — самому не делать того, чего требуешь от других. Ты не захотел добиваться в министерстве оборудования для нового блока кислородной станции из-за боязни попортить репутацию всемогущего директора, для которого не существует трудностей, который умеет добывать металл не только из руды, но и из мыльных пузырей и даже из пота терпеливых энтузиастов. Ты дорожишь дешевой славой фокусника. Вместо научно-технической революции — штурмовщина, сиюминутная выгода. Только бы сейчас, пока ты директор, хорошо работал комбинат. После тебя же — хоть потоп. Вся твоя энергия направлена сейчас главным образом на то, чтобы выиграть битву с Колесовым, Колокольниковым, Крамаренко, Головиным, Воронковым, Батмановым, Голотой...

Я замолчал. Взял новую сигарету, закурил. Не спешил говорить дальше. Булатов терпеливо ждал. Был почему-то уверен, что я не высказался до конца. Я курил и молчал.

— Жить с мертвой душой, быть ходячим трупом, пусть даже весьма уважаемым, по-моему, куда страшнее, чем умереть физически!..

— Все? — спросил Булатов.

— Пока все. Послушаю тебя.

— Вот что я тебе скажу, дорогой товарищ. Был я директором и останусь, несмотря на ваши с Колесовым козни. Не свалите. Надорветесь!

— Никто не собирается тебя сваливать, Андрей.

— Нет, собирается... Ну да ладно! Спасибо за откровенность, секретарь. Договорились, можно сказать, до твердого знака. И я буду откровенным. Спелся ты с Колесовым. В два рога трубите, травите серого волка...

— Ах, Андрей, ничего не желаешь понять...

— Тебя и Колесова не понимаю. Не хочу! Не могу!

Раздался настойчивый длительный телефонный звонок. Междугородный! Я снял трубку:

— Вас слушают.

— Товарищ Голота?.. С вами будет говорить секретарь ЦК...

После небольшой паузы послышался хорошо знакомый мне голос:

— Здравствуйте, товарищ Голота. Извините, что так поздно беспокоил. Я звонил в обком. Федор Петрович проинформировал о вашей деликатной миссии. Ну как, разобрались?.. Меня прежде всего интересует Булатов. Дело в том, что и в наш адрес поступило немало писем с жалобами. Судя по всему, он немало наломал дров.

— Да. Безусловно. Факты подтвердились...

— И что вы намерены предпринять?

— Пригласим на бюро горкома и постараемся поставить на путь истинный.

— Правильно! И предупредите, что в нашем государстве нет незаменимых. Доведите все это до его сознания. Поймет — хорошо.

Не поймет — тем хуже для него. До свидания. Позвоните мне сразу же после бюро...

Я положил трубку и посмотрел на Булатова. Он не мог слышать того, что мне было сказано, однако забеспокоился.

— С кем ты говорил?

— С одним из московских товарищей.

Он все прекрасно понял. Сползла с лица маска сильной личности. В углу дивана полулежал бледный, старый, очень несчастливый, очень больно человек. По совести говоря, мне стало жаль его.

Самые опасные болезни, утверждал Гиппократ, те, которые искажают лица.

Но ему и лежачему, к сожалению, досталось немало. К концу нашего разговора забежал на мой огонек Тихон Николаевич Колокольников. Я стал свидетелем мимолетного, но очень, очень важно для нынешнего состояния моей души разговора.

Встретились два человека, непримиримых друг к другу. И один и другой мгновение колебались: как поступить? Вышли из щекотливого положения, по-моему, с честью. Протянули руки, поздоровались. Забыли о том, что было между ними. Или сделали вид, что забыли. И это хорошо. Самое худшее в отношениях между людьми неглупыми, да еще не последними в ряду лучших — обида. Выяснить отношения, то есть самому высказаться до конца и терпеливо выслушать другого, — вот верный способ восстановить нормальное общение. Мне показалось, что именно на этот путь решили встать Колокольников и Булатов. Но я ошибся.

— Ну как твоя курортная жизнь, Тихон Николаевич? — спросил Булатов.

— Курорт есть курорт. А как ты директорствуешь?

— По-прежнему...

Надо бы им теперь себе на благо разбежаться в разные стороны. Но они стояли и бесстрашно смотрели друг на друга. Дуэлянты! Колокольников вдруг обратил внимание на маленькую геройскую звездочку, приколотую к лацкану директорского пиджака.

— Красивая штука, — сказал он. — Блестит, как новенькая. Можно потрогать?

Булатов почему-то смутился. И даже чуть отступил на шаг.

— А зачем? У тебя у самого имеется такая же...

— Есть. Но моя не похожа на твою.

И Колокольников уже без доброго согласия Булатова не только потрогал звездочку, но и взвесил на ладони и осмотрел обратную сторону. Так был стремителен и настойчив, что Булатов не успел или постеснялся оказать сопротивление.

— А ведь она ненастоящая, — сказал Колокольников. — Самодельная. Из консервной жести сварганена. Сусальное позолочена.

— Ты прекрасно знаешь, что у меня есть настоящая.

— Знаю. Но почему ты ее, настоящую, не носишь?

— Цепляешься золотыми лучами даже за округлые выступы. Боюсь потерять. Дубликат не выдадут...

Колокольников, ни секунды не раздумывая, отпарировал:

— Ты ее, настоящую-то, уже давно потерял. И сам этого, бедолага, не заметил!

Сказал и отвернулся, потеряв к собеседнику всякий интерес...

Долго в эту ночь я не мог уснуть. Все убеждал себя, доказывал, возмущался, спорил сам с собой... Забылся только под утро, когда пошел дождь. Почему-то на рассвете и под дождь слаще всего спится.

На другой день Булатов почувствовал сильное недомогание и вынужден был обратиться к медицине. Врачей он внешне почитал, но в глубине души не верил им. Особенно местным. С большой неохотой отдался им в руки. Обследование показало, что у него не в порядке желчный пузырь. Только и всего. Главный хирург комбинатской поликлиники уверил Булатова, что операция пустяковая. Андрей Андреевич слушал его, кивал, а сам, наверно, думал: «Нет, дорогой товарищ, тебе не придется резать меня. В Москву поеду...»

Истекал предотлетный час, последний час пребывания Булатова на родном комбинате. И вдруг стало ему почему-то страшно, тоскливо — до темноты в глазах, до холодной испарины на лбу. Чуть не грохнулся на пол там, где стоял, — посреди кабинета. Бледного, с перекошенным лицом, с мутным взглядом, его подхватил Воронков, оказавшийся в кабинете, уложил на диван, расстегнул воротник рубашки, поднес к синим губам стакан с водой.

— Выпейте, Андрей Андреевич.

Отхлебнул с трудом, насилу проглотил, откинул голову назад, закрыл глаза и замер, прислушиваясь к себе. Воронков со стаканом в руках стоял около него.

— Что с вами, Андрей Андреевич? Приступ, да? Какого врача вызвать? Может, «скорую»?

Булатов поспешно открыл глаза, быстро, почему-то шепотом сказал:

— Никаких врачей!.. Пройдет. — Помолчал, виновато, краем рта улыбнулся, вернее попытался улыбнуться. — Извини, Митя...

Никогда прежде не называл его так Булатов. Что это? Невольная в минуту слабости оговорка? Или запоздалое признание своей неправоты в недавнем ожесточенном споре?

— За что вы просите извинения, Андрей Андреевич? — спросил Воронков.

— Ну как же... Свалился тебе на голову со своими болезнями.

— Что вы! Со всяким может случиться...

— Нет, я не об этом. Не перед тобой бы мне показывать себя таким слабаком. И не тебе бы поддерживать меня, когда я падал... Воронков смутился, покраснел.

— Не надо сейчас об этом... Лежите спокойно.

— Нет надо! Когда же как не теперь сказать правду? Вчера было рано, завтра будет поздно. В самый раз — сегодня! Прости, Митя! Я часто был несправедлив к тебе. Понимал, что поступаю плохо, но ничего с собой поделать не мог. И не только с тобой был не прав. Виноват и перед Костей Головиным. Так ему и передай. Вот пока и все. Остальное доскажу потом... если, конечно, жив буду...

— Что вы, Андрей Андреевич! Операция пустяковая. Самая заурядная.

— Так-то оно так, конечно, но... всякое бывает. Эх, видит бог, как мне не хочется в Москву!

Воронков глянул на часы.

— Вы, разумеется, сегодня уже не полетите?

— Да, отложим до завтра. Распорядись насчет заказанного билета и всего прочего, пожалуйста...

Впервые слово «пожалуйста» прозвучало по-человечески просто, искренне.

Но и на другой день Булатов не улетел. Немилосердная тоска сжимала сердце. Белый свет был ему не миа. Со дня на день откладывался отъезд. Две недели кряду. Наконец решился — улетел.

На яркий огонек, горевший в нижнем этаже бывшего головинского дома, в угловой комнате с большим итальянским окном, забрел Воронков.

— Ты что это, полуночник, в такое время по гостям шляешься, хозяевам спать не даешь? — спросил я.

— Прошу прощения... Но я не мог не повидать вас. Такое дело...

— Случилось что-нибудь?

— Должно случиться завтра. Я решил данной мне властью, властью врио директора, одним ударом разрубить старый гордиев узел.

— Какой узел, Митяй?

— Нацелился снести с лица земли загазованный поселок и предоставить его жителям квартиры в только что отстроенном доме по улице Суворова.

— Хорошее дело. Нормальное...

— Вы, кажется, имеете намерение заземлить мой героический поступок?

— Пусть тебе не кажется. Так оно и есть на самом деле.

Говорили мы весело, вроде бы шутили, но оба понимали, что разговор далеко не шуточный.

— Не могу с вами согласиться. Чувствую себя героем. Я же временно исполняющий! И действую наперекор постоянному. Булатов, узнав о моем самовольном решении, взвзвывается на дыбы.

— Колесова поставил в известность о своем намерении стереть с лица земли загазованную станицу?

— Конечно! И получил благословение.

— И все-таки!.. И тем не менее!.. Эх, Митяй, Митяй! Замахнулся на хорошее дело и дрогнул.

— Нисколько не дрогнул. Ни на волосок!

— Зачем же тебе понадобилось наше с Колесовым благословение?

— Но я же не анархист. Я привык все важные дела делать в тесном контакте с партийным комитетом.

— Сейчас тебе нужен не наш с Колесовым совет, а поддержка в случае, если Булатов взвзвывается на дыбы.

Приуныл, помрачнел Воронков.

— Допустим, так оно и есть, как вы говорите. И все равно я не вижу ничего плохого в своем поступке.

— И правильно делаешь, что не видишь. Не об этом речь. Хороший, в общем, ты молотобоец, однако еще не отковал до конца характер. Говорю это не в осуждение.

— Осуждайте!.. Так оно и есть...

— Не огорчайся, Митяй. Это дело поправимое. Теперь ты обретаешь свободу, самостоятельность и сможешь полностью проявить себя как руководитель комбината.

Воронков стал пунцовым. За выпуклыми стеклами очков грозно заблестели глаза.

— Извините, но я вынужден сказать, что это ненужный разговор! Я временный руководитель. Директор — Булатов. Приказа министра о его отстранении нет и не предвидится. Он, надеюсь, выздоровеет и приступит к работе.

— Митяй, твои сильные очки искажают предметы. И людей. Плохо ты разглядел Булатова перед его отлетом в Москву. Он неизлечимо болен.

— Неужели?

— Нет, у него не то, о чем ты подумал. Пострашнее. Душевная

депрессия, вызванная одиночеством, отчуждением от людей. Физически он, возможно, и выкарабкается, а вот нравственно обречен. И он это осознал. Улетая в Москву, вручил Колесову заявление с просьбой об отставке. И министру об этом же написал. Как видишь, проблему нового директора я не притянул за волосы... Ну ладно. Мы с тобой забрели не на ту улицу, где стоит новенький дом, предназначенный для жителей загазованного поселка. Пора вернуться на нее. Итак, ты хочешь переселить людей в благоустроенные жилища. Ну что ж, Дмитрий, и я вслед за Колесовым благословляю твое решение. Думаю, что и все одобряют твой первый «дерзкий поступок» в роли врию директора комбината. Хорошо начинаешь. Честь директорскую бережешь смолоду.

— Собственно, первый мой «дерзкий поступок» фактически не первый, а второй. Я уже отменил булатовский приказ-инструкцию о делении трудящихся комбината на «наших», достойных жилплощади, и «не наших», обязанных платить калым за предоставляемое им жилье...

— И сделал это без благословения Колесова?

— Обошелся и без него. На свой страх и риск отменил.

— Гм! Вон оно как. Выходит, что я малость ошибся насчет того, что ты не до конца выковал свой характер...

— Нет, нисколько не ошиблись. Я действительно должен еще ковать и ковать себя.

За такие слова мне хотелось крепко обнять своего соратника, но я сдержался.

В солнечный, хороший день переселялась старая-престарая станица. Я с удовольствием принимал участие в этом переселении. Выколотил у Воронкова транспорт, позаботился о том, чтобы в новом доме на улице Суворова не оказалось недоделок, чтобы убрали с тротуаров строительный мусор, чтобы были заасфальтированы дорога и боковые подъезды к новому жилью.

Был я в поселке и в тот самый момент, когда жители грузили свои немудреные пожитки на машины. Видел, как люди прощались с родными гнездами, как плакали, как смеялись, как пили водку, как на больших кострах жгли барахло, накопленное веками.

Шумно, весело, печально, тревожно, многоголосо.

Были старые собаки, предчувствовавшие свою неприкаянность. Темные и светлые дымы поднимались над бывшей станицей, доживающей свой последний день. На северной окраине поселка уже гудел бульдозер, рушивший ближайшие к шлаковой горе, опасные в пожарном отношении строения: сараи, навесы, ветхие казачьи курени, построенные в незапамятные времена. Голуби стаями носились в стороне от домов, там, где небо было чистым.

Кто-то прекрасным контральто затянул старинную казачью песню о седом Яике. Ее никто не подхватил. Она была заглушена грохотом бульдозера и грузовиков.

Почти все время, пока станица поднималась на новое местожительство, я провел во дворе бабушки Матрены, у которой жила Федора Бесфамильная. Как ее ни упрашивали сын и невестка переехать к ним — не согласилась. «Вам, мои дорогие молодожены, — говорила она, — и мне, вашей матери, сейчас хорошо. Отдельно, самостоятельно живем. Не командует невестка свекровью, свекровь невесткой. Но как только сойдемся под одну крышу да за одним столом начнем харчеваться, непременно разлюбим друг друга. Так что давайте, дорогие мои, жить каждый в своем царстве-государстве».

Однако, несмотря на такое заявление, она чуть ли не каждый свой выходной день бывала у сына, помогала невестке, нянчилась с внуком. Вечером всегда уходила к бабе Матрене. Ни разу не осталась ночевать. И никогда не делала того, чего ей не хотелось. Сама себе выбирала работу. Со своим хлебом, колбасой, яйцами или куском вареного мяса приходила в гости к сыну. Ни единого рубля от него не взяла, а свои деньги Сенечке всучить пыталась.

Матрена получила ордер на однокомнатную квартиру на первом этаже. Она пригласила Федору жить вместе с ней. Привыкла, по ее словам, к временной постоялице, не хочет разлучаться. Федора с радостью согласилась переехать в новый дом. Матрене, по-моему, лет сто. Или около того. А может быть, и перевалило за сто. Всех старше в поселке. Глаза слезятся. Во рту, глубоко запавшем, ни одного зуба. Волосы не седые, не белые, а ржаво-серые. Все лицо в морщинах. Голосок тоненький, скорее детский, чем старушечий.

Я помогал женщинам упаковывать их убогий скарб, грузить на машину. Предусмотрительно запаса и полусладким малохмельным вином. После того как дровня, с покосившимися стенами и прогнившими полами и балками хижина опустела, я достал из-под переднего сиденья «Жигулей» черную и теплую, с серебристой головкой бутылку, откупорил, сел на ступеньки еще живого крылечка, пригласил сесть рядом с собой переселенок и сказал:

— По такому поводу, товарищи женщины, не грех промочить горло святой водичкой.

Налил в бумажные стаканы теплой шипучки. Один оставил себе, два дал Федоре и бабе Матрене. Застеснялись, заулыбались, но выпили. И второй раз осушили стаканы. Малость охмелели. Стали говорливыми. Федора балагурила, а баба Матрена неожиданно расплакалась:

— Да куды же я, стара дура, собралась?

— В новую жизнь, бабушка! — со смехом ответила Федора. — В новое счастье!

— Какая там, к дьяволу, жизнь? Белый свет скоро перестану видеть. Зачем мне, старухе, срывать с своего корня? Вся моя жизнь тута, в энтот подворье, прошла. Родилась вот под энтотой самой крышей. И матушка моя тут же, в энтих стенах, зачинала жизнь. И бабушка. А прадед мой в войсках Емельяна Пугачева сражался. Дед отсель уходил Наполеона и Париж покорять. Все Прохоровы лежат тут, в станице, на погосте. А я... Давай, Федора, занимай мою квартиру, а я тут буду доживать...

— Что говоришь, ба? — возмутилась Федора. — Нельзя тебе здесь жить. Не положено по законам советской власти. Провалиться твоей станице надо в тартарары! Какое же ты имеешь право оставаться в этом аду? В рай должна переселяться. Он там, на Суворова, в новом доме. Окна во всю стену. Вода. Газ. Электрический свет. Отопление. Ванна. Нужник, извиняюсь за выражение, теплый. И платить за все это мало — как раз по нашему с тобой вдовьему карману. Поехали, бабуся!

Зря, выходит, напоил я бабу Матрену шампанским. Хотел как лучше, а получилось... Больше часа мы с Федорой уговаривали старую казачку покинуть обреченную станицу. И соседи ее нам помогали. В двадцать голосов убеждали ее переселиться. Все мы веселые, смеемся, а она плачет. Наконец Федора потеряла терпение, схватила свою старенькую подругу в охапку и понесла в машину. С этой минуты баба Матрена и присмирела...

Оперировали Булатова знаменитые в своей области врачи. Все прошло хорошо, без малейших осложнений. Но он этого не знал — был под наркозом. Сняли его со стола, уложили на каталку и увезли.

Когда через некоторое время дежурная медсестра заглянула в одиночную палату, больной лежал на спине, полуоткрыв рот, полный сверкающих золотом зубов, и сильно, как это бывает у здоровых мужиков, храпел. «Отдыхает. Вот и хорошо», — подумала она и, закрыв дверь, ушла. А когда снова вспомнила о спящем и вошла к нему в палату, Булатов уже не храпел. Лежал все так же на спине, тихий, застывший — от него и на расстоянии тянуло смертным холодом. Лицо затвердело, стало синевато-желтым. Русые волосы взбились хохолком. Морщины на большом лбу разгладились.

Булатов умер, не приходя в сознание. Во сне.

Мертвые, как говорят, сраму не имеют. И героями себя не выставляют. Не требуют почестей. И не переворачиваются с боку на бок в могилах, когда их там, наверху, поминают недобрым словом. И не умиляются, когда над ними ставят мраморные и гранитные памятники. Отдаются на волю тех, кто остался жить на земле. Живые выносят мертвым приговор — или беспощадно осуждают их, или вписывают их имена в золотую книгу истории. Да и то не сразу. После того как заглохнут траурные марши, увянут венки, выцветут алые ленты, высохнут слезы, забудутся прощальные речи, обветрит-ся и осядет земля на невысоком холмике...

Булатова хоронили там, где он всю жизнь проработал.

Гроб установили в большом фойе Дворца культуры металлургов. Красный шелк лент на венках пламенел среди цветов. Пахло свежей хвоей. Не умолкала траурная музыка.

Вот так, возможно, и я лежал бы холодный, отрешенный от всего, если бы не Егор Иванович, не Митя Воронков, не Костя Головин, не Федора Бесфамильная, не отец и сын Крамаренко, не Саша Людников и Валя Тополева, не Влас Кузьмич, не Василий Колесов, не Тихон Колокольников, если бы я не взглянул на мир, на себя с солнечной и ветреной вершины горы...

Тысячи людей прошли мимо красного гроба. В почетном карауле стояли начальники цехов, работники штаба комбината и министерства, близкие покойного.

Отдали последний долг Булатову секретарь горкома Колесов, врио директора Воронков, начальник первого мартена Головин и мой давний друг Егор Иванович. Само собой как-то случилось, что они в одно время встали по углам гроба — у изголовья справа Василий Владимирович Колесов, слева Дмитрий Воронков, у изножья Константин Иванович и Егор Иванович. Стоят друг против друга с опущенными глазами, с плотно сжатыми губами...

Когда умерший работал с тобой рука об руку, когда ты каждый день разговаривал с ним, знал все его привычки, вкусы, симпатии и антипатии, способности и недостатки, в этом случае его внезапный уход из жизни кажется тебе особенно трагичным, непоправимым ударом и по тебе, живому. Никому и в голову не придет обвинить тебя хотя бы косвенно в этой смерти. Но ты, самый строгий судья своих дел, мыслей и чувств, глядя на закостеневшее желтовато-бледное лицо Булатова, вдыхая запах увядающих цветов, в глубине души считаешь себя причастным к тому, что произошло. Кто знает, может быть, и не случилось бы такого, если бы он уехал в Москву в ином душевном состоянии — если бы не потерял веру в себя. Возможно, в тот памятный вечер, когда Булатов услышал от



тебя жестокую правду о себе, и надорвалась его жизненная основа — способность сопротивляться недугу.

Как порой бывает жестока чистейшая правда!..

О мертвых — хорошо или ничего... Не все знали эту древнюю нравственную заповедь, а если и знали, то не все ее исполняли... Много говорили о Булатове. Дома. На работе. На улицах. В трамваях и автобусах. Шепотом и в полный голос. До похорон. И после. И особенно в то время, когда он лежал в гробу, поставленном на высоком постаменте в громадном фойе левобережного Дворца культуры металлургов...

Похоронили Булатова на новом кладбище. Километрах в десяти от старого. Холмик свежего чернозема, окаймленный железной оградой, одиноко темнеет на просторной зеленой-презеленой, сильно затравеневшей поляне, у главной дороги, неподалеку от кладбищенских ворот. Отсюда не видно ни комбината, ни города. Но зато здесь много неба — высокого, безоблачного из края в край неба. Да на юге в знойном мареве проступает синий рубец суровых гор.

Разошлись все, кто провожал Булатова в последний путь. Остались я да Егор Иванович. И еще у могилы осталась женщина, одетая не по-летнему. Черный, наглухо застегнутый, с узким меховым воротником жакет. Черный шерстяной шарф на седеющей голове. Худая и темноликая, будто сошедшая с иконы, она зачем-то перекаладывает с места на место букеты цветов, расправляет широкие, с золотыми буквами красные ленты венков. Не плачет. Глубоко ввалившиеся глаза сухо блестят. Глядя на нее, почему-то думаешь, что вдовой она стала не сегодня, не вчера, а давным-давно, что все ее слезы запеклись в сердце... Подняла голову, посмотрела на меня.

— Можно поговорить с вами, товарищ Голота?

— И ты еще спрашиваешь, Оленька!

— Как же не спрашивать?! Теперь все пошло шиворот-навыворот. Вчера я была самой знатной дамой города, а сегодня...

— Ну что ты, — пытаюсь утешить ее, но она глуха к моим словам. И забыла, что мы много лет были на «ты».

— Не старайтесь скрыть правду. Она предстала предо мной в обнаженном виде. Так и должно было рано или поздно произойти... Не об этом я хотела с вами поговорить...

— Слушаю вас, Ольга Васильевна.

Егор Иванович при этих моих словах деликатно и поспешно зашагал прочь от нас по кладбищенской аллее. Вдова остановила его.

— От вас, Егор, у меня нет секретов. Вернитесь. И вы должны слышать, что я скажу...

Егор Иванович вернулся.

— Вот что я хотела сказать вам, товарищ Голота. И вам, Егор. Я и моя семья после смерти Булатова остались без единого рубля...

— Как?.. Неужели все деньги ушли на похороны, поминки? — спросил я.

— Не было у нас денег... Он выдавал мне по сто рублей. Да и то если просила. Сто рублей в месяц...

— А на сберкнижке?

— Сберкнижки я не нашла...

— Ничего не понимаю...

Она перевела взгляд на Егора Ивановича.

— И вам, Егор, ничего не известно?

Старик покраснел, сдержанно ответил:

— Ничего, Оленька, не ведаю. Мы с ним о деньгах никогда не говорили...

— У него, наверно, был еще кто-то, — тихо сказала она.  
Молчим.

— Вы и об этом ничего не знаете? — спрашивает. — Но я не о деньгах — я о его чести, совести...

Расплакалась, отвернулась от нас, села в поджидавшую ее машину и уехала.

Нам понадобилось много времени, чтобы прийти в себя. Глядя на рыхлый холмик, Егор Иванович тихо проговорил:

— Где твоя громкая слава? Почему ты при жизни заботился обо всем на свете, кроме одного — о доброй памяти в сердцах людей?..

Я мог бы, пожалуй, ответить на эти вопросы, но промолчал. Не нуждается Егор Иванович в моих словах. Сам все теперь понимает...

Мы покинули кладбище и поехали в «Березки». Весь вечер и ночь играли в шахматы, курили. Молчали. Кончали одну партию, начинали другую. И наконец выдохлись.

— Надо освежиться, — сказал Егор Иванович.

— Надо, — согласился я.

Мы вышли на улицу. Егор Иванович тяжело вздохнул.

— Чувствую, ты не сегодня, так завтра распрощаешься со мной, с городом, домами и улетишь к сыновьям и жене.

— Угадал, сенатор. Давно пора быть дома. Засиделся я тут...

— С кем же в шахматы буду сражаться? Эх, Саня, разбередил ты мне душу — и бросаешь одного.

— Как это одного? А Колесов? Колокольников? Отец и сын Крамаренко? Митяй Воронков? Саша Людников?

— Хорошие они ребята, но, это самое, сенатором не будут меня называть.

— Будут, не беспокойся!

Смотрим друг на друга и все, что недосказано, читаем во взглядах.

Был заревой час, прохладный, безветренный, росистый. Мы сели в «Жигули» и поехали в город. На фоне светлеющего неба резко выделялись белые утесы девятиэтажных домов. Пустынные улицы казались шире, чем днем. На листьях деревьев сверкали литые капли. Полумиллионный город еще крепко спал. На улице Горького, где живет Егор Иванович, я застопорил машину. Но мой спутник отчаянно махнул рукой:

— Давай вези куда-нибудь подальше! На закудыкину гору, что ли... Домой сейчас мне дорога заказана. Сна ни в одном глазу. И ты, наверно, не спешишь в «Березки».

— Да, и я тоже не железный. Где она, если бы только знать, эта таинственная закудыкина гора!

Прочертили полный круг по площади Орджоникидзе. Поднялись по проспекту Metallургов вверх, до площади Ленина. И тут и там еще безлюдно, но окна домов уже вспыхивают одно за другим и за занавесками проступают силуэты людей.

Первая смена, первая бригада комбината, насчитывающая тысячу двадцать горняков, доменщиков, сталеваров, прокатчиков, электриков, токарей, слесарей, инженеров, бухгалтеров, учетчиков, мастеров, готовится идти на работу. Зашумела, загудела в ваннах вода. Запахло, как мне кажется, теплым молоком, хлебом, яичницей-глазуньей, кофе, жареной картошкой.

На Комсомольской мы увидели молодого парня в клетчатой рубашке навывпуск, с непокрытой головой, с первой, наверно, за этот

день сигаретой в зубах. Из молодых да ранних. Бодро стучит каблучками по бетонным плитам. Спешит к трамвайной остановке. На Суворова уже человек десять шагало нам навстречу. На Карла Маркса — не менее ста. На Гагарина — добрая тысяча. Пока выбрались к стадиону, врезанному в центр города, вся первая бригада, все двадцать тысяч или сколько их там человек, была на улицах. Шли и ехали. Со смехом, шутками, обгоняя друг друга. Мужчины и женщины. Девушки и парни. Вереницы трамваев со звоном и грохотом, скрежеща на поворотах, высекая зеленые искры, мчались к проходным комбината. Туда же спешили и колонны автобусов. Оба главных перехода, переброшенных через водохранилище, южный и центральный, длиной с добрых два километра каждый, забиты до отказа. Машины и люди идут только в одну сторону — на северный берег, на котором привольно, глазом не окинешь, раскинулся комбинат. Ни одного человека, ни одной машины навстречу, с того берега на этот, с севера на юг. Все стремятся туда, к неугасимому заводскому огню...

Егор Иванович смотрел на все это покрасневшими от бессонницы глазами, долго молчал и вдруг заговорил:

— Еще вчера и Булатов шагало здесь, а сегодня... Эх!..

Мне надо было как-то откликнуться на слова моего друга. Но я не знал, что сказать. Помолчал и сказал о другом:

— Всегда хорош наш город. В любое время дня и ночи. Но на рассвете он прекрасен!

— И все! Больше у тебя нет никаких мыслей?

— А разве этого мало? Только глаза продрал — и уже радуешься жизни, бежишь ей навстречу, руки чешутся что-то хорошее сделать для нее!

— Гм... Похоже, ты собираешься жить вечно.

— Угадал — собираюсь!..

Егор Иванович строго молчал, вглядываясь в меня. Потом блеснул своей божественной улыбкой, толкнул меня в бок, засмеялся:

— Вот мы с тобой и приехали на закудыкину гору, откуда все видно как на ладони!

Смеюсь и я.

Доменщики и сталевары, идущие на работу, с удивлением смотрят на седоголовых мужиков и гадают: где, когда и чем успели они себя взбодрить в столь ранний час?..

...Ну, Саша, что было дальше? Я спрашиваю, как вы жили, работали с Валей. Очень важно это для меня. Расскажи!..

«...Сегодня утром во время завтрака, перед тем как идти на свой стоквартирный объект, Валя сказала мне:

— Хочу посмотреть, как ты работаешь. Можно?

— Можно. Для тебя все можно. Только зачем тебе это?

— Надо!

— Ну раз надо... А все ж таки для чего?

— Я хочу увидеть, понять, как ты добываешь сталь. Через это и тебя лучше пойму.

— Я сталь варю. Добывают уголь, руду, золото, нефть.

— Нет, я не оговорилась — добываешь. Подумай.

— Подумал... Пожалуй, ты права.

И вот она на моей рабочей площадке. Экипирована по всем строгим правилам. Комбинезон. Рабочие башмачки. Каска. Синие очки. Рукавицы. Вид самый деловой, неприступный. Молодчина да и только моя женушка!

— Стань вот здесь и смотри.

Я подвел ее к стенке павильона, в котором был пульт управления моей печью. Чуть правее висела мраморная доска с золотой надписью:

«8 июля 1933 г. На мартеновской печи № 1 выпущена первая сталь. Ее сварил Влас Кузьмич Людников».

Я столько раз слышал от деда об этом событии, что мне теперь кажется, будто я тоже варил первую нашу сталь. Будто я хорошо помню, как пробили летку, как показалось в темной массе что-то ослепительно белое. Потом посыпались искры, потекла тоненькая молочная струйка. На моих глазах она превратилась в ручей, в поток и забурилась в желобе, озаряя лица людей и холодные, не привыкшие еще к огню железные переплеты новенького, недостроенного здания. Помню свою тогдашнюю радость и гордость. Слышу все, что тогда говорилось. «Пошла, поехала, милая!» — сказал Влас Людников. Тысячная толпа закричала «ура»...

В честь моего деда — и в мою честь — висит здесь мраморная с золотыми буквами доска. Сказать об этом Вале или не сказать? Поймет ли она мою «династическую» гордость? Поймет!

Опоздал сказать! Валя посмотрела на мраморную доску, перевела внимательный взгляд на мое лицо.

— Ты что? — спросил я.

— Твой дед выдал первую сталь!

Не спрашивала, а утверждала. Слово «твой» выделила. И мне не надо было ничего говорить по этому поводу. Я и не сказал. Потом спрашивает:

— А вопрос можно задать?

— Можно. Но в твоём распоряжении минута.

— Что ты успел сделать до моего прихода?

— Подину отремонтировал.

— Что такое подина?

— Валентина! Ты же от корки до корки прочитала «Памятку сталевара».

— Не буду больше. Вспомнила! Подина — это дно огнеупорной ванны, в которой варится сталь. Так? Но меня интересует не только технология...

— Стоп! Все, твоя минута кончилась. Смотри и не кричи «караул» ни при каких обстоятельствах. Место твое безопасное во всех отношениях. Только горячее. Но ты вытерпишь!

И я убежал. На шихтовый двор. Вернулся вместе с составом платформ, заставленных мульдами с ломом. Степа Железняк высунул хобот завалочной машины, подцепил одну мульду, поднял ее на уровень завалочного окна, щелкнул контроллером. Дал хобот поступательное движение вперед, ловко, без сучка и задоринки прошмыгнул внутрь печи, щелкнул контроллером, заставил хобот вращаться, вывалил лом на подину, аккуратно разровнял его, перевернул мульду в ее первоначальное положение и вывел длинную руку машины наружу, чтобы бросить на платформу порожняк и схватить груз.

Не отрывая глаз от печи, я подошел к Вале и сказал:

— Еще минута в твоём распоряжении. Есть вопросы?

— Есть. Куда ты бегал?

— На шихтовый двор, потом к диспетчеру. Железный лом выколачивал.

— А почему его надо выколачивать? Всюду, во всех городах и деревнях, столько валяется железного лома!

— Задай, миленькая, этот справедливый вопрос директору Бу-

латову или самому министру черной металлургии. Или, на худой конец, его четырнадцати заместителям!

— И это в век научно-технической революции!..

Розовая пасть печки потемнела. Черный лом плотным ровным слоем покрывал дно плавильной ванны. Любо глянуть, как шурует Степа Железняк. Точные руки машиниста — точное движение хобота. Два с половиной часа отведено по графику на загрузку печи, а он управился на пятнадцать минут раньше. Все два с лишним часа был лицом к лицу с полуторатысячеградусным огнем ближе, чем мы, сталевары, — и ничего, не сторел. Раскраснелся только. И пот ручьями стекает по лицу. Хорошо работал Железняк, ничего не скажешь!

Покончив с моей печью, он перешел на соседнюю. Завалочная машина обслуживает блок печей — первую и вторую. Мой соперник Коля Дитятин что-то горячо втолковывает Степе. Понятно. Простит постараться для него. Напрасный труд. Степан Железняк человек веселый, любит дурака валять, но правда и справедливость у него всегда на первом месте. И для тебя, Коля, не пожалеет он ни сил, ни ловкости, ни пота.

Душа моей печи тем временем из темной стала буро-малиновой. Потом порозовела. Потом стала чисто белой. Железный хлам расплавился. Можно сливать чугуи. Разливочный кран подхватил своими лапами проушины восьмидесятитонного ковша, сорвал его с колесницы и понес к моей печи. Перед средним завалочным окном стоял желоб-башенка. Ковш малость накренился — и мягко, бесшумно разбрасывая искры, полился металл. Бурной реакции не произошло. Чугун мирно соединился с еще не до конца расплавленным мартеновским скрапом.

Подхожу к Вале. Накоротке рассказываю что к чему. Выслушала меня внимательно, но сказала о другом:

— Саша, вы здорово соревнуетесь. Дитятин тоже хорошо работает. Не хуже тебя!

— Ишь какая глазастая! А как ты заметила?

— Вы же друг перед другом наперегонки. Ревниво друг за дружкой следите. Бойтесь отстать один от другого.

— Правильно! Единственный случай, когда ревность позволительна.

— Нет, не единственный. Ревность — это сигнал об опасности, угрожающей любви. Ревность — это еще и незаслуженная обида. Ревность — это еще и чье-то непрошеное вмешательство в сокровенные дела двоих — твои и мои..

Я отошел от Вали, побежал на пульт управления. Взглянул на один прибор, на другой, третий щелкнул ногтем, четвертый вытер рукавом, около десятого выругался — отказал! Вернулся на рабочую площадку и опять проведаль Валу.

— Ты не угорела?

— А ты?

— Я привык.

— Ну и я уже привыкла. Ни в чем никогда не намерена тебе уступать. Все пополам. Запомни!.. Ты часто бегаешь на пульт управления, смотришь на приборы. Зачем?

— Приборы для того и существуют, чтобы на них смотрели.

— А мне казалось, что такие лихие сталевары и на глазок, чутьем могут печью управлять.

— Могут, но... Видишь ли, сейчас моя печка работает на предельно высоком тепловом режиме. Тысяча пятьсот градусов. Боюсь, как бы свод не поджечь.

— А почему не убавишь на сотню градусов?

— Нельзя. Удлинится срок плавки. Дитятин обгонит. Он свою печку вовсю раскоचेгарил.

— Все поняла. Иди! Пстой!.. Я люблю тебя. Очень...

И в это самое время из темной глубины цеха вышла Клава Шорникова. Мы с Валею замерли, готовые к самому худшему. Но произошло самое лучшее. Верьте не верьте, а так оно и было — Клава поравнялась с нами, приветливо кивнула сначала Вале, потом мне и без всякого притворства сказала:

— Добрый день. — И ушла.

Вот человек! На такое мужество способен не каждый. Мужество преодоления себя!..

Ослепительно белые фонтанчики клокотали по всей поверхности расплавленного металла. Сталь, не доведенная еще до кондиции, сырая, без соответствующих добавок — раскислителей, — кипела, как обыкновенная вода. Привычная для сталевара картина. А Вале она в диковинку. Взмахом руки подозвала меня к себе. Пришлось на виду у всех покоряться молодой жене.

— Знаешь, на что это похоже? — сказала Валя. — На тысячи разгневанных, с раздутыми шеями белых кобр. Что? Белых кобр не бывает? Но я ведь только сравнила...

Я посмотрел на плавку и не увидел ничего такого, что примстилось Вале. Но не признался ей в этом.

— Да, — сказал я, — похоже...

Вернулся к печи. Специальной заправочной машиной под давлением метали, как из чудо-пращи, в печь ферромарганец и силикомарганец — раскислители. Огненный факел гудит с бешеной силой, во всю свою мощь. Тепловая нагрузка сейчас двадцать восемь тысяч калорий. Фонтанчики стали, сиренево-голубые, молочно-фиолетовые, теперь бурно, дальше некуда, клочочут. Доспевает сталь. Не за горами выдача плавки.

Опять Вале я понадобился. На этот раз подозвала к себе взглядом. Подскочил на секунду. Она кивнула на бушующую, гудящую огнем, распираемую созревшей сталью печь:

— Работая здесь, ты не мог не быть горячим, сильным, смелым, ловким, уверенным в себе и... чуть дерзким. В общем, ты и огонь мартена — братья!..

Я засмеялся и отошел.

На второй печи тоже все нормально. Колька Дитятин вроде бы на меня никакого внимания не обращает. Работает себе и работает. Но я-то знаю, чувствую: он следит за каждым моим движением. Не желает отстать. Бойтся, что я смогу его обогнать. По совести говоря, я тоже с него глаз не спускаю, хотя и делаю вид, что нисколько не интересуюсь соседней печкой. Вот так и соревнуемся. Без барабанного боя и громких речей, не молотим себя в грудь кулаками, не клянемся. Тихо. Чинно. Благородно. И — надежно. Соперничали семь часов и оба остались в выигрыше: он выгадал час и я столько же, чуть больше. Это и есть то, что экономисты называют внутренними резервами. Вношу поправку в обиходные, затертые слова: резервы рабочей души, резервы внутреннего мира человека.

Я работал сегодня лучше, чем вчера, потому, что Валя была на моем рабочем месте. Дитятин вкальвал отлично потому, что не желал отстать от меня. А завтра? Завтра, хотя Вали и не будет около меня, я не захочу, не смогу работать хуже, чем сегодня. И Дитятин по моей дорожке пойдет. И другие, на нас глядя, пошуруют в своих душах, найдут в них тайные кладовые с сокровищами.

Послышался тревожный звон колокола разливочного крана. Что

такое? Я посмотрел наверх. Мост не движется. Из окна кабины крановщика на тонком тросике спускается пустой старый чайник. Газировки просит работяга. Изнывает от жажды на верхотуре, куда устремляются все газы, все дымы, вся теплынь, где самое-самое пекло, где чертям поджаривают пятки. Чайник опускается не к моим жароупорным ботинкам сорок шестого размера, как я ожидал. Крановщик Вася Бабушкин облюбовал рабочие ботиночки Вали.

— Эй, красивая, пожалей одинокого и жаждущего! — донесся с задымленных, загазованных небес его громовой голос, заглушивший даже рев мартеновского огня.

Я ничуть не обиделся на Васькину фамильярность. Улыбаясь, жду, как Валя выйдет из положения. Она сняла чайник с крючка, подошла к аппарату, вырабатывающему ледяную шипучку, наполнила чайник, надела на крючок, задрала голову так, что каска свалилась на землю, и весело закричала:

— Давай на-гора!

Вот так, Вася! Знай наших!..»

Хватит, Саша, исповедоваться: счастливые люди болтливы. Беру слово я, Голота. В последний раз!

Мир, в котором мы живем, в такой же мере творится нами, в какой мы сами созданы этим миром. Моя исповедь тоже обусловлена основным законом человеческого бытия. Рассказывая собственную историю, переплетенную с историями моих современников, я познавал сущность и своих соратников и свою. Ковал в поте лица своего самого себя, приобретал то, чего мне иной раз не хватало в повседневной жизни.

Вот и все, друзья и земляки. Давайте разойдемся. Пора! Мне надо продолжать дорогу долгожителя, а вам — осваивать ее.



---

---

Д. САМОЙЛОВ



## ИЗ ПЯРНУСКИХ ЭЛЕГИЙ

\* \* \*

Не увижу уже красногорских лесов,  
Разве только случайно.  
И знакомой кукушки, ее ежедневных часов  
Не услышу звучанья.

Потянуло меня на балтийский прибой,  
Ближе к холодному морю.  
Я уже не владею своею судьбой  
И с чужою не спорю.

Это бледное море, куда так влекло россиян,  
Я его принимаю.  
Я приехал туда, где шумит океан,  
И под шум засыпаю.

\* \* \*

Когда замрут на зиму  
Растения в садах,  
То невообразимо,  
Что превратишься в прах.

Ведь можно жить при снеге,  
При холоде зимы.  
Как голые побеги,  
Лишь замираем мы.

И очень долго снится —  
Не годы, а века —  
Морозная ресница  
И юная щека.

\* \* \*

В Пярну легкие снега.  
Как свободно и счастливо!  
Ни одна еще нога  
Не ступала вдоль залива.



Быстрый лыжник пробежит  
 Синей вспышкой мгновенной.  
 А у моря снег лежит  
 Свежим берегом вселенной.

\* \* \*

Красота пустынной рощи  
 И ноябрьский слабый свет —  
 Ничего на свете проще  
 И мучительнее нет.

Так недвижны, углубленны  
 Среди этой немоты  
 Сосен грубые колонны,  
 Вязов нежные персты.

Но под ветром встрепенется  
 Нетекучая вода..  
 Скоро время распадется  
 На «сейчас» и «никогда».

\* \* \*

И что еще за странная привычка —  
 Прилипчивое это бытие,  
 Истлевшее, как фосфорная спичка,  
 Уже совсем как будто не мое!

И все же мы живем, подозревая  
 В себе наличие океанских сил.  
 И все же — может, вывезет кривая  
 И поплыву, куда еще не плыл.

\* \* \*

Чет или нечет?  
 Вьюга ночная.  
 Музыка лечит.  
 Шуберт. Восьмая.

Правда ль, нелепый  
 Маленький Шуберт,  
 Музыка — лекарь?  
 Музыка губит.

Снежная скатерть.  
 Мука без края.  
 Музыка насмерть.  
 Вьюга ночная.

Пярну, 1976.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Б. СВЕЛИЧНЫЙ



## ГОРОД ВЫБИРАЕТ ПУТЬ...

**Б**ыстро растет население Земли. К началу нашей эры оно не превышало 230 миллионов человек. За первую тысячу лет, протекающую с той поры, эта цифра возросла всего на 45 миллионов. За последующие 900 лет количество землян увеличилось уже на 1 340 миллионов, а всего лишь за последние 25 лет — на полтора миллиарда человек! Ныне на Земле обитает 4 миллиарда человек.

Растет население планеты. Но еще стремительнее возрастает население городов. Кажется, недавно они были редкими островами в безбрежном море сельских поселений — всего два процента городских жителей в 1800 году, или около 20 миллионов человек. Теперь же в их стены сошлось свыше трети населения планеты. Из всех городов с населением более миллиона жителей, созданных человечеством за всю историю его существования, почти три четверти возникло лишь за последние 20 с лишним лет.

Силы, творящие и создающие города, феноменальны.

Несмотря на это, город подвержен многим тяжелым болезням — явным и потенциальным. И, как это ни странно, главные из них как раз и порождаются его огромностью, непомерным и неукротимым ростом.

Так по крайней мере считают большинство градостроителей. Но так ли это в самом деле? Разве злополучные пороки современных крупных городов капиталистического мира — перенаселенность, теснота, дым и смрад, труппобные районы, где порой бытуют грязь, болезни, нищета, — разве это все фатальные и неизбежные атрибуты каждого крупного города вообще?

Буржуазные социологи старательно твердят, что города-гиганты со всеми их пороками усиленно растут «на Востоке и на Западе, в экономически развитых странах и в молодых государствах, независимо от их политического режима или от степени цивилизации общества».

Да, города растут везде, но причины и следствия этого далеко не одинаковы. Особенно бурный рост городов наблюдается в последние десятилетия в развивающихся странах с низким уровнем жизни сельского населения. С одной стороны, это объясняется повсеместным разорением мелких отсталых крестьянских хозяйств мощными сельскохозяйственными монополиями, а с другой — стихийным ростом промышленности в крупных сложившихся городах. В 1940—1960 годах, например, города Латинской Америки подверглись небывалому нашествию сельских жителей, спасающихся от нищеты, в надежде получить в них какую-то работу. И вот итоги этого процесса: за 20 лет население Сан-Пауло в Бразилии увеличилось почти в три раза, население Сантьяго в Чили — на 800 тысяч, население Каракаса в Венесуэле — почти в пять раз. Манила вместе с пригородами за последние два десятилетия выросла до 4,3 миллиона. Почти все новые жители прибыли сюда в поисках работы из сельскохозяйственных районов страны.

И если в подобных городах новые пришельцы страдают от множества лишений, то это отнюдь не оттого, что количество людей достигло в них каких-то критических пределов, а потому, что никто не приготовил для «беженцев» ни

работы, ни домов, ни школ, ни больниц, а законы капиталистического мира, социальные условия лишили их даже надежд на нормальное человеческое существование.

В нашей стране, в условиях социалистического общества, процесс миграции в города имеет совершенно иной социальный смысл. Он вызывается естественной потребностью в рабочей силе благодаря планомерному развитию промышленности. В деревне же в связи с ростом механизации, укрупнением производства такая потребность снижается.

Привлечение в города и обучение рабочих происходит у нас в плановом порядке. В сметах расходов на строительство предприятий закладываются средства для возведения жилья, культурно-бытовые учреждения строятся для всего городского населения.

Однако в самой кинетике миграции и аккумуляции людских масс в крупных городах есть сходные черты как у нас, так и в зарубежных странах.

Города растут из года в год, несмотря на все градостроительные теории, давно уж объявившие «словесную войну» городам-гигантам, несмотря на бесконечные увещания о необходимости ограничения их роста и целый ряд официальных указаний не строить новую промышленность в крупных городах.

Отчего это происходит? Разве не в наших руках все средства для решения проблемы — и наука, и планирование, и деньги? Почему же мы «терпим» города-гиганты и прогнозируем их дальнейшее развитие?

Конечно, советский социалистический город по сравнению с капиталистическим имеет несравненно больше потенциальных возможностей для постоянного совершенствования. Классовое единство нашего общества, отсутствие частной собственности на землю, крупные строения и средства производства, плановая система народного хозяйства и стремление обеспечить высокий уровень жизни всему населению создают для этого все необходимые условия.

Однако нельзя забывать, что градостроительные процессы в нашей стране неразрывно связаны с развитием ее экономики и культуры. Рост социалистической промышленности, быстрая индустриализация страны вызвали в свое время столь же бурный рост городов. Он продолжается и сейчас. С 1926 года по 1976 год количество горожан в нашей стране увеличилось почти на 130 миллионов человек!

И для всей этой колоссальной массы новоселов нужно было жилье, столовые, больницы, поликлиники, клубы, магазины, техникумы, вузы, школы, детские сады и ясли, тысячи других учреждений быта и культуры. Грандиозность задачи и трудности на пути ее выполнения сегодня нелегко представить даже нам самим...

За 60 лет в нашей стране появилось более тысячи новых городов, а старые совершенно изменили свое существо, размеры и характер, образ жизни, весь свой внешний облик. Мы так привыкли к этому, что уже с трудом представляем себе, какими были в начале пятилеток Свердловск, Новосибирск, Куйбышев, Горький, Волгоград, Днепропетровск, Запорожье, Кемерово, Краснодар, Фрунзе, Алма-Ата, и даже странным кажется, что их предшественниками не так давно были Екатеринбург, Новониколаевск, Самара, Нижний Новгород, Царицын, Екатеринослав, Александровск, Щегловск, Екатеринодар, Пишпек, Верный... Слишком уж несопоставимы эти современные города и их «предки».

За годы советской власти городской жилищный фонд вырос более чем в десять раз. Сейчас только за два года строится жилья значительно больше, чем его было перед революцией во всех городах России.

И несмотря на это, градообразующие процессы продолжают неослабно нарастать. Объемы жилищного, культурно-бытового и коммунального строительства, которые ведутся в наших городах и которые предстоит еще осуществить, так велики, что они неминуемо приведут к новым радикальным преобразованиям в их планировке и застройке.

Только за истекшую пятилетку жилых домов у нас построено значительно больше, чем за первые 40 лет советской власти! В Москве только с предвоенного 1940 года жилищный фонд увеличился в четыре раза. За один лишь год в столице строится более 5 миллионов квадратных метров жилья. Во многих крупных городах за две-три предстоящих пятилетки вырастут новые дома общей площадью по нескольку миллионов квадратных метров. Нетрудно представить, какое это окажет влияние на структуру городов, организацию их жизни, внешний облик. Все это возлагает огромную профессиональную и гражданскую ответственность на архитекторов и строителей, ибо то, что мы строим теперь, будет служить не одному поколению людей и надо сделать так, чтобы созданное нами выдержало экзамен самого строгого из судей — экзамен времени.

Как же мы представляем себе пути развития нашего градостроительства? Разглядеть в деталях далекое будущее наших городов, пожалуй, невозможно. Слишком быстрыми темпами развиваются наука и техника, методы строительства и строительные материалы, культурные и бытовые потребности наших людей; слишком велики социальные и экономические сдвиги нашего современного общества, чтобы предугадать, как все эти обстоятельства в совокупности скажутся на характере наших городов, скажем, через 50—100 лет.

Поэтому, прогнозируя развитие городов, мы пытаемся заглянуть лишь в реально обозримое будущее, основываясь на тех тенденциях, которые уже как-то проявили себя и развитие которых в наших условиях можно считать наиболее вероятным, учитывая возможности экономики и техники.

Город должен создавать наилучшие условия для материального производства и общественной деятельности людей, быть удобным для жизни человека. Своим устройством он обязан помогать ему в труде и в отдыхе, в культурном росте и в учебе, в быту и развлечениях. И что очень важно — сохранять здоровье человека, укреплять его физические и нравственные силы, воспитывать его в духе социалистического коллективизма и гуманизма, способствовать развитию многообразных духовных способностей и талантов. Кроме того, город нужно сделать привлекательным, выразительным, красивым, чтобы он вдохновлял и радовал человека, порождал в нем чувство эстетического удовлетворения, возбуждая законную гордость за свой народ, за свою страну. Именно на этих благородных принципах основан новый генеральный план Москвы, которая, как сказал Леонид Ильич Брежнев, должна превратиться в образцовый коммунистический город.

Борясь за выполнение столь грандиозной задачи, нельзя забывать об экономике: каждый потраченный рубль на строительство и благоустройство надо расходовать с наибольшей пользой. Ведь только в жилищное строительство за девятую пятилетку вложено более 75 миллиардов рублей. При таких гигантских затратах лишь на три процента сэкономленных средств можно дополнительно построить жилые дома для миллиона человек!

### БЕСПОКОЙНЫЕ КОЛОССЫ

К проблеме роста крупных городов приковано внимание прогрессивных архитекторов всего мира, о ней говорят демографы, футурологи, государственные деятели. Вопрос обсуждается в печати, на международных конференциях, конгрессах.

Что же тревожит ученых, градостроителей, а вместе с ними и миллионы горожан? Население огромных районов и целых стран трогается с мест и как бы независимо от своей воли стягивается в огромные фокусы. На всей Земле уже сейчас насчитывается значительно более 100 городов с населением от одного до 10 миллионов жителей.

Города продолжают расти, порою опрокидывая само понятие о городе как таковом. Приведем в пример хотя бы гигантский супергород в Соединенных Штатах Америки, растянувшийся почти на 250 километров от Бостона до Филадельфии, центром которого является большой Нью-Йорк с его 16 миллиона-

ми жителей. Население Токио составляет около 12 миллионов человек, Лондона — 8 миллионов, Шанхая — 7 миллионов, Бомбея — 5,5 миллиона, Парижа с пригородами — более 9 миллионов человек, в Буэнос-Айресе и его окрестностях — 9 миллионов человек, или около трети населения всей Аргентины.

В нашей стране не так еще давно только Москва и Ленинград имели свыше миллиона жителей, теперь таких городов уже 16, а через полтора десятка лет их станет не менее 25. К миллионному порогу вплотную подошли Волгоград и Пермь, Казань и Ростов-на-Дону, Донецк и Ереван... А за ними по пятам следуют Уфа и Саратов, Алма-Ата, Рига и Воронеж, Запорожье, Красноярск, Львов и многие другие.

В Ленинграде насчитывается более 4 миллионов жителей, в Москве — около 8, а с Московской областью — 15 миллионов человек!

Город в 100 тысяч жителей можно считать как бы рубежом, переступив который, он вступает на широкий путь индустриализации и урбанизма. Достигнув этого порога, он начинает расти как на дрожжах. Появление одних производств тут же порождает другие, те, в свою очередь, нуждаются в третьих. Особенно бурный и далеко идущий рост вызывают такие производства, как черная металлургия, нефтехимия, переработка нефти, крупные электростанции, к которым тяготеют все новые и новые предприятия. Всем им нужны кадры, а для кадров и для их семей — жилье, магазины, школы, поликлиники, детские сады и ясли, целая система коммунального хозяйства. Город разрастается, появляется потребность в транспорте, и для него опять-таки нужны все новые и новые работники. Возникает как бы своеобразная цепная реакция, разгоняющая процесс все быстрее и быстрее.

Не случайно и число больших городов (с количеством жителей более 100 тысяч) растет так быстро. В СССР в 1926 году их было 31, в 1959 году — 148, а в 1973 году — уже 238. Население же в них за это время выросло с 9,5 до 85,5 миллиона человек.

Доля горожан во всем населении страны за 1940—1976 годы увеличилась с 33 до 62 процентов. Происходит это в основном за счет механического прироста, то есть притока в города новых жителей извне.

Надо иметь в виду, что при ежегодном росте населения города в 2 процента число его жителей удваивается через 35 лет, при 4 — через 18, а при 7 процентах — всего за 10 лет. Это обстоятельство учитывается как при прогнозировании, так и в процессе планового регулирования роста крупных городов. Если их рост пустить на самотек, он может скоро привести к образованию городов-гигантов со всеми присущими им недостатками.

Чтобы избежать такой опасности, в нашей стране еще в 1931 году было принято решение о запрещении нового промышленного строительства в крупнейших городах. Однако крупнейших городов в те годы насчитывалось не так много, и мы сознательно строили большие предприятия в Харькове и Горьком, в Куйбышеве и Волгограде, в Свердловске и Новосибирске, в Челябинске и Ростове-на-Дону. Этого требовали задачи развития экономики и индустриализации страны. А сами перечисленные города, в большинстве из которых сегодня насчитывается значительно более миллиона жителей, были в те годы в 7, 10 и 15 раз меньше, чем теперь.

Дальше развивать такие города уже нецелесообразно.

Учитывая это, в Директивах XXIV съезда КПСС указывалось: «Неуклонно осуществлять курс на сдерживание роста крупных городов; прекратить, как правило, размещение в этих городах новых промышленных предприятий, кроме объектов, связанных с обслуживанием населения и городского хозяйства».

XXV съезд КПСС вновь подтвердил необходимость ограничения дальнейшего роста крупных городов и развития промышленности главным образом в малых и средних городах.

Почему так много говорится о необходимости регулирования роста крупных городов? Разве мы сами не стремимся развивать и совершенствовать наши города, разве не гордимся их ростом?

Жизнь города, его путь от младенчества к зрелости — это сложный и противоречивый процесс. Стремление жителей малого города сделать его больше, крупнее вполне понятно. Подрастающим гражданам такого городка часто негде применить свои силы, и они вынуждены уходить в большие города, так как здесь нет возможности поступить в институт или техникум, далеко не каждый город может иметь университет. Нерентабельно в таком городе содержать цирк, концертный зал, даже большой универсальный магазин.

Кому нужно доказывать, что жизнь в больших городах полнее, ярче, веселее; они больше способствуют всестороннему развитию способностей и наклонностей нашего человека.

Потому и стремится каждый городок стать и больше и богаче. Однако для многих из них это желание в течение долгих лет остается только мечтой. И Можайск, и Звенигород, и Волоколамск, и Руза живут на свете уже сотни лет и, казалось бы, один лишь естественный прирост населения давно бы должен сравнять их хотя бы с Тулой, Калугой или Рязанью, а это все те же города-подростки, что и многие годы назад. За одним поколением вырастает другое, но только небольшая часть новых граждан остается в этих городах, остальные уходят — одни на работу, другие на учебу.

Для того чтобы «стронуть с места» малый городок, преодолеть инерцию его покоя, вдохнуть в него жизнь и открыть ему широкую дорогу, нужны большие усилия. Но как только он «тронулся в рост», процесс этот нарастает стремительно и бурно. О движущих силах развития городов зачастую говорят сами их названия — Магнитогорск, Железногорск, Электросталь, Нефтекамск, Нефтекумск, Нефтеюганск, Горняк, Копейск, Шахты, Новошахтинск, Солигорск, Усолье, Целиноград, Птицеград и т. д.

На возникших заводах и стройках нужны люди, и поэтому они уже не покидают родной город. Весь прирост населения остается на месте. В дополнение к нему из окружающих районов идут сотни и тысячи недостающих рабочих и служащих для промышленности, строительства, культурно-бытовых учреждений.

И вот уже нет у города ни былой провинциальности, ни узких улиц, ни запущенных окраин. В распоряжении горожан появляются современные дома, учреждения культуры и быта, городской транспорт. В техникумах и музыкальных школах обучается молодежь. И, казалось бы, уже все хорошо...

Но город — это магнит. И чем он крупнее, тем больше его притягательная сила. Всякий раз, когда встает вопрос, где строить новый завод — в неосвоенном районе, в малом городке или в крупном городе, перевес чаще всего остается на стороне последнего, так как сюда не нужно прокладывать ни шоссе, ни железные дороги, здесь есть все, что нужно для начала строительства: и водопровод, и энергия, и заводы, на которых можно получить оборудование, и строительные базы, и готовые кадры квалифицированных рабочих.

Однако не каждому подобному соблазну можно предаваться без вреда: постоянное следование этой логике наименьшего сопротивления привело бы в конце концов к концентрации огромных масс промышленности и населения в нескольких гигантских сгустках и к истощению градообразующих сил в других местах.

К тому же бурный рост города идет ему на пользу лишь до определенного предела — пока все его функции и компоненты развиваются естественно и гармонично. Если же это требование нарушается, настает момент, когда он начинает ощущать свое бремя, тяготиться им. Город уже не рад своему росту, он готов завопить: «Хватит, довольно!» Но неуправляемые силы заложенной в него потенции гонят его вперед и вперед. Наступает гипертрофия, болезненные диспропорции, как, например, в нынешнем Нью-Йорке. Количество переходит в качество: прежние достоинства и преимущества нередко превращаются в свою противоположность.

Город-великан, особенно в капиталистических условиях, становится обу-

зой для его жителей. Санитарно-гигиенические условия в нем резко ухудшаются.

Разрастаясь в стороны, город словно исполинский бульдозер сдвигает и хоронит под собой все, что еще осталось вокруг него от природы. Он образует широким кольцом железнодорожных станций, складов, строительных баз, за которыми тянутся десятки километров плотно заселенных городских предместий.

Наступает время, когда загородные леса, поля и речки для многих, особенно пожилых горожан, становятся почти недоступными. К тому же заводы, как правило, строятся на окраинах городов, иногда за десятки километров от жилых кварталов. Поездки туда и обратно намного удлиняют рабочий день и вызывают большие дополнительные расходы. Годовое количество поездок на транспорте на одного жителя в крупном городе в десятки раз больше, чем в среднем или малом.

В процессе неумеренного роста нередко уродуется и сам город. Ему становится тесно в прежних границах. Он как бы спрессовывается и коробится; промышленные районы «сгущаются», уплотняются, переплетаются беспорядочной сетью подъездных путей. Все это мешает друг другу, затрудняя не только рост производства, но и его нормальную деятельность. Жилая застройка перешагивает через заводы и фабрики, вклинивается между складами и станциями железных дорог, разрезается путепроводами, линиями высоковольтных электропередач.

Но и этим далеко не ограничиваются недостатки чрезмерно разросшегося города. Все труднее становится обеспечить его транспортом, водой, электроэнергией, отоплением. Чем больше разрастается город, тем дальше приходится размещать водозаборы, очистные сооружения канализации и ТЭЦ; тем дороже становятся водоводы, коллектора и теплотрассы; возникает необходимость в строительстве мостов, путепроводов, сложных развязок в разных уровнях, подземных гаражей.

В крупном городе, где земля буквально нашпигована различными коммуникациями, инженерная подготовка территории для ее застройки обходится в два-три раза дороже, чем в среднем или небольшом. Все это требует огромных дополнительных расходов на городское строительство.

Нетрудно себе представить, в какую сложную проблему превращается для крупного города необходимость ежедневно накормить и напоить миллионы его жителей.

На современном уровне развития дальнейший рост крупных городов с их огромными масштабами производства становится препятствием для целесообразного размещения промышленности, ее приближения к источникам сырья и районам потребления, затрудняет равномерное экономическое и культурное развитие всех районов страны.

Крупные города внушают тревогу и другого рода. В них наиболее высокий уровень нервных и сердечно-сосудистых заболеваний, а с другой стороны — и низкий уровень рождаемости. Это приводит к сокращению естественного прироста населения и, следовательно, — к повышению доли старших, нетрудоспособных возрастов. Таким образом, крупнейшие города как бы «стареют». Молодых людей в них становится относительно все меньше, пенсионеров — все больше. В крупнейших наших городах удельный вес старших возрастов в составе нетрудоспособного населения в полтора раза выше, чем в других городских поселениях. Это приводит к серьезному недостатку рабочей силы как на производстве, так и в сфере обслуживания. Приходится поневоле привлекать дополнительно молодых рабочих из других, главным образом сельскохозяйственных, районов страны, что еще больше увеличивает население крупнейших центров. Понятно, что такой метод «омоложения» городов и укрепления их производительных сил не может быть постоянным.

Какой же надо сделать вывод? Предать анафеме большие города? Оставить их и обратить свои стопы «назад — к природе»? Казалось бы, для этого нужно лишь создать лучшие условия жизни в малых городах, чтобы большие города потеряли привлекательность.

Но дело не только в благоустроенных домах и магазинах. На сцену выступают другие категории, которые не взвесишь нормативами различных видов потребления, не уложишь ни в таблицы, ни в расчеты. В наших городах — это мощные факторы социальной и психологического порядка. Города-гиганты обладают колоссальной силой притяжения. В крупнейших наших городах практически доступно все: любая работа, любая учеба, все виды медицинской помощи, весь арсенал сокровищ человеческой культуры, обилие информации, развлечения и спорт, любые деловые и личные знакомства и общения с возможностью их выбора буквально среди миллионов человек, возможность при желании и способностях проявить себя на любом поприще общественной деятельности — буквально стать кем хочешь!..

Именно эта вдохновляющая атмосфера большого города с постоянным движением, сменой лиц, событий, впечатлений, неиссякаемый источник смелых, никогда не меркнущих надежд и их свершений — могучая притягательная сила для людей, особенно молодых, энергичных, рвущихся вперед, мечтающих о широких, безграничных горизонтах. Они и впредь будут неудержимо стремиться в большие города, зная и терпя все их недостатки. А ведь, кроме всего этого, наши крупные города — это признанные лидеры научно-технического и социального прогресса, развития экономики страны, «плацдармы» для народнохозяйственного подъема окружающих районов.

От буржуазных социологов можно слышать, что крупный город порождает нигилизм и пессимизм. Человеку, повывавшему с детских лет все шедевры человеческой культуры — лучших артистов, музыкантов и спортсменов, произведения знаменитых художников, скульпторов и зодчих, самые последние новинки техники, — в конечном счете все, мол, приедается. Наступает скепсис, скука, пессимизм — отсутствие желаний и стремлений. Однако думается, что нигилизм такого рода порождается отнюдь не избытием культурных благ, а скорее недостатком подлинной культуры, а скептицизм и пессимизм — бесперспективностью, отсутствием больших и благородных социальных идеалов. В буржуазном обществе одни теряют вдохновение от пресыщения благами жизни, другие — от невозможности их получить...

И еще один упрек буржуазных социологов — в крупных городах народу много, а человек в них чувствует себя более одиноким, затерянным, никому не нужным, чем в самой малой деревушке. Там он знает каждого и он известен всем, есть с кем поделиться, посоветоваться в случае нужды. Здесь же, в гигантском муравейнике, человек годами не знает и не видит даже соседа по лестничной площадке, а выйдя на улицу, кишашую чужими для него людьми, он сразу превращается в незаметную и никому не нужную пылинку. Это «одиночество в толпе» в условиях эгоистического мира — действительно острая социальная проблема.

У нас от такого рода болезней имеются и всемерно развиваются многочисленные средства, органически присущие нашему общественному строю. Это гуманизм, общительность, дух коллективизма и доброжелательства. Человек у нас не может оказаться вне поля зрения окружающих людей, обезличиться или «затеряться» — ни в быту, ни на работе, а попав в беду, непременно находит участие и нужную поддержку.

### **«ГОЛУБЫЕ ГОРОДА» — ПОИСК И НАДЕЖДЫ**

В связи с серьезными недостатками как чрезмерно крупных, так и малых городов за последние годы среди специалистов родилась теория так называемого оптимального города. Где та золотая середина между малым и большим, на которой исчезают недостатки как того, так и другого?



Каким должен быть город по количеству жителей, размеру, чтобы отвечать понятию оптимальности? Долгие дебаты привели к довольно странным результатам. Сначала амплитуда составляла от 50 до 200 тысяч жителей. Большинству казалось, что наилучший город, это, в сущности, город средней величины, типа наших прежних губернских городов — достаточно развитых, но несложных по структуре, спокойных и приближенных к природе. Потом анализ многочисленных проектов и городов в натуре привел к тому, что у одних исследователей нижний предел понизился до 20 тысяч человек, в то же время у других верхний подскочил до 500. Итак, амплитуда — от среднего поселка до города-гиганта. Но ясно всякому, что такой критерий теряет всякий смысл.

Почему же поиски размеров оптимальных городов не дали результатов? Думается, что здесь неверен сам исходный фактор, так как дело далеко не только в населении и размере города. Никто не станет отрицать, что даже небольшой при заводской поселок может быть прескверным по устройству, бытовым удобствам, санитарным качествам. И наоборот, город в 500 и больше тысяч жителей иногда оказывается вполне приемлемым во всех указанных аспектах. Москва, например, даже при многомиллионном населении обладает многими чертами оптимального города, прежде всего — в отношении санитарно-гигиенических качеств, планировки и застройки жилых районов, системы культурно-бытового обслуживания.

Следовательно, тезис «чем меньше — тем лучше, чем больше — тем хуже» не выдерживает критики. Таким же несостоятельным был бы и обратный тезис.

Да и что такое оптимальный город? Говорят, что это город, в котором создается максимум удобств при минимуме затрат. А возможно ли такое? Не слишком ли противоречивы названные требования?

И поэтому понятие «оптимальный город» требует уточнения. Если это плод экономической конъюнктуры — куда ни шло! Но если это цель на перспективу, то надо сразу же сказать, что хоть дело далеко не только в численности населения, но едва ли полноценным в смысле социально-бытовых условий и культуры может быть город менее чем в 300—500 тысяч жителей.

К тому же, как мне кажется, понятие «оптимальный город» по самому своему существу метафизично, так как город не может застыть в своем развитии на какой-то мнимой «оптимальной» стадии. Это противоречит принципу диалектики развития вообще.

И не случайно непреложным фактом является рост городов всех категорий, в том числе и относимых к категории «оптимальных». Больше того, именно они, как наиболее привлекательные и жизнеспособные, всесторонне подготовленные для дальнейшего развития, растут особенно быстро.

Но если город достиг оптимальных качеств и размеров, в чьих же интересах и какие силы заставляют его разрастаться дальше?

Мистики здесь нет, но есть «экономическая логика сегодняшнего дня», и под ее давлением мы продолжаем зачастую расширять и строить новые заводы в крупных городах, хотя порой и успокаиваем себя тем, что делаем это лишь в порядке исключения. Однако едва ли и в ближайшие годы мы сможем пренебречь возможностью строить дешевле и быстрее: ведь на сегодня это главное, хотя с позиций «большой экономики завтрашнего дня», мы, может быть, порой и поступаем неразумно.

А это значит, что, даже исповедуя обратные концепции, надо быть готовым жить в огромных городах, хотя бы потому, что так оно уже и есть на самом деле и, судя по всему, иначе быть не может. Ведь даже и сегодня более 40 процентов всех горожан нашей страны, или 60 миллионов человек, проживает в городах, каждый из которых насчитывает более четверти миллиона жителей, а в городах с населением свыше ста тысяч человек — значительно более половины всего городского населения, или третья часть всех жителей страны.

Процесс урбанизации будет продолжаться и впредь. Прогнозы говорят, что через 15 лет доля городского населения у нас в стране возрастет с 62 процентов в настоящее время до 70—75 процентов. При этом закономерности наиболее интенсивного роста больших и крупных городов сохранятся и на ближайшие десятилетия. Есть все основания считать, что только в крупнейших городах с населением свыше полумиллиона жителей к 1990 году у нас будут проживать не менее 60 миллионов человек и еще примерно столько же в городах от четверти до полумиллиона жителей. 120 миллионов человек! Их постоянной жизненной средой станут именно эти, очень большие города.

Урбанизация — глобальный и необратимый процесс, вызванный развитием производительных сил, научно-техническим прогрессом и социальной эволюцией человеческого общества. Поэтому считать, что мы всегда должны во что бы то ни стало противодействовать росту крупных городов было бы большой ошибкой. Их прогрессивные возможности и перспективы трансформации в направлении создания оптимальных условий для жизни человека и общественного производства пока еще далеко не исчерпаны и до конца не оценены. И в этом свете необходимо подчеркнуть, что указания партии об ограничении роста крупных и развитии небольших и средних городов отныне будут воплощаться в жизнь на основе совершенно новых научных методов и в принципиально новых пространственно-структурных формах и системах расселения, о чем мы скажем ниже.

А пока случайные, чисто механические и паллиативные меры, направленные к пресечению роста крупных городов, по большей части нужного эффекта не дают. Скажем, ограничивается прописка, но сейчас же изобретаются хитроумные контрмеры.

Или другой способ: городу задают масштаб и, чтобы он не перерос его, по границам воздвигается каменный барьер из фабрик и заводов. Иногда в качестве «неприкосновенного порога» пытаются опоясать его кольцом лесов и парков. Но такие меры нередко являются временными. Когда городу становится невозможно в сковавших его веригах, он не останавливается ни перед чем. Подойдя к препятствиям, он лишь ненадолго, как бы набирая сил, приостанавливает ход, а затем либо разом сокрушает их, либо силой прорывается меж флангов на широкий стратегический простор, оставляя позади «надолбы» и «доты».

Происходит это потому, что попытки подобного рода противоестественны по существу. До тех пор, пока градостроительный процесс нарастает в силу органических социальных и экономических закономерностей, все искусственные, в том числе насильственные меры, ни к чему не приведут.

Что же делать? Конечно, если было бы возможно начисто прекратить в городе всякий рост промышленных и обслуживающих кадров (что само по себе едва ли согласуется с жизнью), то закрепиться в таком неприятном городе ни один приезжий не сумел бы и, чтобы не остаться без работы, сам покинул бы его. И тогда с тягой в крупный город, наверное, было бы покончено...

Однако мне представляется, что город, в особенности крупный, и тем более — советский, не может существовать в законсервированном виде. Уже в силу экономической, культурной, социальной роли он является принадлежностью всего общества, всей страны и потому не может и не должен превратиться в «вещь в себе». Нужно учитывать и то, что даже при стабилизации численности населения город будет еще много лет расти как бы на внутренней закладке: ведь количество жилья для тех, кто в нем живет уже сейчас, нужно постоянно увеличивать, строить и расширять недостающие учреждения культурного, медицинского и бытового назначения. Примером может быть Москва, где при почти стабильном за последние годы населении строительство ведется вдали от старых городских границ, на свободных или освобождаемых от ветхих, малоценных строений территориях, ограниченных с внешней стороны Московской кольцевой дорогой.

Стихийный рост крупнейших городов в наиболее развитых странах капиталистического мира уже давно создал тяжелые проблемы для городского населения. Лихорадочные поиски выхода из надвигавшегося кризиса можно было наблюдать в Европе и Америке еще в 20—30-х годах нашего столетия.

Спасаясь от скученности, тесноты и антисанитарии, десятки тысяч жителей Парижа, Лондона, Берлина, Нью-Йорка хлынули в пригороды, ища лучших условий жизни и более дешевых квартир.

Буржуазные теоретики, увидев в этом стихийном движении знамение времени, подхватили и теоретически обосновали его, сколотивши наскоро пресловутую теорию «городов-садов» как универсального средства от всех язв капиталистического города.

Тяжелые условия жизни больших городов, широкая реклама и организованное предпринимательство привели к тому, что в течение двух-трех десятков лет крупнейшие европейские города густо обросли новыми жилыми поселениями, в которые перекочевали миллионы людей, жаждущих избавления от неудобств большого города. Однако это избавление не наступило.

Напротив — возникли новые нелегкие проблемы и дополнительные трудности. Особенно резко обозначились они в крупнейших городах Западной Европы. «Поистине трагичной» окрестили за рубежом судьбу жителей капиталистических пригородов — «вечных скитальцев», каждый из которых вынужден всю свою жизнь подобно маятнику «болтаться» между двумя полюсами своей жизни — местом, где он живет, но не может работать, и местом, где он работает, но не может жить.

По подсчетам некоторых западноевропейских специалистов, потеря времени у жителей пригородов составляет в среднем не менее полутора-двух часов в день, а расходы — около 5 процентов всей заработной платы.

Если учесть, что из пригородов в крупный город ежедневно направляется сотни тысяч человек, то нетрудно представить себе гигантские масштабы этого процесса. Подобно далекой Селене, вызывающей приливы и отливы земных морей, крупный промышленный город также размеренно и неотступно вызывает приливы и отливы людских масс. Каждое утро гигантскими волнами устремляются они к городу, заполняя его фабрики, заводы, конторы, учреждения. После работы потоки приезжих наводняют магазины, учреждения культуры и быта, городской транспорт, осложняя и без того нелегкую жизнь большого города, создавая дополнительные трудности для его основных обитателей.

К вечеру тяжелые волны отступают назад, медленно разливаясь в пригородных пространствах, и замирают там до утра, а с рассветом вздымаются вновь и снова катятся к городу, переполняя поезда, трамваи, автобусы, метро...

Человек уже не может остановить этого вынужденного движения, порожденного системой расселения современных крупных городов.

Стихийно возникнув и стремительно развиваясь, эта система до поры до времени казалась естественной и не вызывала беспокойства. Она заставила спохватиться и задуматься лишь тогда, когда прежние преимущества городов-«спален» превратились в свою противоположность.

Парадоксальность положения проявилась в том, что от природы, к которой так стремились беженцы, создавая «спальные» города, в конечном счете не осталось и следа — она оказалась смытой морем новых поселений...

Пороки описанного типа расселения стали ясными уже давно. Стало очевидным и то, что в основе их лежит территориальный отрыв мест проживания от мест приложения труда. Вывод тоже довольно ясен — радикальным средством, призванным исправить сложившееся положение, должно было стать сближение этих двух важнейших функций и компонентов жизни человека.

Однако паллиативные, половинчатые меры, осуществленные для этого за рубежом, не принесли ожидаемых результатов. Старые города-«спальни», в которые для равновесия наскоро переместили некоторые предприятия, а

также новые городки смешанного типа, население которых лишь частично получило работу на месте, оказались не лучше, а в некоторых отношениях даже хуже своих предшественников. Строительство отдельных предприятий привязало к новому месту поселения лишь часть людей, ездивших ранее в город, но вместе с тем лишило их тех культурных и материальных благ, которые давало им общение с городом, создав массу неудобств и в то же время не устранив необходимости поездок в город. С другой стороны, размещение промышленности в городах-«спальнях» нарушило их основное назначение как городов, предназначенных для отдыха, уничтожило их размеренно-спокойный образ жизни, ухудшило их санитарную обстановку, сведя на нет и те небольшие преимущества, которыми они обладали. Таким образом, город-сателлит смешанного типа также не удался.

Задача оказалась нерешенной. Крупные города не разуплотнились, а жизнь в пригородах не улучшилась...

Следует отметить, что закономерности развития в некоторых аспектах сходны для всех крупных городов мира. И хотя в наших условиях противоречия, свойственные городам капиталистических стран, значительно смягчены разумной системой планового хозяйства, все же некоторые из них болезненно проявляются и у нас и настоятельно требуют своего решения.

Разве по Северной, Ярославской, Курской или Казанской дорогам не тянется на несколько километров сплошная застройка московских пригородов? И разве, наконец, сама Москва и десятки других крупных городов не нуждаются уже давно в разуплотнении и лучшем расселении!

Часть из этих недостатков пришла к нам из прошлого, но кое-что появилось у нас на глазах вследствие просчетов планирования и отставания нашей градостроительной науки.

### СНОВА — СПУТНИКИ?

Одним из средств, с которыми связаны надежды на исправление пороков крупных городов, остаются города-спутники. Они должны быть свободными от недостатков сателлитов-«спален» и городков смешанного типа, чтобы люди стремились поселиться в них. Но для этого население города-спутника должно работать на месте — на перебазированных из города-ядра и частично новых предприятиях. Только при обязательном соблюдении этого важнейшего условия может быть действительно решена задача разуплотнения крупных городов и улучшены условия жизни населения как большого города, так и его спутников.

В последние десятилетия лидером в деле создания городов-спутников такого типа была Англия. В августе 1946 года там приняли закон о строительстве 15 новых городов, 8 из которых располагаются в пятидесятикилометровой зоне вокруг Лондона. Расчетное население их составляло от 25 до 80 тысяч человек. Такая численность считалась оптимальной с точки зрения устойчивости их строительства и удобства жизни населения. Несколько подобных городов появилось и в других районах страны — в окрестностях Кардиффа, Глазго, Эдинбурга и других. Много новых городов такого же типа построено и строится в США, Франции, Швеции, Финляндии и других странах.

Было бы неправильно думать, что для нас строительство городов-спутников явилось новостью, занесенной к нам западным ветром. Хотя у нас и не поднималось вокруг них такой шумихи, как, скажем, в Англии, тем не менее давно уже существуют и успешно функционируют такие города, как Жуковский, Зеленоград, Дубна, Видное, Обнинск, Пущино — под Москвой, Сумгаит под Баку, Рустави возле Тбилиси и другие, природа которых по своему существу адекватна природе городов-спутников.

Цель их строительства состояла в том, чтобы, размещая необходимую промышленность или научно-производственные комплексы в зоне крупных городов, предотвратить их перегрузку излишними предприятиями и населением.

ем, так как иначе эти предприятия пришлось бы размещать в самих этих городах.

Планировка и застройка городов-спутников основывается на новых, прогрессивных принципах, что способствует созданию лучших условий как для производства, так и для проживания людей.

Одним из ярких примеров таких городов-спутников является Зеленоград, в 37 километрах к северо-западу от Москвы. Строительство спутника началось в 1963 году, а в 1976 году в нем проживала уже 121 тысяча жителей. Это вполне современный город, где расположен крупный институт электронной техники, учебные заведения, несколько промышленных предприятий. Город отличается обширными и своеобразными архитектурными ансамблями, в которых органически сочетаются жилые, общественные и производственные здания с просторными и живописными жилыми районами, как бы вросшими в куртины подмосковных рощ. Полный комплекс учреждений культурно-бытового обслуживания и отличное благоустройство создают прекрасные условия для жизни горожан.

Города-спутники различного типа проектируются и строятся в окрестностях Ленинграда, Киева, Харькова, Куйбышева и других городов.

В наши дни бурного развития научно-технической революции города-спутники все чаще возникают как научные сателлиты крупных культурно-экономических центров. Только под Москвой — это и Дубна, и Обнинск, и Пущино, и Фрязино, и Красная Пахра; растет городок науки под Иркутском, Улугбег — в окрестностях Ташкента.

В двадцати пяти километрах от Новосибирска, на берегу Обского моря, насквозь пронизанный лесами вырос один из наиболее популярных спутников такого рода, Академгородок. Десятки научно-исследовательских институтов, университет, экспериментальный завод — вот главная база нового города. Здесь встретились и слились в единое целое наиболее современный образ городской жизни и живое дыхание девственной природы.

Принято считать, что оптимальный размер города-спутника — не более 60—80 тысяч жителей. При таком размере в городе можно разместить несколько средних по величине предприятий или один крупный, например, машиностроительный завод на 15—20 тысяч работающих. В таком городе будут рентабельными дома культуры, клубы, кинотеатры, музыкальные школы, небольшие стадионы, средние специальные учебные заведения. Однако для того чтобы побывать в оперном театре, цирке, музее, крупном специализированном магазине или поступить в институт, придется ездить в ближайший крупный город.

Чтобы облегчить населению города-спутника связь с городом-ядром, стараются не располагать спутники слишком далеко. Орбиту с радиусом в 30—60 километров можно считать вполне нормальной. Вполне вероятно, что развитие транспортных средств позволит в будущем увеличить этот радиус до ста и более километров.

Для лучшего размещения городов-спутников тщательно изучаются все городские окрестности. Город и его пригородная зона неотделимы друг от друга и при правильной постановке дела проектируются вместе как единое целое. Прекрасный пример такого решения дает новый генеральный план Москвы, разработанный в полной увязке с планировкой ее пригородной зоны.

Население городов-спутников ограничивается и для того, чтобы он занимал небольшую территорию. Так, например, город с населением в 50—60 тысяч жителей будет иметь в поперечнике не более трех километров, а это значит, что из любой его точки за 15—25 минут можно по пешеходной аллее не торопясь дойти до завода или до окружающей город лесопарковой зоны. При этом заметно уменьшится потребность в городском транспорте, сократятся расходы на строительство и содержание городских садов и парков.

Предприятия в городах-спутниках следует размещать главным образом безвредные, а места для этих городов выбирать наиболее здоровые и живопис-

ные. Именно так размещены и Зеленоград, и новосибирский Академгородок, и Пущинский научный городок под Серпуховом — на высоком берегу Оки.

Застраивать города-спутники желательно домами небольшой этажности. Здесь находят применение, в частности, заблокированные дома с двухэтажными квартирами и приквартирными садовыми участками. Их можно видеть и в Жуковском, под Москвой, и в других городах-спутниках.

В то же время для экономичного использования земли, сокращения расходов на прокладку уличных коммуникаций и для придания городам большей архитектурной выразительности в них строятся и многоэтажные дома. Зеленоград, например, практически целиком состоит из многоэтажных зданий.

Созданный на основе прогрессивных принципов советский город-спутник, это один из прообразов городов будущего. В чем же причина того, что новые города-спутники строятся медленно, что многие из них еще не перешагнули с бумажных листов на строительную площадку?

В капиталистических условиях зарождение и рост таких городов часто осложняется рядом обстоятельств: кто даст землю для новых городов? Кто согласится без компенсации расходов перевезти свое предприятие на новое место? Кто гарантирует, что там оно будет работать с не меньшей прибылью?

В условиях социалистического, планового хозяйства часть этих вопросов решается, конечно, легче, но все же и у нас трудностей немало. Одна из них — сложность и большая стоимость освоения площадки, первые дни строительства. Бригадам строителей здесь надо создавать все вновь, порой на голом месте. Первоначальные затраты на строительство дорог и инженерных коммуникаций такие, что жилая площадь становится «золотой». Есть и другая трудность: ведь людям, пришедшим на площадку, нужно не только где-то жить, но и учиться, проводить досуг, воспитывать детей...

Не меньшую сложность представляет перемещение из города промышленных предприятий. При этом очень важно, чтобы здания, освобождаемые в крупном городе от выводимых производств, следом не занимались новыми, что свело бы на нет весь эффект от проводимых мероприятий. С другой стороны, переместить предприятие подчас бывает дороже, чем построить его заново. Приходится считаться и с тем, что не только при ликвидации, но и при перебазировании предприятия прекращается, хотя бы временно, производство их продукции, которая нужна народному хозяйству, населению. Именно эту жертву, как правило, приносить особенно трудно.

И ко всему этому далеко не каждый, живущий в городе, может сменить привычную обстановку, быт и связи и вместе со всеми членами семьи переехать в город-спутник.

В этом смысле более эффективен другой путь, по которому может идти строительство городов-спутников. Известно, что решениями партии на предстоящие годы намечается дальнейший высокий рост производительности труда. В связи с комплексной механизацией и автоматизацией производственных процессов расположенные в крупных городах предприятия смогут обойтись значительно меньшим количеством рабочих и служащих. Следовательно, некоторая часть населения может быть высвобождена и перемещена в города-спутники без перевода туда действующих производств. Вместо этого в городах-спутниках могут быть построены новые заводы-смежники, небольшие предприятия местной промышленности, легкой и пищевой индустрии, обслуживающей население города и его пригородной зоны.

Это, конечно, не снимает задачи вывода из крупных городов части предприятий с целью разуплотнения городов и улучшения их санитарного состояния. Два названных процесса могут идти параллельно, дополняя друг друга.

Города-спутники желательно проектировать вблизи от существующих населенных пунктов, по возможности включая их в состав будущего города. Больше того, по-видимому, строительство городов-спутников вообще предпочтительней вести путем развития населенных пунктов пригородной зоны.

Именно такой принцип в полной мере учитывается в проектной схеме расселения пригородной зоны Москвы.

Ведь как ни мал базовый поселок, он наверняка поможет строителям «зацепиться за землю», поселиться на первых порах у местных жителей, привлечь некоторую часть из них в число своих соратников — пионеров градостроителей, воспользоваться сложившимися дорогами, получить первую порцию воды и энергии, необходимых для начала любой работы. Этот маленький поселок служит тем плацдармом, обосновавшись на котором, можно широким фронтом развивать стратегический успех.

Среди самых труднорешаемых проблем при создании городов-спутников есть и такая: как гарантировать их самих от чрезмерного разрастания и превращения снова в большие города?

Главное условие для этого — не размещать в них производств, имеющих тенденцию порождать новые, технологически связанные с ними предприятия. В то же время именно строительство предприятий с такого рода производством уже превратило бывший город-спутник Сумгаит в крупный и все еще растущий промышленный центр. Такая же перспектива ожидает и Рустави и некоторые другие города, задуманные ранее как спутники ограниченных размеров. К предельным размерам приблизился и Зеленоград.

Как видим, трудностей на пути создания «городов второго поколения» немало даже при нашем плановом хозяйстве. В капиталистических условиях эти проблемы осложняются еще больше.

И все же спутники уже играют положительную роль в разуплотнении крупнейших городов как у нас, так и за границей. С 1951 года по 1961 год население Лондона, например, уменьшилось за счет миграции в города пригородной зоны на 400 тысяч человек. Нью-Йорк с 1970 по 1974 год также потерял несколько сот тысяч жителей, а все крупные города США — около двух миллионов человек.

Считают, правда, что эта утечка происходит в основном за счет переселения состоятельных граждан и не только в города-спутники как таковые, но вообще в населенные пункты пригородной зоны. Но это не умаляет значения процесса. Необходимо отметить, что такая тенденция за всю историю существования крупных городов наблюдается впервые и, по-видимому, приобретает устойчивый характер. В нашей практике также наблюдается замедление прироста населения целого ряда крупных городов.

Однако если мы построим в зоне наших крупных городов всего по два-три спутника, это не создаст необходимого эффекта. Для выполнения указаний партии о плановом регулировании процессов урбанизации в стране, с ограничением роста крупных и развитием малых и средних городов, нужна принципиально новая, крупномасштабная и долговременная политика, ключевые стратегические направления которой за последние годы определены нашей градостроительной наукой.

### **«СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ»**

То, что мы говорили здесь о крупных городах, может показаться в чем-то непоследовательным и противоречивым. Но это потому, что противоречива и изменчива во времени сама жизнь этих городов, разнолики на сменяющихся этапах развития их свойства и потенции. Пути, по которым в дальнейшем пойдет регулирование процессов урбанизации в нашей стране, подсказаны самой жизнью — градостроительной практикой.

На определенном этапе эволюции, связанном с уровнем развития производительных сил, характер роста крупных городов резко изменяется. С одной стороны, они вынуждены и дальше развивать необходимые им для комплексного развития, кооперирования и специализации дополнительные производства и строить в связи с этим много новых промышленных, жилых, коммунальных и культурно-бытовых зданий и сооружений. С другой — нельзя безмерно

усугублять описанные выше недостатки городов-гигантов. И тогда, чтобы преодолеть эти противоречия, они начинают как бы разрывать свои границы, извергать, выплескивать свою «излишнюю материю» в окрестные пространства, образуя там многообразные скопления промышленных городов и поселков, получивших в совокупности с городом-ядром название промышленно-городских агломераций, или конурбаций.

Вместе с тем, чтобы шире развернуть хозяйственные связи, крупные города далеко «протягивают руки», вовлекая в сферу своего влияния и стимулируя рост уже существующих населенных мест в обширной пригородной зоне, которые также становятся частью агломераций.

В результате вокруг города-ядра создается широкий ареал различных по величине населенных мест, неразрывно связанных с ним хозяйственно-экономическими узами и транспортными средствами.

Значение этого нового диалектического этапа в эволюции крупных городов невозможно переоценить, ибо по своей природе, по жизненному смыслу этот «урбанистический взрыв», то есть превращение города в агломерацию, представляет собой буквально спасительный качественный скачок, порождающий условия для создания новых, прогрессивных и жизнестойких форм урбанизированных образований, названных советскими градостроителями «групповыми системами расселения».

Однако в своем первоначальном, «первородном» виде этот процесс не больше чем стихия, и если вовремя не направить его в нужное плановое русло, он может породить те же (а может быть, даже и большие) недостатки, которые свойственны некоторым чрезмерно крупным городам.

Здесь развивается целый ряд весьма негативных и опасных тенденций: ухудшение санитарной обстановки, засорение и порча окружающей среды, разрушение естественных ландшафтов, беспорядочное слияние множества поселений с городом и между собой, хаотическое заполнение всех свободных пространств, осложнение трудовых связей и транспортных путей, бессистемность культурно-бытового обслуживания населения и т. д.

Подобную картину в той или иной степени мы можем наблюдать в целом ряде беспланово возникших в свое время промышленно-городских агломераций. Особенно уродливые формы принимают описанные явления в стихийно развивающихся агломерациях и конурбациях развитых капиталистических стран — США, Японии, ФРГ и других.

Конечно, даже при нашей плановой экономике привести в систему беспорядочно возникшие агломерации значительно труднее, чем создать их заново. Поэтому наряду с планомерным совершенствованием десятков существующих агломераций, в том числе таких крупнейших, с многомиллионным населением, как московская, ленинградская, киевская, харьковская, бакинская, свердловская и другие, у нас будут планомерно создаваться вновь агломерации нового типа, представляющие собой четко организованные системы группового расселения. Их формирование будет происходить на базе крупных территориально-промышленных комплексов, как западносибирский, саянский, братско-усть-илимский, южнотаджикский, в районах БАМа, КМА и им подобных.

Исходным пунктом новой концепции планомерной перестройки существующих промышленно-городских агломераций и формирования групповых систем расселения в ареале крупных городов является отказ от традиционного взгляда на город как на территориально обособленную, замкнутую в себе, хозяйственно и социально автономную единицу, независимую от окружающей системы населенных мест. Такая трактовка при нынешнем уровне развития экономики и урбанизации отжила свой век и не соответствует более самому существу современного большого города. В условиях бурного технического и социального прогресса город и окружающая его агломерация населенных мест обретают мощную и необратимую тенденцию к возникновению единой взаимоувязанной и взаимообусловленной системы, которая только и



дает возможность правильно понять и целенаправленно регулировать дальнейшую судьбу большого города.

Органическое соединение урбанизации, достижений научно-технического прогресса с преимуществами нашей плановой системы хозяйства создают условия для постепенного превращения каждой агломерации в гармоничный народнохозяйственный комплекс. Здесь отдельные города будут выполнять свою определенную роль, причем не как автономные объекты, а по единой программе всего этого комплекса, подобно тому, как это делают члены организованного трудового коллектива. И это будут, строго говоря, уже не агломерации в прежнем смысле слова, а планомерно развивающиеся групповые системы расселения.

Города, входящие в эти системы, будут дополнять друг друга в производственном, научном и культурном отношении, обеспечивая населению возможность широкого выбора профессий и трудовой деятельности. Предпочтительнее всего размещать в них небольшие предприятия, филиалы и специализированные цехи действующих в городе-ядре объединений, крупных фабрик и заводов. Практически такие города, входящие в орбиту влияния города-ядра, будут выполнять те же социально-экономические функции, что и спутники.

Все населенные места системы окажутся связанными между собой, и прежде всего с ядром агломерации, регулярным транспортным сообщением. Они будут иметь всеохватывающую и комплексную сеть учреждений торговли и культурно-бытового обслуживания населения — от местных небольших объектов повседневного пользования до крупнейших универмагов, театров, концертных залов, музеев и спортивных комплексов, расположенных в городе-ядре.

Сформированные на этих принципах агломерации нового типа призваны «оттянуть» на себя значительную часть населения городов-гигантов и создать этому населению условия загородного комфорта или по меньшей мере хотя бы сдерживать дальнейший чрезмерный рост этих городов.

В то же время население самих таких агломераций (превращенных в системы расселения), если этого потребуют интересы народного хозяйства, можно будет доводить до многих миллионов человек, не опасаясь при этом вызвать гипертрофированный рост города-ядра.

Это не только теория, но уже и практика. В течение последних лет Госплан СССР проводит систематическую работу по расширению перечня малых и средних городов, рекомендуемых для первоочередного промышленного строительства. В соответствии с решениями XXIV и XXV съездов КПСС в настоящее время большая часть новых промышленных предприятий размещается не в крупных индустриальных центрах, а в сравнительно небольших городах, главным образом входящих в зоны влияния подобных центров. Это в значительной степени способствует планомерному формированию развитых территориально-производственных комплексов и групповых систем расселения.

Однако для скорейшего формирования и комплексного гармоничного развития таких систем каждая агломерация, по-видимому, должна стать самостоятельным объектом народнохозяйственного планирования, подобно тому как сейчас комплексно планируется, например, развитие хозяйства Московской области.

Включение в сферу воздействия разветвленной системы многочисленных агломераций обширных сельскохозяйственных территорий ускорит процесс ликвидации существенных различий в характере труда и быта городского и сельского населения.

По мнению советских урбанистов, эта форма расселения представляется сейчас наиболее рациональной с точки зрения дальнейшего развития социальных и градостроительных процессов в нашей стране на перспективу. Только таким путем появляется возможность перейти от жесткого контраста между

огромным каменным слитком города и окружающей его природной средой к их органическому взаимопроникновению и обогащению.

Приходит к жизни новый тип городского расселения, при котором исчезнет наконец и перестанет существовать, казалось бы, фатально-неизбежное, противоестественное и в то же время непреодолимое саморазрастание городов. Крупный город потеряет со временем самодовлеющее значение, закрепив в то же время за собою роль организующего, культурного ядра и экономического лидера в обширном урбанизированном районе.

Нашими научными и проектными организациями уже разработана единая схема расселения для всей территории страны. Она включает в себя имеющиеся и готовящиеся проекты групповых систем расселения на важнейшие регионы. Все эти работы в конечном счете базируются на генеральной схеме размещения производительных сил страны на перспективу до 1990 года.

Подобные работы получают развитие и в других социалистических странах. Много делается для совершенствования сложившейся системы расселения, например, в Польше. Здесь имеется до полутора десятков крупных промышленно-городских агломераций, сложившихся по направлениям наиболее урбанизированных зон страны. Однако в прежние годы каждая из них развивалась практически без плана, независимо от другой. Занимая вместе немногим более одной десятой площади страны, они сосредоточили в себе свыше двух третей ее промышленного производства и около 40 процентов всего населения. Возникла настоятельная необходимость решения проблемы их взаимодействия и наиболее целесообразного комплексного развития.

Вместе с тем в целях ускоренного развития других районов страны и создания более равномерной системы расселения в дополнение к крупнейшим сложившимся агломерациям, таким, как верхнесилезская, варшавская, лодзинская, краковская и другие, предусматривается формирование и интенсивное развитие новых агломераций, например быдгощско-торуньской в системе Нижней Вислы и гданьской вдоль Гданьского залива.

Осуществление этих мероприятий наряду с другими не только улучшит систему расселения страны, но вместе с тем создаст условия для ее более эффективного социально-экономического развития.

В других странах социализма проблемы расселения имеют свою специфику, вытекающую из размеров этих стран, степени их урбанизации, сложившегося размещения производительных сил и населенных мест и т. д.

В ГДР, например, весьма сложную проблему представляет комплексное и гармоничное формирование крупнейшей берлинской агломерации в связи с тем, что большая ее часть отошла к Западному Берлину. В результате ее хозяйственно-экономическое единство и система транспортных связей оказались нарушенными.

Развертываются работы по улучшению систем городского расселения в Болгарии. В Чехословакии, Венгрии и Румынии большое значение придается совершенствованию расселения в сельскохозяйственных районах этих стран.

В последние годы необходимость исправления стихийно сложившихся несуразностей в картине городского расселения все больше осознается и в некоторых капиталистических странах, где эти несуразности усугубляются бесплановым хозяйством и частным предпринимательством.

В Нидерландах, например, на 8 процентах территории страны сосредоточено около половины экономического потенциала и всех ее жителей. Для рассасывания избыточного населения городов и поднятия экономического потенциала других районов страны намечается построить несколько новых городов.

Для градостроительного развития Франции характерны преобладающая роль Парижа в системе городских образований и относительно слабое развитие остальных городов, среди которых преобладают малые и средние города. Это препятствует быстрой урбанизации всей территории страны, формированию сети современных транспортных путей и полноценному обслуживанию населения.

Французские специалисты считают, что для исправления этих недостатков необходимы безотлагательные меры по деконцентрации промышленности и населения Парижа, превращения моноцентрической парижской агломерации в полицентрическую с развитием на ее территории нескольких новых городов. Одновременно намечается создание примерно восьми так называемых метрополий равновесия, то есть экономически развитых урбанизированных районов, размещенных равномерно на территории страны.

В США в течение многих десятилетий стихийное формирование системы расселения мало беспокоило как градостроителей, так и государственных деятелей. Они даже гордились быстрым ростом городов и гигантских агломераций, не разделяя доктрины о необходимости планового регулирования градостроительных процессов.

Однако в последнее время настроения стали меняться. Непрерывное и беспорядочное разрастание таких многомиллионных конурбаций, как в районах Нью-Йорка, Детройта, Канзас-Сити, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Кливленда — Питтсбурга, Чикаго — Милуоки и других, где в особо острой форме проявились все пороки капиталистических городов, — с одной стороны, и деградация многих «глубинных» районов страны — с другой, заставили серьезно призадуматься. Была создана специальная комиссия, которой поручалось изучить проблемы расселения, роста городов и связанные с ними экономические и социальные аспекты. Комиссия пришла к выводу о необходимости всеохватывающего планирования территорий крупных городских образований и их ареалов, для чего должны быть введены новые законы, направленные на упорядочение использования и распределения городских земель, на борьбу со спекуляцией земельными участками, на принудительный выкуп земель, необходимых для городского развития, установление соответствующих налогов и т. д.

Однако ввиду того, что в области всех этих вопросов в США существует множество законоположений, строго охраняющих интересы собственников и препятствующих каким-либо планомерным действиям, рекомендациям комиссии едва ли суждено осуществиться...

Только социалистический строй с плановой системой народного хозяйства, политика партии, направленная на максимальное развитие нашей экономики и всемерное повышение материального и духовного уровня жизни народа, дополненные прогрессивными принципами передовой градостроительной науки, создают реальные возможности для решения одной из острейших проблем века — проблемы регулирования процессов урбанизации и создания оптимальной среды обитания современного человека.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА

★

## АЛЬБИОН И ТАЙНА ВРЕМЕНИ \*

АЛЬБИОН...

*Вместо предисловия*

**К**ак прекрасно приехать в Англию туристом, из окна автобуса увидеть кружево Вестминстера и мрамор Трафальгара, удовлетворить страстное желание постоять на мосту Ватерлоо, ничем не замечательном мосту, связанном в нашей памяти с сентиментальным популярным фильмом военного времени, постоять у гробниц владык и владычиц, перебирая в памяти освеженные перед поездкой страницы учебника истории средней школы, подивиться на торговые улицы; краем уха от гида услышать, что фунт стерлингов поднялся или упал на бирже, но не обратить на этот факт почти никакого внимания, ибо не тебя он касается, посмотреть по телевизору, с трудом разбирая слова, хотя всю сознательную жизнь по школьным и университетским программам учил этот язык, вечерний фильм о заброшенном доме с привидением, куда приезжает молодая чета и где юная жена чуть не становится жертвой черных сил; замирая пройти по плитам Стратфорда, где якобы жил Шекспир...

А тут — повседневная жизнь. Вестминстер видишь, лишь когда показываешь город заезжему гостю. Да разве вольным туристским взором глядишь на него? Торопишься, думаешь о чем-то будничном, постороннем, необходимом. Мост Ватерлоо служит элементарным ориентиром: «К врачу на прием нужно ехать в сторону моста Ватерлоо, от моста налево». И даже вечерний фильм — попадают среди них презанятные, с юмором — чаще всего смотреть некогда. Зато уж политика и экономика страны, как говорится, в печенках у тебя сидят — все здесь вокруг них сосредоточено.

Собираюсь писать книгу... А увидела ли я Англию? Неужели же нет! Столько дорог исходила, столько людей повидала. Верно, исходила и повидала. Откуда тогда странные чувства: первое — словно живу здесь уже тысячу лет, очень давно и очень одиноко, и тут же второе — кажется, только вчера приехала и от суеты, людского калейдоскопа, множества дел кругом идет голова. И я еще ничего здесь не видала. Какое же из них верно? Оба?

Зачем писать книгу, если об этой стране написаны целые тома историй и социологических исследований, журналисты, жившие здесь подолгу, непременно отмечали свое пребывание в Англии книгой? Зачем писать книгу о стране, из которой мечтаешь скорее уехать домой, язык которой учишь по необходимости, к тому же весьма скучной кажется задача рассказывать, что за люди англичане? Куда интереснее и вернее, чем поверхностные измышления, подкрепленные быстро устаревающими фактами, взять с полки Диккенса. Голсуорси, Сноу, Голдвинга или Мердок.

Но Британия наступает из дверей и окон, подсовывает человеческие типы и характеры один интересней другого, искушает историческими аналогиями, завлекает пейзажами...

---

\* Журнальный вариант. Полностью книга выйдет в свет в издательстве «Современник».

Недалеко нужно ходить, чтобы увидеть, как тянулись из Англии к России лапы британского зверя, вот-вот ухватят — не ухватили. И не в том дело было, что далеко лежал лакомый кусок (Индия — та еще дальше была), а в том, что русская империя росла и наливалась — чужую хватку чуяла: требует королева Елизавета в 1567 году экономических привилегий для своей торговли в России, а Иван Грозный за это политический союз предлагает — на равных. Ударит хвостом со зла британский зверь, подождет немного — время идет, цари умирают — и снова тянет лапу.

Не буду злопамятна, не стану вспоминать более близкие времена, в которых все было: и помощь врагам России под видом нейтралитета, и откровенная ненависть политики Веллингтона, и подчеркнутое дружелюбие в минуту, когда туча нависала над миром, а Россия должна была принять на себя главный удар.

Иду к Альбиону с добром, твердо зная, что нет никого на свете добрее, умнее, интереснее человека из народа. И Альбион отвечает мне на это людьми, людьми, людьми. И каждый — капля океана, воплощение всех черт, составляющих страну. «Люди-то людьми, но будь осторожна именно потому, что это люди. Вспомни, как обошлась с тобой англичанка!» — говорит мне, нашептывает, предостерегает какой-то голос. И я вспомнила.

Было это года за два до моего отъезда в Англию. Объявилась в Москве молодая, красивая и приветливая английская писательница. Она не скрывала своего намерения написать книгу о России и просила меня познакомить ее с самыми разными людьми — рабочими, студентами, литераторами. Она приезжала несколько раз, мы виделись, разговаривали, я показывала ей Москву, и это стало напоминать нечто похожее на дружбу, если предьявлять дружбе не самые высокие требования, а называть ее доброжелательность и отзывчивость в отношениях. В то время я и в мыслях не имела, что буду жить когда-нибудь с нею в одном городе.

Однажды я получила увесистую бандероль из Лондона, распечатала и увидела готовую книгу своей приятельницы о нашей стране. Удивилась — так быстро! И тут же запоздало пришло опасение: а что можно написать за три коротких посещения! Опасение было не напрасным. Материала у нее явно не хватило. Но, как я понимаю теперь, поварившись в лондонском котле и познакомившись с английскими принципами издательского дела, моей знакомой нужно было ковать железо, ибо условия тогда складывались в ее пользу — договор заключили охотно, семафор был открыт.

За отсутствием ли фактов жизни, за отсутствием ли чувства меры и такта пустилась она в описания мелких деталей всего, что только попало на глаза. Так как со мною она провела много времени, то и я оказалась одной из ее героинь. Я несколько не обиделась на свою знакомую — она расписала меня, в общем, доброжелательно; не сердиться же на нее за то, что она заметила некоторый беспорядок в моей квартире, — верно, было такое. И все же я была ранена в самое сердце: из добрых отношений состряпалось забавное «стори», из дружеского участия были сделаны деньги, из сердечных встреч — литературный материал. Ну, погоди, подумала я, долг платежом красен!

Чего уж лучше, случай представился: и в доме я побывала у своей коварной подруги, и в стране ее не налетом была — годики истратила. Но все мои друзья и недруги в этой стране могут не беспокоиться: из дружбы я не сделаю забавного «стори» и не предам их имена на позор. Однако я не могу написать ни строки без их присутствия, без их участия на страницах, ибо они все вместе составят образ моего главного героя по имени Альбион. Вряд ли хоть один из тех, кого я тут описала, сможет узнать себя.

Мне кажется, читателю интересно будет сразу познакомиться с главными героями, дабы войти в курс дела и не тратить лишнего времени на отступления внутри действия.

Итак —

миссис Кентон — седая высокая англичанка за пятьдесят. Жена скромного служащего из очень приличной фирмы. Мать двух взрослых детей. Домашняя хозяйка. Женского равноправия, безусловно, не признает. Обо всем имеет собственное мнение, которое почти всегда совпадает с мнением ежедневной лондонской газеты «Таймс», читает ее с юности;

мистер Вильямс — старый клерк. Философ. Разрешил мне списать с него образ типичного патриота, что я и сделала, выведя его под псевдонимом;

Пегги Грант — худенькая блондинка. Художница. Почти ничего не ест, потому что «бока не в моде». Всегда одета в одни и те же вылинявшие джинсы и майку. Зимой

набрасывает легкую курточку. У нее глубокие голубые глаза. Зубки чуть выдаются вперед, по-заячьи обнажаясь в улыбке. Замужество считает пережитком;

А н т о н и С л о у н — инженер автомобильного завода. Бледнолицый лысоватый. человек за тридцать. Худощав. Тщательно одет, умыт, выбрит;

Г л е н н Б р а у н — шахтер из Уэльса;

Л е а А р н о л д — журналистка. Готова, по собственным словам, «заработать на имени родной бабушки». В нерабочее время очень приятна в общении.

В этой книге собственными именами названы такие всем известные люди, как Уинстон Черчилль, Джордж Байрон, Мери Куант, Поль Гетти и другие.

### БЕФ-СТРОГАНОВ С ЗОЛОТЫМ ДРАКОНОМ

Гостей я всегда любила. Помню себя лет двенадцати в радости, что сегодня гости. В доме волнение и беготня, пахнет сразу всей приготовленной едой, а всего сильнее пахнет свежестью белая накрахмаленная скатерть, с хрустом развертываемая мамой над столом.

Вот уже стол заставлен, и отца посылают открывать бутылки, и мама отправляется переодеваться, и вот-вот зазвонит звонок у входной двери, а ты, воровским взглядом оглядев стол, вдруг вспоминаешь, что они еще в кухне, стоят на столе, укутанные в полотенце и одеяло. И ты запускаешь руку под одеяло — вот он, первый попавшийся, ах, если бы с мясом, но он оказывается с картошкой, что тоже очень вкусно. Как раз в эту минуту и раздается звонок в дверь, ты вздрагиваешь, пойманная на месте преступления, и жуешь пирожок что есть мочи, и весело тебе, и смешно, и жутко, хотя гочно знаешь, что наказания за это не будет, не будет, не будет!

Воспоминания порхали и кружились вокруг меня, пока я суетливо и не без волнения готовилась встретить первых своих английских гостей.

Прошла всего неделя с того дня, как мы приехали. Вернувшись накануне вечером с официального приема, муж сказал:

— Понимаешь, так получилось, я позвал гостей. Познакомился с одним англичанином, лордом, кстати, он сказал, что никогда не бывал у русских и не едал наших блюд. Завтра у них с женой неожиданно оказался свободный вечер.

Я всполошилась и полезла в закрома. Селедка и шпроты — дело не последнее: люди, жившие прежде в Англии, давая мне советы перед поездкой, рекомендовали не забывать, что в Англии нет ничего похожего на наши селедочные засолы, а успех у них наивысший. Среди множества банок, привезенных из Москвы, лежали, обвивая их, длинные низкие сушеных белых грибов, из которых я przygotowляю свой семейно-фирменный салат—гордость стола.

Весь вечер я трудилась: заливала грибы кипящим молоком, дабы к утру, завернутые в теплое, они разбухли и стали почти такими, какими были под деревом в лесу, заводила тесто для пирожков, пекла коржи для торта. Весь следующий день не приседая тоже готовилась к приему: резала салаты, жарила, парила, варила. Расставляла на столе. Едва успела переодеться к приходу гостей.

Гости откушали всего. Очень хвалили. Перебегая из кухни в столовую, я едва успевала подносить. Они о чем-то говорили с мужем, даже смеялись, но я плохо соображала о чем. Уходя, гости долго благодарили, уверяя, что провели незабываемый вечер.

Через день почтальон принес изящный конверт. Письмо содержало восхищенный отзыв и слова благодарности. В конце стояла фраза: «И еда была изысканнейшая!»

Я ликовала. Победа! Как, однако, приятно сознавать, что удалось не ударить в грязь лицом. А ведь я только приехала! То ли еще будет! Кажется, эта гостья милая, и хотя совсем не молодая, возможно, мы подружимся: в ней есть что-то такое приятно-располагающее...

Мои мечтания были прерваны телефонным звонком. Миссис Кентон хотела узнать, как называется та рыбка в баночке, что я ей на днях подарила. Она намеревается открыть баночку нынче вечером к приезду мужа.

— Милая,— закричала я,— приходите чай пить!

Мне хотелось поделиться с соседкой своей радостью, а также остатками яств, которые распирала не только холодильник, но и всю кухню.

— Да, но... сейчас еще два часа дня.

— Ах, я забыла, что тут пьют чай как по команде ровно в пять. Жду вас.

Миссис Кентон явилась ровно в пять прямо из парикмахерской, где ей тщательно завили негустые седые волосы. К приезду мужа. От нее пахло гиацинтами.

— Вы принимали гостей и прежде не посоветовались со мной? — Завитые буколки закачались, как колокольчики.

— Чего тут было советовать, все прошло великолепно. Вот! — Я протянула ей письмо, неоспоримое доказательство моей победы.

Она мельком пробежала его и равнодушно бросила на стол.

— Письмо еще ни о чем не говорит. Надеюсь, когда они пришли, вы рассадили их в кресла и предложили выпить?

— Зачем, у меня все было уже готово, пирожки остывали, я сразу позвала их к столу.

— Так! — Глубокие блеклые глаза миссис Кентон блеснули. — Так. Полагаю, что за столом вы рассадили своих гостей продуманно, с учетом пола, языкового различия и профессии?

— Никак специально не рассаживала. Их было двое, муж и жена, рядом и сидели.

— Всего двое?! — почти закричала миссис Кентон. — Вы уверены, что всего двое?

— Да вы что, дорогая, смеетесь надо мной? Двоих и звали.

— Пусть так. Надеюсь, с едой-то было все в порядке?

— Еще бы! Крупинке негде упасть — весь стол закусками уставила. Видите, в письме: и еда изысканнейшая. Значит, так: три сорта салатов, холодец, рыбное заливное, разного сорта селедки, паштеты, огурчики и квашеная капуста, язык, ветчина и еще всякие мелочи, потом борщ с пирожками, потом горячее...

— Какое?

— Я приготовила по пружинскому рецепту цыплят «табака». Это довольно сложно готовить: заранее маринуешь птицу, обсыпашь луком и перцем, даешь ей пропитаться специями, а потом, перед самой подачей на стол, жарить под прессом на раскаленной сковороде. И непременно без масла.

— Не хотите ли вы сказать, что кормили своих гостей курами?

— Да... — протянула я, чувствуя, что мой рассказ встречает у соседки непонятное мне глубокое неодобрение.

— Не будете ли вы добры показать мне тарелки, на которых подавали гостям.

Я принесла ей нечто восхитительное, известное в Москве под названием «голубые кареты». На белом фоне, сплошь усыпанным голубыми цветами, куда-то мчались голубые лошади с голубыми каретами и голубыми седоками. Это было мое первое приобретение в Лондоне. Я увидела «кареты» в окне какого-то магазина и замерла: ведь точно такие же продавались у нас в Москве и, как говорится, вся Москва гонялась за ними, да не всем досталось. Я купила их не раздумывая. И вот теперь эта сухопарая англичанка почему-то с презрением глядит на тарелку и говорит:

— Так и знала, боже мой, так и знала! Почему вы не посоветовались со мной, прежде чем принимать гостей?

— Вы хотите сказать, что я принимала гостей не совсем правильно?

— Совсем неправильно, просто ужасно! — И, не обращая внимания на мое угасающее лицо, миссис Кентон холодно перечислила: — Во-первых, нужно было пригласить еще одну пару — гостями здесь угощают так же, как едой. Вы лишили своих гостей не только возможности общения, ибо сами толклись на кухне, но и возможности написать: «Гости, которые были приглашены вместе с нами, оказались очаровательными людьми». Во-вторых, вы сразу загнали их за стол, не дали посидеть уютно в креслах и немного выпить, а главное, начать разговоры о погоде, кризисе, газетных новостях. Кстати, это очень было бы удобно и для вас — пока муж разливал напитки и гости разговаривали, вы между разговорами незаметно расставили бы закуски.

— У меня было приготовлено много закусок, очень много, я бы не успела их расставить...

— А куда спешить? И много закусок совершенно не нужно. Баночки шпрот, легкого салата, нескольких соленых огурчиков, вашей, как вы мне объясняли, печеной в духовке шкафу картошки по две штучки на каждого вполне бы хватило. И элегантно, и красиво, и ненавязчиво, и, главное, экзотично: типичный русский стол.

— Совсем не типичный,— начала я подниматься из развалин,— типичный как раз такой, какой я устроила.

— Англичанам,— урезонила меня миссис Кентон,— не важна ваша типичность. Они поймут ее, если она будет типично английская с легким русским колоритом в виде шпрот и печеной картошки. Бедная гостья, как она, должно быть, металась между необходимостью есть и невозможностью есть так много.

— Совсем не бедная!— снова воспряла я.— Сама просила еще. В особенности салат с белыми грибами.

— Какими грибами?

Вместо ответа я принесла миссис Кентон из кухни пахучее ожерелье — беленькие были один к одному.

— Что это? — в ужасе обнюхала грибы соседка.

Я начала было рассказывать, как готовлю салат с грибами, но она не слушала меня.

— Это яд. Все грибы, кроме выращенных в темноте шампиньонов, в Англии считаются ядовитыми. Видимо,— она снова обнюхала и поскребла ногтем твердую сухую шляпку,— эти грибы специально обработаны и обезврежены...

«Два мира,— думала я,— черт возьми, два мира. Эта Кентонша никогда в жизни не видела белых сухих грибов. Ну ничего, сейчас я угощу ее остатками грибного салата. Посмотрим, что она запоет,— не было человека, которому не понравился бы мой салат!» Я стала звать гостью к столу, но она словно не слышала меня.

— Все ваши просчеты — пустяки в сравнении с главной непростительной ошибкой: вы подали в качестве горячего кур!

— Позвольте, это уж какая-то ерунда! — возмутилась я.— У нас очень любят цыплят «табака», и вообще курица считается одним из самых любимых блюд.

— Это у вас. А в Англии от того, что вы подадите в качестве горячего, зависит очень многое. Именно горячее говорит, уважаете ли вы своих гостей: даже в дни такого жестокого кризиса угощаете их говядиной.

— Почему именно говядиной?

— Потому что именно говядина — самое дорогое, как говорится, престижное мясо. Курицу, жирную свинину, баранину, сосиски вы можете есть сами хоть каждый день. А говядина — пища для гостей. Что вам стоило приготовить беф-строганов?

— Беф-строганов? У нас это самое рядовое блюдо, как сосиски!

— Как? Беф-строганов — рядовая еда? — удивилась уже миссис Кентон.— Что же, в таком случае вы подаете гостям?

— Разное. Можно, если попадетсЯ нежирная утка, начинить ее яблоками. Можно налепить пельменей по-сибирски. Это такие крохотные вареные пирожки с мясом, в Англии их, наверно, не знают. Весьма довольны бывают мои друзья, если я потчую их свининой, шпигованной чесноком. А уж если попадетсЯ осенью на рынке целый поросенок — это повод для серьезнейшего собрания.

Я оживилась, ободрилась и чувствовала, что от сильного преувеличения с поросенком кровь быстрее побежала по жилам.

Миссис Кентон пожала плечами и пошла к столу. Накладывая на тарелку грибной салат, она заключила свой урок:

— А эту посуду спрячьте или пользуйтесь ею в повседневной жизни, для гостей же купите что-нибудь получше. Конечно, никто и виду не подает, мы народ воспитанный, но про себя гости отметили, что ели с аляповатых тарелок из дешевого магазина. Запомните — чем меньше рисунков на тарелке, тем она считается изысканней. Ко всему прочему, вы лишили их возможности похвалить за столом ваши дорогие тарелки: «Ах, какой красивый сервиз! Это фирмы «Веджвуд»? Сразу видно. Дэвид, дорогой, посмотри, какая прелесть!»

— Хорошо,— начала я наступление, краем глаза наблюдая, как дешевая тарелка перед миссис Кентон вновь обильно наполнилась моими неприличными приготовлениями,— хорошо, но это письмо. Ведь мои гости... никто не заставлял их писать. Уходя, они поблагодарили, и этим вполне можно было ограничиться. Не свидетельствует ли письмо о том, что им все-таки у меня понравилось?

— В общем-то, понравилось,— закивала миссис Кентон, поддевая паштет куском пирожка с капустой,— конечно, необычно, интересно, непривычно, кое-что неприлично:



отсутствие других гостей, курица, дешевые тарелки. Но письмо ни о чем не говорит. Письмо — типичная акция английского лицемерия.

«Караул!» — хотелось мне закричать и еще хотелось домой, в свой ясный, простой мир, где чем богаты, тем и рады, а если и небогаты, то все равно приходите, голодными не оставим: можно занять у соседа, купить что найдется в ближайшем магазине и, вдосталь наевшись, вдосталь наговориться не о погоде, не о деньгах, а о том, от чего, как тебе кажется в момент разговора, зависит жизнь всего человечества. И писем никаких потом не будет, писем с лживыми словами!

Кажется, миссис Кентон поняла всю бурю чувств, отразившихся на моем лице. Запивая чаем большой кусок торта, который у нас называется «наполеон», она вдруг весело подмигнула мне и улынулась:

— А в общем, не беспокойтесь, ничего страшного не произошло. Вам просто впредь следует отнестись к нам как к туземцам: узнать обычаи и следовать им сообразно обстановке. И потом, вам, выросшей совсем в иных условиях, всегда должно здесь помнить: вы попали в очень классовое общество. Приглашая гостей, учитывайте, из какого класса они. Те, что были у вас, относятся к привилегированному сословию. Меня и моего мужа вы можете угостить курицей с дешевых тарелок, во-первых, потому, что мы соседи, а значит, в какой-то степени свои, во-вторых, потому, что мы простые люди. Почти простые,— мгновенно поправились она,— и то я бы предпочла у вас в гостях хоть ненадолго почувствовать себя леди, такой же, как та, что была у вас первой гостьей.

Моих уверений, мол, я отношусь к людям не по классовому признаку, но все же благодарна ей за советы, миссис Кентон уже не слышала, она допила чай и собралась уходить — через час ее муж должен был прибыть домой. Уже за порогом она сказала:

— Послушайте, я забыла самое главное: все, чем вы меня угощали сегодня, было очень вкусно, я наелась до завтра!

— Прикажете расценивать это как очередной акт английского лицемерия? — спросила я через порог.

Миссис Кентон погрозила мне пальцем.

По особенности своего характера долго и трудно переживать всякие пустяки, а в минуту серьезных невзгод хранить спокойствие, дабы утешать близких, я долго и трудно переживала свой провал с обедом. Никакие уверения доброй миссис Кентон мне не помогали. Вспомнились самые мелкие и неприятные подробности: и как икрой было измазано нарядное платье гостыи, и как оскорбительно рано ушли они. Гостыя стала казаться неприятной, накрашенной, пустой куклой. Да как могла я вообразить, что между мною и ею возникнет подобие дружеского чувства! С чего бы? Нет, забыть, забыть и никогда не вспоминать больше об этих лордах, черт бы их побрал.

Я уже начала забывать, как лорды сами напомнили о себе, прислав письмо с приглашением на обед примерно за месяц до даты обеда.

В этом типичном английском доме с узкой прихожей и лестницей, начинающейся прямо от порога, наши пальто были не повешены — небрежно брошены на перила лестницы; мы, шагнув влево от лестницы на полшага, очутились в большой гостиной, где, конечно, уже сидели гости — муж и жена, возрастом чуть постарше нашего. Едва мы сели, как хозяин дома предложил на выбор разные напитки. Получив свои бокалы, все мы с улыбками расположения друг к другу начали разговор... о погоде. Я похвалила лондонский климат. Это было очень удачно — гости и хозяева заудивлялись, заволновались и минут семь — десять шла приятнейшая перепалка о дождях и туманах. Потом незаметно разговор переметнулся к росту цен: накануне подорожали сыр и помидоры. Гостыя — высокая блондинка с зубами такой величины, что, глядя на них, невольно хотелось воскликнуть: «Не может быть!» — воздела руки к потолку:

— Нет, если дальше так будет продолжаться, придется сделать революцию!

Мне показалось, что о революции она сказала исключительно для того, чтобы польстить нам.

Хозяйка тоже участвовала в разговоре, выходя иногда в соседнюю столовую, где, как я видела, уже был накрыт стол.

Спустя полчаса после прихода нас позвали к столу. Хозяйка посадила меня рядом с хозяином, моего мужа с гостыей «революционеркой», а ее мужа рядом с собой. «Запомни-най,— говорила я себе,— запоминай, надо!»

На столе к началу обеда стояли цветы в двух вазах, солонка и перечница, а на скромного вида закусочных тарелках перед каждым лежал большой, во всю тарелку, но чрезвычайно тонкий кусок лосося, украшенный сбоку большим салатным листом. Сквозь лососину просвечивал изящный маленький рисунок в самом центре тарелки: золотом на темно-зеленом был выведен крылатый дракон, правая передняя перепончатая лапа поднята вверх, язык свисал из пасти, хвост закручен вверх спиралью. Мне захотелось поднять лососину, поднести тонкий розовый ломоть к глазам и посмотреть, какое при этом будет выражение на лицах гостей. Вместо этого я покорно разрекламовала розовый папиросный листок и начала жевать. Разговор после похвал лососине переметнулся на ее цену, и, узнав, что за последние полгода она вздорожала вдвое, я почувствовала себя как-то неловко оттого, что вот сижу, обсуждаю то, что съела, да еще и наношу урон хозяйскому кошельку тем, что ем такую дорогую рыбу. Однако, кроме меня, никто неловкости не ощущал. «Вам следует отнестись к нам как к туземцам: узнать обычаи и следовать им сообразно обстановке», — вспомнились вещие слова миссис Кентон.

Мы ели протертый суп из помидоров. Зачерпнув последнюю ложку из суповой чашки, я увидела на дне ее знакомого дракона.

— Какой красивый сервиз! — сказала я, отдавая хозяйке пустую чашку. — Это, видимо, фирмы «Веджвуд»?

Хозяйка одобрительно и несколько удивленно улынулась:

— Не правда ли, красиво? И вы уже знаете фирму «Веджвуд»? (Спасибо, миссис Кентон, милая, спасибо. Вы молодец!) Как приятно. Это, правда, не «Веджвуд», а всего лишь «Минтон». (Ах, миссис Кентон, простите, рано я вылезла с вашим «Веджвудом», не поучилась, не пригляделась).

— Всего лишь! — воскликнула зубастая гостья. — «Минтон» — самая дорогая марка фарфора, — объяснила она мне, — притом, заметьте, это фамильный «Минтон», с вензелями и драконом, который есть в гербе семьи нашего дорогого хозяина.

Скорее, скорее бы кончилась эта мука! Чуть! Ерунда! Абсурд! Сидеть и обсуждать какие-то тарелки. Да побейся они все! И как дальше-то — неужели несколько лет жить, общаться вот с такими мумиями, говорить про сервизы и погоду, писать ничего не значащие письма...

— Очень вкусно! — слышу я голос мужа и возвращаюсь в действительность: на тарелке передо мной, украшенный зеленым вареным горошком и вареной морковью (встречали ли вы человека, который искренне, без мыслей о пользе любил бы вареную морковь? — я не встречала), лежит он самый, обыкновенный, плавающий в белесо-коричневой жиже старый знакомый — беф-строганов.

— О да, — подхватывает гостья, — необычайно вкусно! Дорогая, вы замечательная кулинарка. Кажется, — между прочим обращается она к моему мужу, — беф-строганов — блюдо русского происхождения?

И пока тот рассказывает ей про графа Строганова, я вспоминаю позднюю осень конца шестидесятых годов. Сыплется первый снежок на желтые лиственницы, зябко, по дороге в Баргузин мы, группа молодых поэтов, заезжаем в чайную и садимся за единственный пустой стол. Чайная полна, накурено, шумно. Тряса могучими телесами, ходит между столиками, мимо могучих мужиков широколицая узкоглазая официантка в белом халате. «Фень! — кричит ей из дальнего угла привастый парень. — Фень, чего на второе подарить?» «Бистроган будешь?» — говорит она, не оглядываясь на голос. «Черт с тем бистроганом. Давай лучше яшню».

Кончился обед десертом — яблочным пирогом, политым сливками, — и хотя я точно знаю, сама покупала такой пирог в кондитерском магазине, все гости хвалили хозяйкин кулинарный талант, а она улыбалась.

— О, я бесконечно благодарна вам за приятнейший вечер, мне было необычайно хорошо у вас, очень, очень рада, спасибо, чудесно, — говорил кто-то моими губами, но уже почти не моим, слащаво-льстивым высоким голосом, прощаясь в ужой прихожей у лестницы.

Утром следующего дня не без помощи словаря сочинила я письмо, где последней стояла фраза: «И еда была изысканнейшая». Отослала и задумалась: какой бы извлечь урок? И решила я по размышлению избрать золотую середину: так выкладываться, как мы, здесь совершенно не нужно. И все же принять безоговорочно английскую манеру приема гостей не позволял мне национальный характер: вот уж решусь приготовить немного, а

в самую последнюю минуту «страх объемят члены» — ведь придут люди и из моего дома уйдут голодными!

Со временем выработался опыт: печеная картошка без счета, легкие салаты и разная рыбка, а потом пожалуйста — беф-строганов, подумаешь, беф-строганов, это ведь не утку яблоками начинять. И никаких холодцов, никаких пирогов.

Приехав в отпуск домой и созвав самых близких друзей, решила я с ними поэкспериментировать. Рассадил по углам и говорю:

— Какие напитки будете пить?

И не заметила, как вмиг их с кресел словно ветром сдуло и они оказались за столом. На столе в четырех маленьких вазочках была разложена легкая закуска. Мои дорогие друзья молча переглянулись, но не сказали ни слова. В одну минуту один из них смахнул себе в тарелку содержимое одной вазочки, кто-то — другой, а пятому и шестому вообще не досталось. В тишине, подняв полную рюмку над пустой тарелкой, шестой мой гость сказал:

— Слушай, там у вас, в Англии, конечно, кризис, мы понимаем, жрать нечего. Но сейчас мы все, слава богу, дома. Посему позволь нам сбегать за угол в магазин «Комсомолец», там выбор неважный, да и поздно уже, но кусок колбасы и несколько банок консервов всегда найдется.

Я счастливо расхохоталась и бросилась на кухню за спрятанным угощением.

Жизнь вошла в свои берега.

## ЛИЦО ЛОНДОНА

Прежде чем увидеть что-то или кого-то, человек обычно пытается представить себе кого-то или что-то. Всегда ли представления совпадают с реальностью?

Лондон, думала я всегда, Лондон — нечто хмурое, темно-серое, иногда краснокаменное, острокрышее, причем крыши толпятся, теснятся, нечто узкое — не разойдешься, по своему сурово-красивое, вечно дождливое или туманное нечто.

Город разметал передо мною ослепительно белые крылья улиц в районе Риджент-парка, завлек на свои холмы, покрытые вечнозеленой травой и кудрявыми неохватными каштанами и буками, ошеломил архитектурой домов, являющих былое величие империи, погрузил в пучину нищеты и грязи в Брикстоне и Уайтчепеле — нет, он не был похож ни на какие описания. Растерянно бросилась я к Герцену: «Нет города в мире, который больше бы отучал от людей и больше приучал бы к одиночеству, как Лондон». Эти слова вполне подходили к моим представлениям о Лондоне и, видимо, тоже формировали эти представления, но совсем не показались верными сейчас, когда я увидела этот город.

Он существо со множеством лиц. Лондон деловой ничем не похож на Лондон развлекательный. Здесь разные и архитектура, и цвета зданий, и краски одежд, и люди, и выражение на их лицах. Лондон торговый — это совсем не то же самое, что Лондон жилой. Лондон на правом берегу Темзы — совершенно другой город, чем Лондон на левом. Западный конец, где и парламент, и королевский дворец, и Трафальгарская площадь, тоже необычайно разнообразен.

Только что я шла мимо богатых особняков, свернула за угол — бедный негритянский район, облезлые дома, грязь, мусор, еще за угол — высотные жилые кубы и параллелепипеды: новый район, где живет средний класс, где и занавески на окнах и машины у подъездов именно такие, какие должны быть у среднего класса. И при всем этом разнообразии, при всей пестроте есть люди, утверждающие, что Лондон — чрезвычайно однообразный и монотонный город. Самое удивительное, что они правы.

Да не в Кентише ли я? — озираюсь на центральные улицы Северного Финчли.

— Это что, Северный Финчли? — спрашиваю водителя такси, проезжая невдалеке от Шепердс-буша, который от Финчли на расстоянии двадцати миль.

Даже кварталы богачей в Лондоне похожи между собой. Белые дворцы Белгревиа я научилась отличать от таких же в районе Риджент-парка лишь благодаря обилию зелени в последнем. Что уж тогда говорить о новых районах, во всем мире сегодня выстроенных одинаково. В Лондоне я отличить их не берусь. Единственное, что может помочь — названия домов. Вот где необозримое поле для фантазии. Англичане привыкли часто вместо номера обозначать дом тем или иным именем. Думаю, в основе этой традиции лежит стремление выйти из укоренившейся системы архитектурного однообразия.

Название дома, как правило, берется не с потолка. Перед этим белым строением в прошлом веке росло три дуба. Поэтому оно и называется «Три дуба». А соседний дом назван «Два каштана» исключительно потому, что хозяин его, когда строился, перенял архитектуру «Трех дубов», и в этих «Дубах» все так нравилось ему, что и название он в некотором роде тоже позаимствовал. Он даже посадил перед крыльцом два каштана. Один погиб, не выдержав холодной зимы, а другой выбрасывает весной свечи густо-золотистой окраски. А этот дом называется «Красный», у него крыша выложена красной черепицей. Рядом «Зеленый дом», дальше «Голубой домик», еще дальше еще какой-то цвет. Есть, правда, улицы, где принцип наименований иной — хозяева не подражали друг дружке, а стремились перещегоолять один другого. «Русалочий домик», а рядом «Чертова кухня»; «Оплот тишины», а через несколько кварталов «Приют весельчаков».

Но это лишь в богатых районах. Закопченные строения не носят никаких названий, да и кому пришло бы в голову издеваться над собственной бедностью, вывешивать перед ветхим крыльцом витиеватой вязью написанное «Прибежище радости».

Однако примета нашего времени, вставные челюсти города — высотные жилые дома-близнецы, построенные муниципалитетом и предоставляемые людям в порядке очереди, переняли эту традицию богатых кварталов: я иду между ними и отличаю их только по названиям. В том районе, по которому сейчас иду, преобладают писательские имена: одна башня зовется «Дом Филдинга», точно такая же слева — «Дом Бронте»; интересно, какая из трех Бронте имела в виду, жаль, не додумались те, кто называет, как красиво звучали бы три имени — Шарлотта, Эмилия, Анна.

## СИТИ

Человек в длинном черном пальто. На голове черный котелок. На руках черные перчатки, а в руках черный зонтик. Теплое солнечное апрельское утро. Мы с ним идем вдоль темно-серых и бледно-желтых стен банков — бастионов величия империи. Он называет мне каждый и о каждом знает все: какой капитал вложен, какова история его возникновения и даже, что особенно интересно, каковы его дела сегодня.

— Мистер Вильямс, вам жарко, снимите пальто.

— Всю мою жизнь я носил эту одежду, мне не жарко, мне приятно, что я всем своим существом принадлежу Сити, не то что вот эти...

Он с пренебрежительной гримасой обвел рукой вокруг себя, предлагая осмотреться. Улица кишела людьми в светлых одеждах, в серых костюмах, в голубых измятых брюках.

— И это клерки Сити! — вздохнул мистер Вильямс. — В мои времена весь наш банковский город был одет все как один. Как я сейчас. Когда в часы ленча или после работы все выходили на улицы, было внушительное, почти ритуальное зрелище.

— Наверное, напоминало похороны, — осмелилась я.

— Напоминало. Однако я нахожу, что в ритуале похорон есть большая торжественность. В причастности к деньгам и причастности к смерти, если задуматься, есть много сходного: и та и другая не оставляет иллюзий и обе в конечном итоге — тлен.

Мистер Вильямс очень стар; бледное морщинистое лицо, удлинившийся от худобы и старости нос и загнутый вверх подбородок — все это делает его похожим на... Нет, нет, неприятное сравнение исчезает, едва этот человек начинает говорить: угасшее лицо озаряется светом ума и вы сразу же замечаете, как он бодр, несмотря на свои восемьдесят лет.

Он до сих пор занимается спортом. Каждое утро в любую погоду мистер Вильямс бегает по дорожкам Холланд-парка в белых трусах и белой майке. Этим да еще умеренным и строго по часам питанием он объясняет свое долголетие... Есть у него еще одно объяснение, на мой взгляд, несколько спорное, но, коли уж начала я рассказывать о мистере Вильямсе, умолчать об этом значило бы обеднить его столь необычный и, все же осмелюсь утверждать, весьма типичный английский облик. Мистер Вильямс холостяк.

— Конечно, когда я смотрю в парке на резвящихся детей и думаю, что мне решительно некому будет передать все то немногое, что я нашол за долгую жизнь, бывает грустно. Но ведь в жизни всегда что-то за счет чего-то. Зато какие тяжкие испытания миновали мои нервы: мне не пришлось соприкасаться с женским характером, не пришлось испытывать взаимонепонимание и необходимость скрывать его.

— Хорошо, но...

— Держу пари — знаю, о чем вы хотите спросить, но стесняетесь. О да, подруги у меня были. Представьте, даже теперь есть. — Мистер Вильямс снял на мгновение котелок и провел ослепительно белым платком по редкому серебристому перелеску. — Мой принцип: будь внимателен к женщине, дари цветы и никогда не позволяй ей подмести полы в твоём доме. Стоит только женщине взять в руки щётку — и ты пропал. Оглянуться не успеешь, как ты женат и она говорит тебе: «Подмети, дорогой, в доме грязно». Мои подруги, их две, навещают меня очень редко. Чаще всего я бываю у них на обеде или приглашаю их в театр или кино. Одна, Джулия, моя сверстница. Мы в детстве были соседями. У нее внуки и даже правнуки. Но теперь она живет одна на скромнейшую пенсию. Для нее, представьте, большая радость, пообедав со мной в маленьком ресторанчике, где она до сих пор любит пропустить рюмочку-другую, потом пойти посмотреть комедию. А мне приятно вспомнить с ней молодость и раз в неделю пообедать в ее крохотной кухоньке: она замечательно печет пирог с мясом и почками, почти так же, как пекла когда-то моя незабвенная мама. Вторая моя подруга — Эмма, полуирландка. Она еще молода, ей шестьдесят. И хотя я порой устаю от ее разговорчивости и несколько шумного нрава, мне приятно бывать с нею в кино. Жаль только, я не могу познакомить Джулию с Эммой. Обе почему-то от этого отказываются... — Мистер Вильямс указывает на пятое с краю окно третьего этажа одного из темно-серых зданий. — Вот за этими стеклами я просидел последние тридцать лет.

Вы заметили, что мистер Вильямс довольно словоохотлив? На самом деле это не так. По свидетельству его сослуживца, тоже очень пожилого, мистера Грина, Вильямс — «проклятый молчун». Наверное, у Грина, просидевшего тридцать лет бок о бок с Вильямсом, есть основания для таких утверждений. Мистер Вильямс делает исключение для меня. Совсем не от любви ко мне, хотя относится ко мне неплохо: я нарушила его привычные представления о людях из далекой и загадочной страны. Он представлял себе нас другими — хмурыми, жестокими, воинственно настроенными. Недобрыми. Никакой его вины в этом нет. Он исправный читатель газеты «Дейли телеграф», а та не жалеет бочки с надписью «Черная краска», когда рисует облик «готовой напасть на нас России». Справедливости ради должна сказать, что мистер Вильямс не переменял своих мнений. Мою «нетипичность» он объясняет тем, что меня «специально подготовили» перед поездкой. Но именно со мной старый господин и разговаривает язык. Он прежде всего гражданин своей страны. Патриот. И ему хочется, чтобы я поняла его страну. Это вполне совпало с моими намерениями, и мы с мистером Вильямсом являли собой весьма дружную пару на улицах Сити.

— Последние тридцать лет... Какую вы выполняли работу?

Старый человек долго смотрел на меня.

— Считайте, что я был клерком. Это слово вбирает в себя все профессии Сити.

— Я понимаю, клерком. Но что именно вы делали? В чем состояла все эти тридцать лет ваша работа?

Он опять долго смотрит на меня.

— Не забивайте себе голову тем, чего никогда не сможете понять. Лучше зайдем вот сюда.

Он пропустил меня перед собой, и мы очутились в крохотном кафе за столиком, стоящим у самого окна. Мистер Вильямс спросил, что я буду есть, и передал официантке лишь мой заказ. Однако она принесла еду нам обоим.

— Вы, наверно, уже тридцать лет в этом кафе пьете кофе с бутербродом?

— Всего пятнадцать. Прежде я сорок лет пил свой кофе с бутербродом в премилой итальянской лавчонке. Ее держала хорошенькая неаполитанка. Я вышел на пенсию, но продолжал каждый день ходить к ней на ленч. Не близко от моего дома. Когда она прогорела, я одно время пил двенадцатичасовой кофе дома. Но это оказалось так скучно! И вот опять хожу в Сити. Посмотрите, нам повезло, мы успели вовремя.

У дверей кафе выстроился хвост желающих перекусить. Мистер Вильямс медленно обвел взглядом очередь.

— И это клерки Сити! — презрительно повторил он.

Клерки стояли длинноволосые и молодые. Вид их, непосредственный и веселый, вызвал у меня симпатию.

— Почему же мне будет трудно понять, что такое клерк?

— Вы на редкость неспособны к финансовым вопросам...

Старый человек попал в точку. Мы были знакомы уже месяц. Никаких разговоров на финансовые темы не вели. О политике говорили и спорили много. Главным предметом споров был покойный Черчилль. Он идеал мистера Вильямса. По мнению старого клерка, все поступки и высказывания Черчилля не подлежат никакой критике.

— Откуда вы знаете, что я неспособна?

Вместо ответа мистер Вильямс взял мою сумку, лежавшую на краю стола, взглядом испросив позволения ее открыть, достал кошелек с деньгами и вывалил его содержимое на стол так ловко, что ни одна монетка не упала на пол. Я смотрела на груды измятых бумажек — автобусные билеты, ненужные чеки из продовольственных магазинов, деньги, старые записки, мелочь. Мистер Вильямс аккуратно разглаживал голубую купюру. Длинные белые пальцы нежно скользили по спокойному лицу Елизаветы II. Он смял ненужные листки, разгладил фунты стерлингов и мягко, плотно уложил их в кошелек, мигом похудевший вполтину.

— Я давно обратил внимание на ваш кошелек. Тот, у кого он в таком состоянии, не может состоять в хороших отношениях с деньгами. Это всего деталь, но я на эту деталь обращаю внимание прежде всего. Если бы вы были тоже клерком Сити... О, в наше сумасшедшее время женщина настолько быстро и решительно проникла в политическую и финансовую жизнь страны, что я не удивлюсь, если завтра управляющей Английским банком станет какая-нибудь предприимчивая дама из мира торговцев рыбой или овощами. Так вот, если бы вы тоже были клерком Сити и я увидел бы ваш кошелек, я бы никогда не стал иметь с вами дела. Человек финансового мира начинается с бережливости и любви к деньгам в конкретном их выражении, то есть к пенсам, фунтам, шиллингу.

Я видела кошелек мистера Вильямса. Он напоминал лабораторию ученого, а вернее пульт управления электростанцией. Довольно объемистый, со множеством отделений, он вмещал в себя аккуратные чековые книжки, карточки, листки с нужными пометками, членские билеты разных клубов и немного денег, разложенных согласно достоинству каждой купюры.

— Поэтому, дорогая, пойдемте лучше просто гулять по Сити.

Вообще-то, честно говоря, мне не очень хотелось весенним апрельским днем забивать свою и вправду неспособную к финансовым вопросам голову невероятными сложностями, но отповедь мистера Вильямса уязвила мое самолюбие.

После небольшой перепалки мы очутились в галерее биржи. Я видела то, о чем много слышала и читала: сквозь стекло глядела вниз, где сновали люди, вспоминала какой-то немой фильм, где тоже сверху был показан зал биржи точь-в-точь такой и скорей всего тот же самый, ибо биржа, где мы с моим гидом стояли, была не что иное, как «Лондон сток эксчендж» — главная фондовая биржа.

— Дорогая, — жалостливо говорил мистер Вильямс, — вы ничего в этом не поймете, и стараться не надо. Запомните только, что здесь идет торговля акциями. Вон там, в центре, торгуют акциями нефтяных компаний. Люди, которых вы видите, — клерки Сити, но у них есть свои названия, это маклеры и комиссионеры. И те и другие представляют здесь не самих себя, а те компании, которым они служат. Маклеры от имени компаний покупают и продают акции. Комиссионеры, это чисто английское явление, в других странах их нет, — посредники между маклерами, они назначают цены акций. Вам понятно?

— Нет.

— Мне тоже, — вдруг сказал мистер Вильямс. — Я начинал как комиссионер, и хотя Сити у меня в крови — мой далекий предок был менялой на берегу Темзы, а отец даже достиг хорошего чина в главном банке, — комиссионер из меня не вышел. Я недостаточно по характеру предприимчив и скор. После года этой работы по ночам приходили кошмары, я посоветовался с отцом, и он сказал мне: «Точно выбранная профессия — залог долголетия. Работа должна давать радость, а не кошмарные сны. Ну пусть не радость, но хотя бы спокойное удовлетворение».

— Скажите, — спросил меня старый человек, когда мы шли по узкой Трогмортон-стрит, — вам не кажется Сити узким, угрюмым, темно-серым даже в такой хороший день, как сегодня?

— Да Сити и есть узкий, угрюмый, темно-серый.

Мистер Вильямс весело потер руки и убыстрил шаги. Узкие изгибы тесных улиц становились то еще уже, то чуть расширились. Наконец мы попали в такой тесный проход,

что даже идти рядом было невозможно. Мистер Вильямс, попросив разрешения идти впереди, быстро пробежал до конца прохода и сказал:

— Взгляните, это тоже Сити!

Огромные лужайки с вековыми деревьями окаймляли старинные строения, перед нами был храм, дальше опять лужайки. Пахло скошенной травой, на траве валялись люди. Это был какой-то совсем другой мир, другой город, английский, типичный, но никак не вяжущийся с Сити.

— Я очень люблю читать книги иностранцев об Англии, в особенности о Сити и в особенности журналистов. Последние такие, должен сказать, верхогляды, что я читаю их писанину как юмористические рассказы. Сначала, примерно так же, как вы, разбираясь в акционерных делах, они с видом знатоков плетут чепуху, а потом описывают этот тесный Сити, не давая себе труда свернуть в одну из узких улочек. А ведь в Сити на одной квадратной миле три подобных этому места. Это старинные колледжи, где выковывается армия знаменитых английских адвокатов — барристеров и солиситоров. Вам, быть может, рассказывали, что нет ничего более сложного и запутанного, чем английские законы?

Мимо нас прошли два молодых человека. Они быстро окинули взглядом мистера Вильямса, один что-то сказал другому, и оба засмеялись.

— И это люди Сити! — сказала я.

— Да, дорогая, совершенно с вами согласен. В мое время англичане считали позорным глазеть на мимо проходящих людей. Вы поняли, над чем смеялись эти два дебила? Над моей одеждой. Бедная моя страна, теряя силу, теряет облик. Но что самое тяжелое — она теряет достоинство. Я, в сущности, счастлив, что сэр Уинстон не дожил до сегодняшнего дня.

— Но ведь в какой-то степени и он виноват в этом. Он стоял у руля, он правил кораблем.

— Вы не понимаете одной особенности английской жизни. Здесь не многое зависит от того, какая личность живет сегодня на Даунинг-стрит, десять. Англия падает в пропасть не только потому, что ею правят не те люди. Хотя люди, увы, не те. Консервативную партию, к которой я принадлежу, возглавляют парадоксальные личности: то женщина в брюках, то мужчина в юбке — как иначе назовешь Хита и Тэтчер? Но Англия падает в пропасть не потому. Дело в том, что на исходе двадцатого века наступил последний кризис нашего мира. Наши политики и дельцы не хотят в этом признаться самим себе и принять новые времена. Сити должен измениться изнутри. Как ни грустно, но как только все изменится — не будет Англии.

Он говорил уверенно и спокойно. Даже без оттенка печали, столь естественного для приверженца консервативной партии с 1920 года. Человек, переживший свое время и самого себя.

Мы вышли к берегу Темзы. Здесь когда-то на деревянной скамье сидел предок мистера Вильямса, разменивал деньги, давал займы под проценты, отсюда началась история Сити.

— А знаете, — сказал в конце прогулки старый человек, — откуда пошло слово «банк»? Среди менял было много пришельцев из Италии. По-итальянски скамья — банк. На скамьях шли все денежные операции, так словцо и застряло, а потом выросло в чине и вон каких высот достигло. По-русски «банк» тоже банк?

— Тоже.

Мистер Вильямс улыбнулся. Законное чувство гордости оттого, что слово, к которому он исторически причастен, завоевало мир, озаряло его бледное лицо.

## СОХО

«Шумный район узких, большей частью безвкусовых улиц, известный своими иностранными ресторанами и лавчонками, а также развязной «ночной жизнью» — так безжалостно аттестует его популярный справочник «Иллюстрированный гид Британии».

— Вы бродили по Сохо? — морщится миссис Кентон. — Страшное место. Наш позор. Когда же наконец там все снесут и пусть хоть «вставные челюсти» построят, но уничтожат этот рассадник заразы! Верите, в Сохо у меня по коже мурашки пробегают и я испытываю непреодолимое желание скорей очутиться дома и стать под душ.

— Прелестные есть местечки в Сохо! — улыбается своим воспоминаниям мистер

Вильямс.— Помню, в двадцатых годах неподалеку от «Китай-города» была греческая таверна. Какой я там ел шашлык! Ничего подобного за всю мою долгую жизнь больше не пробовал. А в тридцатых по вечерам я зааживал в ночной ресторан «Ласточка». Там в представлении участвовала одна моя подруга тех лет. О нет, Нэнси была честная девушка. Но она происходила из бедной семьи и непременно хотела выучиться на медицинскую сестру. Вечерами подрабатывала в «Ласточке». Ее взяли туда за красивую фигуру. Ее номер, Нэнси участвовала в канкане третьей слева, был первым в программе. После выступления мы сядили с нею за свободный столик, выпивали виски, ее виски был для нее бесплатным в «Ласточке», и шли гулять или ко мне. К Нэнси было нельзя — она снимала крохотную комнатенку и ее злущая хозяйка не одобряла мужчин.

— Я не бываю в Сохо по вечерам и вообще не замечаю его реклам, о которых столько досужих разговоров. Что в Сохо действительно замечательно, это овощной рынок. Лучший в Лондоне. Иногда я покупаю там что-нибудь экзотическое для своих ребятишек,— говорит инженер Антони Слоун.— Совсем недавно, в ноябре, я принес им из Сохо кастард-эппл. Не знаете, что это? В Латинской Америке этот фрукт называется чиримойа.

Чиримойа! Боже мой, чиримойа! Чили шестьдесят девятого года. Ноябрь. Весна в южном полушарии. Всего три дня назад в осенней Москве служащий чилийского посольства, выдавая мне паспорт и желая успеха, сказал: «Вы увидите очень красивую страну и очень спокойную, у нас уже тридцать один год не было никаких волнений».

...Выхожу на солнечную главную улицу Сантьяго и у самого подъезда гостиницы вижу огромную платформу с фруктами — бананы, яблоки, бананы, черешня, бананы, сливы, бананы... А это что? Темно-зеленое, чешуйчатое, похожее на кедровую шишку, мягкое на ощупь.

— Чиримойа, чиримойа,— чирикает в ответ на мой немой вопрос смуглый черноглазый паренек, торговец.— Чиримойа, чиримойа.

Я покупаю одну шишку и тут же на виду у прохожих вонзаю зубы в золотистую мякоть плода. На что это похоже? На все и ни на что. Яблоко, и ананас, и дыня, и что-то цитрусовое. Накупаю целую корзинку этого неведомого фрукта, и через час уже машина с нашей молодежной делегацией движется в горы по узкой дороге, а потом из машины пересаживаемся мы в вагончики железной дороги, которые доставляют нас на высокогорный медный рудник.

Жаркий, звенящий аплодисментами вечер встречи с рабочими рудника, песни и танцы, и в разгар веселья врывается новость: в стране начинается первая за тридцать один год всеобщая забастовка. Ночью мы, гости, не спим, взбудораженные, взволнованные, и едим мою чиримойу так, как, проголодавшись, ели бы хлеб или холодную картошку.

Чилийские события тех дней, ставшие началом новой жизни, закружили в своем водовороте. Комсомольцы повезли нашу делегацию в один из пригородов Сантьяго, где пыльный кусок пустыющей земли накануне захватили бездомные семьи и раскинули свои шатры. Здесь намерены они были начать новую жизнь. Никогда до сих пор не видела я такой ледящей душу нищеты: дети — полускелетики с язвами на коже, с изъеденными молочными зубами, сгорбленные старухи, уже почти ползущие по земле, а старухам тем не более сорока— пятидесяти.

— Ты должна выступить, — сказали мне комсомольцы. — Смотри, как много здесь женщин, пусть они послушают женщину из страны, где победил народ.

Впервые в жизни я хотела что-то сказать, хотя не знала, о чем буду говорить.

Нас провожали долго и горячо.

— Как зовут ее, как зовут? — нетерпеливо спрашивала моего чилийского друга-комсомольца Луиса молодая женщина с лицом, изъеденным язвами. — Если бы вы нам ее оставили, может быть, она помогла бы всему поселку наладить жизнь. Как зовут?

— Чиримойа, — пошутил тот, зная мое пристрастие.

И тут же множество голосов подхватило это слово, и опять словно воробьи зачирикали на ветке: чиримойа, чиримойа, чиримойа!

Я стала Чиримойа для всех своих чилийских друзей. И в 1973 году, приехав в Лондон, я продолжала получать письма от Луиса Годоя, которые всегда начинались так: «Дорогая Чиримойа, радуйся: твой район уже начал строить дома взамен жалких шатров».

Все, что происходило в Чили, с тех пор касалось меня. И — удар в сердце, когда лондонский диктор телевидения бесстрастным голосом сообщил в начале сентября 1973 года о гибели Альенде. Нервное выступление чилийского посла перед телезрителями. Демонстра-



ция протеста прогрессивных англичан против незаконного переворота. Я пришла к зданию посольства задолго до начала демонстрации, но там уже стояли толпы молодых людей со знаменами и плакатами. Из окон посольства смотрели растерянные лица вчерашних его сотрудников. Я плакала.

— У этой женщины, наверно, кого-то убили в Чили, — сказал юношеский голос за моей спиной.

Погиб Виктор Хара. А ведь он пел нам однажды всю ночь в молодежном клубе Сантьяго.

Долго еще ждала я хоть какой-нибудь вести о Луисе. Потом я узнала, что его расстреляли на стадионе в первые дни путча. Так я и думала: он был первым везде и пуля от врага полагалась одному из первых. В Сохо, кроме чиримойи, я теперь встречаю иногда чилийцев, которым удалось спастись от преследований хунты...

Да, я смотрю на Сохо совсем другими глазами, чем миссис Кентон, мистер Вильямс, Антони и многие другие. В Сохо всегда спасались люди от насилий, гнета, нищеты, эмигранты из других стран, а их судьба в Англии, как правило, predetermined and расклассифицирована точно. Им отводится дно.

Здесь еще можно найти потомков французских протестантов, тысячами перебежавших в 1685 году через канал после отмены Нантского эдикта. Здесь греки, ушедшие от режима черных полковников, индийцы, спасшиеся от голода.

«Со-хо!» — охотничий возглас. Отсюда, по наиболее популярной версии в Лондоне, произошло название района.

### СВАДЬБА И ССОРА

Накануне миссис Кентон сказала, что придет ко мне, если я не возражаю, на весь день. Мы будем смотреть телевизор, и она подробно все объяснит.

Передача была объявлена по всем трем программам телевидения, но по двум каналам Би-би-си она была одинаковая, а по Ай-ти-ви — коммерческому каналу — своя.

— Я предпочитаю Ай-ти-ви, — моя соседка расположилась в кресле, — программа неофициальная, в ней больше интересных подробностей. Впрочем, иногда мы будем переключать.

Весь день 14 ноября 1973 года был посвящен событию в королевской семье — дочь королевы принцесса Анна выходила замуж за капитана Марка Филиппа. Задолго до свадьбы газеты в подробностях описали и обсудили жениха и невесту. Я узнала, что они познакомились в клубе верховой езды. Оба увлекаются конным спортом, оба участвуют в соревнованиях. Несколько дней, ничуть не смущаясь, газеты, как заправские сплетницы, обсуждали жениха и охали, не находя в нем не то чтобы королевской, но ни капли более или менее «благородной крови». «Принцесса выходит за простого офицера!», «Человек из народа в Букингемском дворце!», «Демократизация королей!» — кричали заголовки со всех первых газетных полос. Одна не самая заметная газетка в результате продолжительных поисков нашла в роду капитана Филиппа предка, служившего в королевских конюшнях, и на основании этого «сенсационного открытия» пыталась приписать жениху баронский титул. Но заглохла.

Еще одной важной темой было свадебное белое платье невесты. В центре внимания оказалась фирма, где его шили. Представительницы фирмы не жалели красок в описании покроя этого выдающегося наряда.

Накануне назначенного дня состоялось сенсационное телеинтервью. Интервьюер проник в покои Букингемского дворца и в комнате принцессы беседовал с нею и счастливым капитаном.

— Вы заметили, — позвонила мне после интервью миссис Кентон, — какая скромная обстановка в ее комнатке, точь-в-точь как у девушки-студентки? И вообще, что ни говорите, она прелесть. Как вы думаете, он правда влюблен в нее, она ведь не очень хорошенькая, или, как судачат некоторые, женится по расчету?

— Откуда же мне знать это, миссис Кентон! Об этом ведь даже у самого капитана не спросишь. Кстати, меня поразил в интервью один факт — принцесса совершенно невежественна: она не смущаясь призналась, что не любит книг, ничего не читает, не интересуется музыкой, живописью, равнодушна к политике, единственное ее увлечение — верховая езда!

— Видите ли,— непрекаемые ноги загудели в голосе стопроцентной англичанки,— наша страна в это сложное и смутное время одна из немногих сохранила великую реликвию прошлого — королевскую семью. Дочь королевы может себе позволить ничего не читать и не интересоваться тем, чем обязана интересоваться рядовая ее сверстница. Ей не нужно делать карьеру, стремиться к богатству или знатности с помощью знаний и умений. Мы пока еще можем позволить себе любоваться девушкой, увлеченной истинно королевским занятием — лошадьми. Это свидетельство хорошего тона. Кстати, вы знаете, сама королева начинает свое утро не с политических газет, а с чтения спортивных известий о скачках. Вот истинно королевское поведение!

Я ничего не могла ответить на это, и она, поняв мое молчание как желание слушать дальше, пообещала прийти в день свадьбы и вместе смотреть процессию.

Сначала показывали королеву. Она улыбалась в Токио, в Канберре, Оттаве и Париже. Досужие репортеры подсчитали, что во время посещения одной из стран Латинской Америки ей пришлось 2500 раз пожать руку. Поистине задумаешься над тяготами ее жизни. Потом показали королевскую семью на пикнике, Елизавету II, склонившуюся над жаровой. Ее же в деревенской лавочке, покупающей сыну мороженое.

— Жаль, не показали, как она стоит в очереди в кассу продовольственного магазина. Но ведь это все неправда, королева не жарит шашлык и не ходит по деревенским лавочкам.

— Разумеется, нет. И все это знают. Просто королева немного попозировала перед камерой, несколько минут побыла как все. И всем это приятно.

— Ну, наверно, далеко не всем.

— Не знаю,— раздраженно сказала миссис Кентон,— я говорю о себе, и таких, как я, немало.

Пока мы спорили, экран показывал покои Букингемского дворца, простыни королевы Виктории, одеяло Генриха IV, серебро Карла II. Диктор долго рассказывал об огромном штате прислуги, о том, как накануне свадебного обеда обсуждалось меню и решили для высокочтимых гостей из разных стран приготовить яства в их национальном вкусе.

— Ах, как трогательно! — воскликнула миссис Кентон и поглядела на меня краем глаза.

Чем увлекаются сегодняшние короли?! Принц Филипп, муж королевы, пишет картины. Королева в Виндзорском парке иногда водит машину. Принц Чарльз, наследник престола, по утрам играет на виолончели, а также увлекается вождением самолетов.

— Ну, это уже серьезно,— заметила я миролюбиво.

Миссис Кентон не успела ответить, раздался резкий звонок в дверь. На пороге стояла художница Пегги Грант.

— Чашку кофе! — приказала она, тряхнув светлой головкой.— Еле пробилась через центр. Такое столпотворение из-за этого свадебного спектакля.

— Как приятно видеть вас! Надеюсь, все в порядке? Как вы поживаете? — пропела миссис Кентон, которая уже встречала художницу в моем доме и терпеть ее не могла.

Пегги, кивнув, не обратила внимания на ее слова и села пить кофе. Мы стали разглядывать рисунки для книжки, которую она оформляла.

— Ах, да смотрите же, смотрите! Сейчас начинается самое интересное: королева выезжает из дворца в Вестминстерское аббатство! — волновалась соседка.

Пегги повернулась к телевизору.

— Вы смотрите эту ерунду? И охота тратить время? Впрочем, с непривычки, возможно, интересно.

Миссис Кентон неодобрительно пожала плечами.

— Вон родители жениха. Какого чудесного цвета платье у матери капитана Филиппа. Они ведь фермеры и не без средств. Ах, ах, это Грейс, принцесса Монако. Боже, как хороша! И как молодо выглядит! Осанка! И прическа, вы заметьте, прическа! И как смело — белое платье-пальто с белым мехом.

— Чертовски устала. Брошу эту книжку и поеду в Йоркшир. Там есть кое-какая работенка по оформлению квартир. Если мне хорошо заплатят, можно будет вызвать туда Дональда. Мечтаю увидеть аббатство Ривокс — это целая Помпея в ущелье между горами. Может быть, напишу его маслом. Кстати, вам бы тоже не мешало съездить туда.

Я была между двух огней, двух миров Альбиона. Всецело будучи на стороне Пегги, я могла понять миссис Кентон. Но они не могли понять друг друга. Впрочем, я не беспокою-

лась, зная воспитанность своей соседки и добродушие молодой художницы. И потом, все-таки одна нация...

— Ах, не болтайте, пропустите самое главное! Посмотрите, какое платье у невесты! Превзошло все мои ожидания! Сколько нежности! Какое благородство линий! Какая тонкость!

Близорукая Пегги сильно сощурила глаза и уткнулась в телевизор. Платье — это уже было по ее специальности.

Две фигуры, белая и алая, медленно шли по ковровой дорожке к алтарю Вестминстерского аббатства. Пегги долго смотрела.

— Отвратительное платье. Скучное и безвкусное. Впрочем, к такому лицу...

Чайник вскипел мгновенно. Он гудел и присвистывал, хлопотал и выпускал пары. И захлопал крышкой.

— Необычайно приятно слышать столь смелое суждение. И столь безапелляционное. В особенности приятно, что вы говорите это в доме и в присутствии иностранки, которая воочию может убедиться, сколь велика у нас свобода слова: можно позволить себе не быть патриоткой — и никто не осудит.

— Патриотизм вовсе не в том, чтобы расслыживаться при виде этих иждивенцев, — наплевала на изысканный тон моей соседки решительная Пегги, — патриотизм вообще не в словах. А я говорю правду. Все знают, в какую копеечку стала стране эта семейка с их дворцами, слугами и свадьбами. Вы знаете, с завтрашнего дня принцессе в связи с замужеством увеличат годовой доход. Подставляй народец шею.

— Вы говорите о народе. О да! Наш народ поистине счастлив сегодня. В газетах писали, что многие стояли с восьми вечера у ворот дворца, чтобы сегодня утром увидеть процессию. — Миссис Кентон словно не слышала того, о чем говорит Пегги.

— Лабрадорские собаки, специально натренированные, тоже с вечера дежурили у Вестминстера, обнюхивая ваших «патриотов» на предмет взрывчатки, — отмахивалась Пегги.

Это продолжалось еще минут пятнадцать. Пожилая англичанка не желала замечать дерзко-вызывающего тона молодой. Она была выше нападок на устои, вера в незыблемость которых лежала в основе ее жизни, она еще чувствовала себя в силе игнорировать, хотя бы внешне игнорировать чуждые взгляды, чуждое суждение. Эта упрямая терпимость, которую нельзя преодолеть, представляется мне чрезвычайно характерной для англичан.

— Не понимаю, — сказала мне Пегги, прощаясь в коридоре, — как вы можете выносить общество этой ханжи и буржуазки. Ведь от скуки можно содохнуть.

— Очень милая девушка, — сказала миссис Кентон, когда я вернулась к ней, проводив Пегги. — Она, конечно, бедняжка, несчастна и озлоблена от своих неудач. Но, надеюсь, ей повезет и она с возрастом станет мягче, терпимее.

— У Пегги нет никаких неудач, — возразила я, — она сама ушла от своих обеспеченных родителей, она убежденная бунтарка, и ей нравится жизнь в борьбе.

— Да, очень милая, — стояла на своем миссис Кентон, — она, видимо, страдает и оттого, что ее возлюбленный моложе ее на целых пять лет. Двадцать и двадцать пять — это все-таки разница.

Я не стала ей возражать, тем более что молодых уже обвенчали и они, появившись в последний раз на балконе Букингемского дворца, отправились на свадебный обед. Миссис Кентон последовала их примеру — она принимала пищу строго по часам.

## ЛОШАДЬ И ТЕЛЕГА

Если бы передо мной была задача нанести на карту Лондона места расположения всех публичных баров (сокращенно пабов), то через час карта была бы сплошь усеяна мельчайшими точками, теснящимися друг к другу.

Паб — великое изобретение, институт общественного развлечения за кружкой пива или стаканом разбавленного джина. Основное время работы пабов от шести до одиннадцати вечера, хотя днем они тоже бывают открыты с двенадцати до трех.

Вечерами пабы, освещенные, как правило, затемненным красным светом, набиты битком: люди сидят и стоят, прислонившись к стенам, дым веретеном вьется в вакуумных комнатках. Здесь собираются соседи или друзья выпить, поговорить, скоротать вечерок. Многие тихо напиваются, и нередко видишь такое зрелище: две мерно раскачивающиеся фигуры в углу паба вот-вот сползут на пол. Драки в пабах — явление довольно редкое.

Пабы в Англии, и в частности в Лондоне, есть на каждой улице. А так как улица может быть в северной своей части очень богатой, в средней средней, а в южной очень бедной, то три паба, расположенных на ней, обслуживают три социальных слоя.

Захожу в «Половинку луны» (названия пабов самые удивительные, я собирала их и теперь обладаю немалой коллекцией). С первого взгляда вижу, что паб средней руки: черные лавки, стилизованные под рыцарские скамьи, темно-красные обои, большое зеркало, на нем наклеен месяц — оправдание названия. Публика проходящая, случайная, кое-где видны постоянные посетители — они сидят, удобно расположившись, пустые кружки теснятся рядом с полными.

«Солдатский герб» расположен недалеко от армейских казарм, тоже небогат, тоже красный свет и красные обои, уютный полумрак. На стенах картинки из военной жизни прошлого века. Здесь шумно, много солдат-отпускников с девушками. Жарко от молодости и пива.

«Шерлок Холмс» — знаменитый бар для туристов. В центре Лондона. Всегда полон. Далеко не все пьют. Многие заходят просто так посмотреть. На втором этаже можно увидеть в окошко изображение комнаты Шерлока Холмса со многими предметами, принадлежавшими этому никогда не существовавшему английскому детективу. А вот и его восковая фигура в дальнем углу комнаты — сыщик сидит в кресле задумавшись, и его длинный нос бросает тень на стену.

«Красная корова» — бар в районе Хаммерсмита. Здесь живут ирландцы и собираются по вечерам не только выпить и поговорить, а и поспорить, поупражняться в политике да и попеть хором народные ирландские песни. Это совсем другая Англия. Здесь почему-то чувствуешь себя почти как дома, в России, люди распахнуты и дружелюбны, они принимают тебя в свой круг, не спрашивая, кто ты, откуда, если тебе хорошо с ними, весело, интересно — какая разница, откуда ты пришел. Главное, не принеси зла, его и без тебя хватает.

«Воронье гнездо» — новый паб в богатом районе. Приглушенного света нет, залы ярко освещены. Здесь собирается зажиточная молодежь. Сюда приезжают издалека, потому что здесь свое общество, многие знакомы, переходят от группки к группке. Автомобили, тесно сгрудившись у входа, похваляются друг перед дружкой марками. Здесь никто не поет, это занятие считается вульгарным, простонародным. Смешанный запах косметики и дорогих сигарет. Сюда никогда не зайдет постоянный посетитель «Красной коровы» или «Солдатского герба», хотя никто, упаси бог, никогда не запрещает никому заходить сюда.

«Росетти» тоже новый бар, пристанище преуспевающей итальянской молодежи, которая набивается со всех концов города.

«Плуг» — нищий паб в беднейшем негритянском районе. Какой уж там красный свет: голые лампочки, голые стены, старые, забрызганные черт знает чем стулья. Напряженный шум. Именно на пороге этого паба я видела драку белого и негра.

«Адам и Ева» — паб, где собираются актеры. Здесь совсем темно, на стенах живопись в стиле арт-нуво, атмосфера расслабленности, нервного покоя.

А вот «Белый олень». Здесь всегда собираются работяги. Паб стоит на перекрестке жилых улиц, прилегающих к заводам в бедной южной части города. Женщин бывает мало, и когда я села со своей кружкой рядом с очень пожилым человеком, он повернулся ко мне, подмигнул и сказал:

— Кавалера искать пришла? Не туда пришла. Тут все либо старые, либо усталые. Иди вон в «Голову черной лошади». Туда и солдаты захаживают.

Я не стала сразу объяснять ему, кто я и зачем пришла, сказала только, что не ищу кавалера, просто зашла. Он по выговору признал во мне иностранку, и я в нем тоже. Посмеялись. Оказалось, он из Уэльса, приехал к сыну на праздники — это были дни Нового года, — а работает он в шахте. Звали его Гленн Браун.

— Слушайте, — говорил он мне, и лицо его горело, — я не могу поверить, что вы из Советского Союза. Удивительно! Ну-ка, ну-ка, подробнее про ваших шахтеров. У вас, говорят, нашего брата бесплатно отдыхать возят. Правда? Неужели правда? И еще молоком отпаивают каждый божий день, чтобы пыль вымывать. И доктора чуть не каждый месяц легкие проверяют?

Он был совершенно свой, этот Гленн Браун. Я даже ощущала некоторую противо-

естественную неловкость от необходимости говорить с ним по-английски и все незаметно для себя сбивалась на русский язык.

— Слушайте,— говорил он,— а вы знаете, именно мы, шахтеры, к чертовой матери пошлем этот весь островок с его буржуями, если не добьемся прибавки к зарплате. Вы приезжайте ко мне поглядеть, как я живу, как другие живут. Вы не смотрите, что я немного выпил, я все помню и соображаю. Так вот, Англия — самая плохая страна для шахтеров. Приезжайте, поглядите, какие у нас условия работы. Я уже много лет на двадцать процентов нетрудоспособный: пыль в легких. Вот я их пивом и прополаскиваю. Знаете, мне пиво помогает: выпью и чувствую — намокло внутри, сухотка проклятая ушла. Я эту пыль, знаете, как в себе чувствую. Вы были в Уэльсе? Я из Уэльса. Приезжайте непременно. Паб у нас хороший. Куда лондонским! Называется «Лошадь и телега». Одни шахтеры сидят. Мы и есть лошади, британскую телегу тянем. Вы видели эту страну? Как тут буржуи живут. И ведь их тут много. Со всего света едут сюда пожить в мягком климате. Как они визжат, когда мы прибавку к зарплате требуем. А ни один из них еще не пожелал стать шахтером. Неправедливость. Знаете, как нам пенсию дают — как милость. А я эту проклятую пенсию сам себе всю жизнь выплачивал, всю жизнь выдирал из зарплаты хороший процент в счет будущей пенсии. Через три года получим мы с женой на двоих пятнадцать фунтов в неделю. Смешно! Приезжайте, что я вам покажу! Знаете, в нашей «Лошади и телеге» есть одна комнатка... Нет, нет, больше ничего не скажу, вот приезжайте! Ох, расскажу приятелям в «Лошади», что вас встретил, — не поверят. Приезжайте с мужем. Мы его закидаем вопросами. И ему все расскажем. Вы что — думаете, я коммунист? Нет, нет. Я не дорос до него. Так мне один коммунист сказал. Видно, и не дорасту. Старый стал. И большой. Но я про коммунизм кое-что соображаю. Вы не сомневайтесь. Вот адрес. Понимаете, никто здесь не хочет быть шахтером. А все хотят зимой угольком согреться. Сами подумайте, до чего дойдет человечество, если все сядут у камина. Никто в поле работать не хочет. А есть, да еще как следует, все хотят. Сейчас за собой в доме убрать-то никто не хочет. Обленилось человечество...

Да, о чем только не говорят люди в пабах Лондона. Каких только встреч не бывает здесь.

### ПРАВНУК ГАРОЛЬДА ГОДВИНА

Осенними утрами, когда тучи низко нависают над Лондоном, оставляя на волосах мельчайшие капли прохладной влаги, осенними утрами ровно в половине девятого раздается этот звук — цокот копыт по мостовой. Впервые я услышала его утром 14 октября 1973 года.

Бывают удивительные совпадения чисел и событий. Порой даже волнующие своей загадочностью. В это утро я собиралась, несмотря на хмурое небо, отправиться в Гастингс, городок на море, в южной оконечности острова, ничем не примечательный кроме того, что немногим более девяносто лет назад именно 14 октября вблизи Гастингса решилась судьба Англии: нормандский герцог Вильгельм Завоеватель победил последнего короля древних британцев Гарольда Годвина.

Если в день какого-то события мне удастся оказаться на месте, где оно произошло, я переживаю то, что для себя назвала бы эффектом соучастия: земля, небо, очертания холмов и долин, реки и ручьи — ведь все это мало меняется с веками, и если чуть-чуть прищурить глаза и задуматься...

Застучали копыта. Конница Гарольда...

Копыта цокали слишком звонко — по земле они стучат не так, это они цокают по мостовой, отлично замощенной лондонской мостовой. Я бросилась к окну: белообрый всадник в кепке цвета хаки неторопливо удалялся на каурой в сторону Риджент-парка.

Спустя два часа после того, как он проехал, я была в Гастингсе.

Поле гастингской битвы — просторная, окаймленная холмами долина. Прежде на холмах рос лес. Годы проредили леса, стало видно море, откуда пришли нормандские корабли. Волнуясь, поднималась я на холм Сенлак, к аббатству Святого Мартина, построенному Вильгельмом в честь своей победы на месте, где пал Гарольд.

Почему я волновалась? Зачем мне волноваться в связи с фактом чужой истории, да еще случившимся девять веков назад?

С годами я стала предпочитать исторические исследования художественным книгам: сюжеты истории богаче придуманных — не зря у Шекспира так часто появляются исторические личности, — в истории, если читать ее долго и глубоко, всегда заложены ответы

на многие сегодняшние вопросы, и еще, и это последнее, для меня главное, — я всегда ощущаю невидимую связь времен так, словно в какой-то неблизкой жизни была участницей всех событий. Порой это чувство обостряется, и кажется мне — «я на свете пять жизней чужих прожила». Однажды я заговорила об этом со старым ученым-историком. Он добродушно и понятно усмехнулся: «Ничего удивительного, это кровь говорит, вы ведь не на пустом месте выросли — за вами века».

Потянула я нитку из клубочка английской истории, и привел меня клубочек... ко мне домой. Помните ли вы эпоху Владимира Мономаха? Этот князь помимо прочего был знаменит своими семейными связями едва ли не со всеми властвовавшими домами Европы. Он-то и женился на Джите, дочери Гарольда, который стал английским королем. Было это незадолго до нападения нормандцев на остров.

Гарольд был убит, его войско разгромлено. Но со времен битвы при Гастингсе и по сегодняшний день жители острова, привыкшие прежде к чужеземным вторжениям, не видели в своей стране неприятеля. Зато сами островитяне распространились по миру.

К вечеру тучи над долиной разбрелись, заголубело небо. Солнце садилось в море. Быстро темнело. В полумраке забелел туман. И возникло поле битвы. Дымно. Душно. Шорохи и стоны... Как знать, по какой дороге пошли бы отношения России и Англии, не случись битвы при Гастингсе, не умри Гарольд на поле боя.

Смех и шелот слышались из кустов Сенлака — две девочки забрели в развалины. Они, наверно, были ученицами школы, выросшей здесь, на холме, среди уцелевшей части аббатства. Вспыхнул фонарь у входа в ресторан, построенный невдалеке от развалин, на том месте, где монахи некогда раздавали подавания нищим и паломникам. Вспыхнул фонарь, и рассеялись все мои видения. Ресторан называется «Отдых пилигримов». Моторизованные пилигримы и впрямь любят это место — возвращаясь вечером с пляжей Гастингса, удобно завернуть сюда на ужин. И место романтическое. Весьма.

Прошла неделя, настало воскресенье. И снова утром цоканье копыт: тот же всадник на той же лошади удалялся в сторону Риджент-парка. Несколько месяцев по воскресеньям провожала я его незамеченная, но однажды лошадь взбрыкнула прямо перед моими окнами, всадник успокоил ее, поднял голову, увидел меня в окне. Я махнула рукой, он ответил. С тех пор это повторялось каждое воскресенье.

Конный спорт, как известно, привилегия этой страны, чуть не каждый лондонец член какого-либо клуба верховой езды, каждый умеющий управлять конем может взять его напрокат на час, два или более. В парках встречаешь не только одиноких наездников или пары, но и целые семьи: отец, мать, все дети — самая маленькая трясется позади кавалькады на пони. Удовольствие дорогое, но, судя по количеству наездников, настолько большое, что и денег не жаль.

Стирка белья в Британии — дело в основном мужское. Как правило, в субботу отец семейства загружает корзину для провизии целлофановыми мешками с бельем и везет их на колесиках в прачечную. Там, запустив деньги в машину, он сыплет порошок, пускает воду и садится читать, пока машина не сделает свое дело. Выстиранное белье, опять прежде запустив деньги, муж-прачка сушит точно с такими же удобствами.

— Если я все-таки защищу свою многострадальную диссертацию, — пошутил как-то Антони Слоун, — то будет это исключительно благодаря прачечной: вот где продуктивно работается, шум машин и беготня детей совершенно не мешают. Я вообще заметил, что чужие дети не действуют на нервы.

Должна сказать, я возила белье в прачечную сама. Случались в прачечных, кроме меня, и другие женщины, но все же мужчины преобладали. И еще должна сказать: насколько не жалею, что возила белье, — это было самое удобное место для чтения, а кроме того, мне посчастливилось именно там продолжить столь романтическое знакомство.

Я уже запустила машину и обернулась к скамье сесть с книгой. Он — мой всадник, которого я представляла известным спортсменом, актером, графом Эссексом, — читал книгу перед работающей машиной.

— Здравствуйте! — сказала я громко и радостно.

И стала перед ним, готовая рассказать, как впервые увидела его, как жду по воскресеньям... Он сухо кивнул и углубился в книгу. Не узнал. Ну конечно не узнал. Снизу не разглядишь лица на пятом этаже.

— Вы не узнали меня? Я машу вам по воскресеньям из окна дома на улице Святого Джона...

— Да, я вас узнал,— равнодушно ответил он.

Растерялась и расстроилась. Что бы это значило? Почему он так приветливо машет мне по воскресеньям и так сух теперь? Ну конечно, самолюбие. Ему неприятно, что я застала его за стиркой. Да, мне явно не хватило такта сделать вид, что не узнаю его. Нехорошо.

Мы стирали в глубоком молчанье. Читали. Перед каждым в иллюминаторах бешено вертели трусы, рубашки, полотенца. Я запустила глаза в его книгу. Это был исторический роман.

— Вы любите историю? Что за книга?

— Глупый роман из времен битвы при Гастингсе,— холодно ответил он, не поднимая глаз от страницы.

— Зачем же вы читаете, если роман глупый? — не отставала я.

— Я читаю все, что касается дома Годвина. Я имею честь быть в прямом родстве с Гарольдом Годвином.

И все это говорилось в той же холодной манере, носом в книжку. Потомок Гарольда, стирающий подштанники в итальянского производства стиральной машине. Красиво!

Внезапное озорство подтолкнуло меня:

— Какое приятное совпадение: я имею честь быть в родстве с домом Владимира Мономаха.

— Да,— сказал он, словно ничего удивительного не услышал,— если бы тогда в Гастингсе победил мой предок, все было бы по-другому.

— Вы думаете почти так же, как я. И отношения России с Англией, возможно, развивались бы более ровно.

— Тогда все было бы по-другому! — повторил он подчеркнуто.— Нормандцы, слившись с нами, передали нам свою склонность к захватам. Конечно, приятно сознавать, что владеешь половиной мира, но какво все это терять, как теряем сегодня мы!

Голос его звучал все громче, соседи уже поглядывали на нас. Я кляла себя за то, что ввязалась в разговор с сумасшедшим. А всему виной развивающаяся привычка вступать в разговоры с незнакомыми людьми якобы для того, чтобы познать страну. Вот и распутывайся теперь с потомком Гарольда.

Но распутываться не пришлось. Он умолк внезапно, как только его машина кончила стирку. После стирки потомок Гарольда затеял сушку и, пока сушил, читал не отрываясь. Я, конечно, новых разговоров не затевала.

Когда ему пришла пора уходить, он аккуратно сложил в свою корзину чистое белье, прямо заглянул мне в глаза небесно-голубыми холодными глазами, попрощался и повез корзину на колесиках...

Мне долго помнился этот взгляд — не было в нем ничего безумного, ничего странного, а только достоинство и равнодушие, столь типичные для англичанина.

На следующий день он прогарцевал мимо. И, как обычно, поднял голову и, увидев меня, с прежней ласковой и доброй улыбкой кивнул. Удаляясь, обернулся и махнул хлыстом.

— Нетрудно проверить,— заметил Антони Слоун, когда я рассказала ему о своем странном приключении,— в Британии принадлежность к тому или иному роду выяснена до деталей. Существуют геральдические книги, целые тома. Впрочем, скорей всего он просто сумасшедший.

— Знаете, Антони, не проверяйте моего всадника, не надо,— попросила я.

— Бойтесь убедиться, что он впрямь сумасшедший?

— Просто мне будет приятно вспоминать, что я стирала белье в обществе потомка самого Гарольда Годвина.

### МИЛЛИОНЕР

Чего греха таить: желание увидеть его, настоящего, и, главное, быть уверенным, что вот он, притча во языцех, гидра капитализма, паук и кровопийца, предмет проклятий и зависти, мешок с деньгами в человеческом обличье, миллионер,— это желание совершенно естественно и для того, кто живет в Британии, и для того, кто залетит сюда ненадолго.

— Ах, я уже совсем немолода, а никогда не видела настоящего миллионера! — сказала миссис Кентон. — То есть я видела их, конечно, в спектаклях и кино — выдуманных; на страницах газет и в телевизионных интервью — реально существующих. Думаю, что многих я видела, когда они в «роллс-ройсах» проезжают по улицам. И все же я никогда не сидела рядом и не разговаривала с настоящим миллионером. Собственно, я не умру, если этого не случится, а все же интересно, было бы о чем вспомнить и рассказать.

Настоящий миллионер в Британии такая же достопримечательность, как Тауэр, королева или Британский музей, тем более что миллионеров, как говорят, становится в этой стране все меньше и меньше. И все же именно Британия — колыбель миллионеров.

Моя первая встреча с настоящим миллионером была совсем неинтересной: на каком-то официальном приеме кто-то познакомил меня с каким-то господином, мы обменялись ничего не значащими фразами и разошлись в полном взаимном равнодушии. А спустя десять минут кто-то из знакомых сказал мне: «Вот тот миллионер, с которым ты говорила, потерпел недавно большие убытки и близок к разорению». Ах, ох, а миллионер уже ушел с приема. Утешало, правда, то, что он близок к разорению, значит, вроде как бы уже и не совсем миллионер.

Один из университетов Средней Англии пригласил меня выступить перед студентами с лекцией о советской литературе. Антони Слоун тоже собирался в этот город по своим инженерным делам, и мы договорились совместить наши поездки — вдвоем веселее.

Решено было встретиться на вокзале перед отходом поезда. Билеты брал Антони. Он явился чуть позже меня, но точно в назначенное время, держа в одной руке два билета, а в другой огромный чемодан ярко-желтого цвета с увесистыми медными застежками.

— Я взял билеты в вагон второго класса, не согласовав с вами заранее.

— Прекрасно. Какое это имеет значение?

В вагоне, набитом до отказа, Антони сразу уткнулся в газету, а я стала разглядывать соседей. Какое разнообразие лиц и типов!

Вот строгая монахиня в черном облачении с белым воротничком и в черной косынке. Совсем молодая, почти девочка, лицо узкое, худое, на тонком носике огромные очки, которые старят ее. Она — вся сосредоточенность и углубленность — прильнула ухом к маленькому красному транзистору. Что слушает она — молитву или музыку?

Двое — оба в застиранных, модных своей линиястью, заношенных джинсах, оба с длинными лохматыми волосами, не разберешь, кто юноша, кто девушка, — сидят обнявшись и целуются, а публика равнодушно отводит глаза: смотреть неприлично. В нашем вагоне непременно нашлась бы вредная старушонка, которая стала бы ворчать: «Ах, страмота, люди добрые, поглядите, чего эти делают! И что же это за молодежь пошла нонче!» Так и втянула бы старушонка в дискуссию весь вагон и, глядишь, добилась бы своего — выбежали бы двое на первой остановке. А тут и старушонка есть, тоже по виду вредная, и сидит она так, чтобы видно ей было целующихся, а занята старушонка разговором с подругой, которая ни дать ни взять моя миссис Кентон, высокая и седая, и подруга твердит старушонке о каком-то гараже, который она сдала внаем.

Муж и жена, индийцы, она в сари и на ногах сандалии, а ноги без чулок, хотя день осенний, холодный. Трое детишек один другого меньше.

Старый джентльмен с хорошенькой светловолосой девушкой, сидят молча, каждый погружен в свои мысли, только иногда она поглаживает узкой ладошкой серый рукав его пиджака, и он отвечает ей взглядом. Кто они? Отец и дочь, только что похоронившие жену и мать? Я ищу в их лицах сходство и не пойму, похожи они или нет. А может быть, не отец и дочь...

Антони сложил газету и повернулся ко мне.

— Скажите мне, Антони, почему вы взяли билет второго класса?

— Вам здесь неудобно? Неприятно? Хотите перейти?

— Да нет же! Мне очень хорошо. Но ответьте на мой вопрос.

— А вы взяли бы билет первого класса?

— У себя на родине я взяла бы то, что дают, у нас нет в сидячих вагонах делений на классы.

— Видите, я не зря считаю, что вы, советские люди, в сравнении с нами народ крайне избалованный.



— ???!!!

— Я взял билеты в вагон второго класса прежде всего потому, что здесь ехать дешевле. Выбрасывать деньги на ветер глупо. Пусть разница невелика, но ведь из мелочей складывается бюджет, и я не имею права швыряться деньгами попусту. Но даже если бы я решил не жалеть денег, по недолгом размышлении я все равно взял бы билеты во второй класс.

— Антони, почему?

— Потому что пословица говорит: каждый сверчок знай свой шесток. Не хочу брать то, что мне не положено. Могу, но не хочу. Оскорбительно ловить на себе взгляды людей и чувствовать, что ты птица не их полета.

— Полно вздор болтать! Вы интеллигентный человек, инженер, вид у вас достаточно солидный.

— Э-э, не знаете вы англичан. Англичанин безошибочно определяет по виду, кто к какому кругу принадлежит. А если еще заговоришь, англичанин тут же скажет, из каких ты мест, где учился и каков твой годовой доход.

Я оглядела вагон. Монахиня и двое влюбленных, вредная старушонка с соседкой, индийцы, старик с девушкой затуманились, и проступили из тумана совсем другие лица, другая вагонная картина, где попеременно сидели на пути в Мытищи или Дубну рабочий с закопченным лицом, сильными широкими ладонями и насмешливыми бледно-голубыми глазами, от нег, яхало металлом и пивом, пышная дама в кримпленовой душевной блузе, на которой был нарисован целый огород, интеллигентного вида юноша с неизменной книжкой и страдающий одышкой генерал в мундире с колодками, держащий на коленях внука, который норовил сдернуть косынку с худой, жилистой, крестьянского вида женщины рядом...

— Как это отвратительно, ваше английское понятие «своего места». И после этого вы, англичане, еще похваляетесь своей пресловутой свободой. А есть она у вас только на углу Гайд-парка по утрам в воскресенье. В сущности, вы, быть может, самый несвободный народ на свете!

— Как всегда, вы преувеличиваете,— миролюбиво ответил мне Антони,— но что касается предрассудков, то правда — мы несвободный народ.

Он помрачнел и затих.

Мы благополучно доехали до места и расстались, отправившись каждый по своим делам. Хотя и собирались возвращаться вместе, в последний момент Антони позвонил и сказал, что вынужден задержаться по делам службы, очень сожалеет и желает мне хорошего путешествия.

— Вам какого класса билет? — спросил меня пожилой билетер из своего окошечка.

— Первое,— сказала я назло Антони и английским предрассудкам и пожалела о своем поступке, едва уселась в бархатное кресло шестиместного купе. Одна. Скучно. А там, в следующем вагоне, во втором классе, жизнь бурлит и переливается красками. Не каждый день приходится путешествовать по английским железным дорогам, можно ли упускать возможность сидеть среди простых англичан, наблюдать их.

Я уже собиралась совершить перебежку — поступок совершенно непонятный для любого англичанина: если заплатил за удобство, зачем его лишаться,— как в купе один за другим вошли двое. Высокого, бородатого, полного, в бархатной куртке с бантом я определила сразу — художник. Ошиблась я ненамного: он оказался архитектором, путешествовавшим по делам строительного общества, в котором проектировал жилые дома. Общество было богатое и оплачивало даже первый класс в вагонах. Это все он сообщил мне, едва мы с ним разговорились. Второй господин был худощав и узколиц, со следами загара. Загар — неперенный признак обеспеченности, загар посреди зимы на лице означает либо возможность даже зимой посещать курорты, либо, на худой конец, возможность, приобретаемая лампу с ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами, ежедневно устраивать себе сеансы облучения на дому. Лицо его с тонкими чертами, приятное, даже красивое, не носило ни одной сколько-нибудь выраженной национальной черты. Ему было лет тридцать пять, улыбка вежлива, но безлична. Он слушал нашу с архитектором беседу, но не произносил ни слова. Лишь услышав, что я из Советского Союза, он повернулся и долго смотрел на меня. Вскоре ему захотелось курить, он вышел в коридор и встал у окна лицом к нам. Я спросила архитектора:

— Как вы думаете, кто этот человек?

— Не знаю,—почесал тот в затылке,—какой-нибудь выскочка. Видно, что с деньгами.

Покурив, приятный господин вернулся и, воспользовавшись паузой в разговоре, наклонился ко мне.

— Простите, но я впервые встречаю человека из Советского Союза. Мне интересно кое-что узнать у вас. Например, наша пресса пишет, что у вас закон преследует стремление человека к накоплению денег. И даже, обнаружив эти деньги, изымает их насильственным путем.

— Ваша пропаганда,—сказала я ему, не преминув свести счеты с тенденциозной буржуазной прессой,—представляет нас какими-то чудовищами. А между тем в нашей стране никто не отнимает насильственным путем деньги, которые заработаны честным трудом...

— Я не совсем о том вас спросил,—мягко прервал меня собеседник.—Я говорил об очень больших денежных суммах. Видите ли, я миллионер...

Он сделал паузу, явно желая, чтобы сказанное им было основательно осознано. Наступило мгновенное молчание. Мне показалось, что вот-вот он встанет, снимет с полки чемоданчик и, щелкнув замком, покажет нам с архитектором аккуратно сложенный миллион,—повторится сцена, описанная Ильфом и Петровым в иных обстоятельствах, с иными героями.

Но миллионер за чемоданчиком не полез. Он стал подробно расспрашивать меня. Куда мы тратим деньги? Почему расточительны в быту и хлебосольны? Узнав, что я литератор, он засыпал меня градом вопросов о моих доходах. Вот где была мука! Я никак не могла втолковать ему, что я не считаю доходы, а в лучшем случае подвожу итог расходам, что, выпустив в свет восемь поэтических книг («Восемь?! И у вас нет миллиона? Кто читает ваши книги? Раскупаются моментально? Зачем читать столько поэзии?»), я никогда не подсчитывала, сколько мною получено за каждую книгу, сколько удержано налогов, какова общая сумма моих заработков за всю жизнь, за десятилетие, за год. Почему не подсчитывала? Не видела необходимости. Во что я вкладывала эти деньги? Да в быт свой, разве упомнишь: книги, одежду покупала, на юг ездила, друзьям займы давала... Последнее, про «друзьям займы», отняло много времени.

— Да, да, я что-то слышал. Не понимаю — ваши друзья что, бедствуют?

— Почему бедствуют? Но если у них нет денег, а у меня есть, значит, что и у них есть. И они, в свою очередь, если я на мели, обо мне побеспокоятся.

— Непостижимый народ! — Миллионер провел рукой по волосам, и лицо его просветлело.—Есть какая-то пока еще мне непонятная прелесть во всем, что вы рассказываете, хотел бы я хоть немного пожить так же материально беззаботно, как вы: не считать каждый пенс, тратить на что захочу, надеяться на друзей и не бояться остаться без денег завтра.

«Вы, советские люди, народ крайне избалованный в сравнении с нами»,—вспомнились тут мне недавние слова Антони, и собственная моя жизнь показалась отсюда совсем иной, чем вблизи: как же я прежде не ценила этой особенности нашей жизни, когда отсутствие денег не самая большая проблема, есть друзья, которые по первому зову приходят на выручку. Но как это все растолкуешь английскому миллионеру, да и зачем?

— Вот вы миллионер,—свернула я на другую дорогу, решив, что и мне пора задавать вопросы,—и, как я заметила, вам приятно сознавать себя миллионером. Вероятно, миллионерство приносит массу удобств, вы живете в роскоши, с автомобилями, слугами...

— Напрасно вы издеваетесь надо мной,—впервые отреагировал на мой иронический тон собеседник,—вы ведь живете в этой стране более года, поэтому в курсе всех ее проблем. Дом у меня не роскошный — это квартира большая и удобная, в многоквартирном доме, в районе с очень хорошим адресом.

О хорошем адресе стоит поговорить отдельно. Сколько раз замечала я, протягивая свою визитную карточку англичанам, как лица их уважительно вытягивались при виде адреса на карточке и что-то изменялось в них по отношению ко мне. Если это был простой человек, рабочий, бедный студент, мелкий служащий, то ощущала я некий налет разочарования: советский человек, а живет в Англии в буржуазном районе Сент Джонс Вуд (Лес Святого Джона). И я всегда стремилась объяснить, что живу там как жена представителя газеты «Известия», что наша квартира служит одновременно и корреспондентским пунктом. Если же моя карточка попала в руки уважаемого буржуа, он, одобрительно кивая, похва-

ливал мой район, давая понять, что благодаря этому между нами установилось некое подобие равенства.

Я встречала людей, которые из последних сил оплачивают дорогостоящую квартиру, только бы не потерять адреса в Мейфейэр, Челси или Хемпстеде. И не только из снобизма: у некоторых из них есть свое дело — торговля антиквариатом или косметическая клиника, и от того, в каком районе находится их дело, зависит их бизнес. Моя добрая миссис Кентон надувается от гордости, сообщая новым знакомым, что живет на улице Сент Джонс Вуд, а мне плачется, проклиная тот день, когда связалась с этой дорогостоящей квартирой, которая ее семье не только не по карману, но и не по положению. Плакаться-то плачется, а переехать в район попроче ни за что не переедет.

Адрес моего миллионера означал, что он живет среди бизнесменов, крупных книгоиздателей и крупных правительственных чиновников, что окна его гостиной выходят на Темзу, а спален — в тихий зеленый парк, где могут гулять только жители этого дома (у каждого свой ключик), что с балкона с одной стороны виден парламент, а с другой купол собора Святого Павла.

— Слуги? Да, по утрам приходит женщина убирать квартиру. Жена сама готовит завтрак мне и детям: содержать повара очень дорого, да в этом и нет необходимости, если у нас гости, я заказываю ужин из ресторана...

— Но если вашим друзьям надоела ресторанный еда и хочется чего-нибудь приготовленного дома?

— Я сказал не друзья, а гости. Люди, которые приходят по делу.

— А если не гости, а друзья, ваши близкие друзья? — наступала я.

— И что это у вас все — друзья, друзья? — вдруг сказал миллионер раздраженно. — Я прожил на свете сорок лет и никогда не испытывал необходимости иметь друзей. Были в детстве мальчики, с которыми я играл и проказничал, а потом мне, право, не до дружбы было. Я работал.

— Но как же! — Все во мне протестовало. — Ведь вы живой человек, можно ли прожить без близких, дорогих людей, без душевного разговора с другом, без его поддержки, без помощи ему!

— Ах, как сентиментально то, что вы говорите! — все более раздражался миллионер. — Покончим с этим, повторяю: я не признаю дружбы, не имею друзей. Думайте обо мне что угодно.

— Хорошо. Вернемся к вашему быту. Вы ничего не имеете против моих расспросов?

— Помилуйте! Во-первых, я сам вас довольно подробно расспрашивал, во-вторых, мне хочется, чтобы вы знали настоящее положение дел. Ваша пропаганда представляет нас чуть ли не какими-то чудовищами, но ведь согласитесь — пока что я не рассказал вам ничего из ряда вон выходящего: живу в хорошей квартире, вынужден экономить деньги, много занят по работе... Я не позволяю себе роскоши, потому что имею капитал.

Это звучало сгранно. Да, видимо, я разбираюсь в структуре его общества не более, чем он в структуре моего.

— В чем же тогда состоит ваше миллионерство?

— В миллионах, — улыбнулся он, — в миллионах, которые очень хорошо, правильно и надежно вложены.

Улыбка его была гордой.

— А вы не боитесь, что сейчас, в период кризиса, ваши миллионы могут разлететься?

— Нет, они в хорошем деле. Конечно, чего в нашей жизни не случается, но я обезопасил себя максимально. Однако как гражданину своей страны мне больно видеть, в какой переплет попала Британия. Вы знаете, я поймал себя на том, что мне стыдно ездить в «роллс-ройсе», я его продал и купил «мерседес». Кстати, он обходится много дешевле.

Архитектор хмыкнул и вышел курить.

— Разве я похож на чудовище? Эти профсоюзные упреки нам, владеющим капиталом, порой просто оскорбительны. Я покровительствую молодому музыканту, пока он учится, он получает от меня стипендию. И это не оскорбительная подачка, а сделка: когда он начнет выступать с сольными концертами, часть его заработков будет отчисляться мне. Видите ли, я сам хотел в юности стать скрипачом, но пришлось выбрать бизнес, в этом молодом человеке я как бы удовлетворяю свои неудовлетворенные желания. Согласитесь, я не похож на чудовище? Видите ли, изучая профсоюзные проблемы в нашей стране, я понял, что мне

совершенно не подходит то социальное устройство, в котором живете вы. Сама система несет в себе заряд, я бы сказал, экономической жестокости и репрессий. Поясню: если завтра в Британии победят коммунисты, они попросту отнимут у меня все, что я нажил, отнимут, прикрывшись лозунгами о «народном достоянии» и «экспроприации эксплуататоров».

— Отнимут. Но не для себя, а для народа. Миллионы переведут на счет государства, и это будет справедливо, потому что они нажиты нечестным путем.

Миллионер вспыхнул. Он пропустил на место вернувшегося архитектора и почему-то шепотом быстро заговорил:

— Ваше суждение несправедливо. Я не получил мои миллионы в наследство, завернутыми в цветную рождественскую бумагу с розовой ленточкой. Я трудился, не жалея сил.

— Что же вы делали?

— Я начинал с маленького магазинчика. Мы с партнером были совсем молодые, почти мальчишки, ездили с ним в одно захолустье, там две старухи вязали шарфики и шили салфетки. Мы придумали им узор, который разрекламировали в местной газете того городка, где жили. Шарфики и салфетки мы красили особым составом (это было изобретение партнера, он был студентом-химиком) и продавали, естественно, по хорошей цене. Дело шло отменно, товар наш был нарасхват. Это и положило начало моему капиталу... Видите! Чего стоят теперь ваши представления о нас, миллионерах? Мы не купаемся в шампанском, не жжем деньги на свечке, как любили делать некогда ваши русские купцы, мы потому и миллионеры, что умеем делать деньги, а еще более — их ценить. Всем, что я имею, я обязан только себе.

— И своей системе! — вставила я.

— И системе. Она дала мне возможность сделать деньги, я их вкладываю и намерен дальше вкладывать в ее укрепление. Я такой же труженик, как тот, что стоит у станка. Ну хорошо, хорошо, пусть не совсем такой,—заспешил поправиться он.—Пусть мы несравнимы, но я порой ночей не сплю в заботах. Да, я могу позволить себе вместе с семьей отправиться на экзотическое побережье, но не стану прожигать там жизнь. Более того, скажу вам, что в прошлом году мы с женой поехали не на Ямайку, а в Италию именно из соображений экономии. У нас есть знакомые, наши деньги вложены в общее предприятие, они, простите, тоже миллионеры. Так вот, когда они приезжают из Ливерпуля, где живут, в Лондон, то никогда не останавливаются в гостинице, а живут в пустующей квартире своего дальнего родственника, довольно запущенной и неудобной. Почему? Да потому что не могут позволить себе гостиницу из-за дороговизны. Платить-то приходится из собственного кармана, своими собственными деньгами! А у миллионеров, как и у бедняков, каждый пенс на счету.

Он так горячо защищал свою могущественную касту, что мне и впрямь стало его жаль. Бедный миллионер! Все что угодно могла я ожидать от «гидры капитализма», только не жалоб на тяжелую жизнь. Он словно угадал мои мысли:

— А сегодня, когда страна задыхается в кризисе, когда эти проклятые забастовки могут довести бог знает до чего, можем ли мы, люди капитала, быть спокойными? И нас еще клеймят, от нас требуют уступок!

Миллионер волновался.

Поезд подходил к Лондону.

— К сожалению, ничем не могу вам помочь,— сказала я миллионеру, прощаясь с ним на перроне, — и даже посочувствовать не могу, это было бы неоткровенно с моей стороны.

Но миллионер уже не вникал в мои слова. Его взгляд растерянно блуждал по перрону, пока к нам не подскочил человек в фуражке — шофер миллионерского «мерседеса».

— Какие, однако, несчастные люди ваши британские миллионеры,— сказала я архитектору, подошедшему попрощаться.

Он засмеялся:

— А что вы думаете! Им теперь куда труднее!

*(Окончание следует)*



---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. МАНФРЕД



## СМЕРТЬ ЖАН-ЖАКА

*Двести лет назад умер один из духовных отцов Великой французской революции — Жан-Жак Руссо.*

*Публикуемая ниже глава взята из книги безвременно скончавшегося выдающегося советского историка А. Манфреда «Три портрета эпохи Великой французской революции», которая вскоре увидит свет в издательстве «Мысль».*

1

**М**едленно прохаживаясь по дорожкам старого парка, он все думал, думал о том — почему, ради чего они ведут против него такую жестокую, непримиримую войну? Чего же они хотят?

Когда он думал о своих недругах, о своих противниках, он всегда произносил мысленно «они». Но кто «они»? Из кого складывались эти враждебные, злые «они»?

Наверное, он считал, что «они» — это весь мир знатных и чванных господ, все эти приближенные королевского двора, сановные и богатые люди, погрязшие в мелочном соперничестве, тайной вражде, скрытых кознях, мстительных планах, весь этот муравейник, нет, даже не муравейник: муравьи, те трудятся, — просто грязная куча пожирающих друг друга маленьких, злых существ.

Почему-то он чаще всего при этом вспоминал важничающую, глупую госпожу де ла Поплиньер, супругу генерального откупщика, миллионера, и любовницу герцога Ришелье. Воспоминания давно прошедших лет неожиданно приходили на память. Боже, до чего же бывают глупы и ничтожны женщины! Чтобы лишить женщину — прекрасное творение природы — всего ее очарования и превратить в глупую гусыню, для этого ее надо сделать госпожой де ла Поплиньер. А ведь эта дама считала себя ценительницей искусства, любимой ученицей маэстро Рамо; безапелляционным тоном — тоном, перенятым от своего учителя, — она высказывала категорические суждения о той или иной музыкальной фразе. Да что она понимала в них? Что она вообще понимала в музыке? Единственное, что она умела делать — это подсчитывать барыши своего жуликоватого мужа.

Да, но почему же она все-таки так неистово, так нетерпимо не любила его — Жан-Жака? Ведь он никогда не сказал ей ничего невежливого, грубого, чего-либо, что могло бы ее обидеть словами.

Нет, Жан-Жак знал, конечно, в чем дело. Эта столь самоуверенная госпожа — самоуверенная потому, что муж был бесцетно богат, любовник знатен и влиятелен, а ее учитель был самым знаменитым музыкантом, — читала в его, Жан-Жака, глазах, в его взгляде безмерность презрения к ней: он не умел это скрывать и этого она ему не прощала. Ведь гусыни, гоже не понимая слов, умеют шипеть.

Впрочем, бог с ней, с мадам де ла Поплиньер. Ведь придет же такая неожиданная причуда вспомнить о глупой женщине, которой он не видел около тридцати лет!

Но «они» — это были не только богачи, аристократы, придворная знать. «Они» — это были и вчерашние друзья, его бывшие единомышленники. «Они» — это был старый Вольтер, питающий к нему неугасимую злобу, нет, не злобу, а ненависть. «Они» — это был и Дени Дидро, давний добрый товарищ, любимый друг, Дидро, к которому он через весь Париж ходил на свидание в Венсенский замок и радовался предстоящей встрече как самому счастливому дню жизни. «Они» — это был и маленький, завистливый Мельхиор Примм, в прошлом тоже близкий товарищ, и госпожа д'Эпине, и барон Гольбах, и Борд, в которого он когда-то так верил, и сколько-сколько еще других!

Все, все друзья превратились во врагов.

Так что же произошло? Как это случилось? Как друзья стали врагами?

Может быть, Жан-Жак один во всем виноват? Может быть, он был неправ к ним? В чем-то обидел их? Не прислушался к их справедливым и добрым советам?

Нет, все это было сотни раз передумано и проверено. Ему не в чем себя упрекнуть. Он не чувствует перед бывшими друзьями никакой вины. Да у него и злобы к ним нет; вот Вольтер питает к нему черную, неистребимую злобу, а у Жан-Жака нет такого чувства к нему. Хороший писатель, хороший поэт; Жан-Жак у него когда-то сам учился, он никогда не забывал, что Вольтер старше его на восемнадцать лет, и у него нет к нему ни злости, ни даже вражды. Жаль только, что этот умный человек разменял свой талант на какие-то побрякушки, на мишуру. Впрочем, бог с ним; ему уже больше восьмидесяти, скоро придет смерть, смерть придет ко всем — к Вольтеру, к нему, Жан-Жаку, к Дидро, даже к этому глупому Примму; смерть всех уравнивает.

Он присаживался часто на скамейки; ему теперь становилось трудно долго ходить; нет, не сердце болело — просто он устал.

Он прислушивался к тому, как шелестят листья и как птичка, чей голос он затруднялся точно определить, невидимая, где-то в кустах, настойчиво, неутомимо что-то шепчет: чик-пти, чик-пти, чик-пти, чик-пти.

Боже, как прекрасна, как величественна вечная, неумирающая природа!

Он мог сидеть на скамейке парка долго-долго; кто считает время? Может быть, час, может быть, три — не все ли равно? Он прислушивался к этим знакомым и всегда новым звукам: симфонии шелестящей листвы, разноголосому пению птиц. Может быть, ему даже казалось — нет, наверно, он сам это придумал, — он слышал, как тихо-тихо, почти бесшумно, словно окутанная ватой или, вернее, мохом, растет трава.

Наедине с поющей листвою вязов и лип, веселыми, разноцветными песнями птиц, наедине с зелеными соками земли, он чувствовал себя лучше, спокойнее, даже увереннее — он был у себя дома.

Иногда, чертя что-то палочкой по песку, этот старый человек начинал вдруг тихо посмеиваться.

Нет, нет, Жан-Жак, ты поступил правильно, ты оказался мудрее их всех! Им не удалось затянуть тебя в расставленные капканы, ты от них ускользнул.

Вот он сидит и слушает, как верещит пересмешник и что-то настойчиво, как бы кого-то убеждая, повторяет одну и ту же короткую фразу дрозд, а вот там, где-то дальше, стучит по старой, уже трухлявой коре дятел. Он различал голоса птиц, он их знал все — это ведь были его друзья.

И он хорошо знал, когда у больших голубых елей, недалеко от мостика через озеро, начнут слетать тоненькие светло-желтые пленки и сразу вылупятся, как птенцы из гнезда, лапки-пучки мягких светло-светло-зеленых иголок. Потом они превратятся в обычные твердые темно-зеленые иглы, но все это будет позже, потом... Сейчас идет весна — май, и листья, иголки ели, так быстро поднимающаяся трава — все обновляется.

Нет, он сумел обойти эти расставленные против него западни. И он сумел остаться со своими самыми верными друзьями: с травинками, тянущимися на солнце кверху, с этими простенькими полевыми цветками — мать-и-мачеха, курослеп, одуванчик, — с пением птиц, с неровным шумом листвы.

Он тихо все посмеивался. Наверно, маркиз де Жирарден, издали незаметно подглядывавший за знаменитым гостем, перед гением которого он преклонялся, видя, как учитель чему-то улыбается, был счастлив.

А Жан-Жак и вправду радостно посмеивался. Жизнь осталась позади; ему уже шесть-

десять шесть, много это или мало? Наверно, много. Правда, Вольтеру восемьдесят четыре года и он все еще воюет, петушится.

Руссо не обманывался — нет, надо смотреть правде в глаза, — жизнь шла к концу. В промелькнувших годах было много всего — и хорошего и плохого. Плохого, наверно, было больше, и Жан-Жак мог сказать, как начальник преторианцев императора Веспасиана: «Семьдесят лет провел я на земле, а жил только семь». Но может быть, и это тоже неверно. Возможны ли количественные измерения, чтобы определить суть счастья?

В предпоследней, «Девятой прогулке одинокого мечтателя» Жан-Жак записал: «Счастье — это неизменное состояние, не созданное для человека в этом мире. Все на земле — в непрерывном течении, которое не позволяет ничему принять постоянную форму. Все изменяется вокруг нас. Мы изменяемся сами, и никто не может быть уверен, что завтра будет любить то же, что любит сегодня. Поэтому все наши мысли о счастье в этой жизни оказываются химерами»<sup>1</sup>.

Но в том же сочинении, в последней, оставшейся незаконченной главе «Прогулок одинокого мечтателя» Жан-Жак в полном противоречии со сказанным, вспоминая о госпоже де Варанс, о далекой счастливой поре юности, вместе с нею, женщиной, которую он любил больше всех, писал: «Не проходит дня, чтоб я не вспоминал с восторгом и умилением это неповторимое и короткое время моей жизни, когда я во всем был самим собой, без примеси и без помех, и о котором действительно могу сказать, что тогда я жил...»<sup>2</sup>.

Так что же важнее, веселее — короткое, неповторимое время счастья или долгие-долгие годы без солнца?

Он теперь все чаще оглядывался на пройденный путь. Он много ошибался. Много обманутых надежд. И он часто уходил в сторону, сбивался с верного пути. Но все-таки он не поддавался им, они не принудили его идти их дорогой. Им очень этого хотелось, а он уходил. Всякий раз уходил от расставленных силков; вопреки всем их усилиям, всем уловкам, он, Жан-Жак, все-таки шел своим путем. *Trotz alledem* — так, кажется, говорят немцы.

И несмотря на все старания заткнуть ему глотку или заставить его петь тенорком сладкие арии, он все-таки сумел сказать то, что хотел. Не все, конечно, и даже, может быть, не самое главное. Но все-таки он успел сказать то, что людям надо было услышать.

Будь скромнее, Жан-Жак. Не надо ничего преувеличивать. Ты не пророк, не мессия, и не тебе оставлять скрижали. Ты успел написать несколько книг, которые охотно читали: «Новую Элоизу», «Общественный договор» — значит, чем-то они были нужны. «Новую Элоизу» читали с жадностью, женщины даже плакали... А «Общественный договор», по правде говоря, прочли немногие. Эту вещь надо было писать иначе — не так сухо, свободнее, легче, так, чтобы женщины тоже могли ее прочесть.

Ему захотелось сейчас снова перечитать эти далекие, давние-давние книги. Они были написаны пятнадцать—шестнадцать лет тому назад. Как тогда писалось легко...

В памяти вспыхивали неожиданные воспоминания. В ранней юности, в годы скитаний, ему случилось как-то прожить несколько дней в доме одинокого старого художника; это было в небольшом селении, на горе, возле Клермон-Феррана, кажется Круайе, он уже точно не помнил. Там были какие-то целебные ключи, и слепые, калеки, немощные старики, страшные, старые женщины, больные и убогие приходили по утрам пить эту чудодейственную воду: они надеялись, что она принесет им исцеление.

Художник не любил этих убогих и больных, наверно потому, что страшился стать похожим на них; он никогда не ходил к целебным ключам. В большом и пустынном своем доме он жил замкнуто и уединенно. Целый день он стоял перед холстом и работал; вечером же, возвращаясь в мастерскую, он долго вглядывался в сотворенное за день и затем решительными взмахами кисти все зачеркивал.

Жан-Жак помогал ему по хозяйству: он поднял и укрепил покосившийся забор, наколол дрова, выкопал в огороде картофель, морковь; в хозяйстве даже бедного старого была всегда найдется работа.

Но когда настало время расставаться и Жан-Жак утром стал прощаться, старик попросил его остаться до вечера, до часа, когда начнет опускаться солнце.

<sup>1</sup> Жан-Жак Руссо. Избранные сочинения в трех томах. М. Гослитиздат, 1961. т. 3, стр. 650.

<sup>2</sup> Там же, стр. 662.

Куда спешить пареньку, не имевшему ни кола, ни двора, неторопливо бродящему по проселочным дорогам, заложив руки в карманы и насвистывая песенки? Днем раньше, днем позже прийти в соседнюю деревню, если нет ни цели, ни забот — не все ли равно?

Жан-Жаку нравился этот худой бледный старик, с редкими седыми волосами, тщательно расчесанными на пробор, с быстрым, пронзительным, можно даже сказать каким-то ярым взглядом серых, еще совсем молодых глаз, в поношенном старом сюртуке с черным широким бантом, прикрывавшим изъязы одеяния. В нем, молчаливом, неулыбающемся старом художнике, было что-то важное, значительное. Жан-Жак без возражений согласился.

Вечером, когда солнце стало садиться, художник, еще более торжественный и важный чем когда-либо, подал рукою знак следовать за ним.

Они поднялись по скрипучей крутой лестнице на второй этаж — пустой, необжитый, со случайной, явно недостаточной мебелью, и оттуда по еще более крутой, узенькой лестнице на мансарду или чердак; с равным правом ее можно было называть и так и этак.

То было запущенное, нежилое помещение, загроможденное какой-то рухлядью — покрытыми облезлой позолотой огромными рамами, стеклами, кусками разбитого мрамора, старыми, пестрыми от засохших красок палитрами; под потолком, по углам, всюду тянулись нити паутины. Окно было узкое, но расположено оно было высоко, и в предвечерний тот час лучи заходящего солнца падали в самую глубь мансарды. Там у крайней стены на мольберте стояло что-то, прикрытое полотном.

Художник провел Жан-Жака к стене у окна, строго приказал:

— Стойте. Не сходите с места.— Бросил на него долгий взгляд — внимательный, оценивающий (видимо, он проверял — не ошибся ли в пришельце), и затем медленно, степенно прошел через всю мансарду к мольберту.— *Voilà!*<sup>3</sup>— сказал он резким голосом и сорвал покрывало с картины.

То был женский портрет, портрет совсем молодой женщины, лет двадцати—двадцати двух, не больше. Вернее было бы даже сказать — то было изображение женского лица. На светлом — серо-розовом фоне, крупным планом, как бы отделяясь от фона, на вас смотрело молодое женское лицо, обрамленное синим платочком, завязанным узелком на подбородке. С первого взгляда могло даже показаться — портрет монашенки. Лицо было полунаклонено, прелестная молодая женщина смотрела снизу вверх; она как бы обдавала вас, охватывала этим глубоким, затягивающим взглядом. Из-под туго затянутого строгого платка выбивались вьющиеся, непослушные темные волосы.

Самым поразительным, как бы сразу пронизающим вас, почти невероятным было это найденное кистью мастера сочетание монашески склоненной головы и как бы идущего из глубины, снизу вверх, взгляда чуть-чуть, еле заметно сощуренных серо-зеленых глаз. В этом смиренном наклоне головы, в этом глубоком, как бы затягивающем, обращенном прямо на вас взгляде было столько жизни, столько манящего, обещающего, притягивающего, столько внешней святости и лукавой, скрытой греховности, что от этого взгляда, от этого женского лица, освещенного лучами заходящего солнца, нельзя было оторваться.

Жан-Жак был потрясен, непостижимая, почти колдовская сила искусства не оставляла никого равнодушным; она приковывала к портрету. Жан-Жаку было трудно найти слова.

— Мой мэтр,— сказал он наконец (он называл до сих пор художника месье),— мой мэтр, вы создали самое великое произведение искусства, которое я когда-либо видел, вы — гений.

— *Voilà*,— сказал снова художник, и в голосе его, смягченном волнением, чувствовались слезы. — *Voilà*,— повторил он в третий раз.— Вы видели? Это сделал я...

Ах, надо было слышать, как это было сказано! В этих трех словах было столько гордости, столько счастья. Вот смотрите, что может сотворить человек, когда он достигает тайны великого искусства. Таков был примерно смысл этих немногих слов.

Художник помолчал. Да, да, то были самые счастливые минуты его жизни, редкие счастливые минуты, и он с трудом преодолевал волнение.

— Раз в году, в эту пору, когда сюда проникают лучи солнца, я прихожу, чтобы взглянуть на этот портрет. Ведь получилось, не правда ли? Вот все, что от меня остается.— Он снова помолчал.— И это сделала та же кисть,— добавил он горестно,— которая сегодня уже не может создать ничего сносного.

<sup>3</sup> Вот! (Франц.)



С тех пор прошло почти полвека. Боже, как это было давно! Как можно было это забыть! Все эти долгие годы Жан-Жак не вспоминал ни тот потрясший его в юности женский портрет, ни его творца — старого художника, умершего одиноким и безвестным.

Как могло случиться, что на протяжении долгих десятилетий он ни разу не вспомнил о великом мастере, жившем в безвестности, не сохранил в памяти даже его имя (если только знал его), не рассказал о нем современникам!

Как это произошло?

А вот здесь, в Эрменонвиле, весной 1778 года он постоянно вспоминает это поразительное женское лицо, запомнившееся на всю жизнь, чуть прищуренные глаза и этот взгляд снизу вверх, который нельзя забыть, — удивительное, неповторимое творение человеческого гения.

А ты, Жан-Жак, можешь ты так же сказать — «это сделал я» и испытать то же подступающее комок к горлу чувство гордости и счастья? Нет, будь правдивым перед собой — ты не создал такого же великого, прекрасного, непреодолимого произведения искусства.

А вот старый, строгий художник, с неулыбающимся лицом, создавший творение, не уступающее полотнам Рафаэля, Веласкеса, Ван Дейка, умер в безвестности, и никто никогда не узнает его имени. А неповторимый женский портрет? Где он? Что с ним стало? Наверно, лежит запыленным на чем-то чердаке, среди рухляди и хлама, и чьи-то безжалостные, жесткие руки будут швырять его из угла в угол, пока не выбросят на мусорную свалку.

А твои книги, Жан-Жак, издают во всем мире, переводят на все языки... А ты не возвысился ни в «Новой Элоизе», ни в «Деревенском колдуне» — ни в чем — до того недостижимого мастерства, до тех вершин искусства, на которые поднялся никем не признанный, никому не известный великий художник без имени.

Так в чем же счастье творчества?

Тяжело опираясь на трость, он медленно шел по аллеям парка и все думал об этих так трудно разрешимых вопросах.

Да, да, все просто — и не просто.

Вот он, Жан-Жак Руссо, писатель, чье имя известно во всем мире, к каждому слову которого прислушиваются со вниманием, ушел из города, от вчерашних друзей, преследующих его враждой, уединился в Эрменонвиле, среди птиц, трав и деревьев — истинных друзей... Казалось, чего же еще желать?

А он не может жить без людей; он бежал от них, бежал от растленного мира, сообщества негодяев, соперничающих котерий и клик, тайных комплотов, от лжи, ненависти, мелочной зависти, мстительного коварства, вероломства — и что же? Три недели он вдыхал упоительный запах распустившейся листвы и блаженствовал, а затем? Он все чаще теперь выходит за ограду парка и издали с завистью смотрит, как маленькие девочки с возгласами, со спорами играют в классы, как женщины, засучив рукава, покрасневшими, грубыми руками полощут белье в холодной воде пруда, как медленно, неторопливо степенный кюре в черном важно следует к одному из своей паствы и уже что-то произносит вполголоса, видимо, подготавливая надгробную речь... Жан-Жак не мог жить без людей: общественный человек, он скучал без них, мысленно он оставался всегда вместе с ними.

Так как же быть?

Да, Жан-Жак, ты не сумел запечатлеть жизнь, ее дыхание, ее краски, ее аромат, как это сумел сделать безмянный художник в небольшом женском портрете. Ну что же, каждый делает то, что ему ближе. Вяз не похож на дуб. Ты сделал то, что отвечало твоей натуре, твоей природе. Ты шел своим путем — против течения, и ты был верен правде. Ты показал людям, как несправедлив, как несовершенен этот мир — значит, надо стремиться сделать его лучшим.

Вот, собственно, и все. Не надо ничего добавлять. Жизнь идет к концу, и к пройденному уже ничего не прибавишь. Только разве что писать надо было иначе — писать надо было проще, яснее, строже.

Жан-Жак ценил точные формулы. Мысль должна быть всегда выражена ясно — словами, которые нельзя ни заменить, ни переставить. Даже сейчас, когда пишется труднее, он все еще старается облечь мысль в точные, чеканные формулы. Вот недавно он написал: «Сила и свобода — вот что делает человека прекрасным». Мысль выражена ясно и точно, как математическая формула. Так надо писать. И все-таки «Общественный договор» перегру-

жен формулами; литератор ведь должен знать не только законы математики, но и законы музыки. А в «Общественном договоре» музыки мало; этот трактат слишком рационалистичен.

Жаль, что он понял это так поздно; если бы осталось время и силы, можно было бы те же мысли выразить иначе; может быть, он успеет написать давно задуманные — еще в Венеции — «Политические установления»? Нет, вряд ли. Уже опускается солнце.

И все-таки главное он успел сказать. Он сумел объяснить, доказать, он сумел сделать свое открытие всеобщим мнением — нет, надо сказать осторожнее: мнением многих, что без свободы, без равенства — жить нельзя.

Старый дядя Бернар этого никогда не понимал. И он, Жан-Жак, раньше этого не знал. А ведь все так просто. Надо жить проще, лучше, надо жить естественными законами, быть ближе к природе. Почему малиновка поет? Да потому, что она свободна. Верните людям свободу, устройте мир так, чтобы не было ни богачей, ни этой спесивой знати — ни госпожи де ла Поплиньер, ни герцога Ришелье, чтобы все были равны и свободны, и мир станет прекрасен, как это высокое темно-синее небо.

Как все это, в сущности, просто. Жаль, конечно, что он, Жан-Жак, уже не увидит, как начнет перекашиваться, начнет рушиться, рассыпаться этот старый, злой, сумрачный мир.

Все-таки, Жан-Жак, ты прожил жизнь не слепым кротом, не глупой улиткой, ты понял, ты разгадал, куда течет горный поток.

Конечно, если бы все это увидеть еще своими глазами... Может быть...

Но нет, Жан-Жак знает — ему не пережить еще одной весны. Ну и что из того? Конец, всему приходит конец. Жан-Жака не будет. Ну и пусть — он сделал все что мог. А жизнь будет продолжаться.

Задумывался ли он над будущим миром? Над новым, справедливым, основанным на естественном праве обществе, которое придет на смену ущербному миру злых, знатных и богатых?

Да, конечно, он об этом постоянно думал. И кто не чувствовал этих носящихся в воздухе ветров предгрозя, близости надвигающихся перемен? И все-таки в это нежаркое последнее лето в Эрменонвиле он уже чувствовал приближение конца и его мысли были чаще обращены к прошлому, чем к будущему.

Так почему вчерашние друзья превратились во врагов? Да прежде всего просто потому, что он не пошел по их пути, что он не захотел следовать за ними.

Вот этот маленький, налитый спесью Мельхиор Гримм. Он весь лоснится от самодовольства, он ходит, как находившийся индюк. Ему кажется самым важным, что он не просто Гримм, а *monsieur le baron de Grimm* — господин барон де Гримм.

Вот если бы Жан-Жак стал так же околачиваться по приемным знатных господ, если бы он ухаживал за метрессами высокопоставленных лиц, если бы он всеми путями — лестью, угождением, изворотливой буржуазной дипломатией — стал добиваться для себя наград, званий, чинов — тогда бы, конечно, Мельхиор Гримм оставался закадычным другом Руссо.

И Вольтер не мог простить, что Жан-Жак знал, как он, старый, прославленный во всем мире писатель, выслуживался перед этой маленькой госпожой д'Этиоль, как он ей угождал, писал какие-то стихи, мадригалы. А зачем? Для чего это было нужно? Это холопство, это пресмыкательство перед сильными мира сего — оно было у всех у них в крови. Как уговаривал тогда, в 1752 году, Дидро — они были в ту пору друзьями, — чтобы Жан-Жак явился на аудиенцию, назначенную королем, воспользовался предоставляемыми ему благодеяниями. И Вольтеру тоже очень хотелось бы этого, Вольтер был бы готов остаться его другом, если бы и он, Жан-Жак, так же прислуживал королевским любовницам, как это делал Вольтер, Гримм, все они.

Мысли перескакивали с предмета на предмет. Эта маленькая д'Этиоль, маркиза де Помпадур, она все-таки была лучше других: она хоть что-то понимала в искусстве.

*Cette petite bourgeoise  
D'une manière grivoise...  
(Эта маленькая буржуазка  
С своей манерой гривуазной...)*

Бог знает, почему ему приходили на память эти строки старых иронических песенок.

Это все было давно-давно, тридцать с лишним лет тому назад. Тогда еще не верили, что этот мир пойдет под откос. А теперь, после волнений 75 года, после увольнения Тюрго<sup>4</sup> — все это чувствуют, все понимают.

Уже подросла, уже вступает в жизнь новая поросль. Новое — иное поколение молодых людей, они не похожи на своих предшественников. Новые — они все знают, все сочинения Руссо; они называют Жан-Жака учителем, но им мало мыслей, идей — они стремятся к действию. Это люди действия; они полны решимости все перевернуть в этом мире.

Жан-Жаку особенно запомнился один из этих молодых; кажется, он был студентом юридического факультета Сорбонны, родом из Арраса. Он пришел из Парижа пешком в Эрменонвиль, — не шутка — это ведь дальний путь, а в его обличи, в его костюме, манере держать себя не было видно никаких признаков усталости, словно он только что выпорхнул из кабриолета. То был тщательно, даже элегантно одетый молодой человек, в напудренном, завитом парике, почти щеголь. Он говорил негромким голосом, очень отчетливо выговаривая слова, спокойно и уверенно. Он знал сочинения Руссо, может быть лучше, чем сам Жан-Жак; в той же неторопливой уверенной манере он разъяснял ему — автору «Общественного договора», в чем он видит великое революционное значение этого сочинения.

У Жан-Жака осталось впечатление, что этого совсем еще юного, изящного, непоколебимо уверенного в правоте отстаиваемых взглядов студента Сорбонны невозможно сбить с позиций, он был непробиваем, непростреливаем, он был защищен броней уверенности, стрелы должны были от него отскакивать. В дни юности Жан-Жака таких молодых людей вовсе еще не было — то был посланец нового поколения, вступившего в жизнь.

Больше всего Жан-Жака поразили в пришедшем к нему молодом человеке глаза. Серые, скорее небольшие, наверно, немного близорукие глаза. Но стальные глаза. Да, да, вот почему он так запомнил этого юношу из Арраса. Стальной взгляд. Вернее, вежливый, учтивый, доброжелательный взгляд стальных, непреклонных глаз.

Становилось холодно. Жан-Жак слишком долго сидел на скамейке. И Тереза, вероятно, уже беспокоится...

Он поднялся, еще и еще раз медленно, с наслаждением втягивал неповторимый запах расцветающих трав, влажной листвы, волнующий, полный неизъяснимой свежести запах весны и, опираясь на трость, медленно, по-стариковски останавливаясь, шел к дому.

## 2

Лето было в разгаре. Начинаясь июль, и в его первые дни цветение природы достигло, казалось, зенита. Высокие, сочные, густые травы были напоены таким глубоким зеленым цветом, таким пьянящим настоем зеленых соков земли, что чувствовалось — это предел. Течение времени словно остановилось. Стояла та недолгая пора конца июня — начала июля, когда день, достигнув полного торжества над ночью, как бы в изнеможении от одержанной победы останавливается; он уже не может дальше наступать на ночь, но еще удерживает завоеванное пространство, счет времени не меняется. Это полдень мира.

Жан-Жак, как всегда, в 10 часов утра вышел на прогулку. Он шел теперь медленно, опираясь на палку, и ему казалось, что в это лето, лето Эрменонвиля, он ходит медленнее, чем раньше. и ходить ему с каждым днем становится все труднее.

Еще несколько дней тому назад он ощутил щемящее, как бы подсасывающее неясное ощущение какого-то сжатия, какого-то томления под ложечкой...

Последнюю ночь он спал хорошо и, начиная утреннюю прогулку по парку, он уже забыл о вчерашнем ощущении; он хотел обдумать, чем же закончить «Прогулки одинокого мечтателя».

Стоял ясный, погожий день, но было не жарко. Может быть, потому, что еще было утро, а может, просто выдался счастливый нежаркий ровный день; не было ветра и все-таки чувствовалась какая-то освежающая прохлада, по всему парку, по всей земле было разлито мягкое, нежное, благодатное тепло.

<sup>4</sup> В 1775 году после неурожая начался голод. По всей стране, включая Париж, прокатилась волна голодных бунтов. Эти события привели к отставке популярного в кругах буржуазии генерального контролера финансов Тюрго, который пытался умеренными реформами оживить экономику абсолютистской Франции и ограничить злоупотребления при сборе налогов.

Наверно, как это теперь с ним часто случалось, тяжело опираясь на палку и медленно передвигаясь вперед, он думал все о том же — так что же успел сделать, что было правильного и неправильного и что еще осталось сделать до конца? Он думал о конце спокойно, даже равнодушно, как если бы речь шла не о нем, а о ком-то другом. Но он сознавал, что времени осталось мало и что надо еще многое успеть. Когда к нему пришло это ясное и даже какое-то будничное понимание, что времени осталось в обрез? Кажется, весною, вскоре после переезда в Эрменонвиль. Да, да, когда он впервые прошелся один по густому, заросшему, тенистому парку, когда он услышал нестройное, многозвучное пение птиц, когда он полной грудью вдыхал эти нежные запахи молодой травы, недавно распустившихся листьев — запахи весны, тогда он как-то сразу понял, что это его последняя весна.

Жан-Жака это не огорчило и не обеспокоило. Ну что же. За свою долгую жизнь он привык к скитаниям, к переменам мест. Законы природы властны над всеми. Что же, Жан-Жак, будем собираться в последнее путешествие, в далекие края, откуда нет возврата.

Наверно, он вскоре даже забыл об этих мыслях и во время последнего лета — недолгого лета в Эрменонвиле больше не вспоминал, не думал об этих сборах в дорогу, с которой не возвращаются.

Чаще всего он думал о том, что же в конце концов сохранится из написанного. Только «Общественный договор» и «Новая Элоиза», может быть еще «Письма с горы». Все остальное: музыкальные пьесы, трактаты, «Эмиль», в особенности «Эмиль», никуда не годятся. Да и «Новая Элоиза» многословна и кое-где вычурна. Да, если бы у него оставалось время, он бы переписал весь роман заново. Он написал бы его проще, строже, без восклицаний, без необязательных слов. Подлинное искусство невозможно без строгой простоты.

Неожиданно он почувствовал, как ощущение сжатия где-то под ложечкой, о котором он уже совсем забыл, вдруг сразу подступило, казалось, к горлу и заставило его торопливо пройти к скамейке и тяжело опуститься на нее.

Он закрыл глаза, и сразу же, как это всегда бывало в солнечный день, под опущенными веками поплыло волнистое, подвижное оранжевое море, оранжевый свет — свет мальчишеских забав, к которому он привык еще с далекого детства — в доме тети Сюзон.

Он снова взглянул — прямо перед собой, и яркий торжествующий зеленый цвет травы и листья, зеленый цвет надежды хлынул на него со всех сторон.

Жан-Жак вздохнул с облегчением — слава богу! Это были его любимые цвета, с которыми он прошел весь свой долгий жизненный путь: зеленый цвет — цвет жизни, и оранжевое море — при смеженных веках — цвет солнца, цвет его юношеских скитаний.

Он почувствовал себя лучше. Природа, как всегда, была его союзницей. Боль притупилась. Жан-Жак глубоко вздохнул. Взволнованный, испытывая глубочайшую благодарность и какое-то радостное удивление, он вглядывался в этот окружающий его благодатный, благоухающий зеленый мир, охраняющий его от злых сил. Он чувствовал себя частью этого зеленого, светлого мира и, наверно — и ему, как всем людям, были свойственны иллюзии, — он подумал, что и он, как все это зеленое царство, — неодолим.

Он встал, чтобы пойти вперед, в эту манящую зелень аллей, чтобы завершить — как было задумано — прогулку по парку.

Но в то же мгновение, когда он поднялся, он ощутил, как чьи-то железные тиски, или железная рука, сжали ему сердце и заставили вновь опуститься на скамейку.

Он закрыл глаза, и снова под опущенными веками разлилось спасительное оранжевое море, но откуда-то неожиданно в этом разлив оранжевого света возникали черные островки, и эти черные пятна ширились и росли.

Он, наверно, понял тогда, что ему уже не дойти до манящей глубины зеленых аллей и не дойти уже и до дома и что это и есть конец. Он принял это равнодушно, безразлично — пусть будет, что будет, — он видел себя как бы со стороны. Широко раскрытыми глазами он жадно впитывал — в последний раз — окружавшее его зеленое, живое, благоухающее, волнуемое море жизни. Лето достигло апогея; жизнь в цвету, и он был счастлив, что уходя унесет с собою этот любимый зеленый цвет вечно расцветающей земли.

Унесет... Но куда? Его сознание как бы раздваивалось. Он видел себя вновь как бы со стороны: беспомощным, слабым, прижатым чьей-то железной, беспощадной рукою к скамейке; ему страшно пошевелиться, он знает: одно лишь движение — и этот зеленый свет погаснет. И он сидит — скованный, неподвижный, не отрываясь взором от шумящей листвы.

Зеленые веточки, посеребренные утренней росой — последняя тонкая нить, соединяющая его с уходящим миром.

Мысли смешивались. Нет, Жан-Жак, это не мир уходит, это ты уходишь из вечно обновляемого мира. Он ведь был литератором: и перед лицом смерти, наедине с самим собой не пристало путаться в словах: надо выражать свои мысли ясно и точно.

Усилие над собой принесло ему облегчение. Он оставался в той же неподвижной позе, прижатый железной рукою к спинке скамейки, с широко раскрытыми глазами, с прерывающимся дыханием, лоб в поту, — бледный, слабый человек, побеждаемый смертью.

Но он сумел выправить неверный ход мысли: держись, Жан-Жак, человек должен всегда оставаться человеком. Он осторожно перевел дыхание. Железная, сжимающая сердце рука медленно поднималась все выше и выше, она подбиралась к горлу. Но Жан-Жаку стало как-то спокойнее.

Он даже рискнул на мгновенье смежить веки, и неожиданно откуда-то рядом с ним, так казалось, возникла музыка. Это была какая-то очень тихая, приглушенная, мягкая музыка. Откуда она шла? Нежная музыка, нежная простенькая песенка далеких юншеских лет. Он подумал о том, что раньше всего, в самом начале, он ведь был музыкантом.

Потом он подумал о Терезе, о том, как она будет плакать, когда он больше не придет домой. Он думал о Терезе тоже как о ком-то очень далеком. Эта глупенькая Тереза не могла ничего понять. Но она смотрела ему прямо в глаза преданным, доверчивым и боязливым взглядом, так, как умеют смотреть в глаза только собаки, — преданным, добрым взглядом лучистых, немигающих глаз.

Он прислушался. Музыка играла где-то совсем близко, рядом, верно, позади него. Это была очень тихая, с трудом различимая, словно чем-то окутанная или кем-то приглушаемая нежная музыка. Он хотел даже обернуться, чтобы увидеть, откуда же идут звуки. Но он знал, что это нельзя, что одно лишь неверное движение, и железная рука мгновенно сразит его наповал.

В эти последние минуты — он уже знал, что счет идет на минуты, — Жан-Жак вновь ощутил удивительную ясность мысли, внутреннюю собранность, бодрствование духа. Он был полумертв, он чувствовал, как все выше поднимается мертвящая хватка железной руки. Он не мог шевельнуться. Но он знал, что, пока он не отрывает взора от светло-зеленых листьев вяза с их тонкими прожилками, с серебристыми каплями росы, с их мерным, ровным шелестом, смерть бессильна перед ним.

Всю жизнь он плыл против течения, он шел наперекор, шел своим путем, и не смерти, да, не черной смерти, заставить склонить перед нею голову.

Он оттягивал этот неотвратимо надвигавшийся на него конец, не потому что он боялся его — ни на грош! — а потому, что ему хотелось, ему казалось очень важным что-то додумать и дописать.

Да, так вот! Он хотел еще подумать о простоте.

К концу своей жизни, долгого писательского пути он понял: перед ним раскрылось во всем своем огромном значении — важность простоты, умения просто и кратко выражать свои мысли. Вот чего он раньше не мог постичь, вот чего ему не хватало.

Как изменить этот мир к лучшему? Как поднять это испорченное, несправедливое общество до уровня нетленной природы? Разве те же мысли о равенстве, те же идеи свободы нельзя было выразить проще, короче, в словах ясных и неопровержимых, как вечный шелест листьев?..

Он чувствовал, как железная рука подбирается все ближе к горлу. Нет, теперь уже поздно, Жан-Жак, и уже ничего нельзя ни изменить, ни даже сказать.

Ну что же! (Щемящая, давящая боль нарастала, но он все еще превозмогал ее. Он смотрел прямо перед собой, на светло-зеленые листья вяза, и пока он их видел, не отрывая от них взгляда, смерть отступала.)

Да, но он литератор (он не любил слово «писатель» и говорил о себе — *je suis un écrivain*: я литератор), и смерть, обыденная, будничная, тривиальная смерть не может, не должна нарушить его мысли. Да, так о чем же он думал? О Терезе? О равенстве? О простоте?

Так вот — о простоте. В труде литератора искусство просто выражать свои мысли, может быть, самое главное.

Он чувствовал, как слабеет. Но он шел всегда, всю жизнь наперекор, против волны, и теперь, когда он ощущал, как надвигается все затопляющая черная волна небытия, усиленным волею он заставил себя подняться над нею, не видеть, не замечать ее, он хотел додумать что-то главное о великом искусстве простоты. Он так и не мог припомнить — так что же было главным?

Давящая, сжимающая и сердце и горло боль усиливалась. Но он не сдавался. Да, да, надо выражать мысли совсем просто. Так, как поют птицы. Только в словах. В словах, в стихах...

Откуда-то из далекого, далекого прошлого всплыли (а может быть, это он сейчас сочинил?) строки:

Но где же мои свиристели?  
Они уж давно улетели,  
И мне не вернуть их назад...

Тихо, шепотом он повторил эти строчки, немного подождал и затем повторил снова последнюю строку. Да, теперь он был уверен, что этих строк он раньше не знал. Он сочинил их — в последний миг, в последнее мгновение, — эти три простенькие строчки. На большее его уже не хватало. Что ж, и в этих строчках есть безыскусственное. И он улыбнулся...

Вот и все.

За долгие годы одиночества Жан-Жак привык разговаривать с собой, и сейчас он так же негромко произнес слова, всплывшие из далекого детства: «Eh bien, mon petit...» — «так что же, мой маленький...»

Страшным усилием он заставил себя выпрямиться на скамье. Он сидел теперь прямо, успокоенно, уверенно. Он поднял голову. Ему — человеку — перед лицом торжествующей, цветущей природы не подобало лежать поверженным, распластанным на скамье. Издали может наверно даже показаться, что вот сильный, красивый, не очень еще старый путник опустился — небрежно и уверенно — на скамью и, гордо подняв седую голову, вглядывается в глубь тенистых аллей, чтобы через мгновение подняться и продолжать дальний путь.

Но в тот же миг, когда Жан-Жак выпрямился, он почувствовал, как стальные тиски, нет, железная рука, стиснула горло, и он с трудом вытолкнул дыхание.

В последний раз он бросил взгляд на высокое синее небо и светло-зеленые, нежные, шелестящие листья вяза.

И он закрыл глаза. И сразу под смеженными веками хлынули, все затопляя, черные волны; то был разлив черноты, и только где-то в уголках еще теплились светлые оранжевые пятна — последние отблески солнца, — но они становились все меньше, блекли, гасли.

А музыка играла еле слышно.

Потом и она смолкла.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

*К 110-летию со дня рождения А. М. Горького*

## ГОРЬКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В истекшем 1977 году тема «Горький и современность» привлекла к себе внимание широкого круга советских писателей, критиков, литературоведов. «Новый мир» (см. № 1 за 1977 год) опубликовал подборку писательских выступлений на эту тему; затем на страницах журнала «Вопросы литературы» (№ 9) увидели свет материалы Всесоюзного творческого совещания писателей и критиков, проходившего летом минувшего года в Горьком и посвященного все тому же кругу вопросов — современная советская литература и художественный опыт Горького. Перед нами, таким образом, около 30 самых свежих писательских выступлений, которые воспринимаются как звенья сосредоточенного коллективного поиска, плодотворного совместного раздумья над вопросами духовной преемственности, бережного отношения к основополагающим ценностям нашей социалистической культуры.

Как и следовало ожидать, важное место в этом обмене мнениями заняла проблема формирования «социалистической индивидуальности», столь волновавшая Горького и приобретающая с ходом времени новое общественное наполнение и новую остроту. Вполне закономерно, что в наше время, когда вопросы нравственного воспитания, духовного самоопределения личности имеют подлинно общегосударственную значимость, мы со всей остротой ощущаем непреходящую современность горьковского наследия.

Правы авторы, акцентирующие «нравственную мощь» горьковского таланта (Г. Коновалов), роль Горького как великого зачинателя, который «закладывал основы нашего нравственного бытия» (Вас. Федоров), умение мыслить «широкими категориями эпохи» (Мустай Карим), «общекультурную значимость» созданных им образов (А. Овчаренко). Причем в материалах, на которые мы ссылаемся, масштабность и проникновенность горьковского подхода к нравственным ценностям неизменно соотносится с критериями гражданственности, партийности искусства, имевшими такое первостепенное значение в творческой практике основоположника пролетарской литературы. Соотносится с важнейшим для Горького принципом, согласно которому именно через созидательный труд на благо нового общества осуществляется, утверждает себя каждый из его членов.

Речь, собственно, идет о двуединстве, нерасторжимой слитности в мире идей и образов Горького общегуманистических принципов с классовыми, душевного «всеведения» с реальной программой перестройки жизни. Стоит ли говорить о том, насколько важен сегодня не просто факт такого двуединства, а его горьковский, то есть подлинно классический уровень? Важен для современного человека, углубленно решающего вопросы личной нравственности и занятого выработкой целостного, социально и философски зрелого мирозерцания. Живое, д в и ж у щ е е с я наследие Горького — для всех нас незаменимое подспорье в гражданском и духовном самоопределении. В. Озеров, подводящий итоги творческой дискуссии в Горьком, имел все основания сказать: «С той исторической вышки, на которую поднялся сейчас наш народ, в свете положений, сформулированных в партийных документах последних лет, в проекте Конституции, еще яснее видно, сколь прозорлив был в своем творчестве основоположник советской литературы».

Прозорливость Горького с особой наглядностью обнаружила себя в его подходе к художественному освещению дел и личности вождя пролетарской революции В. И. Ленина. Характерно, что в сегодняшних размышлениях о непреходящем значении горьковского наследия тема «В. И. Ленин в художественной трактовке Горького» прочно смыкается с темой «Гуманизм Горького». Нераздельность этих тем, пожалуй, особенно удачно показана В. Кожевниковым, который считает важной особенностью очерка «В. И. Ленин» «философское наполнение каждой из житейских, портретных или психологических подробностей, передающих в своей совокупности человеческую неповторимость вождя...». «Перед нами не просто лепка характера и живопись словом, но всегда напряженная мысль художника о с о в е р ш е н н о м человеке, чья практика — живое подтверждение самых высоких гуманистических представлений», — читаем мы у В. Кожевникова. Горьким более полувека назад была угадана нравственная потребность грядущих поколений, обратившись к свидетельству художника, максимально приблизить к себе неповторимый облик вождя мирового пролетариата.

Творческое наследие Горького потому и отвечает нравственным запросам современника, что это живой, а значит, подвижный мир, который не следует останавливать ради

извлечения оттуда наглядных «пояснений» к публицистическим тезисам. Не следует по той хотя бы причине, что при такого рода «остановках» объемное подменяется плоскостным, а задача нетерпеливого интерпретатора заслоняет собой задачу художника. По словам Д. Гранина, случается и так, что под пером интерпретаторов «Горький, который, как и его книги, был во многом спором, полемикой, поиском истины, становится непререкаемой догмой. У него оставляли лишь бесспорное, очевидное, понятное. Его лишали и тайн, и неудач». Того же вопроса касается и М. Слуджик: «Акцентируя прежде всего социальное содержание творчества Горького, не рискуем ли мы тем самым непроизвольно засушить наследие великого писателя, превратив его в иллюстрацию истории?» О сугубой опасности поверхностной «актуализации» Горького говорилось и другими — и прежде всего в связи с трактовкой духовных запросов современности, которой близок истинно живой, развивающийся Горький.

Удивительна ли в свете сказанного определенная озабоченность нынешним состоянием горьковедения? Призыв очистить наследие великого писателя от «хрестоматийного глянца» буквально переходит из уст в уста. По словам И. Кузьмичева, «горьковеды перестраиваются на новый лад крайне медленно и неохотно идут на новое прочтение» произведений писателя. Много упреков прозвучало и в адрес школы, которая, увы, подчас успешнее усваивает недостатки горьковедения, чем его позитивный опыт.

Правда, Б. Бурсов, беря под защиту современные горьковедческие работы, объясняет их недочеты особой «сложностью понимания творчества писателя». Но и он делает существенную оговорку: «И если чего-то еще не хватает нашему горьковедению... так это именно ощущения личности Горького—величайшего художника, который создавал вечные ценности».

Отрадно отметить, что «ощущением личности» величайшего художника проникнуто большинство писательских выступлений. Красной нитью проходит мысль о поистине эпохальной масштабности горьковского подхода к проблеме социально активной личности, посвятившей себя революционному преобразованию мира. Убеденный гуманист, притом гуманист нового, социалистического типа, Горький «всей своей жизнью, всем творчеством утверждал, что Человек велик. Своим колоссальным авторитетом он убеждал людей, что человечество представляет и украшает не маленький человек со своей несчастной долей и убогим мирком, а Человек с «солнцем в крови», гордый и активный», — подчеркивает А. Нурпеисов. Каждый по-своему подходит к этой же теме Ю. Рытхэу, С. Сартаков, Л. Якименко, В. Баранов, установившиеся на горьковской концепции человека, ее активном воздействии на умы строителей нового, небывалого общества.

«Мы живем в эпоху глобального противоборства двух социальных систем, — напоминает Л. Новиченко, — их острейших идеологических схваток. Этой эпохе нужны художники, смело глядящие в глаза ее великим классовым антагонизмам, мастера культуры, находящие свою генеральную идею в необходимости революционного обновления мира». Идеал такого художника мы как раз видим в Горьком, чем в значительной мере и объясняется его негаснущая современность. К важным аспектам этой темы обратились С. Алешин, Б. Бялик, Л. Дмитриев. В высшей степени примечателен тот факт, что во многих выступлениях, где на передний план выдвинулась тема «Горький и современная идеологическая борьба», с особой пристальностью рассматривались уроки великой горьковской эпопеи «Жизнь Клина Самгина» — произведения, исключительного даже в ряду книг Горького, ставших разящим оружием против антикоммунизма всех мастей и оттенков.

«Создавая свою эпопею уже в годы побеждающего социализма на одной шестой планеты, Горький предвидел и по-ленински понимал неизбежность дальнейшего развития мирового революционного процесса. Именно поэтому, воздав славу подлинным героям революции, он стремился к доскональному изобличению всех типов ренегатства», — формулирует А. Рекемчук. Свою мысль он конкретизирует в добрых традициях горьковской боевой публицистики: «Нет, никуда не деться сегодняшним многоликим ренегатам революционного движения, отщепенцам социального прогресса от этого изобличения высшей художественной силы».

Именно художественная сила горьковских творений стала важнейшим залогом их идеологического дальнего действия, не знающего временных ограничений, — такова одна из ключевых мыслей, высказанных В. Семиным, А. Медниковым и рядом других писателей.

Разговор о мастерстве Горького-художника, естественно, переключался в более широкое русло, захватывая круг проблем, связанных с горьковской эстетикой. И по мере того как обсуждение вопросов мастерства перерастало границы частных художественных решений, в центре внимания выступавших оказывались проблемы метода социалистического реализма, основы которого были заложены Горьким и «который обогатил мировую культуру новым видением истории и новыми человеческими типами» (В. Озеров).

Рассматривая различные аспекты творческой практики великого основоположника метода нашего искусства, выступавшие подчеркивали, как благотворно сказались и сама эта практика и организаторская деятельность Горького на утверждении, росте авторитета литературы социалистического реализма — литературы многонациональной и единой в своих идейных устремлениях.

Феномен братства, взаимообогащения разноязычных литератур нашей страны литовскому писателю М. Слуджису видится как естественное претворение высоких гуманистических принципов, провозглашавшихся Горьким. Сославшись на горьковские слова о том, что постижение каждым народом психики, «души» другого братского народа — залог их единения, он напоминает, что в свое время эти слова «были сказаны по поводу народов, населяю-



щих нашу Родину, которым надлежало лучше узнать друг друга, чтобы совместно идти к великой цели». «Теперь,— продолжает литовский писатель,— такие призывы актуальны для всех народов, населяющих ставшую маленькой Землю. Наш гуманизм родился не сегодня — сегодня мы лишь обостренно чувствуем его, протягивая руку мира и сотрудничества другим народам, и в этом — особая наша социалистическая гордость». Ход мысли здесь исключительно показателен: горьковские идеи и принципы берутся в их естественном движении к сегодняшнему дню, намечается важная точка их «встречи» с коренными запросами современности, которой Горький созвучен и масштабностью своих гуманистических раздумий и партияной четкостью позиции.

Основатель метода социалистического реализма всегда искал и умел находить в настоящем ростки будущего, провидел «третью действительность» — светлое завтра трудового человечества. И дар такого провидения органически присущ нашему искусству, верному заветам Горького.

Удивительно ли, что художники горьковской школы берут у своего учителя все новые уроки? Наследие Горького движется вместе с временем, открывая вступающим в мир поколениям свое неисчерпаемое богатство. Отсюда непреходящая актуальность темы «Горький и современность» как для нас, так и для тех, кто идет за нами следом.

Ниже мы печатаем ряд новых выступлений писателей и критиков на эту тему.

110-летию А. М. Горького посвящена и публикация его писем к А. В. Амфитеатрову.

**АНУАР АЛИМЖАНОВ. Высокий долг преемственности.** Творчество Горького служит прекрасной школой не только для любого писателя, в каком бы жанре он ни работал, но и для целых литератур.

Его жизненный подвиг, разносторонность его дарования, умение сочетать в своем лице художника и общественного деятеля, наставника новой культуры и неутомимого организатора, отдавшего все силы укреплению единства наших национальных литератур,— все это, а еще его огромный вклад в теорию, в разработку основ советского искусства — метода социалистического реализма, закрепили за ним почетное место основоположника новой многонациональной советской литературы. И потому естественно, что выдающиеся деятели национальных культур, в том числе и нашей, казахской советской литературы, очень многим обязаны творческому гению Максима Горького. Сакен Сейфуллин, Ильяс Джансугуров, Мухтар Ауэзов, Беимбет Майлин, Сабит Муканов не раз подчеркивали свою признательность великому пролетарскому писателю. Наш крупнейший новеллист Габит Мусрепов, глубоко воспринявший горьковскую традицию, написал целый цикл блестящих рассказов о матери.

Влияние М. Горького на развитие литератур народов СССР, в особенности на молодые литературы, огромно. Огромна его роль и в углублении связей между нашими культурами, в их взаимообогащении.

Уже в школьную пору каждый из нас начинает ощущать духовную красоту горьковских героев и проникаться естественной любовью к великому художнику. «Макар Чудра» и «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Сказки об Италии», «Песня о Соколе» — каждое из этих произведений, с которых мы начинали свое знакомство с замечательным художником, открывало нам грани горьковской концепции человека.

Горьковский рассказ, горьковская публицистика, опыт Горького — романиста и драматурга, его общественная деятельность, его понимание гражданственности писателя — все это стало школой высшей ступени для нашей многонациональной советской культуры, на которую равняются прогрессивные литературы мира. Об этом говорили в свое время Анатоль Франс и Ромен Роллан, Джек Лондон и Бернард Шоу, Лу Синь и Премчанд; о вкладе М. Горького в новое искусство пишут ныне южноафриканский писатель Алекс Ла Гума и пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз, классик современной польской литературы Ярослав Ивашкевич и американский писатель и художник Элтон Фекс.

Художественное и теоретическое наследие М. Горького продолжает служить нам, формируя наше гражданское самосознание, способствуя нашему творческому становлению.

Вклад М. Горького в мировую культуру неоценим. Творчество Горького не перестает волновать читателей. Воздействие Горького на духовный климат нашей эпохи сегодня, когда люди ведут битву за мир и дружбу между народами, за свое человеческое достоинство, неуклонно возрастает. И потому каждый из нас, писателей разных поколений, представителей различных литератур Советской страны, глубоко проникается сознанием своей ответственности за продолжение и развитие горьковских традиций.

Алма-Ата.

**ГЕОРГИЙ БЕРЕЗКО.** Уроки Горького. Мы все учились у Горького и продолжаем учиться у него и сегодня.

Вероятно, у каждого из нас есть свое личное, интимное отношение к Горькому. Для одних он остается добрым другом и советчиком в одинокие часы, что проходят над листом бумаги. Для других он экзаменатор, и экзаменатор неуступчивый, если только мы собственную работу рассматриваем в свете горьковских требований. А последнее полезно и в горьковские дни и по прошествии их.

Для меня, и не только, конечно, для меня, все написанное Горьким — это великий урок человечности. Не филантропической, неопределенной доброты — как часто сегодня мы употребляем это слово всеу! — а деятельной, неслабеющей заинтересованности в судьбе человека. Другими словами: Горький учит активной помощи человеку в самом широком революционном смысле.

Бесспорно, среди русских писателей первых десятилетий века никто лучше Горького не постиг Россию, ее быт, психологию социальных слоев и групп. А то, что мы знаем о русском обществе этих лет, о буржуазии, мещанстве, интеллигенции, о дне тогдашней жизни, мы в значительной мере знаем по Горькому. И Горький первый в литературе увидел и показал русского рабочего человека — умного, умелого и бесстрашного. В книгах Горького звучит восхищение человеком — человеком труда и действия, жизненной энергии.

В то же время какой поразительной любовью к человеку обездоленному, словно бы обглоданному жизнью, пронизаны «Страсти-Мордасти» — этот гениальный рассказ, подобного которому я не знаю во всей мировой литературе, рассказ, не дающий душевного покоя, настаивающий на немедленной твоей активности.

Как и сама биография Горького, все написанное им — это также великий урок мужества. Неузнаваемо изменились жизненные обстоятельства по сравнению с теми, через которые прошел молодой, бесконечно одаренный нижегородец. Но нас и теперь влечет и учит его твердость духа, упорное стремление к цели, победительный оптимизм. Разве не эти же качества потребовались Гагарину, чтобы полететь к звездам? И разве не они требуются людям гораздо чаще, чем они летают в космос?

Я не могу не сказать еще об одном важном уроке, преподанном Горьким. Он очень любил литературу, и он организовывал ее. Он любил самую «материю» литературы — слово. Как немногим было дано ему слышать музыку слова, чувствовать его ударную силу, видеть его цвет. И он не прощал невнимания к слову, писательской глухоты, небрежения, полтузания, а главное — неправды.

Но как же он радовался появлению каждой новой талантливой книги! В истории советской литературы Горький видится сейчас окруженным плеядой открытых им и поддержанных им в трудные годы писателей. Истинным талантом Горький любовался, как драгоценностью.

И последнее в этих моих лирических заметках. Горький жгуче современен в прямом и точном смысле. Большие художники живут долго. И секрет их долголетия как раз в том, что время не стоит на месте: оно высвечивает разные грани созданного этими великанами. А созданное ими поистине многогранно.

У талантливого кинорежиссера Бертолуччи есть очень современная картина «Конформист». Когда я смотрел ее, то не мог не вспомнить Клима Самгина. Горький опять-таки первый с изумительной прозорливостью и глубиной показал истоки, психологическую основу этого малосимпатичного явления, которое сегодня мы называем конформизмом.

**БЕРТА БРАЙНИНА.** Дума о молодых. Горький еще в самом начале 20-х годов говорил о великих перспективах советской литературы, о ее мировом, всечеловеческом значении. Он хотел внушить сознание этой великой миссии молодым писателям, стоящим у ее истоков.

«Однажды в начале лета 1921 г., — вспоминает Всеволод Иванов, — группа молодых ленинградских писателей собралась у М. Горького в его квартире на Кронверкском проспекте. Несмотря на голод, мы были румяны, а несмотря на отсутствие бумаги — беспечны. Горький обвел нас тревожным и бледным взором и сказал: «Друзья, будем менее резвы. Всем нам нужно подумать о вашем пути. Ведь вам суждено рассказать миру об Октябре: что он принес миру и как принес, с какими жертвами и мечтами. Путь прежнего

русского писателя лежал преимущественно по России. Путь ваш — не только в Россию, но и в Европу. Думаю, и Азию вы не минуете...»

Горький придавал большое значение межнациональной энергии художественного слова. Он усиленно старался привить молодым советским писателям вкус, интерес к мировой классике. То была одна из коренных задач его огромной, многосторонней воспитательной работы.

В своих воспоминаниях о Горьком Федин цитирует строки из литературной автобиографии Горького «О том, как я учился писать»: «Я очень многим обязан иностранной литературе, особенно — французской... Настоящее и глубокое воспитательное влияние на меня как писателя оказала «большая» французская литература — Стендаль, Бальзак, Флобер; этих авторов я очень советовал бы читать «начинающим». Это действительно гениальные художники, величайшие мастера формы...» И вторая цитата: «Из всего сказанного о книгах следует, что я учился писать у французов. Вышло это случайно, однако я думаю, это вышло не плохо, и потому очень советую молодым писателям изучать французский язык, чтобы читать великих мастеров в подлиннике и у них учиться искусству слова...»

Что касается самого Федина, то Горький сразу почувствовал в нем верного наследника лучших традиций мировой литературы. Отнюдь не случайно весной 1932 года у него возникло желание познакомить Федина с Роменом Ролланом. Горький ясно видел перспективы этого знакомства. Этим актом он как бы завершал воспитание Федина-писателя, раскрывая ему широкую дорогу к интернациональным связям с мастерами слова в лице одного из самых передовых и талантливых их представителей.

Горький учил, что советская литература неотделима от процесса развития всей мировой литературы. Лишь подлинно широкие сравнения и сопоставления, сложная диалектика притяжений и отталкиваний, согласий и несогласий помогают не только лучше, полнее раскрыть индивидуальные особенности писателя, особенности национально-психологические и социально-эстетические, но и найти ту общую гуманистическую тему, которая объединяет подлинных мастеров слова всех стран и народов. Нигде так наглядно, с такой непосредственной искренностью не выражается интернациональная общность человечества, как в искусстве слова. Горький не устал говорить молодым об этом.

**СЕРГЕЙ ВОРОНИН.** Мужество служения правде. У Максима Горького много замечательных писательских качеств, нет необходимости все перечислять. Но для меня самым дорогим будет одно, без которого не мыслю настоящего писателя. Это — гражданское мужество!

Мир, как известно, далеко не совершенен. И миссия писателя в мире чрезвычайно высока. Потому что писательскому сердцу свойственна обостренная отзывчивость на все беды и боли человечества. Писатель не наделен той реальной силой и властью, чтобы искоренять зло, сталкиваясь с ним в прямом поединке. Но он владеет особой силой и особой властью — способностью выносить свой приговор на века. Для создания гимнов прекрасному гражданское мужество требуется далеко не всегда. Но чтобы вступить в борьбу со злом, нужно мужество и готовность к самопожертвованию.

Порой, читая Горького и зная, каким гонениям со стороны царизма он подвергался за свои произведения, поражаешься его бесстрашию. Не думаю, чтобы ему солнце, воля, любовь были менее дороги и приятны, чем другим. Но это и еще многое, из чего складывается жизнь, он приносил не колеблясь в жертву Правде, без которой не мыслил себя как писателя.

Вот эта замечательная черта мне особенно дорога в творчестве Максима Горького.

Ему я во многом обязан тем лучшим, что есть в моей работе. И стараюсь по мере своих сил следовать его творческим заветам. Потому что зла на земле еще достаточно. Ленинград.

**ГИВИ ГВЕНЕТАДЗЕ.** С позиций современности. В наши дни особенно важно по-горьковски смело проникать во внутренний мир человека, полнее раскрывать его поистине неисчерпаемые потенциальные возможности. М. Горький хорошо знал, как сложна духовная жизнь человека в своей изменчивости и текучести. Психологическое состояние человека определяется не одной лишь социальной средой или особенностями его внутреннего склада, но, помимо того, многими другими бытовыми «мелочами». Без учета их нет

живого художественного образа. А фиксация этих «мелочей», по справедливому утверждению Горького, удается только такому писателю, который не брезгает «черной» работой тесного общения с людьми самого разного положения, склада мысли и чувства, миропонимания.

Горький глубоко постиг ведущие тенденции времени, осознал историческую роль пролетариата. В отношении писателя к новому человеку, герою эпохи революционных взрывов и становления социалистической действительности, сказалась вся глубина горьковского гуманизма и горьковской исторической пронизательности.

Он учил молодых писателей видеть перспективу общественного развития своей эпохи и в общем его процессе — место нового героя.

Бесконтрольная, анархическая «свобода личности» Горьким отвергнута с первого же его выступления как художника. Он отлично понимал, что такая «свобода» не только антиобщественна, но и идет вразрез с кровными интересами самого человека, лишая его реальных жизненных ориентиров. Нам необходимо понять во всей их полноте горьковские гуманистические требования, освоить пройденные человечеством пути, как это сумел сделать основоположник советской литературы.

Надо учиться у Горького умиению романтически ярко воплощать порыв трудового человека к новому, неизведанному, вкус к поиску, неудовлетворенность достигнутым, которая побуждает его двигаться все «вперед и выше».

Известно, что великий художник пролетариата был пламенным пропагандистом «духовного единения народов», сближения культур разных наций и национальностей. Интернационализм стал неперенным законом нашей жизни, и первейшая обязанность писателя — всемерно содействовать взаимообогащению социалистических культур, беспощадно изобличать любое проявление шовинизма и национализма.

Общечеловеческие проблемы, так смело выдвинутые Горьким, с наступлением новой эпохи обретают соответствующие краски и требуют нового к себе подхода, философски углубленного, партийно выверенного — именно такого, какому учил Горький.

Горьковские традиции актуальны и всегда будут таковыми не только для советских литераторов. Ни один серьезный художник, где бы он ни творил, не сможет пройти мимо уроков Горького.

**Тбилиси.**

#### **МИРЗА ИБРАГИМОВ, народный писатель Азербайджана. Дар проникновения.**

Впервые Горького я прочитал полвека назад, будучи учеником фабрично-заводской школы в старом нефтяном районе Баку — Сабунчах. Это были рассказы великого писателя, изданные на азербайджанском языке. Рассказы настолько пленили меня, что я буквально не мог оторваться от книги; я глотал страницу за страницей, будто волшебный напиток. Сильнейшее впечатление осталось от рассказов «Старуха Изергиль» и «Челкаш». Особый, доселе неизвестный мир открывался перед моим мысленным взором. Было такое ощущение, что я обрел крылья, лечу куда-то в синие безграничные дали.

...Книга пошла по рукам обитателей «Коммуны молодежи» в поселке имени Степана Разина, где я тогда жил. Помню, по вечерам после работы на промыслах и заводах мы собирались в большой просторной комнате нашей коммуны на первом этаже, специально выделенной для культработы, и долго, оживленно обсуждали прочитанные рассказы, делились мнениями, спорили, восхищались смелостью и широтой натуры Челкаша, бросившего деньги в лицо Гавриле.

Горьковские рассказы рождали у меня желание писать о жизни молодой Советской страны, о тех светлых горизонтах, которые открывались перед нами, детьми рабочих и беднейших крестьян. Писать и о том тяжелом, безотрадном, что было уделом моего детства в дореволюционном Азербайджане, о нужде и голоде, постигшем нашу деревню в 1918 году, о муках и страданиях наших женщин. Некоторые из этих впечатлений и тем составили основу моих первых рассказов. Мне очень близка горьковская романтика, горьковская вера в человека, в его творческие силы.

Спустя некоторое время я прочитал Горького в оригинале. Глубже всего запал мне в душу его роман «Мать», кстати, в свое время замечательно переведенный на азербайджанский язык ныне здравствующим ветераном литературы нашего народа профессором Азизом Шарифом. Этот сугубо политический роман по своему художественному совершенству и красоте является подлинным шедевром мировой литературы.

В связи с известной драмой Самеда Вургунга «Вагиф» Мариэтта Шагинян высказала интереснейшую мысль о плодотворном воздействии выдающихся писателей на весь современный и последующий литературный процесс. Эта мысль блестяще подтверждается на примере творчества Горького. Его богатое литературное наследие оказало и оказывает большее влияние на развитие прогрессивной литературы во всех странах земного шара.

Наша многонациональная советская литература плодотворно использует горьковские традиции. Титаническая, светлая фигура Горького стоит у истоков литературы социалистического реализма. Вряд ли можно найти произведение крупной формы, написанное в наше время о революционной борьбе того или иного народа, где не ощущалось бы творческое воздействие Горького. Печатью этого воздействия отмечены все значительные романы азербайджанских писателей, в частности роман Мехти Гусейна «Утро». Лично я, работая над романом «Наступит день», неоднократно возвращался к отдельным главам романа «Мать», стремясь разгадать тайну горьковского мастерства, благодаря которому даже «проходные», казалось бы, сцены приобретали блеск и красоту, способность гипнотизировать читателей.

Горький не только великий художник слова, открывший новый этап в истории мировой литературы, но он и величайший публицист в самом высоком понимании этого слова и одновременно блестящий теоретик литературы. Его публицистика и критические статьи поражают не только глубиной мысли, остротой и злободневностью (причем злободневностью в самом широком смысле слова), но и художественной выразительностью, эмоциональной силой. Я постоянно обращаюсь к этим его произведениям, получая от них огромное эстетическое наслаждение, впитывая их, как говорится, всем умом и сердцем.

Как-то я прочитал у Горького: «Для меня не существует идеи вне человека, для меня именно он и только он является творцом всех вещей и всех идей, именно он — чудотворен и в будущем владыка всех сил природы». Это написано в 1928 году, в разгар борьбы за индустриализацию страны, за переустройство сельского хозяйства на коллективных началах, в момент острой классовой борьбы, когда и благородное и низкое в человеке выявлялось особенно ярко, выпукло.

А вот другая высокогуманная мысль Горького, открывающая одну из важнейших граней его «концепции человека»: «...если уж надобно говорить о «священном», — так священо только недовольство человека самим собою и его стремление быть лучше, чем есть... священо его желание уничтожить на земле зависть, жадность, преступления, болезни, войны и всякую вражду среди людей, священен его труд».

Да, Горький в ряду таких титанов художественной мысли человечества, как Гомер, Фирдоуси, Низами, Шекспир, Гёте, Пушкин, Бальзак, Толстой. Но мне кажется, что ни одному из художников прошлого и современности не удалось так органически слить свою творческую работу с ежедневной борьбой, с насущными жизненными потребностями трудового человека и всего народа, как это сделал Горький.

Моя республика — древняя страна огней — вобрала в себя климатические особенности почти всех континентов земли, а культура ее издревле питалась соками духовных ценностей многих народов мира. С начала нашего века азербайджанская культура потянулась к живительному источнику горьковского таланта. Лучшие сыны Азербайджана — прогрессивные, революционно настроенные писатели и общественные деятели — находили в творчестве автора «Песни о Буревестнике», «Челкаша», «Старухи Изергиль», «Матери» ответ на волновавшие их жизненно важные вопросы. Творчество Горького было для них ярким светом, освещавшим тяжелую жизнь трудового человека в условиях буржуазно-помещичьего гнета и власти самодержавия. Быть может, поэтому творения Горького для многих моих соотечественников ассоциировались с утренним рассветным солнцем, лучи которого пробуждают к жизни нивы и сады. Азербайджан не только страна низменностей, где раскинулись Мильская и Муганская степи, но и страна гор, белоснежных вершин Муровдага, Шахдага, Савалана, вершин, которые, будто корона, украшают древнюю родину моего народа. Когда бы я ни думал о Горьком, у меня неизменно возникает ощущение, что я стою перед недосыгаемой горной грядой Шахдага — Царь-горы. Имя Горького, память о нем всегда связываются в моем сознании с образами высоких белоснежных гор моей солнечной республики.

Творчество этого могучего титана художественной мысли, гениального творца непреходящих духовных ценностей так же неохватимо одним взглядом, как Шахдаг. Могучим

своим гением Горький, освоив наследие предшественников, поднял художественную мысль человечества на невиданную высоту.

Знать многое и не повторять никого — редчайший дар. Горький, обладая энциклопедическим знанием жизни и культуры человечества, создавал неповторимые, новаторские творения, обогащая ими сокровищницу мировой художественной мысли.  
Вану.

**АФНАСИЙ КОПТЕЛОВ.** Он открыл нам путь. Как-то Леонид Максимович Леонов, выдающийся художник слова, сказал о писателях своего поколения: «Все мы выпорхнули из широкого горьковского рукава». Так же могут сказать о себе и литераторы последующих поколений, в том числе и те, кто только сейчас начинает овладевать сложным и нелегким делом живописи словом. Вся наша многонациональная литература идет по пути основоположника метода социалистического реализма, по пути служения народу.

Творческий и общественный подвиг Горького изумителен. Он не может не вызывать восхищения не только мастерством, но и редкостным трудолюбием, душевной заботой о тех, кто работает рядом, кто идет на смену. Человек отзывчивого сердца, занятый созданием собственных литературных произведений, Горький всегда находил время и силы для чтения бесчисленных рукописей и книг еще неизвестных авторов, для редактирования многих сборников и журналов. Для писем товарищам по перу, нуждавшимся в его советах и поддержке, в слове одобрения и в критических замечаниях, тоже способствовавших творческому росту.

По собственному опыту зная, сколь трудна работа писателя вдали от центра, Горький особое внимание обращал на литературу краев и областей, откуда могло прозвучать новое, яркое слово о народной жизни, как прозвучало оно на его памяти в книгах Мамина-Сибиряка и Александра Серафимовича, Михаила Шолохова и Александра Фадеева, в стихах Александра Твардовского и Михаила Исаковского. Вот и у нас в Сибири на протяжении четверти века скольких писателей заметил и поддержал Горький! Его письма сибирякам заняли половину тома «Горький и Сибирь», составленного в свое время покойным Саввой Елизаровичем Кожевниковым и мною.

Мне, в ту пору еще начинающему литератору, посчастливилось дважды видиться с Алексеем Максимовичем. Первый раз в 1929 году. Тогда в Новосибирске орудовала псевдолитературная группа, издававшая свой журнальчик «Настоящее». Она громила старейший в стране журнал «Сибирские огни», требовала закрытия Сибгосоперы, рьяно настаивала на замене «устаревшей романной поддевки» косовороткой «литературы факта». Потом она обрушилась с оскорбительными нападками на Горького, Шолохова и других крупных писателей, пользовавшихся любовью народа. Горький уже слышал об этой группе. Когда я вошел к нему в комнату, на его столе лежал лист линованной бумаги любимого им формата, до половины покрытый строками статьи «Рабочий класс должен воспитывать своих мастеров культуры». Алексей Максимович назвал в той статье имена наиболее оголтелых настоященцев. Партия пресекала левацкие наскоки на художественную литературу: группа «Настоящее» была распущена, журнал прекратил свое существование. Своей статьей Горький оказал бесценную услугу быстрому развитию советской литературы в Сибири.

Меня Алексей Максимович тут же пригласил к сотрудничеству в журнале «Наши достижения», который он редактировал.

— Вы можете давать по три-четыре очерка в год, — сказал он. — Оставьте свой адрес. Мы будем высылать журнал.

Вскоре там был напечатан мой очерк о Горном Алтае. И появился целый ряд очерков и рассказов молодых писателей-сибиряков Леонида Мартынова, Михаила Никитина, Надежды Чертовой, Михаила Ошарова, Александра Шугаева и других, приглашенных Горьким.

В дни работы I съезда советских писателей в 1934 году Горький сфотографировался с нами, делегатами Западной и Восточной Сибири, а потом пригласил нас к себе. Во время беседы в большой комнате особняка на нынешней улице Качалова, где теперь мемориальный музей, Алексей Максимович интересовался изданием в Москве книг сибиряков, в особенности романом Михаила Ошарова «Большой аргиш», который он успел прочесть. Среди нас был Павел Кучияк, тогда единственный писатель Горного Алтая. Познакомившись с ним, Горький посоветовал нам:

— Вы, сибиряки, должны помогать писателям малых народностей. Край у вас много-

языкий. Юкагир один хорошую книгу написал — Текки Одулюк, «Жизнь Имтеургина Старшего». Я приехал домой со съезда, взял посмотреть и прочитал всю. Хорошая! До двух часов ночи читал.

Это напутствие не было случайным. Несколькими годами раньше, еще из Сорренто, Горький напоминал иркутянину М. М. Басову, одному из основателей журнала «Будущая Сибирь», о том, что на просторах Сибири «рассеяно около 30 племен», которые до революции «жили слепо и немо», а теперь голоса их первых писателей «скорее и ясней донесутся до соседей, еще слепых и немых». И голоса их были услышаны далеко: лучшие книги сибиряков, переведенные на русский язык, издавались многократно огромными тиражами, выходили и за границей.

Первые романисты народов Сибири учились у Горького отображению народной жизни. Так, влияние его автобиографической трилогии благотворно сказалось на эпосе «Слово арата» Салчака Токи, на эпическом романе делегата I съезда якута Николая Мординова «Весенняя пора», на первом хакасском романе Николая Доможакова «В далеком аале», на главах первого алтайского романа Павла Кучияка «Адыюк», к сожалению, оставшегося незаконченным. Влияние Горького сказалось и на книгах Владимира Санги, Семена Курилова, Алдын-оола Даржаа, Петра Киле, Диваша Каинчина, вошедших в пятидесятитомную библиотеку «Молодая проза Сибири». У всех народов, прежде живших «слепо и немо», создана большая литература, являющаяся нашим национальным достоянием. К примеру сказать, Горноалтайское отделение Союза писателей сейчас объединяет 17 поэтов, прозаиков и критиков.

«Начало искусства слова — в фольклоре, — говорил Горький на I съезде писателей. — Собирайте ваш фольклор, учитесь на нем, обрабатывайте его. Он очень много дает материала и вам и нам, поэтам и прозаикам Союза».

Павла Кучияка эти слова привели в восторг. Во время наших совместных поездок по Горному Алтаю он стал собирать песни и сказки. Он открыл выдающегося сказителя Николая Улагашева, который вскоре же был награжден орденом «Знак Почета». Кучияк по памяти записал добрый десяток героических сказаний, в детстве слышанных от бабушки и дедушки — знаменитых сказителей. Он сам был неповторимым сказителем. Много сказаний было тогда же записано и со слов Николая Улагашева. В 30—40-х годах в Новосибирске в переводах Александра Смердова, Ильи Мухачева, Елизаветы Стюарт, Василия Непомнящих и Евгения Березницкого было издано 7 книг алтайского эпоса, песен и сказок. Я тоже принимал участие в переводах, писал предисловия и комментарии. Эту работу продолжает новое поколение литераторов. Так, в прошлом году у нас в «Сибирских огнях» было опубликовано эпическое сказание «Маадай-Кара» в отличном поэтическом переводе Александра Плитченко. А в Горно-Алтайске поэт Сазон Суразаков, ныне доктор филологических наук, выпустил на родном языке девятый том героического эпоса под общим названием «Алтайские богатыри». Таково на примере лишь одного народа подтверждение слов о фольклоре, сказанных Горьким на I съезде. Вспомним также, что после его слов в руках русского читателя появились и «Манас», и «Давид Сасунский», и «Джангар» и «Гэсэр».

Горький советовал вовлекать в литературное творчество «бывалых людей», обладавших богатым жизненным опытом. На одно из совещаний таких людей мы в «Сибирских огнях» пригласили геодезиста, путешественника, трудами которого были нанесены на карту отдаленные, труднодоступные районы Сибири. Это был Григорий Анисимович Федосеев, человек с поэтическим видением мира. Примерно через год он принес в редакцию большую рукопись «Мы идем по Восточному Саяну». Кондратий Урманов, знаток сибирской природы и тонкий художник, на первых порах помог ему подготовить эти художественные записки к печати. А в последующие годы появились и другие талантливые повести и романы Григория Федосеева. Вслед за «Сибирскими огнями» их печатала миллионными тиражами «Роман-газета». Они были переведены в нескольких странах. Созданный Федосеевым образ мудрого звенка-проводника Улукиткана, на мой взгляд, по глубине проникновенности и живописи словом стоит рядом со знаменитым арсеньевским Дерсу Узала.

Не могу не вспомнить слова Горького из его заключительной речи на съезде: «Нам необходимо обратить внимание на литературу областей, особенно Восточной и Западной Сибири, вовлечь ее в круг нашего внимания, печатать в журналах центра, учитывать ее значение как организатора культуры».

Этот завет выполняется. Сибирь дала стране таких крупных художников слова, как

романисты Георгий Марков, Сергей Сартаков, Константин Седых, Ефим Пермитин, Сергей Залыгин, Анатолий Иванов, Алексей Черкасов, драматург Виктор Лаврентьев. Широко известны имена талантливых литераторов следующего поколения — красноярец Виктор Астафьев, иркутянин Валентин Распутин, томич Владимир Кольхалов. Я мог бы еще назвать десятки литераторов, книги которых также значительно расширили поле зрения советской литературы и запечатали для современников и потомков процесс социалистического преобразования нашего необъятного края. Гости, приезжающие к нам из стран Запада, называют эти свершения сибирским чудом.

О значительности вклада сибиряков в нашу общесоюзную литературу красноречиво свидетельствуют 40 томов «Библиотеки сибирского романа», вобравшей в себя произведения, выдержавшие испытание временем, и 30 томов «Библиотеки сибирской поэзии». К этому добавились 50 книг «Молодой прозы Сибири». И все это после заботливых, ободряющих слов Горького. Вот почему я с благодарностью говорю, что и нам, сибирякам, он открыл путь в большую литературу.

Новосибирск.

**АЛЕКСАНДР КРОН.** Вопреки канонам. Горький вошел в мою жизнь очень рано, и с тех пор его присутствие я ощущаю всегда. Вошел, конечно, книгами, сперва «Челкашом» и «Мальвой», затем повестями, пьесами, «Самгиным». Видел я Алексея Максимовича только однажды с верхотуры Колонного зала Дома союзов, и хотя писать начал еще при его жизни, никогда к нему не обращался и лишь много позднее с удивлением и легкой завистью узнал, что существуют литераторы моложе меня годами, которые встречались с Горьким, получали от него письма с советами и критическими замечаниями. Еще позже Горький-человек ожил для меня в отрывочных, но очень ярких устных рассказах близко знавших его Всеволода Вячеславовича и Тамары Владимировны Ивановых. Но важнее всего для меня были книги Горького, с ними я не расставался никогда, хотя мое отношение к ним не раз менялось. В отдельные периоды моей жизни, на разных этапах жизни нашей страны они воспринимались различно, я много раз яростно спорил с тем, чем ранее восхищался, и заново открывал для себя ранее недооцененное. Увлекался некогда романтическими новеллами раннего Горького, а затем остыл, к некоторым из них вроде нашумевшей сказки «Девушка и Смерть» стал относиться непочтительно. Скучал когда-то, читая «Самгина», а десятью годами позже перечитал не отрываясь и впоследствии много раз к нему возвращался. Благодаря «Самгину» для меня стали зримыми и вещными многие проблемы русской общественной жизни, о которых я имел чисто умозрительное представление по историческим трудам и учебникам. Все это, на мой взгляд, закономерно. Классик, вызывающий к себе стойкое, не подверженное приливам и отливам почтение, уже принадлежит истории.

Только способность в разные периоды поворачиваться к читателю то одной, то другой гранью и делает большого писателя прошедшей эпохи по-настоящему современным. Тому есть много примеров. Вот один недавний. Осенью я с группой писателей побывал на родине Джека Лондона в калифорнийском городе Окланде. В оклендском мемориальном музее мы узнали нечто для нас новое: после двух десятилетий, когда Лондон был почти не читаемым писателем, за короткое время стремительно возрос читательский интерес к его творчеству и, как прямое следствие, тиражи переизданий, количество литературоведческих работ. Все это свидетельствует о стихийно обновившейся потребности американского читателя в общении с героями лучших произведений Лондона — цельными и мужественными людьми из народа, в прикосновении к еще не придавленной прессом цивилизации прекрасной природе своей страны. Оказалось, что Лондон современен, хотя читается он уже несколько иначе, чем полвека назад, с другими акцентами, с другим отбором. У Горького, в особенности раннего, есть немало сходного с Лондоном и в биографии и в творчестве, но Горький крупнее, значительнее по изобразительной мощи, по глубине социального анализа, а главное, по его влиянию на общественную жизнь и литературу, причем не только русскую, по той реформаторской миссии, которая выпадает на долю лишь немногим из классиков литературы.

Несколько слов о том, что я подразумеваю под реформаторством. В наш век писатель может по-всякому относиться к творчеству Чехова и Хемингуэя, может даже не любить их и не учиться у них сознательно, но уже не может писать так, как будто их до него не было. Прежде всего потому, что и Чехов и Хемингуэй каждый по-своему обогатили технологию пи-



сательского ремесла и обновили его инструментарий. Благодаря сделанным ими открытиям возросло искусство экспозиции, она стала более емкой и как бы косвенной, не предвещающей движение сюжета, а органически вступающей в него. Значительно выросло и стало более внятными читателю искусство подтекста, непрямой, образующей второй план диалога, помогающего читателю (и зрителю) глубже проникнуть во внутренний мир персонажей. Подражать первооткрывателям — занятие бесплодное, как всякое эпигонство, но игнорировать то, что они привнесли, невозможно.

К тому же роду реформаторов я отношу и Горького. Наиболее полно я ощутил это в драме. Опять-таки можно ставить пьесы Островского и Чехова выше горьковских, но случилось так, что я учился все-таки больше у Горького. Горький искреннейшим образом считал себя слабым драматургом. История театра показала, что в этой кажущейся слабости и таилась его далеко не во всем до конца реализованная, новаторская, реформаторская сила. Так бывает. «Чайка» отнюдь не самая совершенная и сценически благодарная пьеса Чехова, и стоит ли слишком укорять прекрасных актеров Александринского театра за то, что они ее провалили? Они еще не знали, как надо играть такие пьесы. Но ведь и давший «Чайке» сценическую жизнь Московский Художественный театр сыграл ее всего 63 раза (а «Вишневый сад» свыше тысячи). Это нисколько не умаляет ни «Чайку», ни спектакль Станиславского, без них не было бы ни «Трех сестер», ни «Вишневого сада». Драматургия Горького также потребовала новой сценической техники, заслуга Художественного театра в том, что он не стал учить Горького сложившимся сценическим канонам, а смело пошел за писателем с его якобы статичной, якобы бездейственной драматургией и открыл сперва для себя, а затем и для зрителей, какая динамика заключена в афористически выраженной мысли, какой заразной силой обладает звучащее со сцены эмоционально насыщенное слово. Не будь драматургии Горького и Брехта, театр по-прежнему жил бы старыми понятиями о сценичности и требовал от пьесы «самоигральности». Тем, что современный театр значительно расширил свои представления о возможностях сцены, тем, что существует, к примеру, сценическое искусство Юрия Любимова, мы во многом обязаны «слабой» драматургии Горького. Действительные слабости его пьес происходили оттого, что драматургу часто приходилось стоять перед выбором: выразить то новое, чем он был переполнен, старыми, во многом уже негодными для этого средствами или идти своим путем, предвидя на этом пути не только трудности, но и издержки.

Среди самых сильных впечатлений моей театральной юности — «На дне» в Художественном театре и «Егор Булычов» в Вахтанговском. А в кинематографе, тогда еще немом, — «Мать» Пудовкина по сценарию Н. Зархи. Этот фильм, хотя в нем не звучит горьковское слово, верен Горькому в самом главном — в его пафосе, в его пластике. Поставив перед собой задачу найти мыслям Горького «зрительный эквивалент» (термин Н. Зархи), сценарист и режиссер создали фильм подлинно новаторский, заложивший наряду с фильмами Гриффита, Эйзенштейна, Довженко, Рене Клера основы киноязыка.

«На дне» живет уже долгий век и до сих пор возбуждает споры, какие не всегда услышишь после премьеры пьесы современного автора. А сколько различных трактовок! Талантливейший Федор Каверин в своем Новом театре трактовал Луку совсем не так, как мхатовцы, спорно, как всякое полемическое решение, но интересно, а сегодня опять-таки совсем по-другому играет старую пьесу «Современник» — театр, даже названием своим декларирующий: ставим только современное и для современников.

«Егора Булычова» я знаю почти наизусть. Помню не только реплики, но и интонации Щукина. Многие из этих интонаций подсказаны Горьким и запечатлены в его оригинальной, до него не принятой, а ныне ставшей общим достоянием пунктуации. Чего стоят одни горьковские тире, нарушающие все корректорские правила и еще недавно разрешавшиеся только Горькому.

Раскроем наудачу «Егора Булычова». Вот первая реплика Шуры: «Не шипите, не может. Глаша — кофе! А где газета?» С точки зрения обычного правописания наличие тире между «Глаша» и «кофе» ничем не оправдано. Хватит и запятой. Гораздо привычнее для глаза было бы тире в предыдущей фразе. «Не шипите — не поможет». Но рассмотрим реплику не корректорскими, а режиссерскими глазами и попытаемся через пунктуацию проникнуть в замысел драматурга.

Отсутствие тире в первой фразе подчеркивает ее небрежный, проходной характер. Шура не вступает к Ксений в спор, она привычно отмахивается, вероятно даже не удосто-

ив взглядом опостылевшую ей мачеху. Зато в следующей фразе тире необходимо. Оно заменяет слова «принеси мне», выпавшие потому, что Глафира здесь, рядом, потому что слова «Глаша» и «кофе» лучше всяких глаголов связывает повелительная интонация, смягченная дружелюбной улыбкой, наконец, жест, укладывающийся в крошечную паузу, образовавшуюся на месте выпавших слов. Перечитывая уже не в первый раз «Булычова», я по множеству рассыпанных в тексте, иногда поражающих своей неожиданностью («А — деньги нравятся?») горьковских тире восстанавливаю в памяти партитуру некогда потрясшего меня спектакля и музыку актерской речи.

Мелочь? Нет, реформа, плодами которой мы все сегодня пользуемся. В своих пьесах Горький закрепил, а в чем-то и предвосхитил интонационные ходы современного театра с его лапидарностью, емкостью формы и свободой от всякого рода «единств».

Вот одна из многих причин, по которой Горький остается нашим современником.

**АНДРЕЙ ЛУПАН.** Слово окрыляющее. В сегодняшнем мире имя Горького — синоним социалистической культуры: он духовное явление, всеми корнями связанное с новой судьбой нашей страны и величием нашей эпохи.

Уже в начале своего пути Горький стал проникать пророческим взглядом в зону исполнских энергий, угадывать назревание урагана, призванного смести буржуазный мир и обновить человека.

Его ранняя романтика — это манифест нового сознания в защиту человека, крик, который должен был пробуждать достоинство и здоровую человеческую совесть. Он звал к борьбе за социальную справедливость, и первые его герои отважно бросались в схватку со старым миром. Горький неуклонно шел к революции, к духовному слиянию с нею, черпая свою великую правду в социальной практике борющегося пролетариата.

Силой творческого воображения он вызвал к жизни галерею разнообразнейших персонажей: бунтарей, бродяг, искателей, сознательных борцов-рабочих, купцов, хищников, мещанских нытиков... И на вылепленных им фигурах лежали отсветы той правды, которую писатель назвал «богом свободного человека». Именно с этой высоты он и впрямь будет оценивать своих героев.

Нелегко найти писателя, который сыграл бы в истории мира столь реальную обновляющую роль. Наша культура проникает со всевозрастающей силой в сознание масс и становится действенным фактором общественного прогресса, следуя именно горьковским традициям.

Можно не преувеличивая сказать, что каждый читатель, соприкоснувшийся с творчеством Горького, обязан ему еще одной ступенью своего морального восхождения.

Горький, отлично сознавая свой реальный вес в литературе и общественной жизни страны, всегда остерегался менторского тона в своих выступлениях. Он спорил, аргументировал, искал и убеждал.

За годы советской власти его книги 35 раз переводились и издавались на молдавском языке общим тиражом 150 тысяч экземпляров. Наши газеты и журналы с момента своего основания печатали переводы горьковских произведений, пропагандировали их среди молдавских читателей.

Специально подобранные комплекты журнала «Молдова литерарэ» за 1928—1931 годы писатели Молдавии преподнесли в дар Алексею Максимовичу со следующей надписью на молдавском и русском языках: «Товарищу А. М. Горькому. Эту книгу — зеркало наших первых шагов по пути роста и достижений — тебе, учителю и старшему товарищу».

Еще до Октябрьской революции в старой Бессарабии издавались книги Горького, его пьесы ставились в Кишиневе, Бендерах и других городах нашего края. Постановка «Дачников» в Кишиневе в 1905 году вызвала настоящую политическую демонстрацию с лозунгами: «Да здравствует социал-демократия!», «Долой самодержавие!».

До освобождения Бессарабии в 1940 году, в условиях полицейского террора, имя Горького было для революционных писателей символом надежды на лучшее будущее. Большинство из них переводили горьковские произведения, выступали в прогрессивной печати, учились по этим бессмертным произведениям. «Не существует более высокого идеала, чем идеал пролетариата» — под таким девизом распространялись и жили среди нас творения Буревестника революции.

Горький исходил и полюбил дороги Буджака, дунайское побережье Бессарабии. В

Аккерманской степи ему встретились прототипы гордых и непокорных героев его романтической прозы — Лойко Зобара, Радды, старухи Изергиль... Плающее сердце Данко возникло перед мысленным взором Горького в бессарабской осенней степи, где он слушал рассказы вещей старухи.

Неиссякаемое духовное богатство, оставленное нам Горьким, навсегда вошло в культурную сокровищницу Молдавии. Мы храним в душе образы его произведений, с благодарностью помним о любви великого писателя к людям нашего края и к его природе. Он остается одним из самых дорогих наставников нашей национальной культуры.

**Кишинев.**

**ДМ. МОЛДАВСКИЙ.** *Отважная книга. «Жизнь Клима Самгина»* — одно из величайших созданий литературы XX столетия. Книга-напоминание. Книга-предупреждение. Книга-пророчество.

При первом чтении, еще в юношескую пору, раньше всего открываешь в ней революционно-исторический план, мысленно пережив вместе с ее героями не менее сорока лет жизни огромной страны, ощутив и ужас Ходынки, и трагедию 1905 года, и катастрофы первой мировой войны, и, наконец, как прозрение 1917 год. И скорее интуитивно, нежели рассудком понимаешь, что речь в книге идет о человеке, бредущем по касательной к жизни, заменившем страсти формулировками и так и не узнавшем всерьез ни одного чувства, кроме, может быть, страха... Логика ставится им на службу оправдания — оправдания бессилия, страха, предательства. Он мелок, этот человек. И слово «тар-ракан!» — последнее, что он слышит перед своей гибелью, — как бы приговор этому персонажу из прошлого.

Но проходят годы, и ты вдруг понимаешь, что Самгин, «грязный мешок, наполненный мелкими, угловатыми вещами», отнюдь не остался в прошлом... Заново в «Жизнь Клима Самгина» начинаешь входить, уже обретя биографию, когда твой собственный опыт позволяет осознать то, что с такой убийственной точностью названо Горьким «скептицизмом невежд». На новом этапе понимания этой книги заново постигаешь суть самого явления «самгинщина» — активной и зловещей силы.

В этом произведении есть мощнейший общественно-психологический заряд, бьющий неотразимо и сегодня по многим разновидностям политической демагогии — от декларации «еврокоммунистов» до брюзжания доморощенных снобов, считающих себя знатоками и ревнителями искусства, праводборцами и провозвестниками демократии, только буржуазного образца.

Еще А. В. Луначарский писал в статье «Самгин»: «Самгини инстинктивно ненавидят революцию. Вернее, они готовы были бы допустить такую революцию, которая сохранила бы существование и нелепой роскоши и всякого праздноболтания. После такой революции иные призраки даже поднялись бы еще выше, добились бы широкой арены для своей пустопорожней деятельности. Например, Клима Самгин серьезно думает в условиях такой революции стать членом парламента, на что, впрочем, хорошо раскусившая его жена Варвара в припадке раздражения кричит: «Ты хочешь быть членом парламента. Ты не сделаешь карьеру, потому что бездарен»...»

Но собственная бездарность осознается человеком с трудом. Куда легче обвинить в непонимании близких, окружающих, общество. Признать свою немощь? Да никогда!

Здесь уместно вспомнить и другие слова А. В. Луначарского — о мещанстве — из той же статьи: «С ним трудно бороться, потому что оно уступчиво, как болото: расступится, а потом опять сомкнется. Оно трудно победимо, потому что в многоликости своей безлико, склизко, увертливо, изменчиво, легко превращается в ничто и опять возникает». Да, Клима Самгин из этого царства, но из особой самых опасных, самых сложных, ведь он — и время показывает это все отчетливее — выразитель мещанства самой страшной формации, то есть мещанства, вооруженного политическими, экономическими, философскими знаниями, но тем не менее бездарного, эгоистичного, тщеславного.

Со страниц повести встает вселенский мещанин, умеющий притворяться дерзким, даже новаторски мыслящим. Такие самгины были, такие встречаются и сейчас... В этом современное звучание произведения М. Горького.

Никаких компромиссов, говорит Горький, никакого прощения «страдальцу»!

В тексте — и это весьма ощутимо — есть полемика с Ф. М. Достоевским, которая подспудно проходит через все произведение. Это слишком сложный вопрос и походя решать его не хотелось бы... Но напоминая слова одной из героинь о ненависти к страданию, ненави-

сти к этому «излюбленному ремеслу». Об этом же говорил М. Горький в известном письме к М. Зощенко, ополчившись на страдание, назвав его «позором человечества».

Тема страдания как позора проходит через роман и (да простят мне это мини-Великие-Инквизиторы из нынешних младопсихологов!) утверждает не только один из принципов нашей эстетики, но и принцип нашего бытия.

Профессиональному страданию позеров и нытиков противостоит у Горького стихия народной жизни, творчества, слова.

Узкому мещанскому миру, где царствуют Клим Самгин и «самгинщина», противопоставлен народ. Напомним уже ставшее классическим описание выступления Орины Федосовой: «На эстраду мелкими шагами, покачиваясь, вышла кривобокая старушка, одетая в темный ситец, повязанная пестреньким, заношенным платком, смешная добренькая ведьма, слепленная из морщин и складок, с тряпичным, круглым лицом и улыбочивыми, детскими глазами... Однообразно помахивая ватной ручкой, похожая на уродливо сшитую из тряпок куклу, старая женщина из Олонецкого края сказывала о том, как мать богатыря Добрыни прощалась с ним, отправляя его в поле, на богатырские подвиги».

В романе так много фольклорных реминисценций, что, по существу, он является энциклопедией русского фольклора — живого обобщения национальной этики, истории, философии. Думаю, что в истории всей русской литературы не много найдется произведений, до такой степени насыщенных фольклором.

«Жизнь Клима Самгина» должна быть рассмотрена еще в одном аспекте. Дело в том, что по своей композиционной структуре это подлинно новаторское произведение, отступающее от канонов романистики прошлого века.

Намеренно нарушена «последовательность событий». Действие то возвращается, то снова движется вперед.

Время то останавливается, то стремительно несется.

Традиционное представление о постепенном развитии характера пересмотрено (практически). Скрупулезное описание подменяется гротеском.

Новаторская, отважная книга!

Открытие. Пророчество. Предупреждение.

Ленинград.

**НИКОЛАЙ МОРДИНОВ.** Неостывающее тепло. Общеизвестно, что А. М. Горький стоит в одном ряду с такими великими своими предшественниками, как Пушкин и Толстой, Лермонтов и Тургенев, Достоевский и Чехов. Он стал писателем общечеловеческого значения, одним из классиков мировой литературы.

В отличие от великих предшественников Горький был писателем-гражданином советского времени, собирателем сил, организатором многонациональной советской литературы, выступавшим от имени всех национальностей, вкуче именуемых великим советским народом.

Я думаю, именно благодаря Горькому многие из нас, особенно писатели младописменных народов, впервые по-настоящему поняли значение каждой национальной литературы как неотрывной части великой всесоюзной литературы и сами прониклись чувством творца и бойца, ответственного за всю советскую литературу. Кстати сказать, некоторая часть писателей из младописменных народов (в том числе и я) пришла к нашему первому писательскому съезду с огульным отрицанием фольклора и тех своих предшественников, произведения которых были в тесной связи с фольклором. Фольклор-де — творение патриархально-феодального периода истории. Мы же отвергали все старое и признавали лишь новое, пролетарское!.. Здесь сказывалось влияние рапповского вульгарного социологизма и упрощенчества. Мы еще не понимали, что старое старому рознь, не умели по-ленински отделять прогрессивное от реакционного в культурном наследии прошлого.

Доклад Горького, высоко оценившего фольклор как первоисточник литературы, освободил нас от подобной детской болезни...

Кипучая деятельность Горького по созданию всесоюзной литературы была освещена и согрета его глубокой убежденностью в том, что «количество народа не влияет на качество талантов», что любая, даже самая малочисленная народность в советских условиях способна выдвинуть из своей среды, как он говорил, «величайших мастеров литературы, музыки, живописи, зодчества»... И как блестяще подтвердилось это предвидение великого Горького! Каких выдающихся мастеров литературы выдвинули и продолжают выдвигать все

народности нашей страны! Напомню: в то время, когда произносились эти вещи слова, еще не было в литературе славных ныне имен — башкира Мустая Карима, татарина Гумера Баширова, калмыка Давида Кугультинова, аварца Гамзатова, кабардинца Кешокова, балкарца Кулиева, чукчи Рыхтэу, нанайца Ходжера, манси Шесталова, нивха Санги, бурята Жалсаева, якута Данилова и других. Юкагирская народность Якутии, состоящая всего лишь из четырех сотен человек, дала Семена Курилова, произведения которого широко известны народам СССР и выходят на мировую арену. Это если говорить только о писателях автономных республик, областей, округов... Впрочем, великий интернационалист и гуманист Горький не делил нас, писателей, на союзных, автономных, областных и т. д., все мы у него были всесоюзными по своим творческим возможностям и ответственности.

Диву даешься, как это он при всей своей огромной загруженности был столь внимателен к самым первым росткам новой литературы, создаваемой на десятках языков малых народностей Советской страны! Всеведущий Горький каким-то чудом узнавал о первых национальных деятелях культуры почти одновременно с их родными народами. Восемьдесят лет назад впервые пишет он о Якутии в связи с выходом «Чукотских рассказов» Тан-Богораза. В 1912 году встречается и почти четверть века, до конца своей жизни, дружит с якутчином Алексеем Семеновым. «Он — один из самых бескорыстных людей, встреченных мною за всю мою жизнь... — говорил Горький об этом прогрессивном деятеле нашего далекого края.—У меня к людям, подобным Семенову, с юности горит, не угасая, чувство глубокого уважения и — не скрою — зависти. Хорошо они умеют жить. Это — потому, что радостно и неутомимо умеют работать». «Наш дом служит своего рода посредником между Якутией и Вами», — справедливо писал ему Алексей Семенов. В письмах к Семенову Горький горячо интересуется жизнью якутского народа.

В 1928 году в приветствии съезду литераторов Сибири с большим одобрением отзывается он о двух якутских поэтах. Он пишет: «Сожалею, что я не среди вас, товарищи, сожалею, что не могу видеть ваши глаза, пожать ваши крепкие руки, слышать ваши голоса. Не зная языка бурят и якутов, я, наверное, понял бы прекрасное чувство, вложенное неизвестным мне поэтом, автором поэмы «Кысыл ойун» («Красный шаман» П. А. Ойунского.—Н. М.), вот в эти слова:

Пришла пора  
Зажечь неугасимые костры  
Пламенной свободы  
По всем тернистым тропам  
Бедственной жизни земли.

И услышал бы слова А. И. Софронова, поэта якутов:

Настал желанный день  
Расплодить по всей земле  
Бесконечное добро...»

И это он говорит о еще не изданных на русском языке произведениях якутов Платона Ойунского и Анемподиста Софронова, ознакомившись с их произведениями по подстрочникам.

В том же 1928 году на встрече с якутскими литераторами А. Бояровым и П. Черных Горький изумил их глубочайшим знанием якутской жизни и настойчиво советовал всемерно развивать прозу.

А. М. Горького я видел вблизи на I съезде писателей СССР, на котором был одним из двух делегатов от Якутии. Сорок четвертый год проходит с той поры! А многие подробности съезда помнятся так живо, словно все это происходило только вчера. В памяти всплывают милые сердцу отдельные детали, не отмеченные стенограммой. Вот Горький с озабоченным видом надел очки, снял пиджак и мягким движением повесил его на спинку стула. Потом он, такой нескладно высокий и невыразимо родной, решительным шагом поднялся на трибуну и, гулко откашлявшись, тоном задушевной беседы начал читать свой доклад «О советской литературе». Тут осветители направили на него яркие лучи прожекторов. Сначала он попытался было их не заметить, но лучи слепили, мешали читать. Тогда он отчаянно замахал руками и сердито проговорил: «Да уберите же, пожалуйста, этот анафемский огонь!» «Анафемский огонь», разумеется, тут же был убран, и Горький победно стал продолжать свой доклад. Но тут вдруг отказала радиотрансляционная сеть. Тогда председательствующий И. К. Микитенко попытался остановить Алексея Максимовича на то время, пока не устранят неисправность. Но Горький, видимо, не слышал его, а потом,

поняв, в чем дело, резко вскинул голову и с явным оттенком озорства, по-свойски, запросто и раскатисто отозвался: «А-а!» И шутка Горького была дружно принята огромным залом.

При всей серьезности обсуждаемых вопросов на многодневном съезде царила атмосфера дружеской сердечности и доброй шутки.

Наряду с незабываемыми эпизодами съезда на всю жизнь запомнилась мне и наша, двух якутских делегатов, встреча с Горьким. На банкете по окончании съезда мы с П. А. Ойунским решили подойти к Алексею Максимовичу. Алексей Максимович поднялся нам навстречу. Радостно и с какой-то детской хитрецей улыбался он в усы, вот-вот скажет: «Ага, пришли! А я давно вот тут...» Первым с ним поздоровался Ойунский. Оглушенный своим волнением и шумом многолюдного зала, я не прислушивался к их мимолетному разговору. Потом подошел и я. Схватил обеими руками протянутую мне Горьким руку, слишком громко и неуклюже отрекомендовался:

— Мординов, из Якутии... Алексей Максимович, мы, якуты, уже читаем вас на родном языке. Теперь вы стали самым любимым якутским писателем.

— Какое счастье!.. Какое это великое счастье, товарищ Мординов,— медленно проговорил он, сильно окая по-волжски. Постоял немного, глядя сверху мне в лицо. Затем бережно положил руки мне на плечи и, слегка раскачивая меня, взволнованным говорком добавил: — Товарищ Мординов, товарищ якут!..

Задыхаясь от радости и волнения, я зашептал ему, не слыша собственного голоса:

— Да, великое это наше счастье, дорогой, родной товарищ Горький!..

Долго стоял я потом незаметно среди других, с любовью вглядываясь в родной его облик.

Фигура Горького, как, впрочем, уже о том писалось, вся «в углах». Прямые плечи — острые углы. Лоб почти квадратный, лицо скуластое. И даже голова, подстриженная под ежик, как будто угловата. В длинных, изящно-гибких пальцах левой руки длинный мундштук с дымящейся папиросой. Говорил он тихо, с хрипотцой усталости, часто поглаживал запорожские свои усы сивого цвета не кончиками двух пальцев, как делают многие, а всей ладонью плашмя, сверху вниз. Часто и коротко потягивал папиросу, хозяйственно оглядывал зал. Весь он в это время чем-то очень походил на старого жилистого косаря, сидящего летним вечером у своего шалаша. Старый косарь был сегодня явно доволен своей и своих сыновей работой за день. Эх, красота, сколько накошено!.. Теперь бы только собрать вовремя, без дождей и ненастья...

У него жидкие, очень, видно, мягкие волосы с полосками седины на висках. Сигиепресиние, удивительно молодые глаза. Глаза эти темнеют, становятся почти тоскливыми, когда сидит он в глубокой задумчивости, слегка склонив голову набок... Но вот опять кто-то или что-то горячо заинтересовало его, весь оживился он вдруг, словно стряхнул с себя утомительную тяжесть годов и забот, развеял дымку печали, и вновь засветлели, озорновато заискрились пресиние, молодые его глаза.

На всю жизнь с любовью запомнил я Горького, великого и бессмертного труженика мира, отважнейшего воина социалистической культуры.

Когда я устаю от обидных мелочей быта, от постыдного равнодушия иных людей к жизни, когда мне бывает тяжело и грустно, я вспоминаю Горького, кто умел находить свое счастье и в том, что вот якуты стали читать его по-якутски, полюбили его, писателя. Вспоминаю не стынувшее десятилетиями тепло его широкой и сильной ладони, крепко пожавшей мне руку. Тогда мне становится опять тепло и радостно, хочется жить и трудиться, никогда не старея душою, следуя неукротимой вере Горького в то, что и жизнь и люди завтра обязательно будут не только сильнее и умнее, но и добрее, дружнее, чем сегодня..

Велик и бессмертен Горький, он продолжает учить нас, живущих ныне писателей, он будет учить и тех, которые придут после нас...  
Якутск.

**ВЛ. ПИМЕНОВ.** Через всю жизнь. Великий Горький — это имя, прекрасный образ писателя и человека притягательны для меня на всех этапах моей сознательной жизни.

Уже в школе второй ступени в 1919 году, в ячейке комсомола первое, что мы прочитали из революционных книг, была «Мать». С восхищением мы читали «Челкаша», «Мальву». А вот пьес не читали...

Стали мы, курские ребята, студентами. В перенаселенных общежитиях спорили до утра, правильно ли сказано Гегелем: «Все разумное действительно, и все действительно разумно» — и с азартом говорили, что нам ближе слова Горького: «Рожденный ползать летать не может» и «Пусть сильнее грянет буря!». Но пьес и тогда не читали...

Горького я не видел, если не считать случая, оставившего след в моей памяти надолго. Это было в Курске. Горький, приехавший из-за границы, следовал по железной дороге, его поезд проходил через Курск-Ямскую. Разнесся об этом слух, и мы пришли к вокзалу. Я увидел Горького, смотревшего из окна вагона. Помню только, что он курил и улыбался.

О Горьком — человеке и замечательном художнике мне рассказывали писатели старшего поколения, когда я работал в Правлении Союза писателей. Пьесы Горького я понял как гениальные творения, когда увидел их на сцене.

Горький говорил, что он слабый драматург. Но он был, конечно, драматургом гениальным. Мне посчастливилось быть на премьере «Егора Булычова» в Театре имени Вахтангова, когда Булычова играл Борис Щукин. Поразила одна сцена: смертельно больной Булычов пускается в пляс под звуки граммофона. Это было великолепно.

Б. Е. Захава, постановщик спектакля, рассказал мне, как Горький, присутствовавший на репетиции, был ошарашен и даже закрыл лицо руками, увидев танцующего Булычова. Но потом, восхитившись игрой Щукина, разрешил эту «бсгавку». Потом, когда я был директором Театра имени Вахтангова, уже не было Щукина, играл Булычова прекрасный артист Михаил Державин.

Каких только спектаклей мне не пришлось увидеть! В Рязани — «Мещане», где Бесеменова играл известный всей стране актер А. И. Канин, в Воронеже и Польше — «На дне», в Югославии — «Враги», в Финляндии — «Мать». Но самый замечательный спектакль, вероятно, его можно поставить рядом с вахтанговским «Булычовым», был спектакль «Варвары» в Малом. Какой это был спектакль! Цыганов — Зубов, Черкун — Анненков, Надежда — Гоголева, Анна — Тарасова. Это было прекрасное искусство.

Горький не соглашался с тем, что есть «театр Горького», но он ведь действительно есть!

Театр имени Вахтангова связан непосредственно с семьей Горького. В училище имени Щукина мы приняли внучку Горького Дарью. А затем она стала вахтанговской актрисой.

В наших довольно частых беседах в Союзе писателей Фадеев с большой любовью и уважением говорил о Горьком. Я помню, как он сказал однажды: «Зачем пьеса написана? Надо это почувствовать, понять глубину содержания. Примером для нас всегда будет Горький. Он точно знал, зачем пишет свою пьесу».

Мне запомнилось 10 июня 1951 года, день открытия памятника Горькому на площади у Белорусского вокзала. Фадеев просил нас прийти немного раньше. Когда мы пришли, Фадеев был уже на месте. Я до сих пор не могу освободиться от чувства большого волнения, которое испытал, слушая речь Фадеева. Это было слово великой любви к Горькому. Он говорил: «По силе своего художественного гения Горький стоит в ряду гигантов русской и мировой литературы. А по характеру и направлению его великого таланта, по непосредственному воздействию на души миллионов рабочих людей, на формирование характера современного советского человека, на пробуждение и воспитание лучших революционных и гуманистических качеств у трудящихся людей всех стран света не было и нет на земле писателя, равного Алексею Максимовичу Горькому».

И эта яркая мысль из фадеевской речи: «Еще сорок пять лет тому назад за пышным, украшенным статуей «Свободы» фасадом капиталистической Америки Горький разглядел чудовищный облик самых хищных и самых зверских империалистов и потрясающую нищету рядом с роскошью. Горький нанес немало разящих ударов фашизму, всем видам и формам расового и национального угнетения. До самых последних дней своей жизни он разоблачал всеветных акул наживы как главный источник, причину кровопролитных войн. С презрением и гневом обрушивался он на прислуживающих капиталистам буржуазных интеллигентов, прикрывающих фальшивыми словами о «свободе» свое раболепие перед душителями культуры и поджигателями новой мировой войны. Горький — великий глашатай мира. Грозный голос его в защиту мира, против поджигателей новой войны, звучит и ныне, как колокол, над всеми морями и континентами».

Шло время. Я был рекомендован на работу в Литературный институт имени Горького. Это было в 1965 году. И так получилось, что моя глубокая любовь к Горькому как бы продолжилась в новых формах работы. Школа Горького — так называют Литературный институт,

Горьковский институт в доме Герцена. Большой коллектив студентов, аспирантов, слушателей Высших литературных курсов, большая группа иностранных студентов учатся в школе Горького. И их воспитывают писатели-горьковцы. Старшее поколение, продолжившее горьковские традиции,— Федин и Леонов, Сурков и Казин, Луговской и Паустовский — передало эстафету воспитателей писателям среднего поколения. 52 писателя воспитывают молодежь в горьковских традициях. Ученые, литературоведы, историки объясняют студентам особенности гениальных творений Горького. Из горьковского лицея в литературу идут талантливые прозаики, драматурги, поэты.

Прекрасен литературный творческий труд, о котором Горький на I съезде писателей сказал высокие и проникновенные слова. Сегодня мы их воспринимаем как руководство в своей повседневной работе.

**ГРИГОРИЙ ХОДЖЕР.** «Будете учителями...» За свою жизнь мне пришлось прочитать высказывания многих деятелей литературы и искусства об Алексее Максимовиче Горьком. Все отмечают его выдающийся ум, талант, называют его своим учителем. Все это так. Но меня при мысли о нем охватывает особенное волнение: в лице Максима Горького я вижу редкостный человеческий феномен.

У нас, у нанайцев, когда хотят сказать о человеке самую высшую похвалу, говорят: такой человек рождается в сто лет один раз. Эти слова народной мудрости с полным правом можно отнести к Горькому.

...Полюбил я книгу, как только научился бегло читать. Но, увы, в родном моем селе Верхний Нерген библиотеки, школьная и сельская вместе, насчитывали не больше 200 книг. Не помню, были ли среди них произведения Алексея Максимовича. В селе Джун, где я работал секретарем сельского Совета, библиотеки не было. Потом я рыбачил два года на Сахалине. Там удалось мне прочитать «Мои университеты» и «Детство». Прочитав, был удивлен: как похоже на мое детство! Нег, дед мой не был деспотом, он был очень добрый человек, а меня, первенца, любил больше, чем моих братьев и сестер. Не помню, с каких времен я «отрекся» от матери, бабушку я звал мамой, а родную мать по ее имени — Денька. Когда в первом классе учитель спрашивал, кто выполнил домашнее задание вместо меня, я отвечал: «Денька». «А кто она?» «Она живет с нами в одном доме». Я жил возле бабушки, так было принято, ел вместе с ней за маленьким столиком. Продолжалась такая жизнь вплоть до смерти бабушки...

Только став студентом Ленинградского педагогического института имени Герцена, я впервые ознакомился с письмом Максима Горького детям сахалинских аборигенов. Горький писал в своем обращении к детям Сахалина: «Я получал письма от детей европейцев, конечно, их письма тоже радовали меня, но — не так глубоко, как ваше письмо, дети гиляков, тунгусов, ороchon. Ведь не удивительно, что дети европейцев грамотны,— удивительно и печально, что среди них есть безграмотные. А вы — дети племен, у которых не было грамоты, ваших отцов избивали, грабили русские и японские купцы, двуногие звери, ваших отцов обманывали и держали в темноте шаманы, такие же обманщики, как европейские попы. И вот вы — учитесь, а через несколько лет вы сами будете учителями и вождями ваших племен, откроете пред ними широкую, светлую дорогу ко всеобщему братству рабочего народа всей земли. Вот в этом — великая радость для меня и для вас».

Письмо Горького тогда полоснуло меня по сердцу, ведь он говорил и обо мне: «...а через несколько лет вы сами будете учителями». В те годы я писал не помню который уже вариант повести «Чайки собираются над морем». И читал, перечитывал рассказы, повести Алексея Максимовича, учился у него. Позже, работая над трилогией «Амур широкий», я перечитывал множество раз «Клима Самгина».

...Мы, бывшие студенты Института имени Горького, все стали учителями, некоторые позднее занялись литературной деятельностью. А один из нас — сахалинский нивх Владимир Санги. Это ведь, в частности, и к нему было письмо Максима Горького.

Накануне празднования шестидесятилетия советской власти заседал секретариат правления Союза писателей РСФСР. Повестка дня — «Великий Октябрь и литература народностей Крайнего Севера и Дальнего Востока». Обсуждались произведения ныне известных в нашей стране и за рубежом северных писателей. Известных? Да, с гордостью за своих друзей отвечаю я. Бесписьменные народности Севера приобрели письменность



в 30-е годы, и тогда же появились их первые писатели — нанай Аким Самар, ненец Николай Вылка, чукча Федор Тынытыгин, эвенк Николай Тарабукин, юкагир Текки Одулок и многие другие.

«Я всю ночь не спал, зачитался. Хорошая книжка «Жизнь Имтеургина Старшего», — признался однажды Алексей Максимович Лидии Сейфуллиной. Читал Алексей Максимович первых северян! — ликую я. Это же книга Текки Одулока!

Алексей Максимович много писал, говорил в своих речах о развитии литератур народов СССР, поддерживал прямые контакты с национальными писателями. Сегодня мои друзья чукча Юрий Рытхэу, нивх Владимир Санги, манси Юван Шесталов, ненец Василий Ледков, юкагир Семен Курилов, долганка Огдо Аксенова, коряк Владимир Коянто и многие другие стали широко известными в стране писателями. И своей известностью они в огромной степени обязаны тому, что наши издательства, выполняя завет Максима Горького, выпускают их произведения в переводах на русский и другие языки народов СССР.

Мне приходится много ездить, выступать, выполнять общественные обязанности, сопряженные с поездками. Я не представляю своего писательства без встреч с читателями, выступлений. Безусловно, общественная работа отнимает много времени, но как жить без свежих впечатлений, знакомств с новыми людьми? Выезжаешь в командировку собирать, а скорее добирать материал к повести, роману и вдруг сталкиваешься с такими вещами, о которых надо немедленно, безотлагательно писать, и тогда обращаешься к самому скорострельному своему оружию — публицистике. Писатель не может не быть публицистом. Я всегда с удовольствием перечитываю статьи Максима Горького, учусь у него. Порой откладываю в ящик повесть, роман и берусь за статью, очерк. Так было во время событий на Даманском. Нынче летом ездил по Амуру, выполнял заказы центральной печати: народ обсуждал новую Конституцию СССР. Публицистика — самый скорый, боевой, действенный жанр, и мы должны им овладеть в совершенстве. Так завещал Максим Горький. Хабаровск.

**НИКОЛАЙ ШАМОТА.** «Чем больше понимаешь, тем больше видишь хорошего». На рубеже двух столетий, XIX и XX, встретились патриарх русской литературы Лев Толстой, возвышавшийся недостижимой вершиной в мировой литературе того времени, и молодой, но уже хорошо известный и любимый Максим Горький. Тогда еще мало кто угадывал, что приближается смена исторических эпох и что великий Толстой именно ему, Горькому, передает эстафету. Мудрец пылливо присматривался к молодому выходцу из непонятого племени и со свойственной ему прозорливостью сказал: «И странно, что вы все-таки добрый, имея право быть злым. Да, вы могли бы быть злым».

Ведь в самом деле, Горький вышел из такого ада, что, сколько бы ни принес с собой в литературу чувства ненависти и жажды мести, никакие боги не решились бы осудить его за это. Хотя бы потому, что у них не хватило бы фантазии создать на небе ничего страшнее. Он принадлежал к «проклятым заклеянным», «гонимым и голодным», как звучит эта строка «Интернационала» в украинском переводе. «гонимым и голодным» не в переносном только и не приблизительном смысле этих слов: в свое время Алексей Пешков обошел пол-России в поисках случайного заработка и... правды. Но на каждом шагу сталкивался с самыми темными сторонами жизни.

И, может быть, больше всего бед приносила Пешкову острая наблюдательность, рано развитая привычка думать, добираться до сути. Известно ведь, что долгие века на Руси груднее всего жилось тем, кто думал...

Не каждый страдал оттого, что церковь, именины, сытость по уши и пьянство до свинства составляли смысл — единственный смысл! — жизни многих, многих людей, целого сословия, уверенного, что на нем держится «порядок» и будет держаться вечно. Не каждого так угнетала и возмущала самоуверенность мещанства, застой, духовная неподвижность и тишина, такая неподвижность и тишина, что хоть беги на улицу и кричи на всю матушку Россию: «Пожар! Горим!» А вокруг люди, множество людей, способных в одних случаях лишь сетовать на судьбу, а в других... в других жить, как воробы: дескать, где упало, там и клюй.

Одним словом, с точки зрения нравственности это была эпоха, вполне достойная того, чтобы в финале, в великом семнадцатом, вышел на сцену пробудившийся от спячки какой-

нибудь потомок Платона Каратаева и перед опущенным занавесом сказал: «Потеряла кибитка колесо...» Но когда еще это будет, а пока она катилась, пыля, на четырех...

Почему же мы, зная «Детство», «В людях», «Мои университеты» и столько трагических судеб отечественных писателей наших, не удивляемся: как он выжил? А ведь мало кто из литераторов-разночинцев доживал до сорока хотя бы. Горький говорил, что читателей у них было мало и по большей части это были чужие люди. Одно лишь это могло привести человека с легко ранимой душой к чему угодно: к халатке, запою, самоубийству...

Да, страшна была пошлость и жестокость той жизни. И чтобы выстоять, необходимо было мужество, способность к подвигу, если хотите. «Я избавился от этого страха,— писал впоследствии Горький,— после того, как понял, что люди не так злы, как невежественны, и что не они и не жизнь пугает меня, а испуган я моей социальной и всяческой малограмотностью, моей незащищенностью, безоружностью перед жизнью».

И он боролся с этой угнетающей душу незащищенностью, вооружаясь знаниями, аккумулярованными в достижениях человеческой культуры и опыта народа. И потом в одной из «Сказок об Италии» устами старого рыбака он скажет: «Чем больше понимаешь, тем больше видишь хорошего». И в этих словах я нахожу не только естественный ответ на вопрос, как он выжил, но и разгадку поразительного оптимизма его, сумевшего через всю жизнь пронести светлую веру в добрые начала людей, чувство восхищения и изумления перед мужеством, талантливостью и мастерством труженика.

Художественное, идейное, нравственное наследие Горького неисчерпаемо. Но если говорить об уроках, оставленных им мировой литературе, я, пожалуй, начал бы с этого: учиться по н и м а т ь жизнь — и вы увидите в ней много хорошего, и только это обещает вам подлинное творческое счастье. Называю этот урок в числе первых потому, что в наше время ржавчина модернистского пессимизма и безверия не стала для художественной культуры Запада менее опасной, чем во времена Горького.

Но до того, как были сказаны слова: «Чем больше понимаешь, тем больше видишь хорошего», у Максима Горького состоялась еще одна встреча, на этот раз поистине историческая для человека, ищущего смысл жизни. Состоялась встреча великого правдоискателя с марксизмом, с рабочим движением. Сознательно, убежденно и навсегда отныне он свяжет свою жизнь с этой правдой и с судьбой пролетариата, единственного в истории человечества класса, который знал не только классовую ненависть, но и классовую нежность и любовь. Судьба наградила его сполна. И коль скоро речь идет о живых традициях Горького, то вот еще одна: ищите свою судьбу там, где умеют ненавидеть только потому, что умеют любить.

Нежность, человечность как классовое чувство — вот тот чудесный родник, который дал начало самым поэтическим горьковским темам — теме воскресения человеческой души, рождения у простого труженика человеческого достоинства и теме труда как творчества, как великого акта единения человека с человечеством. Ему принадлежит честь открытия того художественного гуманизма, который не ограничивался призывом гуманистов всех времен: «Падающего поддержи»,—но требовал от художника неизмеримо большего: «С восставшим стань рядом!» И этим проверял собратьев по перу на честность и благородство. Кто-то может сказать: не слишком ли сурово? Но ведь чем значительнее талант и чем больше сердце доверяется ему, тем суровее и требования к таланту. Впрочем, если речь идет о действительно большом художнике, то это и его требования к себе самому.

Уже в ранних рассказах Горького очерчен тот круг, намечена та сумма духовных и нравственных свойств, за которыми угадывается человек, достойный если еще не уважения, то внимания и терпения непременно. Это и умение ценить меткое слово, и беречь песню, и оценить ловкость и находчивость хотя бы сказочного героя. Все эти черты и черточки, часто видимые только под микроскопом сердца, писатель умел подмечать всюду, даже на самом дне жизни.

После исторической встречи с подлинными строителями жизни, встречи с будущим в книге Горького властно входит человек, верящий в свою силу,— появляется образ пролетария, революционера. И по сей день во всей мировой литературе в числе лучших ее образов — страшный для одних, загадочный до неправдоподобия для других, любимый у третьих, у всех нас и у всех наших подлинных друзей — остается его Павел Власов, сын рабочего, рабочий, профессиональный революционер, человек, ставший мерой новых нравственных цен-

ностей. А между тем повесть о нем и его товарищах называется «Мать», и полноправной ее героиней и в ряде эпизодов главной выступает Нилевна, мать Павла.

На это у писателя были веские творческие основания. И дело не только в том — хотя и в этом тоже, — что у Горького образ женщины, матери проходит через все творчество как символ связи поколений и бессмертия рода человеческого. Писатель-реалист, он видел, что в том обществе женщина — существо самое бесправное и что на ее плечи ложится вся тяжесть этого несправедливого мира.

У мусульман есть такое благодарение господя: «Спасибо тебе, аллах, что ты не создал меня женщиной». Но в толпе православных, которая наблюдала дикую расправу над женщиной, описанную в рассказе-очерке «Вывод», не нашлось человека, который повторил бы слова этой молитвы: ведь это означало бы хоть какое-то сочувствие несчастной женщине.

И вот в дни первой российской революции та, которой три тяжкие доли сулила судьба — с рабом повенчаться, быть матерью сына раба и до гроба рабу покоряться, — та, которая не имела ничего, кроме большого и щедрого сердца, поднимается до сознания своих человеческих прав, своей значительности в мире. Это было мало сказать обнадеживающим — это было вдохновляющим началом творческого, созидательного, очищающего действия революции. Женщина с рабочей окраской приобщается к революционной работе. Революция полагает материнское благословение.

Это очень важно. Очень дорого. Передовая русская литература, начиная с Пушкина, всегда отличалась глубоким уважением к женщине, и малейшие признаки пошлости в отношении к ней вызвали яростное негодование. Но теперь, с приходом Горького, она открыла в ней новую красоту — красоту гражданственности и с особым уважением отметила ее гражданское мужество. И в этом я вижу тоже великий урок, преподанный Горьким.

Когда В. И. Ленин сказал о повести «Мать», что это «очень своевременная книга», писатель, о котором знаменитые современники, как, например, Джек Лондон, уже тогда писали, что мантия Толстого и Чехова упала на его молодые плечи и он носит ее с истинным величием, навсегда запомнил эту, казалось бы, скромную ленинскую похвалу и считал ее самой высокой похвалой, которой он когда-либо удостоился.

В творчестве Горького Ленин выступает и как образ — как Человек с большой буквы. Не раз писатель возвращался к очерку «В. И. Ленин», и он счастливо и достойно венчает многолетний путь поисков героя эпохи революционных битв. Горький отмечал у Ленина «воинствующий оптимизм материалиста». О самом же писателе можно сказать, чуть перефразировав эти слова, что пафос его творчества определяет воинствующий оптимизм реалиста, то, о чем позднее будет сказано, что социалистическому реализму не чужда романтика, более того — она свойственна ему изначально.

Человеколюбие Горького безгранично. Но любовь к людям, человечность надо уметь защищать. Кто лучше его знал это?

Горький считал одним из главных своих противников индивидуализм и его, так сказать, эстетическое самовыражение — декадентский модернизм, ведущий к разрушению личности, к снижению жизнедеятельности и жизнеспособности масс. Литературного мещанина он заклеил именем Смертяшкин. Сам-то Смертяшкин, в миру Евстигней Закивакин, ни пессимист, ни оптимист. Это мелкий спекулянт, которому неслышанно повезло: он угадал литературную конъюнктуру — моду на пессимизм, на тлен. Однажды у него получилось такое:

Вьют тебя по шее или в лоб,—  
Все равно ты ляжешь в темный гроб;  
Честный человек ты или прохвост,—  
Все-таки оттащат на погост...  
Правду ли ты скажешь или соврешь,—  
Это все едино: ты умрешь!

Стихи эти неожиданно — впрочем, отчего же неожиданно? — были приняты и напечатаны под заглавием «Голос вечной правды». И с тех пор пошел Смертяшкин сорить стишками и шептать людям «вечную правду»: «Со всяких точек зрения мы только жертвы тления!»

Кому как не Горькому было известно, что в капиталистическом обществе, а в России периода реакции тем более, у интеллигента, человека «мещанинского», было больше, чем всякий

мог выдержать, причин для разочарования, отчаяния и драм. На Западе их и поныне в избытке. Однако это не причина для того, чтобы центральной фигурой современной литературы объявить гробовщика. Напротив того, время требует писателя-борца. Настроения упадка и утраты вкуса к жизни опасны, если они касаются даже только единиц: человек все-таки существо общественное и обязано давать обществу хотя бы столько, сколько берет от него, на уровне, так сказать, простого воспроизводства. Но таких вот «честных» пессимистов, способных носить свою болезнь в себе и не заражать ею других, кажется, вообще не бывает. Индивидуалист подобного склада нагл и агрессивен, он, говоря словами Горького, желает быть женихом на всех свадьбах и покойником на всех похоронах. Он не остается в тени ни при каких обстоятельствах. У людей этого типа привычка запутывать простейшие вопросы усложняется еще и неудержимым желанием, как сказал Горький, «хилософствовать».

Индивидуалист, декадент в литературе или в быту, враждебен Горькому. Кем бы он ни был—золотушный шептун Иван Иванович Унывающий, пожелавший купить «лимончик» и брякнувший заветное: «Мне бы термидорчик», или «интеллектуал» Клим Самгин, способный совершить любую подлость и тут же «превратить» ее в добродетель.

Где еще в мире был нанесен такой удар по «хилософии» обреченности и предательства, как в нашей стране? Где еще так неотразимо убедительно была доказана буржуазность модернизма? И никто столько не сделал для этого, как наш Горький. В этом еще один его великий урок.

Наш Горький. Так говорили о нем казах Мухтар Ауэзов, белорус Якуб Колас, таджик Садриддин Айни, латыш Андрей Упит... Так говорим мы все, советские литераторы. Он радовался успеху каждого художника страны, на каком бы языке тот ни писал. «У меня нет никаких причин и желаний выделять их на особое место,— говорил он на I Всесоюзном съезде писателей,— ибо они работают не только каждый на свой народ, но каждый — на все народы Союза Социалистических Республик и автономных областей». Он воплотил в себе на самом прекрасном, самом человеческом уровне лучшие черты передовой русской интеллигенции, отвергавшей как постыдную не порядочность не только прямое неуважение к «инородцам», но и любую снисходительность, за которой угадывается спесь сильного.

Естественное, как дыхание, признание равенства народов, их талантов и трудолюбия — и в этом урок нравственного наследия писателя.

Неоценима его заслуга, состоящая в том, что он высоко поднял критерии искусства для масс. Самые сложные его вещи предназначались не для избранных, не для «постриженных в литературу», но для широких кругов народа. Именно этим массам адресовались его высокоинтеллектуальные драмы. Не для избранных писался и «Клим Самгин», один из самых ярких романов нашего столетия. Писатель верил неизменно, что народ-мастер, народ — философ и художник в состоянии понять и принять самые глубокие по мысли и самые богатые по форме явления искусства, что в народе испокон веков живет потребность правды и красоты.

Заслуга Горького в конечном счете состоит в том, что им впервые в истории культуры была осуществлена успешная попытка на основе единства революционных настроений и социалистических идеалов писателей и читателей соединить большое искусство с народными низами, «возвратить» культуру тем, чей многовековой опыт познания и преобразования мира всегда был ее подлинной основой. Может ли художник сделать больше для прогресса человечества и прогресса искусства? Это дело интернационального значения. И не о том речь, что на Западе под маркой искусства производится бесчисленное множество рыночных поделок, якобы единственно доступных народу. Речь идет о том, что тот не интеллигент, кто не признает в простом человеке равноправного партнера в суждениях о справедливости и прекрасном. Тот не художник, кто уклоняется от долга работать для просвещения масс.

Ибо сегодня, когда пробуждаются к сознательному творчеству страны и континенты, когда социализм завоевывает миллионы сердец и когда, с другой стороны, подвергается яростной травле все прогрессивное и предается глумлению сама надежда на лучшее будущее,— сегодня со всей искренностью, болью и верой звучит его вопрос, вопрос человеческой совести: «С кем вы, мастера культуры?»

Киев.

## «РАДОСТЬ И ГОРДОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА...»

ИЗ ПЕРЕПИСКИ М. ГОРЬКОГО С А. В. АМФИТЕАТРОВЫМ

Александр Валентинович Амфитеатров (1862—1938), беллетрист, драматург и критик, был корреспондентом М. Горького в 1902—1919 годах. Человек одаренный, эрудированный, тесно связанный со многими деятелями русского и международного рабочего движения, он прожил очень пеструю жизнь. В молодости А. Амфитеатров готовился к сценической карьере в опере, но потом увлекся литературой: печатал юморески в популярном журнале «Будильник», в середине 1890-х годов внезапно стал ведущим сотрудником суворинского «Нового времени», однако в 1899 году резко повернул «налево», основав вместе с В. М. Дорошевичем газету «Россия».

Радикализм Амфитеатрова во многом был поверхностным, показным, и все же накануне первой русской революции он создал ряд острых сатирических произведений. В 1902 году Амфитеатров высмеял царствующую династию в нашумевшем памфлете «Господа Обмановы», за что был сослан в Минусинск. К этому году относятся первые письма М. Горького к А. Амфитеатрову. В одном из них говорится: «Вы позвольте мне посоветовать Вам — от души, поверьте! — не падайте духом!» В 1904 году была запрещена книга Амфитеатрова «Литературный альбом», вскоре подверглись преследованию его колуновственные «стихиры» и сатирические сказки. В 1905 году Амфитеатров эмигрировал в Париж, где стал издавать «Красное знамя» — орган без определенного политического направления, но с ярко выраженной антицаристской тенденцией.

Приглашая М. Горького сотрудничать, Амфитеатров писал, что в новом издании собирается «сражаться с монархическим конституционализмом всех красок и проповедовать идеи федеративной республики с автономными народностями и правительствующим конгрессом, бессловность, переделы, женские права, суд над династией». Горький сразу же откликнулся: в 1906 году он опубликовал в «Красном знамени» памфлет «Русский царь», «Послание в пространство», «Солдат», воззвания «Не давайте денег русскому правительству», открытые письма Анатолию Франсу, Олару, журналистам Франции и другие произведения.

Переписка Горького с Амфитеатровым стала особенно интенсивной в 1907—1912 годах, когда оба писателя жили в Италии. Амфитеатровы поселились неподалеку от Генуи, в Капи, где вскоре образовалась небольшая русская колония.

Амфитеатров познакомил Горького с известным революционером Германом Лопатиным, и эта встреча заставила Горького написать в письме к Амфитеатрову восторженные строки о величии человеческого духа. Амфитеатров же постоянно снабжал Горького редкими книгами, необходимыми для работы газетами и журналами. Понимая гигантское значение Горького — художника и мыслителя, он писал ему 9 декабря 1908 года: «...я считаю Вас такою необходимою и громадною величиною в деле культуры и свободы русского народа, что если бы наши дружеские отношения, совместная работа, близость имен и пр. могли повредить Вашему влиянию на массы, я почти своим долгом отстраниться от Вас по первому Вашему слову, с огромною личною печалью, но без малейшего на Вас оскорбления». И ниже: «Совместную работу с Вами я считаю за величайшую честь и радость моей жизни».

Слухи о близости Горького и Амфитеатрова дали повод для злобного выпада небезызвестного В. Поссе, который в «Очерках современной литературы», опубликованных в 1908 году в газете «Слово», писал: «Кто бы мог думать, что Амфитеатров, писатель «Нового времени», и Горький, писатель «Жизни», сделаются товарищами, единомышленниками, своего рода Герценом и Огаревым русской эмиграции?» На самом деле духовной и тем более идейной близости у Горького и Амфитеатрова не было. Покончив с былым радикализмом, Амфитеатров в годы реакции заметно повернул вправо. Добрые личные отношения между писателями постепенно сменялись холодным уважением друг к другу, не больше. Это стало очевидно в 1910 году, когда Горький под влиянием Ленина скептически отнесся к новому литературному начинанию Амфитеатрова — журналу «Современник». 22 ноября 1910 года Ленин писал Горькому, что «общей «левизны» для политики мало, что после 1905 года всерьез говорить о политике без выяснения отношений к марксизму и к социал-демократии нельзя, невозможно, невысказано» (т. 48, стр. 4—5). Амфитеатров же в 1909—1910 годах настойчиво упрекал Горького в увлечении «эрфуртской программой» и звал на путь «чистого» художественного творчества. В ответ Горький раздраженно заметил: «Чего Вы меня все «большевизмом» шпыняете? Вы же внимательный читатель! Большевик мне дорог, поскольку его делают монисты, как социализм дорог и важен именно потому, что он единственный путь, коим человек всего скорее придет к наиболее полному и глубокому сознанию своего личного человеческого достоинства».

Благодаря Ленину Горький порывает с богостроительством. В эти же годы он окончательно отказывается от участия в журнале «Современник». После 1910 года в переписке Горького и Амфитеатрова все чаще проскальзывают ноты отчуждения. Убежденный, что «социальной революции не может быть в стране, которая не прошла сквозь революцию национальную», Амфитеатров все дальше отходит от социал-демократов. Его фрондерство превращается в бесцельную игру левой фразой, а либерализм постепенно перерождается в шовинизм. Отсутствие серьезных политических убеждений сказывается на

всей литературной и общественной деятельности Амфитеатрова. В годы первой мировой войны он занимает яро-«патриотическую» позицию, в 1916 году, вернувшись на родину, работает в газете «Русская воля». После 1920 года эмигрировал за границу, заняв враждебную по отношению к советской власти позицию.

Несмотря на сложность и противоречивость жизненного пути Амфитеатрова, его переписка с Горьким и, разумеется, прежде всего неопубликованные письма Горького представляют большой интерес для советского читателя. Они раскрывают малоизвестные страницы общественной и литературной жизни начала XX века. Мы предлагаем вниманию читателей несколько писем Горького 1905—1909 годов, которые войдут в очередной том «Архив А. М. Горького», а также в полное собрание сочинений писателя.

Между 17 и 20 февраля 1905, Майоренсгоф<sup>1</sup>,

Спасибо Вам, Александр Валентинович, за Ваше письмо! Искреннее и сильное, оно глубоко тронуло меня; я крепко жму Вашу руку и — кстати уж! — позволю себе сказать Вам, что за последнее время, читая Ваши смелые яркие статьи<sup>2</sup>, — и я полюбил Вас.

Письмо Ваше я получил уже на свободе<sup>3</sup>, ибо во узилище никаких сведений с воли не допускают, — это принцип. Его проводят с жестокой строгостью: я был арестован в Риге 11-го, только что приехавши из Питера и вернувшись из больницы, где оставил Марию Федоровну<sup>4</sup> буквально при смерти. Мне не разрешили зайти к ней проститься, несмотря на просьбы об этом мои и представления лечившего ее доктора, и я отправился в крепость с мучительным убеждением, что уже не увижу более никогда этого чудесного и родного мне человека, а я люблю и уважаю его всей душой. И в течение 9-и суток мне не давали никаких вестей о положении М[арии] Ф[едоровны], что было несколько похоже на пытку. Я не жалуясь, но невольно возникает простая и тяжелая мысль: если ко мне возможно такое отношение, как же относится начальство к рабочему или работнице, попавшим в его руки? И — становится страшно за людей.

Если не считать первых дней заключения, полных тревоги за М[арию] Ф[едоровну], я просидел свой месяц хорошо, даже написал за это время трагикомедию «Дети солнца», которая, кажется, удалась мне, но отобрана у меня департаментом полиции «для просмотра». Очень беспокоит меня судьба этой рукописи, ибо кажется мне, что оный департамент населен какими-то дикарями, для которых сжечь рукопись нетрудно. В тюрьме я несколько отдохнул от «впечатлений бытия» и разобрался в них. 9-го я с утра до вечера был на улицах Питера и видел, как русские солдатики, защищая «престол-отечество», убивали безоружных людей и — кстати убили престиж самодержавия.

Последнее — верно, дорогой Ал[ександр] Вал[ентинович]. Зная отношение нашего народа к этому предрассудку, я не могу допустить преувеличений в данном случае. Но я слышал тысячеголосые проклятия по адресу царя, слышал, как его называли убийцей старики, дети и женщины, — люди, которые за несколько часов до убийства их близких и знакомых мирно шли к своему царю и несли в руках его портреты, портреты его жены, хоругви, и вел их — священник. Мне хорошо известно было, что 7-го и 8-го рабочие были настроены верноподданнически, и 8-го ночью я говорил об этом Витте<sup>5</sup> как о факте, за который ручаюсь честью. В общей массе десятков тысяч сотни рабочих-революционеров не играли роли вплоть до 9-го числа, до выстрелов, а после убийств они встали во главе движения, и это — естественно. Верноподданническое настроение было убито защитниками самодержавия — вот глубокий смысл события 9-го января. И это событие одинаково отзывается всюду в России. В трехсотлетней китайской стене самодержавия пробита брешь, которую не замазать 50 тысячами, даже если увеличить их в 1000 раз.

О себе скажу, что тюрьма всегда имела для меня два отрицательных качества — немало расстраивала здоровье и сильно увеличивала популярность. Последнее, — говорю не рисуясь, — столько же мешает жить, как и нездоровье. Выпустили меня под залог в 10 [тысяч] р[ублей] и обяжали подпиской о невыезде из Петербурга, а вслед затем немедленно выслали по настоянию Трепова<sup>6</sup>. Хотя судить<sup>7</sup>, чему я очень рад. Употреблю все усилия для того, чтобы обратить этот суд в веселую панихиду по самодержавию, которое раньше казалось мне бессмысленной привычкой к власти, а ныне стало преступным сообществом, имеющим целью угнетение России. Жду Вашего письма к Ж[оресу]<sup>8</sup>, вышлите его на контору<sup>9</sup>, пожалуйста. Еще раз — крепко жму Вашу руку.

А. Пешков.

Майоренсгоф, Риго-Туккумской дороги, пансион Кевич. Письма все распечатываются; адресованные на имя М[арии] Ф[едоровны] тоже. Пишите на «Знание», Пя[тницком]у<sup>10</sup> К. П.

Не найдете ли Вы возможным поблагодарить от моего имени итальянцев за их отношение ко мне? Нельзя ли напечатать в какой-нибудь приличной римской газете что-нибудь вроде следующего:

«Я очень тронут отношением итальянцев ко мне: это отношение дает мне возможность верить, что наступит время, когда каждый акт насилия над человеком за его мнение всюду на земле будет вызывать единодушный взрыв негодования и протеста против насильников. Пусть же растет на земле сознание духовного родства всех со всеми и уважение к человеку, к его свободе мыслить, к его праву любить истину и бороться за торжество ее!»

М. Горький.

Передайте мой глубокий, искренний привет Георгу Брандесу<sup>11</sup> и крепко пожмите ему руку. Люблю яркий ум этого человека. Помню, я читал его книгу по ночам в булочной, посадив хлеба в печь и стоя перед нею. И было так, что хлеба пригорали, а пекарь Коновалов<sup>12</sup> ругал меня за это, но я никогда не сердился на Брандеса за то, что он так увлекательно пишет, и по сей день благодарен ему за минуты забвения — минуты счастья в моей жизни того времени.

Всего доброго, А[лександр] В[алентинович]!  
Водрости духа!

<sup>1</sup> Майоренсгоф — дачное место близ Риги, ныне Майори.

<sup>2</sup> Речь идет о статьях А. В. Амфитеатрова, как предполагается, публиковавшихся в газете «Русь» в 1904 году.

<sup>3</sup> Горький пробыл в Петропавловской крепости до 12(25) февраля, затем переведен в тюремную больницу и 14(27) февраля освобожден из заключения.

<sup>4</sup> М. Ф. Андреева (1868—1953).

<sup>5</sup> Горький входил в состав делегации к министру внутренних дел С. Ю. Витте.

<sup>6</sup> Горький уехал в Ригу согласно распоряжению петербургского генерал-губернатора Д. Ф. Трепова.

<sup>7</sup> Суд над Горьким по делу 9(22) января был назначен на 3(16) мая 1905 года, но под давлением общественности и международных протестов отложен на несколько месяцев и не состоялся.

<sup>8</sup> Имеется в виду нелегальное гектографическое издание, Ал. Амфитеатрова «Франко-русский союз и 9 января» (письмо к Жану Жоресу), Женева, 1905.

<sup>9</sup> Контора «Знания».

<sup>10</sup> Пятницкий Константин Петрович (1864—1938) — один из организаторов «Знания».

<sup>11</sup> Брандес Георг (1842—1927) — датский писатель и литературовед, в 1905 году активно участвовал в кампании протеста против ареста Горького.

<sup>12</sup> Коновалов А. В. — прототип главного героя рассказа Горького «Коновалов».

После 10(23) мая 1906, Нью-Йорк.

Дорогой Александр Валентинович!

«Франция»<sup>1</sup>, как Вы, вероятно, знаете, уже напечатана на трех языках; посему я посылаю Вам набросок<sup>2</sup>, записанный мною со слов одного московского офицера, который подслушал эту беседу из форточки и в которого солдатики стреляли. «Патруль» это неверно названо, надо, пожалуй, сказать просто «Ночь», «Солдаты», как хотите.

Тут же — маленькое послание в пространство<sup>3</sup>.

Зовите Вы к себе больше беллетристов, они теперь — злы. Хороша статья Рейснера<sup>4</sup>. Матюшенского<sup>5</sup> я знаю, работал вместе с ним в «Самарской газете». Это — неудачный псаломщик, гнилая душа, длинный и жадный желудок. Такие люди воспринимают жизнь брюхом, и в мозгу у них — всегда есть какая-то вонючая, серая слизь. Эти люди органически чужды правде, и все для них зеркало, в котором они видят свои зубы, постоянно голодные.

Если окажется, что Гапона убил Матюшенский<sup>6</sup>, — это меня не удивит. Убийцы Гапона были, несомненно, трусы — об этом свидетельствует их жестокость.

Вы гоните прочь Матюш[енского], а то он напакостит Вам.

Жму руку.

Действуйте веселей.

Всего доброго, кланяюсь,

А. Пешков.

Вы не имеете сношений с журналом «Адская почта»? Если — да, прошу Вас! выпишите мне изданные ею открытые письма!

Моя корреспонденция не доходит по адресам в Россию.

<sup>1</sup> В 1906 году памфлет «Прекрасная Франция» или выдержки из него были напечатаны на немецком, французском, чешском, сербском и др. языках.

<sup>2</sup> Речь идет о первом рассказе из цикла «Солдаты» («Патруль»), предназначенном для № 3 журнала «Красное знамя», где он был впервые опубликован.

<sup>3</sup> «Послание в пространство» опубликовано в журнале «Красное знамя» (Париж), 1906, № 3.

<sup>4</sup> Рейснер М. А. (1868 — 1928) — юрист и публицист, профессор Петербургского университета.

<sup>5</sup> Матюшенский А. И. (род. в 1862) — журналист, репортер «Самарской газеты» и др. изданий, был замешан в деле Гапона: он похитил деньги, принадлежавшие гапоновской организации.

<sup>6</sup> Священник Г. Гапон был убит 28 марта (10 апреля) 1906 года, труп его обнаружился лишь 30 апреля (13 мая). В течение апреля — мая в русской и американской прессе высказывались различные версии об убийстве Гапона.

<sup>7</sup> «Адская почта» — сатирический журнал, выходивший в Петербурге в 1906 году (№№ 1—3), редактор П. Н. Троянский, изд. Е. Е. Лансере. В «Адской почте» были опубликованы горьковские произведения «Мудрец», «Правила и изречения», «Изречения и правила». Художественные «открытые письма» в исполнении В. Анисфельда, И. Вилибина, З. Гржебина, М. Добужинского, Е. Лансере, В. Кустодиева и других художников, сотрудничавших в «Адской почте», были выпущены издательством «Шиповник» в 1906 году.

Конец июля 1906, Адирондак,

Дорогой Александр Валентинович!

Не найдете ли возможным дать ход одному из прилагаемых воззваний?<sup>1</sup>

Может быть; Ваши знакомые французы-социалисты напечатают у себя?<sup>2</sup>

Если — да, объявите сбор у себя<sup>3</sup>, буде это не затруднит Вас, или пусть редакция собирает.

Деньги, если это возможно, не давать никому без моего указания, в крайнем случае переслать их в Берлин Ивану Павловичу Ладужникову, Ulandstrasse, 145.

Жму руку, извиняюсь; кланяюсь,

Засуетится я, как черт.

А. Пешков,

<sup>1</sup> В июле 1906 года Горький написал воззвания «К честным людям», «Рабочим Америки», «К тредьюнному», призывая рабочих всех стран прийти на помощь «русским товарищам в их тяжелой борьбе с царем и шайкой палачей его, утопивших в крови всю Россию». Два из них были объединены и опубликованы Амфитеатровым под заглавием «Воззвание к французским рабочим» в журнале «Красное знамя» (Париж), № 4.

<sup>2</sup> «Воззвание к французским рабочим» было перепечатано на французском языке газетой «Юманите» 21 августа (3 сентября) 1906 года.

<sup>3</sup> Речь идет о сборе средств для партии большевиков и агитации против русского самодержавия.

Между 26 и 29 ноября (9 и 12 декабря) 1906, Капри,

Уважаемый Александр Валентинович!

Посылаю заметку по делу Шмита<sup>1</sup> — а также небольшую заметку об отношении итальянцев к русской революции<sup>2</sup>. Все, что касалось в телеграммах лично меня, я вычеркнул, а их салюты русской революции, по-моему, следует опубликовать, это — трогательно!

Начало ее Вы можете изменить, как Вам угодно, разумеется, — только Горького оставьте в стороне.

Как дела «Знамени»?<sup>3</sup> Был у меня на днях А. А. Богданов<sup>4</sup>, философ, очень хвалил Вас и Ваше дело. Желаю здоровья и энергии!

Кланяюсь, жму руку, Жду журнала.

А. Пешков,

<sup>1</sup> Статья Горького «Дело Николая Шмита» была опубликована в «Красном знамени» (Париж, 1906, № 6) со следующей припиской Амфитеатрова: «Выразительнейшим комментарием к статье М. Горького является вчерашнее газетное сообщение (17 декабря), что Николай Шмит заболел в тюрьме острым умопомешательством».

<sup>2</sup> Имеется в виду обращение Горького «К итальянцам», опубликованное в журнале «Красное знамя» (Париж, 1906, № 6).

<sup>3</sup> В 1907 году Амфитеатров не смог издавать журнал «Красное знамя» из-за отсутствия средств. 12(25) марта 1907 года он писал А. И. Куприну: «Журнал замер впрямь до лучших дней, ибо больше нет ни гроша. Пришлось буквально его съесть».

<sup>4</sup> Богданов (А. А. Малиновский, 1873—1928) — философ, экономист, врач и писатель. Приехал на Капри во второй половине ноября 1906 года.



Между 30 июня (13 июля) и 11(24) июля 1908, Капри.  
Дорогой Александр Валентинович!

Огромная благодарность за Веселовского<sup>1</sup>. Это драгоценный подарок! — но — доволь-  
но! — не развращайте меня, ибо — жаден до книг, свирепо жаден!

Сообщите же, сколько должен я Вам. На днях явится Пятницкий, привезет денег,  
и я бы хотел выслать Вам долг, ибо Вы, видимо, не оторветесь от Вашей Сави никогда более.

Ох! Прочитал я Айзманову пьесу<sup>2</sup>, гласно читал и безгласно — не удалась ему пьеса!  
Тяжко огорчать его, а — что сделаешь? Для таких сюжетов — нужно много таланта и — тонкую,  
яркую форму. И — знаний, знаний! Утешьте Д[митрия] Я[ковлевича] и — не советуйте ему  
заходить в историю, ибо эту хаотическую область нельзя посещать между прочим, по до-  
роге, наспех.

Всего Вам доброго!

Жду Вашу книгу «Против течения» — читая корректуры — хохотали всей колонией.  
Вовремя явится эта книга! Вижу ее веселое, умное лицо за стеклами витрин — улыбается оно  
и говорит: здравствуйте, шарлатанчики!

И погибе память их — без шума. Недолго прожили, худосочные! 23-й сборник<sup>3</sup> —  
видели? Эта книжка мне нравится! Питательно.

Поклоны.

А. Пешков.

<sup>1</sup> В начале июня по просьбе Горького А. Амфитеатров выслал ему книгу Д. Воккач-  
чо «Декамерон» в переводе А. Н. Веселовского.

<sup>2</sup> Имеется в виду пьеса Дмитрия Яковлевича Айзмана «Светлый бог».

<sup>3</sup> Сборник «Знание», т. XXIII, где были опубликованы повесть Горького «Исповедь»,  
«Сказки земли» Гусева-Оренбургского, «Лавра» Золотарева. Вышел в июне 1908 года.

Между 16(29) октября и 5(18) ноября 1908, Капри.  
Дорогой А[лександр] В[алентинович]!

Получив Ваше письмо<sup>1</sup>, я немедленно ответил на него — А. А. Богданову, чем сей по-  
судней премного удивлен был. Он понял бы ошибку, будь письмо начато обращением к Вам,  
но оно начато было обращением к нему, и он ничего не понял, хотя — философ. Отсюда  
закключаю: в некоторых случаях жизни человеческой даже и философия бесполезна.

Рукопись Фроленко<sup>2</sup> была давно мною прочитана и автору возвращена с письмом, в коем  
я отказывался печатать ее. Но — почта города Парижа возвратила мне и письмо и рукопись,  
ибо адресата в месте, им указанном, не нашла. Некто сообщил мне адрес — но неполно.  
Посему: посылаю и рукопись и письмо — Вам, да вручите Вы их Бурцеву, а он — автору.

Да, враги меня хвалят, друзья — поругивают, — но — я уже устроился так, что теперь  
и те и эти начнут ругать. Ибо написал небольшую статейку<sup>3</sup> о литературе современной. Жду  
полного единодушия.

Андреева «Мои записки»<sup>4</sup> читали? Ныне он воспринял мистический анархизм Георгия  
Чулкова<sup>5</sup> и с этой точки машет руками на позитивизм, материализм и иные виды теории,  
внушающие активное отношение к жизни. Хочет попасть в зубы всем этим философам,  
но попадает — мимо.

«В лето от Р. Х. 1908-е одолеша Русь мещанище и пожра Руськую письменность и пре-  
вратиша пророки во скоморохи и соверша сие паскудство, прыгая и лаляй, аки пес, радостью  
своею до скотства опьянен».

Жалко мне Андреева — так жалко, хоть плачь со зла.

А Вам — всего хорошего, дорогой, и да пребудет с Вами дух бодрости во веки  
и в век века.

Поклоны мои и приветы.

А. Пешков.

<sup>1</sup> Имеется в виду письмо Амфитеатрова Горькому от 16(29) октября 1908 года, в  
котором он просил сообщить о судьбе мемуаров М. Ф. Фроленко, взятых издатель-  
ством «Знание».

<sup>2</sup> Фроленко М. Ф. (1848 — 1938) — революционер-народоволец, один из орга-  
низаторов убийства Александра II, приехал на Капри в середине марта 1908 года.

<sup>3</sup> Статья «От Прометея до хулигана» («Разрушение личности») окончена до 20 ок-  
тября (2 ноября).

<sup>4</sup> Повесть Л. Андреева опубликована в альманахе издательства «Шиповник», кн. 6,  
СПб., 1908.

<sup>5</sup> Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — писатель и критик. Трактат  
«О мистическом анархизме» (1906) написан Г. Чулковым совместно с Вяч. Ивановым.

Около 30 ноября (13 декабря) 1909, Капри.

Милый Александр Валентинович! — поистине: праздникам праздник и торжество из торжеств для души моей — видя Г. А. Лопатина!<sup>1</sup> Впечатление — чарующее, огромное, радостное, — как будто именно его-то и ждала с тоской душа лет тридцать, и вот он пришел, чародей сказочный. Конечно — я человек преувеличенный и притом весьма ушиблен жаждою героя — ну да, ну да! — но — знаете что? Только один Лев Толстой действовал на мое чувствилище столь грандиозно, только с ним беседа, чувствовал я такую радость и гордость за человека, за нашу родину.

Какое дивное лицо у его души, как он чувствует красоту, этот 23 года во гробе заключенный человек<sup>2</sup>, и как ясно безумно хорошо понимать, что «его еще воскресшего много будет».

Надобно, чтоб он написал «Записки» — автобиографию — не напишет—ограбит бедную Русь, которая стонет и воет и страдает и не умеет радоваться.

Пишу — так, без связи, потому что очень уж рад и очень хочется поделиться радостью этой с Вами.

Крепко жму руку.

А. Пешков.

Вы его рассказы запоминаете?<sup>3</sup>

Записывать надо бы!

Всего доброго, хороший мой!

<sup>1</sup> Лопатин Герман Александрович (1845—1918) — видный революционер-народник, член Генерального совета I Интернационала, друг Карла Маркса.

<sup>2</sup> После одного из арестов Г. А. Лопатин был заключен в одиночную камеру Шлиссельбургской крепости, где пробыл с 1887 по 1905 год.

<sup>3</sup> В 1909 году Г. А. Лопатин жил в Кави, неподалеку от Генуи, где находилась вилла А. Амфитеатрова.

Публикация и подготовка текста

Л. А. ЕВСТИГНЕЕВОЙ.



# ЖН ИЖН ОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**М. Чудакова.** В свете памяти.—**Григорий Левин.** Необычайное—в обычном.—**В. Турбин.** Жил, как писал, и писал, как жил.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Л. Паршин.** Пресса, политика, бизнес.—**Д. Паннов.** Немеркнущий подвиг боевого братства.—**В. Карпушин, Я. Поварков.** Крах антисоветского фарса.

## *Литература и искусство*

### В СВЕТЕ ПАМЯТИ

**В. Каверин.** Избранные произведения в двух томах. **М. «Художественная литература».** 1977. Том 1, 623 стр.; том 2, 766 стр.

**В**ениамин Александрович Каверин вошел в литературу в то время, когда начинающие писатели неминуемо попадали под резкий свет беспощадного анализа, когда высшая оценка первых беллетристических выступлений исходила не от журнальных критиков, а от историков литературы, мерилom которых был опыт двух веков русской прозы... Мне кажется, острота этой уникальной литературной ситуации определила нечто очень существенное в последующем развитии писательского дела Каверина.

Изобильная фантазия ранних его рассказов, вошедших в сборники «Мастера и подмастерья» (1923), «Бубновая масть» (1927), «Воробьиная ночь» (1927), навсегда вплетена в еще мало изученную нами ткань литературы 20-х годов. Романы и повести «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове», «Художник неизвестен», «Исполнение желаний» и сегодня сохраняют живой интерес как едва ли не единственное в своем роде сюжетно богатое воспроизведение художественной и научной атмосферы современной молодому Каверину эпохи. Страницы «Двух капитанов», прочитанные впервые в отрочестве, до сих пор зажигают память остротой сильных и цельных чувств, испытанных читателем вме-

сте с героями: первая любовь, и первая ненависть, и первая поглощающая страсть к отысканию научной истины—и все это на всю жизнь. Была большая новизна, особая свежесть нравственного чувства в том, что автор вовлек читателя в обстоятельнейшее обсуждение неактуальной, казалось бы, проблемы—той границы, до которой может идти человек, берущий на себя дело возмездия за злодеяние. Перечитывая роман, задумываешься над тем, как прочно вошел он в круг чтения, если воспользоваться этим старым и общепонятным выражением.

Сегодня сочинения писателя оказываются уже столь разнообразны, что те или иные читатели предпочитают «своего» Каверина. Одни—преимущественно раннего; другие—того, чей чуткий отклик на факты общественно-го развития породил повести «Двойной портрет» и «Семь пар нечистых»; третьим особенно нравится явившийся неожиданностью и для первых, и для вторых, и для почитателей «Двух капитанов» или «Открытой книги» совсем недавний роман «Перед зеркалом», в котором увидели вдруг свое не замутненное временем отражение те, кто десятилетиями не слышал повествующего о них художественного слова, кто числил свою судьбу выпавшей

в осадок эпохи. Люди поколения Лизы Тураевой живейшим образом откликнулись на роман. Между тем аудитория оказалась «всех возрастов»—от современников героев до тех молодых людей, которых сейчас остро интересуют культурные и человеческие коллизии революционной и послереволюционной эпохи.

В двухтомник, вышедший совсем недавно, вошли романы и повести «Перед зеркалом», «Скандалист», «Художник неизвестен», сказки для детей, статьи о литературе и искусстве, автобиографическая трилогия «Освещенные окна». Она заслуживает, конечно, специального внимания.

В одном из своих мемуарных фрагментов Каверин с замечательной точностью выразил трудности, казалось бы, сугубо личные, но на деле общие едва ли не всем, кто сегодня берется за перо мемуариста: «...даже если в комнате нет никого, кроме меня, это еще не значит, что я способен увидеть себя, свое дело и свое прошлое спокойно и беспристрастно. Лишь в последние годы мне удавалось время от времени добираться до самого себя. Нужно многое, чтобы пробиться через жалость к себе, через легкость самооправдания, но зато, если это удастся, и выигрываешь многое. Полузнание или даже четвертьзнание самого себя—одно из самых неодолимых последствий пережитого».

У мемуаров Каверина есть своя биография: понадобились годы на то, чтоб «добраться до самого себя» и своего времени. Писатель обратился к памяти детства и юности гораздо ранее, чем началась работа над автобиографической трилогией «Освещенные окна». Когда же? Мы узнаем об этом из первых же строк трилогии: «Мысль о том, что я должен рассказать историю своей жизни, пришла мне в голову в 1957 году»—во время долгой болезни, лишившей возможности писать, читать, слушать радио. «Так я вернулся в город моего детства. Я понял, что жил в этом городе, не замечая его, как дышат воздухом, не задумываясь над тем, почему он прозрачен. Теперь он возник передо мной сам по себе, без той посторонней необходимости, которая диктовалась формой рассказа или романа».

Так была написана повесть «Неизвестный друг» (1960), составленная из небольших новелл, заглавия которых—«Ночные страхи», «Первая любовь», «На даче», «Похвальный лист», «Трус»—фиксировали отдельные эпизоды, вычлененные из безбрежного автобиографического материала привычными средствами беллетристического построения.

В одной из позднейших книг Каверина

приведены замечания читателя первого варианта этих новелл—К. Чуковского. Среди них одно кажется особенно важным: «Ирония по отношению к себе—не дойдет». И Каверин поясняет с неизменной прямоотой и серьезностью своего отношения к суду друзей: «Здесь Чуковский вопросительно намекал, что ирония по отношению к собственному детству—легковесна, поверхностна. В одностороннем ироническом освещении многое может остаться незамеченным, нерассказанным. Все это я понял лишь недавно, принимаясь за новую книгу, в которой намереваюсь рассказать историю своей жизни и работы... как раз самое то заветное, оставшееся во многом неразгаданным прежде, стало теперь предметом моих детских воспоминаний. И не ирония по отношению к самому себе, невольно заставлявшая меня скользить там, где надо было вспоминать и думать, а всматриванье, самооценка, загадка душевных переломов—вот что должно окрасить новый для меня жанр будущей книги».

Повесть стала первым приближением к автобиографическому материалу. Она же заключила этот материал в твердый беллетристический контур, который пришлось размывать при втором, ином подходе к тем же слоям памяти. Сам автор в «Освещенных окнах» определил взаимоотношенность двух этих сочинений так: «Теперь главы «Неизвестного друга» стали для меня чем-то вроде оживших иллюстраций». Иллюстрации выходили из рамки, соединялись с совсем новыми картинками, литературные имена замещались подлинными именами друзей и родных. «Старые», однажды описанные эпизоды погружались в поток по-новому организованного повествования, пунктир превращался в линию, линия заплеталась в узор. В «Неизвестном друге» упомянуто: «Однажды мне случилось даже побывать у Андрея Белого»—встреча эта умещена в одну фразу.

Точка памяти в «Освещенных окнах» под напряженным взглядом мемуариста приближается, растет, разворачивается в главы «Встреча» и «Русские денди»; сопоставление «Петербурга» и «Записок чудака», установление их места в формирующемся литературном сознании юноши, рассказ о чтении очерка Блока «с похолодевшим от ужаса сердцем»—и роли его в пережитом душевном переломе.

Сравнивая два текста, можно, кажется, видеть, как с усилием продвигается мемуарист сквозь верхние пласты памяти,—и мы получаем доступ к следующему пласту. Так,

на поле военного лагеря на Ходынке будто под карандашом сидящего там на траве художника Вильяма возникает новая фигура—Хлынов с его темной и необъяснимой ненавистью, возникает ночь, чтение Баратынского и «восторг, озаренье, гордость»: «Я был счастлив, что на свете существуют слова».

Память обнаруживает все новые пласты времени. Дождливый осенний день, спор гимназистов о текущих политических событиях, голос одного из них: «Еще слово—и я тебя застрелю». «Почему этот спор—один из тысяч—запоминается мне? Потому что еще месяц тому назад невозможно было вообразить, что один семиклассник скажет другому: «Я тебя застрелю»,—и тот не рассмеется, а испугается, растеряется. Угроза еще казалась почти невероятной возможностью одним махом закончить спор. Но Толя воспользовался этой возможностью—и с полным успехом. Он никого не мог застрелить, угроза сорвалась неожиданно, как будто она пролетала где-то над нами и он, протянув руку, схватил ее на лету. Но она пролетала. Она вооружалась, принуждала переходить от слов к делу и сама была этим еще почти невысказанным переходом. Мы существовали уже в другом времени, наступившем незаметно...»

Продолжим биографию трилогии. После повести «Неизвестный друг», с конца 50-х годов, работа писателя заметным образом вернулась к мемуаристике. Но уже не память детства и ранней юности занимала его. Явилась задача нарисовать мемуарные портреты писателей-современников, причём на широком фоне литературной жизни 1920—1930-х годов, тогда еще не восстановленном даже в самых общих очертаниях. Начиная статьями начала 60-х годов и кончая книгой «В старом доме» (она печаталась в 1971 году в «Звезде»), лежащей на грани между мемуарами и эссе, впервые за долгие десятилетия значительный «культурный слой» времени авторской молодости оказался реконструированным в своих первоначальных очертаниях. Читатель услышал голоса тех именно лет, с неизменными, не преобразованными до неузнаваемости интонациями. И в мемуарах и в статьях о писателях-современниках Каверин стремился раздвинуть границы нашего знания о недавнем и давнем. Он пишет о литераторах, незаслуженно полузабытых,—В. Дмитриеве, К. Вагинове, Л. Добычине—или известных большинству современных читателей лишь по имени, как Лев Лунц. Он взял на себя миссию, мало разделенную с ним и историками литературы и издателями,—дать

контурный хотя бы очерк конкретных литературных ситуаций 20—30-х годов, штриховой хотя бы портрет и «братьев» и самых разных собратьев по перу: Н. Заболоцкого, Н. Олейникова, Е. Шварца, О. Савича, Ю. Тынянова, М. Зощенко, М. Булгакова...

Неоправданный пуризм удерживает обычно от печатных упоминаний о человеческих свойствах или поступках, ценность которых безусловна. Между тем представляется существенной для понимания личности автора мемуаров систематическая, не от случая к случаю, помощь, которую оказывал Каверин Михаилу Зощенко в трудные для него годы. Верность друзьям одинаково органична и для жизненного поведения Каверина, и для литературной личности, живущей на страницах его произведений. Эта верность—идет ли речь о друзьях юности или о Юрии Тынянове, которого Каверин называет своим учителем,—равным образом диктует и страницы его мемуаров, прочитанные сотысячным читателем, и огромные усилия, направленные на издание наследия покойных друзей, известные лишь немногим.

Стремление расширить светлое поле отечественной культуры всегда отличает подлинного писателя от мнимых величин: ему не страшно это расширение. Книги «Здравствуй, брат. Писать очень трудно» (с подзаголовком «Портреты. Письма о литературе. Воспоминания»; 1965), «Собеседник» (с подзаголовком «Воспоминания и портреты»; 1973), «Освещенные окна» (1974—1976) выполняли работу, которую трудно оценить, не думая об общих перспективах освоения громадного массива литературного и в широком смысле гуманитарного наследия первой половины нашего века. Мемуарные портреты таких интересных ученых, как Е. Поливанов, Б. Эйхенбаум, передают черты их личности современному читателю, располагающему лишь немногими и неполными биографическими очерками, и кажутся начальными строками на еще пустых страницах летописания науки этих лет. Мемуарист, который обращается к таким сюжетам, должен поневоле взять на себя некоторые функции исследователя. В этом смысле нельзя не признать: нам повезло, что эта роль досталась Каверину—человеку университетской школы, знающему точную цену неточному гуманитарному знанию. Хроника деятельности Комитета современной литературы при Институте истории искусства да и история самого института, сыгравшего столь важную роль в движении отечественной филологии и искусствознания, впервые,

раньше историков науки и литературы, рассказана в нашей печати Кавериним — пусть даже не рассказана, а лишь обведена пунктирной линией, но крайне важен этот пунктир, важна и авторская оговорка: «Нужны годы труда и не одна объемистая книга, чтобы охватить в целом деятельность института» — так мемуарист ставит перед наукой задачу этого труда.

Многие страницы «Петроградского студента» отданы другу юности писателю Льву Лунцу, и они вызывают у читателя желание узнать этого талантливого, так рано — в двадцать два года! — умершего литератора. «Комиссия по литературному наследию Лунца была создана в 1967 году — случай редкий, почти единственный, — ведь после смерти писателя прошло четыре десятилетия. Но все, что он написал, прочитали, мне кажется, только два члена этой комиссии — С. С. Подольский и я. Старый журналист С. С. Подольский отдал шесть лет изучению жизни и деятельности Лунца, собрал богатейшую коллекцию его рукописей, документов и писем (мимо которой не может пройти историк советской литературы двадцатых годов) и незадолго до смерти передал ее в ЦГАЛИ. Я знал, что Лунц работал неустанно, энергично, с азартом. Но можно ли было предположить, что за три года он написал двадцать пять произведений — четыре пьесы, киносценарий, рассказы, фельетоны, эссе, рецензии, статьи, не считая множества писем, иные из которых представляют собой те же эссе в эпистолярной форме? Многие напечатано в сборниках, альманахах, периодической прессе начала двадцатых годов, многое хранится в архивах». Мемуарист обильно цитирует эти малодоступные страницы. Читатель понимает — прошло полвека, но литературное наследие не выцвело, сохранило художественное, не только историческое значение; он хочет прочесть его не в одних цитатах.

Автобиографическая трилогия кончается апрелем 1922 года — моментом выхода в свет альманаха «Серапионовы братья», то есть началом литературной работы многих его авторов, в том числе и самого Каверина. В центре всех трех книг перед нами молодой, даже очень молодой, не переваливший через двадцатилетие человек. Он и герой и автор. Перед нами человек, сознающий границы своего зрения, не стремящийся уверить читателя, что он субъект истории, претендующий на последнее о ней слово. В самом движении его повествования есть скромная сдержанность того, кто старается «пробиться к себе», «уви-

деть себя», кто понимает, что каждое его слово отразит не только время, но и его самого тогдашнего, более позднего, теперешнего; тогдашнего, каким представляется он теперешнему... С досадой сказанные когда-то слова однокашника: «У тебя неполитическая голова» — вместе со многими другими автобиографическими признаниями бросают свет на саму жанровую природу этих мемуаров, помогают понять их сосредоточенность на картинах, а не на анализе, на живописании истории в противовес публицистике, имеющей в русской мемуаристике давнюю, иссякавшую и вновь оживавшую традицию. В трилогии Каверина перед нами череда картин. Автор смотрит на себя в юности, мы смотрим на автора, каким знаем или представляем себе его сегодня. «И в эту минуту сдержанный, мягкий, вежливый Зоценко вдруг сказал мне с раздражением:

— Нельзя лезть в литературу, толкаясь локтями.

Наступило молчание. Слонимский и Полонская промолчали в ответ на мой вопросительный взгляд. Я лезу в литературу? Толкаюсь локтями? И передо мной... как в зеркале появился самоуверенный, самодовольный мальчик, неизвестно чем гордящийся, заносчивый...»; «В тот же вечер, а может быть на другой день, надевая пальто, я нашел в кармане обрывок бумаги. Почерк был знакомый: корявый, детский. Почерк Виктора Шкловского. Записка состояла из одного слова: „Сволоченок“». Это конец главы. Невозможно не смеяться над этой записочкой. Нельзя не думать, читая эти с нечастой в мемуаристике откровенностью описанные эпизоды, о хорошо известном не только почитателям Каверина неизменном его предпочтении писательства околотитулярному громогласию, о его ненапускном равнодушии к любым внешним атрибутам многолетнего литературного успеха. Быть может, основа этого заложена была и в «правильной» литературной юности, протекавшей в среде, где знали дуэльный кодекс (вспомним эти описания состоявшихся и несостоявшихся дуэлей!), где старший мог обучать младшего этике литераторства: «Ни зависти, ни борьбы честолюбий, ни закрытости, ни пропасти между мыслью и словом».

Хотя, повторим, литература как профессия едва начинается, а трилогия уже заканчивается, — мыслью о литературе пронизаны все страницы мемуарного повествования. В одной из своих недавних книг Каверин вспоминает, как в 1929 году он слушал речь одного активного рапповского деятеля. «Впечатление, кото-

рое произвела на меня его речь, я помню отчетливо, без сомнения, по той причине, что это было совершенно новое впечатление. Новое заключалось в том, что для меня литература была одно», — поясняет Каверин, а для деятеля — «совершенно другое. С моей литературой ничего нельзя было сделать, она существовала до моего появления и будет существовать после моей смерти. Для меня она, как целое, — необъятна, необходима и так же, как жизнь, не существовать не может». Для деятеля же «она была целое, с которым можно и нужно что-то сделать, и он приглашал нас сделать то, что он собирался, — вместе с ним и под его руководством». Выраженное здесь отношение к искусству изначально для Каверина, оно окрашивает и страницы трилогии. Он работает, чувствуя себя частью огромного целого русской литературы. Трудно указать сегодня другого его современника, которым в такой степе-

ни владело бы ощущение непрерывности культурной традиции, стремление к ее сохранению как неотменяемому условию профессиональной деятельности.

Сохранение и восстановление утрачиваемых звеньев традиции предстает как важнейшая задача современного литератора в самых разных его произведениях недавних лет — от романа «Перед зеркалом» до мемуаров. Она видится важнейшим не только профессиональным, но нравственным стимулом. Примером своей собственной каждодневной, не прерываемой никакими обстоятельствами работы Каверин утверждает молодых участников сегодняшнего культурного процесса в мысли о самостоятельной ценности этой непрерывности, предостерегает от утомления, уныния и временного хотя бы бездействия, разрушительного для культурной преемственности.

М. ЧУДАКОВА.



## НЕОБЫЧАЙНОЕ — В ОБЫЧНОМ

Юрий Левитанский. День такой-то. Книга стихов. М. «Советский писатель». 1976. 111 стр.

У Н. Асеева есть стихотворение с примечательными строками:

Необычайное — не только в этом,  
не только в выдумке и балагурье,  
но и в том, чтобы смотреть  
преувеличенными глазами,  
но и в том, чтобы дышать  
преувеличенными глотками,  
преувеличенными шагами  
жизнь настигать и перегонять.

Я не случайно начал со строк Н. Асеева. Ведь и «краугольная книга» Ю. Левитанского «Земное небо» (о которой с таким пониманием говорил в свое время в «Литературной газете» А. Яшин) — эта книга открывалась асеевским образом, определившим и самое название книги: «Но землю с небом, умирая, он все никак связать не мог». В этом стремлении породнить «землю» с «небом», говоря иначе — романтическую возвышенность и реалистическую точность, и было то новое для Левитанского, что впоследствии прочно закрепилось в его творчестве. Впрочем, примета эта существенна не для него только — она существует для советской поэзии в целом. Еще Горький говорил, что литература должна поднимать человека над землей, не отрывая его от нее. Еще Маяковский утверждал, что «театр не отображающее зеркало, а — увеличивающее стекло». Вслед за ним сказал и М. Кульчицкий: «Мой стих не зеркало, но телескоп».

Самые различные поэты — от Пастернака, Заболоцкого, Сельвинского, Багрицкого, Кирсанова, Мартынова, Смелякова до Солоухина, Вас. Федорова, Вознесенского, Окуджавы, Ахмадулиной — старались и стараются сохранить в поэзии романтическое воодушевление и волшебное воображение, не дать ей снизиться до примитивной бытовщины. И одновременно истинным поэтам присущ «хищный глазомер простого столбара», в их стихах блистают как высшая драгоценность «прозы пристальной крупницы». У Левитанского это двуединство стало зримой приметой его поэзии.

Читая новую книгу поэта «День такой-то» и мысленно сопоставляя ее с такими книгами, как «Стороны света», «Земное небо», «Кинематограф», естественно отмечаешь (принято говорить «невольно», но, собственно, почему невольно?) цельность, последовательность поэзии поэта.

Чудесные превращения происходили и в предыдущих книгах Ю. Левитанского. На окошке расцветала простая луковица, «глупая толстая луковица. Барышня провинциальная». А затем происходит чудо произрастания, чудо рождения жизни, достойное быть закрепленным точным временным обозначением — такого-то числа, в такое то время, — как факт рождения человека. Это мне лично напоминает удивительное стихотворение А. Яшина о том,

как, высижив восьмерых цыплят, клушка оставила в небрежении девятое яйцо, а поэт бережно сохранил его, освободил уже сформировавшегося цыпленка от скорлупы, отогрел его и был вознагражден чудом рождения жизни: «Это уже был цыпленок. Ах ты мой соколенок! Орленок ты мой! Миленок! Родимый ты мой, рождённый, я — крестный твой нареченный». «День творения» — так высоко вознес А. Яшин бытовой факт в заглавии стихотворения.

Пусть читатель не удивляется приводимым сопоставлениям. Их смысл не в том, чтобы поставить под сомнение самостоятельность Левитанского, а в том, чтобы показать органичность его творчества в общем развитии нашей поэзии.

Вслед за чудом рождения луковицы было много других чудес, нередко и грустных и забавных одновременно (или, точнее, наоборот — и забавных и грустных). «Подарили дураку море...» «Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!...» И неожиданное раскрытие образа: «...даже тем, что не играю, я играю роль свою... потому что в этой драме, будь ты шут или король, дважды роли не играют, только раз играют роль». В этих с виду незамысловатых строках — понимание единственности, неповторимости, обязательности, если хотите, каждой отдельной человеческой жизни.

Странное и вместе с тем точное название новой книги Левитанского — «День такой-то» — программно, но программность эта не заданна, она в духе творчества поэта (помните точную дату рождения луковицы?).

Давно ли покупали календарь,  
а вот уже почти перелистали,  
и вот уже на прежнем пьедестале  
себе воздвигли новый календарь,  
и он стоит, как новый государь,  
чей норю до поры еще неведом,  
и подданным пока не угадать,  
дарует ли он мир и благодать,  
а может быть, проявится не в этом.

Не правда ли, неожиданное сравнение — «календарь» и «государь»? Сопоставление разнородных, отдаленных друг от друга понятий в природе творчества Левитанского. Он как бы обнаруживает внутренние связи в повседневном и неповседневном, хотя так ли уж редко они меняются местами?

Ю. Левитанский — поэт музыкального строя. Он песенен «по самой строчечной сути». И, сравнив «календарь» с «государем», множественностью повторов он закрепил этот образ как не случайный — это Господин Время, у которого на счету каждая минута, который распорядится судьбами мира:

Ах, государь мой, новый календарь,  
три сотни с половиной, чуть поболее,  
страниц надежды, радости и боли...  
Ах, государь мой, новый календарь!  
Что б ни было, пребуду благодарен  
за каждый лист, что будет мне подарен,  
за каждый день такой-то и такой...

Вот мы и пришли к названию «День такой-то». Как важно смолоду ценить эту единицу времени и как поздно порой мы приходим к пониманию — не отвлеченно, а всем существом — этой простой мысли. А ведь еще Лермонтов говорил: «Мне нужно действовать. Я каждый день бессмертным сделать бы желал...»

Ритмика стихов Левитанского разнообразна: он любит ритмы долгие, протяженные, дающие простор раздумью, и ритмы сжатые, энергичные, передающие экспрессию чувства. Он изобретателен в поиске новых и новых средств музыкальной выразительности — взлетов и спадов, неожиданных обрывов основной ритмической нити, внутренних рифм, аллитераций. И все это помогает ему передать читателю ту волшебную игру воображения, которая в самом обычном дает возможность увидеть необычайное.

На развернутой метафоре (день — дом) оригинально построено стихотворение «Пробужденье». Все оно, по существу, одно грамматическое предложение — как один длительный, глубокий вдох. Это выражено даже графически: точка поставлена только в конце предложения.

Просыпаюсь — как за полночь с улицы  
в дом торопливо вбегаю  
и бегу через сто его комнат пустых,  
в каждой комнате свет зажигаю —  
загораются лампочки, хлопают двери...

Начинается день — и как будто сызнава начинается сама жизнь. Жизнь в ее повторяемости и вместе с тем в ее неповторимости (чувство пограничного очень характерно для Левитанского, поэта контрастов).

...постепенно весь дом наполняется шумом  
и шорохом, шелестом, шепотом,  
топотом ног, суетой,  
беготней, голосами,  
с этажа на этаж...

Тут идут в дело и «резюльции, выписки, списки, расчеты, подсчеты». А что, собственно, произошло? Начался день. Впечатление же такое, что совершилось какое-то необыкновенное, почти сказочное событие. Что-то чрезвычайное. Что-то из ряда вон выходящее. А разве не так? Начинается День. Начинается Жизнь... Та самая, о которой было сказано «чудо жизни — с час».



Светлый праздник бездомности,  
тихий свет без огня.  
Ощущенье бездонности  
августовского дня.

Не думайте, что это игра на необычной рифме «бездомности — бездонности». Контрастность рифм передает контрастность смысла. Человек остался один — ни кола ни двора. Вот тут-то и видно, что он за человек. Перед одним в этом случае открывается Пустыня Безысходности, перед другим — Царство Времени, Весь Мир, Бесконечность... Может показаться чрезмерным это упорное повторение найденного приема даже в рифме:

Ощущенье бессменности  
пробывания в тиши  
и почти что бессмертности  
своей грешной души.

Опять контрастность рифм несет в себе контрастность смысла: временное — и вневременное, ежеминутное — и вечное. Но пороку здесь возникает опасность, которой не всегда удается избежать поэту, — постоянство приема вдруг оборачивается выверенностью логической конструкции. Иногда уж очень густо (из сти-

хотворения в стихотворение) идут перечисления разнородных предметов или явлений, что призвано передать сумятицу события (например, «руки и головы, шляпы и зонтики, сумочки, доски, игрушки, обломки» или: «Были смерти, рожденья, разлады, разрывы — разрывы сердец и распады семей — возвращенья, уходы»). А ведь мы уже знаем, что главное у поэта — эффект неожиданности без нарочитости, без претензий, идущий от неожиданности в самой жизни и от умения видеть необычное в обычном... Кстати, от, я бы сказал, переигрывания «на приеме» проистекает и некоторое многословие отдельных стихотворений, их искусственная затянутость.

В лучших стихах книги этого нет. У каждого из них своя, особенная форма, свое, неповторимое лицо. Такие стихи резко выделяются среди других в книгах поэта, воспринимаются как заглавные. Маяковский говорил, что новую книгу издаст, только перешагнув через самого себя. Видимо, поэт должен стремиться в каждом стихотворении перешагнуть через себя...

Григорий ЛЕВИН.



## ЖИЛ, КАК ПИСАЛ, И ПИСАЛ, КАК ЖИЛ

В. Пришвина. Наш дом. М. «Молодая гвардия». 1977. 334 стр.

**П**одоспело, накатило время Михаила Пришвина: и на виду он был, и знали его, казалось бы, но постепенно открывалось, что знали неполно, как бы закрыв дорогу к нему ласковыми определениями. И сейчас его переосмысливают. «Певец природы» — уже изжитой трюизм; и Пришвин становится в ряд с мыслителями, идеи и деяния которых завораживают бесцетностью, в мышлении которых время присутствует как что-то естественное, подразумеваемое. «...всякий пустяк, отнесенный к вечности, сам собой о ней свидетельствует», ибо «если со всем возможным вниманием его разглядеть, то вечность и... в него проникает», — сказал Пришвин однажды.

В. И. Вернадский, А. А. Ухтомский, М. М. Пришвин — имена подобных мыслителей. Они сходны и по роду мышления и по теперешней их посмертной судьбе. Они странно незаметны читающей публике. Они мнятся слишком специальными, мировоззрение их растворено в многотомных специальных трудах, а кроме того, дезориентирует их спокойствие:

привычка диктует, что там, где ставятся проблемы морали, долга, личной или всеобщей ответственности, творчества, жертвы, непременно должны быть и обнаженные нервы, и борьба, и ощущаемый оппонент, споря с которым принято негодовать, сердиться, выходить из себя. А эти спокойны, оттого-то и незаметны. Сочетание нравственной остроты со спокойствием, заурядности материала с необыкновенностью мысли герметизировало мыслителей, о которых я говорю, их от нас закрывало. А сейчас они открываются — не станем ли мы чуть-чуть прозорливее?

Книга В. Пришвиной «Наш дом» — введение в литературоведческое, социологическое и философское изучение Пришвина. Не так-то уж часто бывает, что близкие к великому человеку люди пишут о нем исследовательски внятно и что именно с них начинается общественное осмысление его деяний. И это простиительно: они великих берегли и хранили, они великим компрессы ставили, мерили температуру, ояи кротко свносили капризы и вспышки великих, потому что и у великих

случаются прозаические недуги, и характеры у них не сахарные, и стрессовые состояния обуревают их так же, как и всех нас. Спутникам великих людей спасибо за компрессы и термометры, а требовать от них еще и осмысления творчества их подопечных никак не приходится. Но тут, у Валерии Пришвиной, — осмысление.

Да, к концу книга ее сбивается на тон ужасающе однообразных путеводителей «по памятным местам»: приводятся импровизированно-восхищенные записи туристов — посетителей дома Пришвина в Дунине, под Москвой, выдержки из постановлений Мособлсовета. Перечисляются реалии и говорится о скромности бытовой обстановки писательского пристанища. Словом — «посетите дом-музей М. М. Пришвина!». Но эта путеводительная часть книги — привесок к ней, балластик какой-то. К тому же и строится книга о Пришвине как история освоения им его последнего дома, и о доме писателя рассказывается так, что и самого его прозреваешь — человека, для которого не было в мире неживых, безглагольных предметов, вещей; и на жилище свое он наложил печать своих мыслей, личности, воли. Путеводительность от хорошего: от любви к дому Пришвина, к его очагу, к его продолжению (мы же продолжаемся в наших вещах и домах). А вообще-то книга создана затем, чтобы способствовать серьезному изучению Пришвина.

Природа природой, но, скитаясь по дальневосточной тайге, по болотам русского Севера, наблюдая жизнь зверей и деревьев, листьев, травы, воды, снега и света, Пришвин ни на минуту не переставал носить в себе то, что дала ему, русскому интеллигенту, мировая культура — ее идеи, художественные традиции. «Единый образ природы, вытекающий из непосредственных человеческих впечатлений, зарождается в городе у людей высокой культуры», — сказал Пришвин; и он, во-первых, имел в виду прежде всего универсальный образ природы как целого, а во-вторых, и город и высокую культуру считал он, как видим, условием формирования подобного образа. Культурное в его сознании — развитие природного, и мироздание для него едино. А это, может быть, и легко декларировать, но это невероятно трудно год за годом переживать, делая столь очевидную мысль интимнейшим верованием.

Пришвин, осмысливающий литературу на близкой дистанции, бывает беспомощен. Поддавшись, видимо, распространенному предрассудку о том, что критиком, литературоведом

может быть всякий, он берется разбирать рассказ Сергея Антонова «Дожди», который ему «чем-то очень понравился»: «Я прямо скажу не задумываясь, что понравился он мне, первое, своим содержанием: автор пишет в нем о хороших людях... Все лица в рассказе — лица и характеры». Но беспомощность Пришвина — какая-то особенная беспомощность: беспомощность могущественного духа, иногда понуждающего себя и потоптаться в намеренно стесненном пространстве, сковывающего себя и тут же смущенно рвущего оковы, вериги.

И Пришвин выходит на просторы большого исторического времени — туда, где вечно скитается в поисках правды страдалец Дон Кихот, где умирает Фауст, где томит умы своей непонятностью лермонтовский Печорин. «Дон-Кихот всегда был и бывает... Дон-Кихот всегда и везде был, и его только открыл для всех Сервантес», — записал Пришвин в дневнике, и его трактовка Дон Кихота — вероятно, самая разносторонняя трактовка в русской литературе, сделавшей испанского идальго своим вечным спутником.

Образ Дон Кихота, по Пришвину, создан сообща, и теперь он вечно продолжает твориться. «Что, если сказать так: характер, например, Дон-Кихот как единственное, неповторимое существо, создает автор, в этом случае Сервантес, а тип Дон-Кихота делает читатель. От этого единственного характера пошли донкихоты как дети автора и читателя». Творчество-диалог. Слова «диалог» как философского и литературоведческого термина у писателя нет, но мысль о диалогической основе художественного творчества не оставляет его сознание.

В. Пришвина как-то незаметно переставила акценты в суждениях о писателе, спокойно отклонила какую бы то ни было возможность говорить о нем как об исключительном знатке эмпирии русской природы, но в то же время как о дилетанте в философии и в эстетике. Вернадский и Ухтомский своевременно встретились с Пришвиным на страницах ее работы — не эссе, не путеводителя, а полноценного научно-биографического трактата. И она разумно выделила то, что открыл, назвал, прозрел Пришвин в извечной проблеме соотношения искусства и жизни: она подвела к мысли, поглочавшей писателя постоянно, — к мысли о творчестве как ряде поступков, как поведении. А мысль эта крайне проста, хотя именно в силу простоты своей и труднодоступна для освоения. «Знаю очень хорошо, что если бы я вслух сказал среди поэтов и худож-

ников о каком-то поведении, то все бы смеялись. Я это знаю и тако про себя мысль о том, что в художественном произведении есть какое-то настоящее творческое поведение» — рассуждение это завершает «Кашееву цепь», самый, наверное, задушевный роман писателя. Оно повторяется, варьируется. И оно требует существенной перестройки постигающего искусство сознания.

Художественное мышление, образ, жанр, сюжет, ритм не где-то вне нас пребывают, являясь якобы исключительным достоянием их единоличных творцов, создающих «произведения» — ряд книг, кинолент, театральных спектаклей. Каждый из нас в течение жизни своей неминуемо создает хотя бы одно-единственное художественное произведение — создает... себя самого. Свой образ, уже с детства ревниво оберегаемый от ложных трактовок, искажений и деформаций. Себя как проблему. Как загадку, которую окружающие разгадывают, удачно ли, невольно ли; дневник — а личные дневники стали каким-то фольклором новой истории — ярчайший и бесспорный случай творения человеком образа себя самого. Здесь найдешь и исповедь, и апологию, и очерк, и новеллу, и эпиграмму (ближним нашим достается в дневниках порой презрительно). Дневник знает и «положительных героев», он оснащен и фабулой и сюжетом. И мы просто не поняли бы ни одного рассказа, романа, повести, если бы мы сами не ощущали себя в каком-то сюжете и в композиции, имеющей и завязку, и кульминацию, и, конечно, развязку. А жанры! «Моя жизнь прошла, как поэма: создавалась трудно, рискованно, как создается поэма. Но под конец вышла, и все в ней оправдалось», — записывал Пришвин; и это не наугад брошенное словцо, а отголосок зыблущейся, становящейся доктрины какой-то особой эстетики. Эстетики жизни: пи-

сатель делает то же, что делают все, — он творит, создает постоянно обновляющийся образ современного ему человека, образ, который впоследствии, случается, закосневает, клишируется и который будут обновлять, дополнять да оспаривать. Отложились же в нашем сознании, скажем, дедушка Крылов, баснописец; взыскующий гармонии Пушкин; загадочный бунтарь-богоборец поручик Лермонтов; мятущийся Достоевский и далее вплоть до певца природы Пришвина — образы-легенды, разумная расчистка, освобождение которых от доброжелательного гнета налагаемых на них красок составляет, в частности, задачу историко-литературной науки. Науки в высочайшей степени нравственной, потому что она-то как раз и ориентирует человека творить образ самого себя. А творить этот образ невозможно вне труда, мышления и вне духовного наполнения житейской прозы — единственно надежных способов быть увиденным другими, быть, так сказать, «прочитанным» современниками и сохраниться в их памяти (различного рода эксцентриады, эпатажи как способ художественного осмысления человеком себя, как способ экспонирования себя тоже, конечно, возможны, они были и будут, но все же соревнования с трудом, мышлением они не выдерживают).

Эстетика жизни, философия творческого поведения, в создании которых Пришвин сделал безмерно много, сейчас все еще только становится, и тут на столетия достанет работы. Но радостно видеть, как закладываются ее основы. «Я жил, как писал, и писал, как жил», — сказал Пришвин. Воистину так, и трактат его друга открывает нам образ человека из поэмы о праведном русском старце, мысль и душа которого вселилась в умного интеллигента нашего XX века.

**В. ТУРБИН.**



### Полигика и наука

#### ПРЕССА, ПОЛИТИКА, БИЗНЕС

**А. Н. Бурмистенко. «Тайм»: бизнес на пропаганде. М. Издательство Московского университета. 1977, 213 стр.**

«Я считаю американскую прессу самой лучшей и самой свободной в мире. Я не знаю ни одной и нигде, которая была бы лучше». Это скромное заявление принадлежит профессору Принстонского университета в США Ирвингу Дилларду. Несокрушимая эта вера в

превосходство всего американского над остальными творениями человеческого духа, конечно, ничего особенно нового и примечательного собой не являет. Характерно другое. Широко-вещательная реклама американской прессы как единственно «свободной» разворачивается

именно в то время, когда в Соединенных Штатах становятся известны все новые и новые факты увольнений и травли прогрессивных журналистов, своеволия магнатов прессы, возрастающей концентрации органов информации в руках монополий. Накапливаясь, эти противоречия образуют тугой узел, свидетельствующий о кризисе буржуазной прессы в рамках общего кризиса капиталистического общества.

Тенденции развития американской печати, ее роль в современной социально-политической структуре США наглядно отражает более чем полувековая история крупнейшего американского журнала «Тайм», ставшего предметом исследования А. Бурмистенко. В структуре американской печати «Тайм» занимает особое, весьма заметное место. Так как в США по ряду причин не сложился институт общенациональных газет, то «Тайм» и немногие другие «журналы новостей» в какой-то мере выполняют их функции. Каждую неделю в газетных киосках Америки — от Нью-Йорка до тихоокеанского побережья — появляется свежий номер «Тайма», компактный, с очередным портретом на обложке и характерной полоской «кавер стори» — главного материала номера. Добавим, что журнал распространяется и во многих странах Европы, Азии, Латинской Америки, он дал толчок к появлению таких изданий, как «Шпигель» в ФРГ, «Экспресс» во Франции, «Темпо» в Италии, и многих других.

«Тайм» начинался в то время, когда газеты и журналы в Америке рождались и умирали чуть ли не каждую неделю. Чтобы выжить, завоевать место под солнцем, нужен был новый подход, учет психологии и особенностей американского читателя. В ход пошел принцип «дайджеста» — из кипы газет извлекалось все самое интересное, что произошло за неделю, переписывалось, сортировалось, дополнялось некоторыми подробностями из справочников и словарей. Человеку, чье время дорого, на блюде подавалось нечто такое, что как бы избавляло его от необходимости читать все остальные газеты и журналы. При этом «Тайм» в течение долгого времени выдерживал принцип: номер можно прочитать от корки до корки за один присест, в течение часа.

История двух удачливых дельцов — выходцев из небогатых семей, сумевших превратить безнадежное, казалось бы, собрание «вчерашних новостей» в крупнейшую издательскую империю, это история из тех, которыми в Америке любят демонстрировать неограниченные возможности, якобы предоставляемые каждому, кто обладает необходимой инициати-

вой, напором и энергией. Вместе с тем это и история трансформации особого рода бизнеса — идеологического, в котором черты обычного капиталистического предприятия с его главной целью — погоней за прибылью — сочетаются с выполнением специфических идеологических функций.

Раскрытие этого бизнеса на пропаганде во всех деталях и составляет суть книги А. Бурмистенко. В ней дан всесторонний анализ влиятельного еженедельника, разоблачаются лживые легенды об американской прессе — о ее мнимой независимости, о «беспартийности» и «беспристрастности», о предоставленной будто бы всем и каждому возможности свободно выражать свое мнение.

Многие страницы исследования посвящены журнальному королю Г. Люсу, его политическим взглядам, редакторской и коммерческой деятельности. Любимое детище Люса «Тайм инкорпорейтед» — это ныне гигантская корпорация с годовыми доходами примерно в три четверти миллиарда долларов, это переплетение журнального бизнеса с книжным, телевизионным, лесопромышленным, это целенаправленная идеологическая обработка миллионов людей.

В ряде разделов книги прослеживается отражение в «Тайме» политики правящих кругов США, и в частности по отношению к Советскому Союзу. Две характерные черты отличали на протяжении многих лет эту политику: откровенные империалистические, гегемонистские притязания США и оголтелый антикоммунизм. Правда, в самом журнале эти цели тщательно маскировались. Зато они с поразительной откровенностью и цинизмом излагались в многочисленных внутренних редакционных документах, которые автор рассматривает, — в директивных меморандумах Г. Люса, его статьях и выступлениях. Вот как, например, он раскрывал свое понимание роли Америки в современном мире: «...искренне, от всего сердца, принять на себя ответственность быть самой могущественной нацией в мире и, как следствие этого, распространить всю силу нашего влияния для таких целей, которые мы найдем нужными, и такими средствами, какие мы найдем нужными». Сказано почти сорок лет назад, но как эти слова перекликаются с сегодняшними призывами в США к «политическому и моральному лидерству в мире»...

Своим обращением к стратегическим целям американского империализма, а также языком и стилем меморандумы Люса напоминают инструкции не то дипломатам, не то военным: «...мы должны удерживать линию Манила —

Сайгон — Сингапур, и удерживать ее яростно, против коммунизма». Или еще: «Американская граница не проходит более вдоль пляжей Малибу; американская граница — это линия Окинава — Манила, и она уже никогда не передвинется назад... У американцев очень острое чувство того, где находится их «дом»; отныне и навсегда их дом—это континент и океан, который омывает почти половину земного шара. Такова политическая география в следующем раунде человеческой драмы».

Однако изучение редакционного курса «Тайма» приводит к выводу: он не всегда и не во всех деталях совпадал с линией госдепартамента. Более того, тезис о «независимости» американской прессы от правительства стал любимым коньком теоретиков и практиков буржуазной журналистики, на все лады разглагольствующих о том, что печать в США вправе критиковать правительство, публиковать разоблачительные документы и может даже «свалить президента». На этом основании ими объявляется устаревшим и недействительным то, что Маркс и Энгельс писали о буржуазной печати как о послушном орудии правительства.

Налицо ловкое передегеривание, подтасовка, подмена понятий. Во-первых, контроль правительства над прессой не исчез, он только меняет свои формы. Это признают и на Западе. История американского правительства от Линкольна до наших дней, указывает профессор Вильям Риверс в книге «Политика и пресса», большей частью связана «с использованием прессы в качестве инструмента политической власти». Во-вторых, заключение о свободе или несвободе печати нельзя делать только лишь по формальным признакам. Конечно, во взаимоотношениях государственных органов и печати сейчас появились новые элементы, исполнительная власть теперь вынуждена в большей степени считаться с прессой, быть осторожнее в обращении с ней. Но это ни в коей мере не меняет основного, решающего факта: буржуазная печать остается служанкой правящих классов и их политико-экономической «инфраструктуры» — военно-промышленного комплекса, финансовых монополий. Другое дело, что эту связь нельзя понимать упрощенно, прямолинейно. Маркс и Энгельс всегда подчеркивали относительную самостоятельность элементов идеологической надстройки и их обратное влияние на общественный базис. В условиях монополистического капитализма это проявляется особенно заметно. Являясь относительно самостоятельным надстроечным институтом буржуазной общественно-политиче-

ской системы, американская печать отражает внешнеполитические амбиции различных противоборствующих группировок монополистического капитала, с их позиций оценивает деятельность администрации, поддерживает или критикует ее. Отсюда нередко и сенсационные разоблачения, и взаимные нападки, и различия во взглядах разных органов печати, создающие иллюзию свободного функционирования демократических институтов.

В этом свете обширный фактический материал, собранный в книге А. Бурмистенко, создает впечатляющую картину участия «Тайма» в реакционной американской глобальной внешнеполитической стратегии. В связи с этим любопытен приводимый автором документ — выступление Льюса перед руководящими деятелями «Тайм инкорпорейтед», где он в качестве основной цели и задачи корпорации в идеологической области выдвигал «нанесение тотального поражения коммунизму во всем мире» и ссылался на корсара XVI века Фрэнсиса Дрейка, который вел «собственную» войну против испанского короля. «Разумеется, мы в «Тайм инк» не имеем возможности вести войну так, как это делал Фрэнсис Дрейк,—продолжал Льюс. — У нас нет кораблей, нет пушек, нет бомб. Больше того, наш век — это не век пиратства... Но даже в наш век организации человек не должен ждать, пока правительство предпримет что-нибудь. Каждый человек и каждая организация в нашей стране могут нанести удар против коммунизма сейчас, немедленно».

Автор далек от того, чтобы безоглядно отвергать всю журналистику «Тайма». Объективно и профессионально анализируя ее, он отмечает то новое, что привнес журнал в практику современной буржуазной печати: его умение найти чрезвычайно ловкую манеру подачи материала, дать запоминающуюся характеристику, внести «человеческий элемент» в освещение событий в сфере политики, науки, культуры. Кстати сказать, образцы журналистики «Тайма» хорошо известны советскому читателю по перепечаткам в еженедельнике «За рубежом».

Парадоксально, но в реакционном «Тайме» всегда работало много способных, либерально настроенных журналистов. Их взгляды на фоне общего курса журнала были почти «левыми». И все же «босс» — Генри Льюс — нередко отдавал им предпочтение при найме на работу. Почему? Дело в том, что вся американская журналистская «черная сотня», хотя и разделяла льюсовскую ненависть ко всему живому и прогрессивному, его пристрастие к политическим

погромам, все же лишена была одного пустяка: литературного таланта. Или, как выразился сам Люс, когда его спросили, почему он не наймет журналистов-консерваторов: «Черт знает почему, но республиканцы не умеют писать».

Трагедия «левых», пришедших в журнал, остается за рамками исследования. Но по некоторым деталям можно судить о безысходности журналистов, чьи надежды сохранить личную честность незапятнанной были перемолоты безжалостной журнальной машиной. Мучительную дилемму такого журналиста описывает в своем романе «Большое колесо» бывший сотрудник «Тайма» Джон Брунс: «Я знаю, я не должен писать того, во что не верю... Бог свидетель, я собирался уволиться год назад. Но как я могу? Я скажу тебе, мне нужно десять тысяч долларов, чтобы содержать эти чертовы апартаменты. И, кроме того, куда я пойду отсюда? Это вершина журналистики, Дик! Вершина! Люди служат всю жизнь, чтобы только попасть сюда. Единственное место, куда можно уйти отсюда, — это вниз».

А вот признание уже не литературного героя, а бывшего ответственного сотрудника «Тайма» Томаса Мэттьюза: «Я не любил «Тайм». На каждом материале, который я печатал на машинке, я мог написать с чистой совестью: «Я не люблю свою работу»...» Томас Мэттьюз проработал в журнале двадцать четыре года, служа неправому делу и продвигаясь по служебным ступенькам от скромного литсотрудника до главного редактора.

Нельзя не согласиться с выводом автора книги о том, что все усилия самых талантливых и искусственных профессионалов «Тайма» в конечном счете обращают журналистское мастерство в свою противоположность. Так, драматизированные вступления к материалам, ставящие целью сразу же захватить внимание читателя, превратились в штампы, способные порой вызвать улыбку, беллетризация статей подчас означает обыкновенное использование литературных фальшивок — выдуманных, недоказуемых фактов, а «персонализация» событий приводит к раздуванию нездорового любопытства обывателя к подробностям частной жизни «великих людей». «Новый тип» журнала — это новый, еще более изощренный метод обработки общественного мнения, искажение подлинной картины действительности, извращение сущности журналистики. Это развитие по нисходящей — вверх по лестнице, ведущей вниз.

Отдельная глава в книге А. Бурмистенко

посвящена анализу приемов и методов пропагандистской обработки информационных материалов в «Тайме». Детально описывается, например, «групповая журналистика» — своеобразный конвейерный метод, изобретенный «Таймом» и во многом перевернувший представление о характере журналистской работы. Корреспондент в его новой роли больше не является, как правило, автором материалов — он присылает лишь некое сырье, которое обрабатывается литсотрудником, дополняется так называемым репортером-исследователем, правится литературным секретарем и т. д. Журналистский труд утрачивает индивидуальный характер, раскладывается на составные по испытанному рецепту капиталистического поточного производства. Это делает материалы, как показывает автор, более интересными и насыщенными, но в высшей степени некомпетентными и содержащими поразительное количество ошибок. Главное же в этом методе то, что он создает дополнительные возможности для идеологической обработки статей и заметок, а читателю внушается мнение о журнальных выступлениях как о результате авторитетного коллективного исследования.

Много места в монографии уделяется анализу «комментированного репортажа» — жанра американской журналистики, в котором информация о событиях сочетается с их комментированием, на ряде примеров показывается, как подобный репортаж усиливает тенденциозность, политическую направленность издания. Как показывает опыт «Тайма» и особенно его материалов о Советском Союзе и советско-американских отношениях, манипуляция фактами стала главным пропагандистским оружием буржуазной прессы. Метод «организации новостей» — отнюдь не просто культура подачи материала, а продуманная система управления вниманием читателя с целью избавить его от необходимости самостоятельно ориентироваться в номере, сделать пассивным потребителем предлагаемой ему продукции. Вместе с тем нельзя не признать, что «Тайм» немало преуспел по этой части. В ту пору, когда был еще жив иллюстрированный журнал «Лайф», остроловы в Америке пустили в ход шутку: «...«Лайф» — это для тех, кто не умеет читать, «Тайм» — для тех, кто не умеет думать». Неудивительным поэтому выглядит ответ одной американки на вопрос, что она думает о последних событиях в мире: «Не знаю. Надо подождать, пока выйдет «Тайм».

Не размышлять! Это внутренний стержень

того отношения к жизни, которое журнал выработывает у своих читателей. «Тайм» всегда добивался слепого, безоговорочного принятия американских ценностей, американского образа жизни. Это он изобрел и пустил в оборот словечко «яйцеголовые» — ярлык для интеллигентов, сигнализирующий об их отличии от «нормальных» американцев и их опасности для общества, культивирующий неприязнь и безразличное отношение к ним. Даже по понятиям американской печати, «Тайм» всегда был правофланговым реакцией, трубадуром «холодной войны» и антикоммунизма. И лишь после смерти Г. Люса внутренние перемены в журнале, совпавшие с общим изменением политического климата, утверждением разрядки в международных отношениях, привели и к некоторому изменению тональности материалов

о Советском Союзе, появлению отдельных реалистических выступлений.

Анализ одного из ведущих американских еженедельников вносит свой вклад в изучение массовой буржуазной печати. Этот анализ еще раз подтверждает ленинскую характеристику: «Свобода печати во всем мире, где есть капиталисты, есть свобода *покупать* газеты, *покупать* писателей, *подкупать* и *покупать* и фабриковать «общественное мнение» в пользу буржуазии».

К достоинствам монографии относится обилие фактического материала, живой стиль изложения, что делает ее интересной и полезной не только для специалистов-исследователей, но и для широкого круга пропагандистов, журналистов, всех интересующихся вопросами идеологической борьбы.

Л. ПАРШИН.



## НЕМЕРКНУЩИЙ ПОДВИГ БОЕВОГО БРАТСТВА

Русско-турецкая война 1877—1878. Под редакцией И. М. Ростунова.  
М. Воениздат, 1977. 263 стр.

Рецензируемая книга<sup>1</sup> освещает историю русско-турецкой войны 1877—1878 годов, дает анализ причин ее возникновения, раскрывает характер войны, рассматривает ее ход и результаты. Главное внимание авторы уделяют освободительной борьбе южных славян, боевому братству русского и болгарского народов, развитию военного искусства. В книге разоблачена несостоятельность тенденциозных измышлений западных историков, замалчивающих значение борьбы славянских народов за национальное освобождение, стремящихся представить войну лишь как выражение панславистских устремлений русского царизма.

Русско-турецкая война 1877—1878 годов была вызвана подъемом национально-освободительного движения южных славян против османского ига и обострением международных противоречий. Пять долгих веков балканские народы платили кровавую дань насильникам. Турецкие янычары выжигали города и села, убивали ни в чем не повинных людей. На протяжении многих веков угнетенные народы вели самоотверженную борьбу против поработителей. Антитурецкие восстания, вспыхнувшие в середине 70-х годов XIX века в Боснии и Герцеговине, а затем в Болгарии, вызвали широкое общественное движение в России в пользу братских славянских

народов. Ярким выражением решимости болгарского народа сбросить чужеземное иго явилось восстание в апреле 1876 года, но оно потерпело поражение и было потоплено в крови. Более 30 тысяч болгар — мужчин, женщин и детей — погибло от рук озверелых карателей.

Что касается западных держав, то они, прежде всего Англия и Австро-Венгрия, стараясь ослабить влияние России, приложили все усилия для поддержки прогнившей Оттоманской феодальной империи. Значительную роль в обострении ближневосточного кризиса сыграла Германия.

Авторы пишут, что первым на балканские события еще летом 1875 года откликнулся Южнороссийский союз рабочих, посылавший добровольцев и собиравший средства для восставших. Большую помощь стали оказывать славянские комитеты, собиравшие денежные пожертвования в пользу балканских народов. В 1876 году для участия в военных действиях на стороне Сербии туда отправилось более 5 тысяч русских добровольцев.

В защиту балканских народов в 70-е годы XIX века выступали выдающиеся русские писатели, художники, ученые: Лев Толстой, Тургенев, Достоевский, Репин, Менделеев, Пирогов и другие. «Болгарские безобразия оскорбили во мне гуманное чувство, — писал Тургенев, — они только и живут во мне, и коли

<sup>1</sup> Она создана авторским коллективом Института военной истории МО СССР.

этому нельзя помочь иначе как войною — ну, так война!»

Русское правительство в целях усиления своего влияния на Балканах выступило в поддержку восставших и 12 (24) апреля 1877 года объявило войну Турции. Объявление Россией войны Османской империи было с воодушевлением встречено болгарским народом. Болгарское центральное благотворительное общество (БЦБО) выступило с заявлением, в котором призывало оказывать всяческую поддержку русским войскам: «Русские идут бескорыстно как братья на помощь, чтобы совершить наконец и для нас то, что было ими сделано по освобождению греков, румын, сербов. Болгары! Нам нужно всем как одному человеку по-братски встретить наших освободителей и содействовать всеми нашими силами русской армии...»

В книге рассказывается о русских людях — организаторах Болгарского ополчения, и среди них о назначенном русским командованием начальнике ополчения генерале Николае Григорьевиче Столетове, память о котором в Болгарии священна. Болгарское ополчение превратилось в регулярное войско и вело бои как соратник русской армии. Знаменательно также, что еще до начала русско-турецкой войны ополчению было в Плоешти вручено знамя, сделанное жителями Самары, вошедшее в историю болгарского народа и русско-болгарской дружбы под именем Самарского знамени.

В июне 1877 года русская армия под командованием генерала и военного теоретика М. И. Драгомирова блестяще осуществила переправу через Дунай. Успешное форсирование крупной водной преграды было выдающимся достижением русского военного искусства. Авторы подробно освещают первые операции русской армии после захвата плацдарма на правом берегу Дуная, овладение горными перевалами, взятие Никополя, выход к Рущуку, что положило начало осуществлению важной исторической задачи — освобождению Болгарии от османского ига.

Благодаря высоким морально-боевым качествам солдат русская армия успешно решила и сложнейшую задачу по преодолению Балкан в зимнее время. Боевой путь русских солдат был неимоверно тяжелым. Так, маршрут 31-й пехотной дивизии изобиловал горами с крутизной скатов в 30 градусов. Солдаты героически преодолели восемь верст по покрытому ледяной коркой подъему. В книге приведены репродукции старинных картин, отражавших мужество, храбрость, находчивость

русских и болгарских воинов перед лицом дикой и неприспугливой природы. Каждую пушку приходилось втаскивать на горы не менее чем ста солдатам. Отряд генерала П. П. Карцова, начальника пехотной дивизии, взявшей Троянов перевал, продвигался по пояс в снег. Проваливаясь в занесенные снегом ямы, русские солдаты не сдавались перед трудностями, потому что на них лежал долг чести перед братским болгарским народом. Участники похода, оставившие свои воспоминания, свидетельствуют: трудности похода были настолько велики, что при семнадцатиградусном морозе солдаты обливались потом...

Легендами овеяна героическая оборона русскими войсками Шипки. Болгарский народ бережно хранит в сознании и в вещественных памятниках эпопею Шипки. Осенью и зимой, в сильные бураны и морозы стойко держались там в занесенных снегом, открытых траншеях и в землянках русские люди. Они не роптали и выносили все невзгоды, несмотря на недостаток теплой одежды и обуви, подолгу обходясь без горячей пищи. Они удержали важную высоту, ставшую навечно бессмертным памятником русским воинам и Болгарскому ополчению.

Вместе с тем авторы справедливо отмечают плохую заботу некоторых военачальников о героических защитниках Шипки, таких, например, как начальник дивизии К. И. Гершельман, представитель реакционных царских высших военных кругов, который требовал, чтобы солдаты 24-й дивизии были одеты «щегольски», как в мирное время. И поэтому «бывали случаи: разводящий унтер-офицер идет по постам со сменой. Часовой стоит у бруствера, по положению, с ружьем на плече. Смена подходит к нему вплотную, он не шевелится. Унтер-офицер окликает его: «Часовой! Ты спишь?» В ответ — гробовое молчание. «Эй! Проснись!» Унтер-офицер толкает часового, и на ледяной пол падает труп с характерным хрустом замороженного мяса. Однажды оказалось, что всю западную позицию охраняли... трупы».

Это были стойкие, негибкие герои. Они с честью выполнили важнейшую задачу стратегического значения, пишут авторы книги, — не допустить прорыва армии Сулеймана-паши в Северную Болгарию. Болгарский народ помнит их самоотверженность. «Здесь, на Шипке... в сердце Болгарии, — сказал Тодор Живков, — русская и болгарская кровь смешалась, чтобы спать навеки, наперекор всем бурям и стихиям времени, болгаро-русскую дружбу, болгаро-русское братство».



Крупным событием в ходе войны явилось падение Плевны. Капитуляция армии Осман-паша основательно подрвала материальные ресурсы и боевой дух турецкой армии. Когда русские войска, преодолев врага и огромные трудности самой природы, перешли Балканы и освободили столицу страны Софию, генерал И. В. Гурко, начальник Западного отряда, обращаясь к солдатам, писал: «Окончился... переход через Балканы, в котором не знаешь, чему удивляться: храбрости ли и мужеству вашему в боях с неприятелем или же стойкости и терпению в перенесении тяжелых трудов в борьбе с горами, морозами и глубокими снегами. Пройдут года, и потомки наши, посетив эти дикие горы, с гордостью и торжеством скажут: «Здесь прошли русские войска и воскресили славу суворовских и румянцевских чудо-богатырей».

Боевое содружество и участие болгарского народа в вооруженной борьбе особенно ярко проявилось в действиях Болгарского ополчения. Другой формой помощи русской армии было партизанское, или четническое, движение. В болгарских селах стихийно возникали отряды самообороны. Так, в городе Каварна, осажденном в июле 1877 года башибузуками, жители оказали упорное сопротивление. Руководитель четников Амир скрылся в лесах и создал там конную чету из 80 добровольцев.

Русские офицеры вспоминали, что толпы болгар требовали оружия и права записаться в четы, но оружия не хватало. Особенно ценную помощь болгарские четники оказали русским войскам при переходе через Балканы. В составе чет находилось немало женщин.

Многие страницы в книге посвящены боевому содружеству русских и румынских воинов, выступлениям сербской, черногорской армий.

Отдельная глава уделена также обстоятельному разбору боевых действий на кавказском театре военных действий, в том числе взятию русскими войсками Ардагана и Баязета, сражению под Зивином. Подробно освещены подвиг баязетского гарнизона, ночной штурм Карса и, наконец, действия русских войск под стенами Эрзерума.

В знак любви и беспредельной благодарно-

сти болгарского народа к своим освободителям в Болгарии установлено более 400 памятников погибшим русским воинам. О бессмертии этих подвигов потомкам напоминают величественный памятник на Шипке, мавзолей в Плевне. Во многих болгарских городах и селах как дорогие реликвии стоят орудия тульских заводов, свидетельствующие о несокрушимой силе русского оружия. В Пордине, тогдашней ставке русского командования, многие десятилетия существует музей, в котором бережно хранятся дорогие реликвии русских воинов. Музей создан и в доме, где Осман-паша сложил оружие и сдался в плен вместе со своей армией. Именами русских воинов в Болгарии названы лучшие парки и улицы, в их память установлены мраморные обелиски. Есть парк Скобелева в Плевне, улица Гурко в Софии, обелиск, увековечивший память майора Горталова, пронзенного турецкими штыками, но не выпустившего из рук знамени полка. Много памятников в столице Болгарии Софии. На одном из них надпись: «Братьям-освободителям — признательная Болгария». В городском парке Софии — памятник русским медикам. На каменной пирамиде высечены имена 528 русских врачей и сестер милосердия, погибших в Болгарии во время войны 1877—1878 годов.

Книга заканчивается взволнованными словами о преемственности русско-болгарской дружбы, о тесной братской дружбе и сотрудничестве советского и болгарского народов в семье социалистических стран. Великий сын Болгарии Георгий Димитров подчеркнул, что народ его страны питает «глубочайшую признательность и безграничную благодарность народам Советского Союза, и прежде всего великому русскому народу, за то, что они два раза освободили Болгарию от чужеземного ига. В первый раз — от пятiveкового турецкого рабства, во второй раз — от немецко-фашистской кабалы».

Рецензируемая книга вносит заметный вклад в историческую науку, служит дальнейшему укреплению советско-болгарской дружбы. Она, несомненно, вызовет живой интерес в самых широких кругах читателей.

Д. ПАНКОВ.



### КРАХ АНТИСОВЕТСКОГО ФАРСА

Правда о правах человека. Деятели советской культуры о правах человека. М. Политиздат. 1977. 160 стр.

**П**ровокационная кампания буржуазной пропаганды «в защиту прав человека»

в Советском Союзе и других странах социализма во многом была приурочена к шес-

десятилетию Великого Октября, к принятию новой Конституции СССР. Основной Закон общества развитого социализма, как известно, провозгласил дальнейшее развитие подлинной демократии, еще шире, яснее, полнее закрепил реальные социально-экономические права и свободы граждан, гарантии их осуществления.

Поэтому понятны те бешеные усилия идеологов и прислужников капитала, которые они прилагают, чтобы очернить Советский Союз и его новую Конституцию. «У них одна цель, — сказал на внеочередной сессии Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, — помешать росту влияния социализма на умы людей, посеять любыми средствами недоверие и неприязнь к нему».

О каких правах человека, свободах личности в социалистических странах проявляет «заботу» буржуазная пропаганда? Быть может, о таких великих социальных завоеваниях советских трудящихся, как право на труд, отдых, образование, жилье, охрану здоровья, материальное обеспечение в старости, пользование достижениями культуры, и других жизненных прав человека? Или о свободе творчества, печати, совести? Нет! Не эти действительные права и свободы нашего народа и каждого отдельного человека волнуют шпрингеровских и подобных им сочинителей. Весь пыл свой, всю пропагандистскую машину свою они обратили на «защиту прав» диссидентов-уголовников, ничтожной горстки отщепенцев.

Разоблачению этой идеологической диверсии служит книга «Правда о правах человека», содержащая статьи и письма (они ранее публиковались в ряде газет и журналов) видных представителей советской творческой интеллигенции, направленные против развязанной реакционными кругами на Западе крикливой кампании о «правах человека». Публицистично, стилем острой полемики, силой неопровержимых аргументов авторами изобличается вся фальшь разыгрываемого современными буржуазными тартюфами фарса.

С неподражаемым сарказмом говорит Валентин Катаев о «диссидентской братии», сделавшей кампанию о «правах человека» орудием антисоветизма. «Неужели ни сами клеветники, ни их хозяева не понимают, — спрашивает писатель, — что стыдно говорить и даже кричать о правах человека и свободе, живя в том мире, где каждый миг грубо и беспощадно нарушаются самые элементарные права человека?» Когда композитор Герой

Социалистического Труда Григорий Ширма, проживший половину своей долгой жизни в буржуазно-помещичьей Польше и испытавший на себе все «прелести» буржуазных свобод, пишет о диссидентах, то каждое слово его — глубокое обвинение в адрес буржуазного образа жизни. «Казалось немыслимым, чтобы предатели учили других людей патриотизму, преступники ратовали за укрепление законности, агрессоры — за мир. Но и такое возможно. Разного рода перебежчики, профессиональные лгуны и предатели подвизаются на пресловутых радиостанциях «Свобода» и «Свободная Европа», известных своим махровым антисоветизмом. Белорусы хорошо знают их подлинное лицо».

Народный артист РСФСР Семен Межинский вспоминает, как Шаляпин однажды метко назвал «смешным и жутким» клеветника аббата Дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник». «Я буквально оцепенел от ужаса, настолько шаляпинский Дон Базилио был страшен в своем иступленном прославлении клеветы... «Он все может, вы ему только дайте денег!..» Ошельмует, опорочит, очернит кого угодно, как угодно и когда угодно». Диссидент-клеветник — это и есть современная, омерзительная всем честным людям донбазилевская ипостась. «На том самом нечистом прилавке, где ведется торг, — справедливо замечает народный художник СССР Н. Томский, — так и обозначено: сочинил пасквиль — и ты уже писатель, намалевал на холсте вздор — художник, оплевал свою страну — мыслитель».

За улыбкой буржуазного авгура обман, лицемерие. Народный артист СССР Сергей Бондарчук ярко рисует картину насилия над личностью в «свободном мире». В США высокопоставленные официальные лица поднимают на щит выдворенного из СССР уголовного Буковского, и в то же время там продолжается произвол над негритянским священником Бейджамином Чейвисом, видным борцом за гражданские права в США, лидером «уилмингтонской десятки». Там томятся тысячи брошенных в тюрьмы за передовые убеждения. Кто и когда покончит с насилием, гангстеризмом, расовой и национальной сегрегацией, безработицей? Ответить на эти вопросы идеологи капитала никогда не решатся. Слова выдающегося кинорежиссера о бдительности, о высочайшей ответственности за будущее планеты, за мир во всем мире, за дружбу, взаимопонимание и доверие между народами звучат особенно весомо. «Никакие происки буржуазных авгура, — подчеркивает

он, — не смогут остановить весну человечества, обновление жизни».

Развивая эти мысли, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Роман Кармен пишет о великом и святом деле борьбы за жизненные права трудящихся, начатой Октябрьской революцией, о революционной России, ставшей светочем этих прав для всего мира, о Стране Советов, утвердившей свою высшую миссию в борьбе за человеческие права, победив фашизм. А в послевоенные годы? Кто боролся за права вьетнамского народа, когда сотни тысяч бомб падали на дома вьетнамцев, спрашивает автор и отвечает: мы, а не они. Кто поднял голос в защиту прав чилийского народа и по сей день поддерживает его справедливую борьбу? Мы, а не они. И так повсюду. Там, где народы борются за свободу, независимость, человеческие права, там с ними мы, а не они. Всюду, где свирепствует реакция, всегда рука об руку с ней идут ЦРУ, монополии, продажная свита буржуазных писак.

Голосом совести и разума авторы книги ведут взволнованный разговор о подлинных гражданских правах широких народных масс, осуществленных в Стране Советов, о воплощенных в жизнь идеях Октябрьской революции, о величии новой Конституции СССР. С отвращением обнажают они планы подрывных идеологических центров Запада.

Борьба за подлинные права человека, за правду об этих правах не может оставить и не оставляет безучастными людей чести и долга. Свое слово в книге сказал и народный писатель Литовской ССР Юозас Балтушис, твердо и решительно отклонивший посягательства самозванных радетелей прав человека. Отповедь литовского писателя корреспонденту газеты «Фигаро», заблудившемуся «в лесу лживых фактов», — образец мастерского разоблачения вражеской пропаганды.

Обвинением в адрес буржуазного образа жизни и его адвокатов звучат материалы второго раздела книги, «За порогом на-

шего дома». Здесь привлекает внимание статья Александра Кривицкого «Кое-что о правах человека». «Когда...» ко мне, — пишет автор, — доносятся голоса высокопоставленных персон Запада, докторально вещающих нам нечто о правах человека, я хочу сказать: послушайте, вам и вовек не отмыться от гонений на великого Чаплина, от преследований всему миру известной Лилиан Хеллман...» Интересны публикации «В чем источник зла?» Виталия Сырокомского, «Всю жизнь за решеткой» Ионы Андропова, «Преодоление пустыни» поэта Виталия Коротича. В каждой из них и всех, вместе взятых, правда о правах человека, лживость версий об их «нарушениях» в странах социализма. В статьях раскрыты социальные язвы и пороки, бесправность и обреченность миллионов людей, национальностей и народностей в условиях капитализма.

«В истории уже не раз бывало, — указывает М. А. Суслов, — что представители отжившего строя, стремясь продлить его существование, начинали рядиться в одежды свободолюбцев. Нечто подобное происходит и в наши дни». Верность этого вывода подтверждает сама жизнь, острейшая идеологическая борьба, развернувшаяся между миром социализма и миром капитализма.

Антикоммунистическая истерия по поводу «прав человека» имеет свою ярко выраженную «целевую установку», направленную на подрыв идеи разрядки и международного сотрудничества, на поджигание «холодной войны». Деятели культуры нашей страны вместе со всеми людьми доброй воли, честными и искренними борцами за права человека поднимают свой голос против вдохновителей и исполнителей этой злобной, античеловеческой кампании, вносят свой вклад в разоблачение их измышлений.

**В. КАРПУШИН,**  
доктор философских наук.

**Я. ПОВАРКОВ,**  
кандидат философских наук.

## КОРОТКО О КНИГАХ



**ВИКТОР ВАРГИН.** Журавлиный брод. Рассказы, очерки, лирические зарисовки и миниатюры. Горький. Волго-Вятское книжное издательство. 1977. 222 стр.

Михаил Пришвин как-то сказал: вещи, которые у меня в квартире, мне не кажутся моими, зато солнце, небо, реки — мои.

Мне не раз приходили на память эти прекрасные, исполненные глубочайшего смысла слова, когда я читал книгу горьковского писателя Виктора Варгина «Журавлиный брод».

В. Варгин живет «во глубине России», в городе Лыскове, что раскинулся по берегу Волги. Улицы Лыскова тонут в густых яблоневых садах, а в центре города два огромных парка. И вокруг места живописнейшие. Жить на этой земле и не любить ее, наверное, нельзя.

Я не знаю, как относится В. Варгин к вещам в своем доме, но точно знаю, что землю, на которой живет, он по-сыновьи любит и солнце, небо, окрестные леса, поля и реки считает своими. Книгу населяют капитаны-речники и плотогоны, шоферы и механизаторы, лесники и охотники, рабочие и школьники. Но о ком бы ни писал В. Варгин и в какие бы ситуации ни попадали персонажи его рассказов и очерков, они у него крепкими, неразрывными узлами связаны с родной землей, с окружающей их природой.

Большая часть лирических миниатюр написана от первого лица. К природе автор относится не дачно-умилительно, а деятельно и, если так можно выразиться, сугубо лично. Не просто луг в цветах — он косил этот луг, и ему знакома здесь каждая ложбинка. Не просто ласкающая взор хлебная нива — он пахал это поле, убирал его и знает истинную цену спелого колоса, знает волнение и радость человека, прямо причастного к земле.

«Журавлиный брод» — четвертая книга В. Варгина, и если говорить о манере письма, то едва ли не самой характерной чертой ее я бы назвал простоту и — есть такое старинное, ныне не часто употребляемое слово — неприязнительность.

Кто не слышал народное присловье: замах рублевой, а удар на пятак? В. Варгин в своих рассказах, особенно в миниатюрах о родной природе, никаких эффектных «замахов» не делает. Он и называет свои вещи просто («Первый снег», «Приход весны», «Встреча с лесом», «Горностай», «Храбрая лисица») и уже как бы самими названиями говорит: хотите, я вам расскажу о первом снеге или о приходе весны, о встрече с лесом, горностаем и лисицей? Он как бы заранее рассчитывает не на такого читателя, который усмехнется: зачем

о чем рассказывать, что я, не видел первого снега или прихода весны? — а на такого, который знает, что мир стар, но поэзия-видения его неисчерпаема.

И еще мне хотелось бы немного процитировать, чтобы читатель мог получить какое-то представление о языковой фактуре книги. Вот из «Прихода весны»:

«Снега теряют свою естественную белизну, и на них появляются нежные синеватые отливы, особенно заметные в послеполуденное время, когда день начинает уступать вечеру.

Сначала обнажаются южные склоны холмов, на углах и обрезках крыш все больше и больше свисает сосулек, дорога темнеет — на ней вытравивает набравшийся за зиму слой мусора. Солнце начинает светить все ярче, небо становится выше, дали с каждым днем углубляются... И вот побежали ручьи. И по вечерам грудь распирает от запахов льда, еще не успевшего стать водой, и воды, которая уже не может обратиться в лед».

Писатель не просто видит синеватые отливы — он замечает, что они особенно отчетливы в послеполуденное время.

В. Варгин словно слагает песнь о милой его сердцу родной земле. Песнь, может быть, и не громкая, но ведь и надо ли, объясняясь в любви, кричать во все горло? Главное — чтобы ты не фальшивил, а пел-говорил своим голосом и слова шли от самого сердца.

Семен Шуртаков.



**Ю. КРЕЛИН.** Переливание сил (Из жизни хирургов). М. «Московский рабочий». 1977. 240 стр.

Книге с подзаголовком «Из жизни хирургов», разумеется, обеспечено повышенное внимание самого что ни на есть широкого читателя, особенно если в аннотации написано, что автор «около четверти века работает хирургом». Стало быть, знает, о чем пишет. А о чем пишет? — да о нас с вами, как мы там у них в больницах страдаем, а не мы, так наши знакомые. Словом, побывали, насмотрелись, а вот теперь посмотрим, как все это выглядит с другой, с «их» стороны. Рассказы Крелина дают нам такую возможность.

Для врача аппендицит — пустяк, для больного — операция. Для «скорой помощи» аппендицит — дело не первой срочности, а больной ждет машину час и нервничает. Санитарка, которой надоело не желающие мыться больные, вообще размышляет так: «Хорошо, когда тяжелый больной, с прободной язвой,

к примеру, или там из-под машины, когда помыть можно». А дальше — будни: сестра занята и чуть опаздывает привезти больного в операционную, хирург нервничает, поскольку уже пятнадцать минут стоит помывтый, больной нервничает оттого, что нервничает хирург. Сестре кажется, что операция сделала очень быстро, больному — что очень медленно. Это рассказ «Аппендицит», кончается он так: «Через семь дней я выписался».

Вполне невыдуманный сюжет; впрочем, Крелину и нет нужды их выдумывать. Он работает, оперирует, и едва ли не каждая операция или просто день, проведенный в больнице, может дать ему сюжет для рассказа. Почти любой из рассказов, вошедших в книгу, интересен самим материалом — фактом, жизненной ситуацией, — но из совокупности их вырастает авторская позиция, она-то, пожалуй, интереснее всего.

Позиция эта практически полностью определяется профессией. Умение понять другого, понять и простить разрастающийся на почве недуга эгоцентризм больного необходимо врачу, но и любому, в сущности, человеку. Умение простить несправедливость к тебе, если она опять-таки рождена горем или болью, тоже; в рассказе «Меа сура» разбирается несправедливая жалоба на хирурга, а хирург думает: «А все же что делать с больной? Ноги-то у нее болят». Умение отказаться от правила, если оно во вред человеку, тоже необходимо как врачу, так и любому из нас. Герой «Рассказа честяги» боролся за порядок в больнице и уличил-таки санитарку в наказуемом поступке и отдал ее под суд. Крелин казнит честягу, демонстрируя убожество его речи: «Я не знаю, чем все это кончилось, ибо это уже не моя прерогатива, не мой интерес. — этим занимаются органы, предназначенные для этого». Четыре «это» в одной фразе — и человек ясен нам: вот так тупо и бездумно долбил он про свою честность — и добился, и доказал.

Гуманность в рассказах Крелина не привносится в профессию извне (вот выучим врача и воспитаем в нем это прекрасное качество), а оказывается той сердцевинной, тем стержнем, на котором держится все остальное. И проявляется она прежде всего в умении делать свое дело, не окружая его ореолом какой-то особой гуманности. «Делай что нужно, в пределах максимума своих возможностей, своего умения» — вот и будет гуманность. Простая, на первый взгляд, может быть, слишком простая мысль, однако так ли она проста, если примерить ее на себя, к своему каждодневному бытию? «В пределах максимума» — значит, когда потребуются (а врачу требуется каждый день, но всем прочим многого ли реже?), выкладывай все, что умеешь, и все, чем богата твоя душа. А если кто-нибудь возразит автору, что такой жизненный принцип для врача годится все же больше, чем для простого смертного (все-таки самая гуманная профессия), то автор ответит: «С гуманностью, как и со всем прочим: не может быть гуманности больше или меньше — либо она есть, либо нет. И все».

Вот над этим и поразмыслим.

Ю. Сметков.



**ЛЕВ ШИЛОВ.** Голоса, зазвучавшие вновь. М. «Просвещение». 1977. 128 стр.

Как напрягается наш слух, как обостряется наше внимание, когда сквозь шорохи и шлепеты несоберенной записи 1920 года мы тщимся, мы хотим услышать голос Блока, читающего свои стихи. Сквозь голос проникнуть в мир поэта. Авторское чтение! Каким бы оно ни было, завораживающим или разочаровывающим, оно доносит до нас интонацию — душевный жест создателя стихов. Далекое приближено.

Сравнительно недавно началась звукозапись: конец прошлого — начало нашего века. Но достоянием слушателя звукозапись стала лишь в недавнее время. Дальше — больше. Сейчас звукозапись — неотъемлемая часть нашей культуры. Из архивов она входит в быт, вносит свои творческие коррективы в литературный процесс. Рядом с книгой писателя встает пластинка с его голосом или с голосами актеров, читающих его произведения. От этого соседства восприятие текста становится более объемным, можно сказать, стереоскопическим.

Обо всем этом убедительно, на большом материале говорит книга Льва Шилова «Голоса, зазвучавшие вновь». Книга имеет подзаголовок «Записки звукоархивиста». Подзаголовок уточняет заглавие. Вместе с тем читатель книги может подумать, что перед ним работа о технике звукозаписи, о методах работы звукоархивиста. Да, эти сведения, этот материал имеется в рукописи. Но смысл книги Льва Шилова неизмеримо шире того, на что указывает заголовок. Перед нами книга о записи голосов писателей и одновременно об истории создания тех или иных произведений этих писателей. Иными словами говоря, перед нами книга не только звукоархивиста, хотя и одно это важно, но и литературоведа, историка литературы, пытливого искателя.

Время от времени, по мере накопления материала, в книге появляются и теоретические вопросы, связанные с авторским и актерским чтением, с психологией творчества, с бытованием стиха на странице и на пленке. Эти теоретические вопросы трактуются достаточно глубоко и доступно.

Автор скомпоновал свою книгу, построил ее так, чтобы из суммы глав (их всего 12) читатель получил представление о слове письменном и слове звучащем, особенно о последнем.

Удались Льву Шилову главы о Толстом, Блоке, Маяковском, Есенине, Светлове. Здесь много собранного по крупницам материала.

Звучащее слово начинает служить, уже с л у ж и т задачам просвещения, школе и институту. В будущем эта служба расширится и углубится. В Норильске и Тобольске, Керчи и Мичуринске дети будут не только читать Маяковского и Есенина, но и слышать их живые голоса. Это живое впечатление окажет, уже оказывает огромное эмоциональное воздействие на детство и юношество.

Чтение авторами предстает не как эстрадный концерт, а как продолжение творческого процесса, его завершающий этап.

Достоверность текста и последовательность

доказательств совмещаются с таким качеством, как занимательность. Да, книга Льва Шилова, избыточная рассказами о поисках автором считавшихся затерянными записей, поистине занимательна. Это делает ее интересной и нужной для самого широкого круга читателей.

Лев Озеров.



**М. БОЙКО.** Лирика Некрасова. Массовая историко-литературная библиотека. М. «Художественная литература». 1977. 178 стр.

Книга М. Бойко «Лирика Некрасова» невольно заставляет задуматься над большой темой: Некрасов и злободневность. Автор показывает, что реальный, порой «газетный» факт под пером великого поэта обретал широчайший спектр значений, что «по законам поэзии» у него могли столкнуться очерк и символ, и «в этом столкновении преобразовались и тот и другой». В наших сегодняшних спорах о соотношении документального и художественного опыт Некрасова представляется исключительно ценным; кстати, таким опытом обогатилась и поэзия Маяковского (преемственность эта прослеживается в книге) и очень многое в современном искусстве.

Некрасов предстает перед читателем «нашим современником», потому что его творчество — живая традиция, влияющая на развитие литературы. М. Бойко справедливо указывает, что «писать стихи после Некрасова стало неизмеримо труднее». Труднее, а значит — интереснее, добавили бы мы.

Духовная биография Некрасова раскрывается автором в ее неподдельном драматизме, накалие страстей, в трагическом столкновении двух начал — необходимости бороться и невозможности победить сейчас, в ближайшем будущем. Напряженнейшая внутренняя борьба, сложнейшие ситуации в этой борьбе осознавались поэтом, по мысли критика, как необходимое условие творчества, как отражение коллизий времени.

Достижение жизненной гармонии, душевной ясности, поэтической простоты возможно только в том случае, когда противоречия жизни проходят через душу поэта. Только тогда поэзия становится созвучной настроениям и мыслям людей других эпох. Такова исходная посылка автора работы, во многом определяющая предложенное здесь решение темы «Некрасов — наш современник». Истинный историзм видится М. Бойко в органическом союзе с истинной актуальностью.

Не случайно большое внимание уделяется в книге диалогическому началу, внутренней полемике, содержащейся в отдельных стихотворениях и в творчестве в целом, когда рядом оказываются произведения, казалось бы, взаимоисключающие. Некрасов-лирик предстает поэтом, чуждым какой бы то ни было спрямленности, отнюдь не обладателем однозначных решений. Лирика Некрасова — художественное исследование путей рождения и становления истины, коренных духовных ценностей. Такой угол зрения помогает по-новому понять художественное мышление Некрасова в контексте времени. Так, Некрасов, например,

сближается с великим полифонистом<sup>2</sup> Достоевским. Многоголосье лирики Некрасова явилось главной предпосылкой «новых возможностей выявления авторского пафоса, авторской субъективности». Кригик справедливо утверждает, что «для творчества Некрасова характерны сложные поэтические структуры, возникшие как бы на границе эпоса и лирики». Однако М. Бойко, безгранично расширяя само понятие лирики, подчас автоматически переносит на лирические жанры черты поэзии Некрасова в целом.

Опираясь на достижения современного некрасоведения, М. Бойко сумела создать целостный образ поэта, предложить интересную трактовку ряда существенных проблем некрасовской поэтики.

А. Княжицкий.



**РАЗВЕДЧИКИ РАЗОБЛАЧАЮТ...** Эта книга о шпионской и подрывной деятельности радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа». М. «Молодая гвардия». 1977. 176 стр.

В подрывной пропаганде, ведущейся империалистическими кругами против социалистических стран, наиболее неприглядную роль играют расположенные в Мюнхене радиостанции «Свобода» и «Свободная Европа». Только «Свобода» днем и ночью с помощью 17 мощных передатчиков заполняет эфир клеветой на советскую политику и действительность, ведя передачи на 22 языках народов СССР в общем объеме около ста часов ежедневно. 85 процентов бюджета обеих радиостанций поступает от ЦРУ, и не удивительно, что многие их сотрудники тесно связаны с американской разведкой. В официальные задачи, поставленные ЦРУ перед радиостанциями, входят поощрение антикоммунизма и антисоветизма, националистических чувств, разжигание вражды между народами Советского Союза и других социалистических стран.

Все это не является секретом, и прогрессивная мировая общественность уже давно настойчиво требует ликвидировать «Свободу» и «Свободную Европу». Однако для того, чтобы свидетельства подрывного, шпионского характера деятельности радиостанций стали еще более наглядными и убедительными, необходимо было вскрыть изнутри механизм их функционирования, показать всю кухню фабрикации диверсионной пропаганды. Красно-речивая информация такого рода была в предостаточном количестве добыта разведчиками из социалистических стран, проникшими в штаб-квартиры радиостанций, — Анджеем Чеховичем, Павлом Минаржиком, Хрисаном Христовым, Юрием Мариным и другими. По возвращении домой они в интервью и на пресс-конференциях, в печати и по телевидению рассказали о том, как ЦРУ направляет и контролирует диверсии против социалистических стран в эфире, а также использует системы радиоперехвата и работников радиостанций для сбора разведывательных данных об этих странах.

Рецензируемая книга собирает воедино наиболее интересные материалы советской и за-

рубежной печати, посвященные разоблачению подрывной деятельности «Свободы» и «Свободной Европы». В описании царящей на радиостанциях атмосферы духовной нищеты и ненависти к социалистическому строю, взаимного недоверия, корыстолюбия и угодничества перед ЦРУ свидетельства всех очевидцев разительно схожи. Схожи они и в описании методов работы американской разведки, в частности вербовки ею лиц среди эмигрантов из социалистических стран.

Большинство эмигрантов — сотрудников подрывных радиостанций не имеют твердых идейных убеждений, многие из них судились в своих странах за антиобщественные проступки, а целый ряд представителей старшего поколения в годы второй мировой войны тесно сотрудничал с гитлеровцами. О методах их «радиожурналистики» свидетельствует следующий случай, описываемый Ю. Мариним. Некто Юрасов, до войны уголовник, служивший в фашистских карательных отрядах, ныне выступающий с призывами к войне против СССР, решил в целях антисоветской пропаганды использовать слова из популярной «Песенки фронтового шофера»: «Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела». В «интерпретации» фашистского прихвостня выходило, что фронтовики собираются вернуться домой для того, чтобы «показать там кое-кому», а заканчивалась передача выражением надежды в скором времени «услышать об их делах»...

Подобная «технология лжи» в действительности обуславливается как раз сознанием собственного бессилия и крахом надежд на изме-

нение советского общественного строя. Да и о какой сколько-нибудь реальной силе антисоциалистической эмиграции может идти речь, если, как свидетельствует Х. Христов, проникнув в ряды так называемой болгарской социал-демократической партии в эмиграции, он обнаружил, что в ней всего... 8 человек. «Затем в нее приняли меня — стало девять, — говорит Христов. — Теперь (после возвращения разведчика на родину. — Ю. И.) в ней опять те же восемь».

Но если тщетность попыток антикоммунистов всех мастей вызвать «внутренний кризис» социалистического общества очевидна, то для климата разрядки международной напряженности и взаимопонимания народов деятельность подрывных радиостанций представляет серьезную угрозу. Разоблачение происков ЦРУ в последнее время показывает, что это злое учреждение широко опутало своей сетью органы буржуазной массовой информации (на него работали, например, более 400 американских журналистов).

Несовместимость подрывной пропаганды и «психологической войны» с международным правом признается, как отмечает в вводной статье Б. Баннов, во многих трудах современных буржуазных юристов-международников. Свидетельства, приводимые в рецензируемой книге, неопровержимо доказывают провокационный характер деятельности радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа», идущей вразрез с интересами мира и безопасности народов.

**Ю. Иглицкий.**



---

---

## ПАМЯТИ АРКАДИЯ КУЛЕШОВА

Скончался замечательный художник, народный поэт Белоруссии Аркадий Александрович Кулешов.

Мы знали его как одного из ярких представителей того поколения советских писателей, которое начинало свою творческую деятельность в горячую пору первых пятилеток и крутого поворота деревни на новый, колхозный путь, в чьем творчестве неизменно ощущалась атмосфера напряженного созидательного труда и энтузиазма миллионов строителей социализма. Предельная слитность стиха с народной судьбой особенно сказалась в поэзии Аркадия Кулешова военных лет, в произведениях, написанных позднее об этой грозной и героической поре.

Неизгладима в нашей памяти его знаменитая поэма «Знамя бригады», неизгладимы многие прекрасные стихи этого последовательно партийного художника, чутко откликавшегося на самые узловые моменты народной жизни.

На страницах «Нового мира» не так давно, в начале 70-х годов, печаталась его поэма «Далеко до океана», столь высоко оцененная читателем.

Многие годы А. А. Кулешов участвовал в работе нашего журнала как автор и как бессменный член редакционной коллегии. Сотрудникам журнала долго будет недоставать его умных и чутких советов, тонкого понимания литературы, острого редакторского глаза.

Нам больно прощаться с дорогим товарищем, замечательным советским поэтом, человеком богатой и щедрой души — Аркадием Александровичем Кулешовым. Горечь понесенной утраты велика. Но рядом с горечью живет уверенность, что произведения его яркого таланта остаются в строю. Все новые поколения читателей будут находить в них теплоту человечности, глубину понимания народной жизни, свет наших общественных идеалов.

*Редакционная коллегия*



---

---

## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



### ПОЛИТИЗДАТ

**Ф. Энгельс.** Анти-Дюринг. 483 стр. Цена 1 р.  
**Л. И. Брежнев.** Вопросы развития политической системы советского общества. Выступления. Статьи. 488 стр. Цена 80 к.  
**Л. И. Брежнев.** О Конституции СССР. — Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. 183 стр. Цена 55 к.  
**Б. Н. Пономарев.** Избранное. Речи и статьи. 624 стр. Цена 1 р. 20 к.  
**Советский Союз.** Политико-экономический справочник. 367 стр. Цена 4 р. 20 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**И. Друцэ.** Поле души человеческой. Романы, повести и рассказы. Перевод с молдавского. 654 стр. Цена 3 р. 14 к.  
**М. Львов.** Одержимость. Новые стихи. 158 стр. Цена 55 к.  
**А. Межиров.** Под старым небом. Стихи. 214 стр. Цена 65 к.  
**Б. Пастернак.** Стихотворения и поэмы. («Библиотека поэзии». Малая серия) 605 стр. Цена 2 р. 20 к.  
**Л. Первомайский.** Вчера и завтра. Стихи. Перевод с украинского. 62 стр. Цена 15 к.  
**А. Упит.** В стужу. Рассказы. Перевод с латшского. 384 стр. Цена 1 р. 60 к.  
**Г. Фюш.** Здравствуй, Дания! — Норвегия рядом. — Отшельник Атлантики. — У шведов. Скандинавские встречи. 736 стр. Цена 3 р. 70 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**С. Баруздин.** Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Повторение пройденного. Роман. — Повести о женщинах. 463 стр. Цена 1 р. 90к.  
**С. Васильев.** Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. 1. Стихотворения. 1932—1974. 390 стр. Цена 1 р. 80 к.  
**М. Геттуев.** Избранное. Стихотворения и поэмы. Перевод с балкарского. 358 стр. Цена 1 р. 70 к.

**А. Рекемчук.** Избранные произведения. В 2-х тт. Предисловие Вяч. Саватеева. Т. 1. Рассказы. — Товарищ Ганс. — Мальчики. Повести. 525 стр. Цена 2 р. 10 к. Т. 2. Все впереди. — Время летних отпусков. — Молодо-зелено. Повести. — Скудный материк. Роман. 590 стр. Цена 2 р. 40 к.

### «СОВРЕМЕННОК»

**М. Карим.** Долгое-долгое детство. Повесть. Перевод с башкирского. («Новинки «Современника») 223 стр. Цена 1 р.  
**В. Озеров.** Революцией мобилизованная и призванная. Советская литература. 60 лет по ленинскому пути. 384 стр. Цена 1 р. 30 к.  
**Ю. Рытхэу.** Конец вечной мерзлоты. («Новинки «Современника») 415 стр. Цена

---

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов**, **В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекеля**

---

Редакция: Малый Путьковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77  
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Почтовый адрес: 103806. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 6/1 1978 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 14/II 1978 г.  
Формат бумаги 70x108/16. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
А 10932. Тираж 252.000 экз. Зак. 136.

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радийська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 6752.

Цена 70 коп.

70636